1 р. 90 к.

13-1-14

Индекс 73293

В ПЛАНАХ ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1991 ГОДА:

Светлана АЛЛИЛУЕВА. **Книга для внучек** (Один год в СССР) — право первой публикации.
Нина БЕРБЕРОВА. **Курсив мой** (часть 2-я).
Борис ВАСИЛЬЕВ. **Дом, который построил Дед.** Роман.
Владимир ВОЙНОВИЧ. **Антисоветский Советский Союз.**
Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий.** Политический портрет.
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. **Псалом.** Роман.
Антон ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты** (том II).
Сергей ДОВЛАТОВ. **Зона.** Повесть.
Георгий ИВАНОВ. **Книга о последнем царствовании.** Роман.
Руслан КИРЕЕВ. **Посланник.** Повесть.
Анатолий КУРЧАТКИН. **Курочка Ряба, или Золотые яйца для перестройки.** Повесть.
Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. **Иисус Неизвестный.** Роман-эссе.
Уильям ФОЛКНЕР. **Старик.** Повесть.
Борис ЯМПОЛЬСКИЙ. **Знакомый город.** Повесть.
Рассказы Ф. ИСКАНДЕРА, Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ, В. ПОПОВА, Е. ПОПОВА. Проза молодых.

Поэзия будет представлена именами Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Сергея ГАНДЛЕВСКОГО, Виктора КРИВУЛИНА, Александра КУШНЕРА, Семена ЛИПКИНА, Инны ЛИСНЯНСКОЙ, Всеволода НЕКРАСОВА, а также публикациями молодых поэтов, талантливо заявивших о себе в последнее время.

В рубрике «Вольное русское слово» будут опубликованы материалы поэтического андеграунда 50—80-х годов.

Из литературного наследия Сергея ВОЛКОНСКОГО, Владимира ВЫСОЦКОГО, Николая ЗАБОЛОЦКОГО, Леонида МАРТЫНОВА, Андрея ПЛАТОНОВА, Давида САМОЙЛОВА, Марины ЦВЕТАЕВОЙ, Варлама ШАЛАМОВА.

Специально для «Октября» подготовлен сериал «Русская эмиграция в мемуарах и документах».

В разделе публицистики выступят Игорь БИРМАН, Юрий БУРТИН, Юрий ПИВОВАРОВ, Лариса ПИЯШЕВА, Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ. Их статьи затрагивают наиболее острые и актуальные вопросы нашей жизни, позволяют увидеть современность в перспективе прошлого и будущего. Кроме того, впервые в Советском Союзе будут опубликованы отрывки из **«Энциклопедии ГУЛАГа»** Жака РОССИ, **«Христианство и атеизм»** — переписка из Владимирской тюрьмы Кронида ЛЮБАРСКОГО с о. Сергием (ЖЕЛУДКОВЫМ).

Подписка на журнал «Октябрь» принимается без ограничений всеми отделениями связи и агентствами «Союзпечати». Индекс — 73293, подписная цена на полгода — 11 рублей 40 копеек.

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1991. № 4. 1—208.

1991
4
ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

4

1991

МЕЖБАНКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПРОГРЕССУ
МЕНАТЕП

финансирует
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Коммерческие банки объединения
готовы выступить в качестве совладельцев
и соучредителей мелких предприятий
различного профиля и вкладывать
до 500 тысяч рублей в каждое.
Объектами наших инвестиций
станут принадлежащие трудовым коллективам
и частным лицам магазины и фермы,
кафе и рестораны, мастерские и ателье,
небольшие фабрики и гостиницы
в любом регионе страны.
Ваши предложения, а также
нотариально заверенные копии документов,
подтверждающих ваши права
на соответствующие площади
и орудия производства,
присылайте по адресу:

125047, Москва, 4-я Тверская-Ямская, 4.
Телефон: 277-51-93.
Факс: 972-62-50.

Проекты, обеспеченные гарантиями
банковских учреждений и крупных
рентабельных предприятий,
рассматриваются в первую очередь

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

4

1991

АПРЕЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, И. ГЕРАСИМОВ, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Виктор НЕКРАСОВ.
Саперлипопет. Повесть 3
Вадим КРЕЙД
Зеленое окно. Стихи 56
Владимир ГОНИК.
Сезонная любовь. Рассказ 59
Марк АЛДАНОВ
Самоубийство. Роман. Продолжение 78

ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ СЛОВО

С. КРАСОВИЦКИЙ и А. МИРОНОВ. Стихи.
Вступление и составление Виктора Кривулина 136

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Работа А. И. Солженицына «Как нам обустроить Россию!» с разных точек зрения:
Наум КОРЖАВИН, Леонид БАТКИН, Александр ЦИПКО 146

СВЕЖИМИ ОЧАМИ

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ.
Отдыхающий фонтан. Маленькая монография о постсоциалистическом реализме 166

ИЗ АРХИВОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Владислав ХОДАСЕВИЧ.
Парижский альбом. Там или здесь! Глуповатость поэзии.
Публикация, вступительная статья и комментарий М. З. Долинского, И. О. Шайтанова 180

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Вадим СОКОЛОВ. **Суслики** (Григорий БАКЛАНОВ. **Свой человек**) ❊ Ст. РАССАДИН. **Антигиляй, или «Страшнее Врангеля...»** (Анатолий РУБИНОВ. **Откровенный разговор в середине недели**) 201

ВНИМАНИЕ: ПРИЛОЖЕНИЕ К «ОКТЯБРЮ» 207

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (зав. отд. поэзии), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **В. М. ЛИТВИНОВ** (зав. отд. критики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).
Коммерческий директор **Ю. В. ГРИНЬКО**

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 07.03.91. Подписано к печати 26.03.91. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 242 000 экз. Заказ № 229. Цена 1 р. 90 к

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь», 1991.

Виктор НЕКРАСОВ

Саперлипопет

ПОВЕСТЬ

1

Саперлипопет... Саперлипопет...
Какое странное звукосочетание. И очень знакомое. Всплыло откуда-то издалека. Никак не вспомню, откуда. Что-то очень и очень далекое, из детства. Даже как будто голос чей-то слышу.

Как возникло оно в моей памяти, это нелепое для русского уха слово, послужившее толчком, отправной точкой для всего последующего?

Началось все из-за незаслуженной и непонятной вражды местного городского транспорта по отношению ко мне. Точнее — двух автобусных маршрутов — 126-го и 189-го — в маленьком Ванве, предместье Парижа, где я сейчас живу.

Обычно автобусом я не пользуюсь, предпочитаю до метро идти пешком — семь-восемь минут прекрасного моциона для человека сидячего (или лежачего) образа жизни. Но когда торопишься и каждая минута на счету, они оба, точно сговорившись, бесстыдно издеваются над тобой. 126-й стремглав выскакивает из-за угла и у остановки не задерживается — в этот момент она, как назло, пуста, — а 189-й, неторопливо появляющийся из-за другого угла, Бог знает сколько времени торчит под красным светом и когда, наконец, запыхавшись, в него влезаешь, еще дважды застывает у светофоров, пока не доберется до метро.

Короче, выходя из дому, я сразу же начинаю бежать.

Так и в этот раз. Мы со 189-м одновременно появились из-за своих углов. Я припустил, чтоб поймать его на следующей остановке. И нужно же, чтоб именно в этот день, час и минуту хозяйка магазинчика готового платья надумала мыть тротуар. Причем не просто мыть, как всегда, а еще и с мылом. Одним словом, растянулся. Во всю длину. И вот тут-то, поднимаясь, — слава Богу, никаких шеек бедра, слегка только ушиб колено, — я невольно скользнул взглядом по вывеске магазина. «Саперлипопет». Господи, сколько раз я проходил мимо этого магазинчика — распродажа каких-то кофточек, джинсов, юбчонок — и ни разу не обратил внимания на вывеску, название его. Саперлипопет...

Весь день вертелось у меня в голове это идиотское слово. Дома сразу же ринулся к Ляруссу. Оказывается, это французское «жюрон», нечто среднее между ругательством и восклицанием на манер русского «а, черт!», сейчас полузабытое и замененное более коротким, энергичным и малоприличным «мэрд!» (Диву даешься, когда слышишь на каждом шагу из уст самых что ни на есть галантных французов это слово, означающее просто-напросто «г...о»).

Но откуда и как застряло в моей памяти оно, это заковыристое «саперлипопет»? И голос, интонация...

Только какое-то время спустя, вытирая пыль с чернильниц и пресс-папье ломберного столика, я взглянул на фотографию моего старшего брата Коли в гимназической форме, и меня вдруг осенило — это он. Это его голос.

Как необъяснимо и загадочно все связанное с нашим внутренним миром! С памятью, в частности. Мучительно пытаюсь сейчас вспомнить.

о чем мы условились вчера с не очень, правда, мне нужным типом насчет завтрашней встречи, а вот солдата Ютэн и лежавшего рядом с ним зуава помню, как будто вчера их видел. Оба они лежали в «Опиталь Станислас», где работала тогда мама, один ранен был в ногу и позвоночник, другой в руку. И даже запах, исходивший от их гипса, я вспомнил, когда мне, в свою очередь, накладывали гипс в госпитале, в Баку. В Баку мне было уже тридцать с чем-то, а тогда, в Париже, четыре или пять...

Вот и Колин голос звучит до сих пор в ушах. А его давно уже нет в живых, и, когда он погиб, мне было лет восемь, девять...

На фотографии на ломберном столике ему лет шестнадцать, не больше. Задумчивый мальчик в сереньком мундирчике и гимназической фуражке с гербом. Когда ж это снято? И где? Роюсь в памяти, в старых альбомах, сохранившихся письмах, но концы с концами никак не сходятся.

В общем-то я плохо помню Колю. Любил ли он меня, своего младшего брата? Боюсь, что не очень. Заставлял целовать отталкивающие, цветные изображения каких-то язв и болячек в мамином медицинском Ляруссе. А однажды, схватив меня под мышки, перекинул через перила балкона — а жили мы на пятом этаже — и так и держал на весу, заявив, что если признаюсь, что не люблю бабушку, помилует, а нет... Было очень страшно, но я не признался. Весьма горжусь этим поступком, пожалуй, единственным героическим в моей жизни. Очевидно, он был очень сильным, Коля, если мог держать на весу, на вытянутых руках шестилетнего мальчишку — никак не меньше мне было в ту пору.

Возможно, именно тогда, над пропастью, и врезалось мне в память это самое «саперлипопет», в сердцах вырвавшееся у моего мучителя.

Жестокость в определенном возрасте свойственна подросткам. Коля был жесток. По отношению ко мне, во всяком случае. И в то же время мог подолгу сидеть со мной и рисовать истории забавных человечков, нечто вроде околдовавших потом весь мир комиксов. Терпеливо и даже любовно поправлял неуверенные мои каракули. И вечером, перед сном, мог вдруг подбежать, обнять, расцеловать и щелкнуть по носу — спи, саперлипопет! И я любил его за это. За все. Даже за Ляросс.

И плакал, плакал, долго плакал, когда мама вернулась из Миргорода, так и не обнаружив тела погибшего Коли.

Коля был очень талантлив. Мне ясно это особенно теперь, когда я разглядываю его рисунки. Они сохранились. Я их развесил над ломберным столиком. Рисованию нигде никогда не учился, но его пастельки, гуаши и коллажи сделаны рукой не любителя. Они на уровне тех лет, лет перехода Кандинского от Мюнхена к самому себе. Но Коля никому не подражал. Смотрю на свои рисунки, — тоже всю жизнь рисовал — то под Добужинского, то под Бенуа, Билибина, Акимова, а то вдруг вылезает Гоген, Озанфан. Сделано много, по пусть лежит в папках, показывается друзьям, выставлять нельзя — подражение, нет собственного лица. У Коли оно было.

Он и писал. Больше по-французски, но кое-что и русское сохранилось. Какие-то начала, недописанное. Странное, полукафкианское. Какой-то тип, живущий с улиткой...

Увлекался театром, эстрадой. Сохранилась тетрадочка с вырезками из парижских журналов. Знаменитые шансонье, звезды кафешантанов и кабаре.

Кем был бы он, переживи он свои восемнадцать лет? Не вернись он на родину...

Да, ему не было еще и двадцати лет, когда его убили, засекли шомполами. Думаю, что неполных девятнадцать лет...

2

Случай... Предопределение. Пророчество. Расположение планет. Пятна на солнце. Расположились они как-то иначе в тот, памятный всем день 25 октября 1917 года — и не было б теперь Андропова, а до него Брежнева, ну и т. д. Не замучай насморк Наполеона в день Ватерлоо... Поставь Штауфенберг свой портфель с бомбой сантиметров на десять ближе к Гитлеру... Выстрели удачнее — назовем это так — Фанни Каплан...

Парапсихология. Телепатия. Телекинез. Недавно узнанное мною слово — реинкарнация — продолжение жизни личности после физической смерти в какой-то иной форме и ее последующее воплощение.

Все это чепуха, говорят люди положительные и здравомыслящие. Я к ним не отношусь. И если не очень верю в зеленых человечков, то во всякие чудеса, даже в привидения, верю. Ну, не может же, посудите сами, какой-нибудь шотландский или нормандский замок существовать без своей Белой дамы или всяких там вздохов и завываний замученных жертв. Именно отсутствие их было бы противоестественным.

А загадки мироздания?

Пролетела мимо пчела. Пчелка-мохнатка. Покружилась, покружилась над ромашкой и села на нее. А кто тебя придумал, ромашка? Твои лепестки, твою симметрию? Или асимметрию орхидеи? А пчелке-мохнатке ее крылышки, сколько-то там тысяч ударов в секунду? Кто? И зачем? И почему у нас одна печенка, одна селезенка, а почек две? И сердце одно. (Впрочем, в соседней палате, в Баку, лежал солдат, которому безжалостная немецкая пуля пронзила сердце. А он не умер. Оказалось справа другое сердце... Но это так, к слову.) Ясно одно — мир полон загадок...

Вот какие мысли одолевают меня сейчас здесь, в уютном садике у друзей на окраине Женевы. Сижу под сосенкой в покойном кресле. В трусах. Не жарко, легкий ветерок, пишу.

Пчела улетела. Пришел Вадик, внук. Я его тоже вытащил в Женеву, с другом, подальше от школьных двоек и родительских слез. В ухе уже серьга, маленький, вроде золотой шарик. У Людо еще нет, но будет, не сомневаюсь. Представляю, что было бы, появись мой милый Вадик с этой серьгой в своем родном Кривом Роге. Том самом, о котором, когда его спросили, где этот город находится, без колебания ответил: «За границей».

За границей... А не вспыхни вдруг на солнце протуберанец или не переместись Альдебаран в сторону созвездия Гончих или каких-нибудь других Псов, и гнали бы сейчас Вадика в «Гастроном» за колбасой, говорят, только что выбросили московскую, и не просил бы он у меня двадцать франков — «Хватит и десяти», «Но нас двое...», «Но франки швейцарские, один к трем, значит, тридцать французских...», и даю все же двадцать, и они в своих маечках и джинсах удаляются играть в какие-то кегли — это тут, совсем рядом, у кафе, скоро вернемся. Вернулись в девять утра. Где были, что делали, негодяи? Молчат. Загадка. У Людо в ухе тоже уже серьга.

Протуберанцы... Пятна на солнце... Реинкарнация...

А может, все-таки случай, Его Величество случай? Стечение обстоятельств. Ненаучно? Согласен. И все же... Саперлипопет...

3

В борьбе обретешь ты право свое. Эсеровский лозунг. Одного живого эсера я знал. Дядю Колю, он же Ульянов (нет-нет, никакого отношения!..). Почти всю жизнь прожил в Швейцарии. Принимал участие в московском эсеровском восстании, потом то ли понял что-то, то ли испугался и, оказавшись каким-то образом в Швейцарии, вернулся к своей основной профессии геолога. До гробовой доски занимался Монбланом. Встретившись с ним на склоне моих и еще более крутом его лет, я обнаружил в нем борцовские задатки (или остатки) только по отношению ко мне. Весьма темпераментно, несмотря на свои девяносто лет, доказывал мне, что американцы плохие, а в советской системе есть кое-что и хорошее.

Я не принадлежал уже тогда к враждебной эсерам партии, поэтому позволял себе не соглашаться с дядей Колей и не очень щадил его, обладая несчетным количеством убедительнейших аргументов. Он обижался, обзывал меня «дураком», гневно хлопал дверью, но вскоре возвращался, и все начиналось сначала.

Я заговорил сейчас о дяде, хотя и писал в свое время о нем, потому что именно он напомнил мне эсеровский лозунг, а я, невежливый племянничек, спросил его, как он этот лозунг воплощал в жизнь. «Дорогой дядя Коля, — закончил я свой монолог, — не окажись ты в Швейцарии, на груди утеса-великана, твоего любимого Монблана, гнить бы твоим косточкам где-нибудь на Колыме или в Магадане». Здесь произошел взрыв: «Идиотское «бы»! — закричал он на меня. — Если бы, если бы... Если бы да кабы, да во рту росли грибы. Если б Наполеон на месяц раньше начал свой поход на Россию. Не в июне, а в мае, даже в апреле. А? Если бы, если бы... Если бы твои родители не вывезли тебя из Парижа в пятнадцатом году? Кем бы ты был, в кого бы вырос? А? Отвечай!»

Не помню, что я ответил, очевидно, не удержался и сострил, подлив масла в разбушевавшееся пламя, но вопрос этот запал мне в душу. А действительно, не вывези меня родители в пятнадцатом году? Кем бы был, в кого бы вырос? А?

Предлагаю некую игру. Может, не всем она будет интересна, поскольку касается в данном случае меня, и все же приглашаю.

Человек устроен так, что в определенном возрасте на будущее начинает смотреть пессимистически, к прошлому же относится не всегда с нужной долей критики.

Одним словом, мы склонны идеализировать если не самих себя — мы люди скромные, — то свое прошлое. Давайте же сейчас, включившись в предлагаемую игру, попытаемся, запасясь юмором, малость пожонглировать им, этим прошлым, потасовать колоду. Посмотрим, что из этого выйдет.

Маленькое вступление к игре.

За рюмкой водки, стаканчиком вина, кружкой-другой пива любим мы пофилософствовать. Что наша жизнь? Игра! Добро и зло — одни мечтания. Труд сладкий — сказки для бабья... Или — жизнь человеческая подобна кривой — взлеты, падения, опять взлеты. Я же как художник, а не математик («Слаб в вычитании, путается в умножении, никакого понятия о делении» — первая четверть 1923/24 гг. уч-ка 3-й группы 43-й ЕТШ В. Некрасова) мыслю образами. Я вижу богатыря на своем буланом коне на перепутье, перед бел-горюч камнем. «Поедешь налево — татарин. Поедешь направо — соловей-разбойник, поедешь прямо — Лубянка».

А может, не Лубянка, а Шанз-Элизе или пляс Пигаль? Мне, например, попался именно такой бел или розово-горюч камень...

Ну а если б поехал влево? Или вернулся бы назад, в поисках другого перепутья, а там шестикрылый серафим?

Саперлипопет...

4

Конечно, об этом говорили не один вечер. Ехать или не ехать? Немцев удержали на Марне, но они все же рвутся к Парижу. Обстреливают из «Больших Берт», сбрасывают бомбы с цеппелинов. Для малыша это только развлечение — вчера никак нельзя было оторвать его от окна, ночное небо исполосовано прожекторами, и где-то на скрещении их лучей серебрится сигара. «C'est lui! Regardez! Regardez!» — «Это он, смотрите, смотрите!»...

Коля, как и положено всякому пятнадцатилетнему, хотя и побаивался, но упаси Бог обнаружить этот страх, проявляет недюжинные познания в военном искусстве. В спор об «уезжать или не уезжать» не вступает.

Бабушка же и мама говорят об этом, как только мать возвращается из госпиталя.

Бабушка, Алина Антоновна, больше всего боится, конечно, за детей. Немцы возьмут Париж, куда мы денемся? А Киев — там и мебель, и все вещи наши — все-таки дальше от фронта. И вообще это Россия. Если уж попадать немцам в руки, так лучше в своей России. Всегда можно скрыться на какое-то время у Сережи Эрна, бабушкиного племянника, в его поместье в Солоновщине. А здесь куда? Ни друзей, ни знакомых французских, одни русские...

Мать на противоположных позициях. Немцы никогда не возьмут Парижа. И вообще ей как врачу негоже бросать свой госпиталь — раненых с каждым днем все больше и больше, а врачей, особенно хирургов, криком кричи, а больше не становится. Сегодня с Соммы двадцать человек привезли, из них восемь тяжелых, а класть некуда, и главный хирург к тому же заболел. Бросать госпиталь в такой момент — преступление. И только потому, что Киев дальше от фронта, чем Париж.

Последующие события показали, что мать совершила-таки это преступление. После, надо думать, долгих и утомительных споров относительно маршрута — через Италию и Грецию или Англию — Швецию — выбран был северный путь. Следующий этап — что взять, что оставить, как быть с Викиной нянькой — бретонкой Сесиль: хочет тоже уехать? Наконец все упаковано, Сесиль оставлена и через Лондон, Северное море (немецкие подводные лодки!), Швецию, Финляндию семейство добирается до России и оседает в Киеве, где мебель и прочие вещи... Начинается новая жизнь.

Ну, а победи мама, а не бабушка?

Война бы кончилась не без маминого участия, можно было бы и не краснеть. Дети росли бы. Возможно, Февральская революция опять поманила бы в Россию, но неумение принимать быстрые решения привело б к тому, что дотянули бы до Великой Октябрьской Социалистической революции, а та смешала все карты.

Гражданская война. Глазами из Парижа. Коля, думаю, особенно ею бы не интересовался (даже там, в Миргороде, не так он ею, как она им заинтересовалась, — нашел большевистский патруль французские книжки у мальчика — шпион! — и убили.) Младший же (как это было в Киеве) болел бы за белых, добровольцев, так они себя называли.

Первая волна эмиграции. Дружба с генеральскими отпрысками. Единая, неделимая. Потом все это надоело бы — споры, ссоры, распри...

Лицей. Институт. Возможно, тоже архитектурный («мальчик так хорошо рисует...»). Корпение потом над скучными планами в частном архитектурном ателье. Возможно, одновременно пописывал бы рассказики а-ля Пруст, читал бы французским друзьям в Клозери де Лила или в тесной мансарде в Марэ.

Правый, левый? Скорее левый, рвался бы в Испанию. Гитлера ненавидел, поглядывал бы на Москву. В войну ринулся бы в маки́. С полного одобрения матери: «Иди, иди, малыш, только давай о себе как-то знать...» После войны рвался бы в Советский Союз. «Все-таки мы, русские, победили!». В маки дружил бы со сбежавшими из плена советскими офицерами. Вот это ребята! О них написал свою первую книгу «Дымок махорки». В определенном кругу прозвучала, даже какую-то премию получила.

Крушение Сталина переживал как личную трагедию. «Дядя Коля, кажется, с ним встречался, — говорила мать, — не очень одобрял, спроси у него». А жена, если русская: «Ну и слава Богу, вздохнут наконец люди», а если француженка, повторяя слова то ли Сартра, то ли Арагона: «Идиот этот ваш Круштшэф, совсем не думает о Булонь-Биянкур... Во что ж им, рабочим, теперь верить?»

Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев...

Максимов, к которому он ринулся, как только тот оказался в Париже, разливая водку по стаканам (о Господи, и это все надо выпить сразу?!), говорил ему...

— Вы идеалист, Виктор. Все ищете жемчужину в говне. А ее нет, как ни ищи. А если найдете, знайте, что она из того же вещества... Все вы, русские, никогда не бывавшие в России, путаете русское с советским. И радуетесь не тому, чему надо. Радуетесь дутым успехам. Ах-ах, победили безграмотность! А вы знаете, что это главная беда советской власти? Ну, не беда — ошибка. Беда наша, народа. Читать-то научили, а книги запретили. И те, кто пишет, главные враги. Будь он даже мальчишкой-поэтом, читающим свои стихи у ног Маяковского...

— Да, но ведь и при Сталине были и Твардовский, и Пастернак.

— А Маяковский пустил себе пулю в лоб... И не равняйте Пастернака с Твардовским. Один был блаженненький, но гений, а другой, хоть и честный человек, но искренний коммунист, верящий в коммунизм. Теперь таких уже нет.

— А вы уверены, что верил?

— Верил. Более того, верил в Сталина.

— А вы?

— Вопрос, на который так прямо не ответишь. Верил, не верил... Сгубил миллионы, знаем, но все же помним, что Рузвельты и Черчилли, встречаясь с ним, терялись. Вот он и вышел победителем. В Берлине над немцами, в Ялте над союзниками. Нет, я не верил в Сталина. В тоталитаризм верить нельзя. Ему можно либо покоряться, либо восставать...

— Почему ж вы не восстали?

— Стыдно, Виктор, надо знать историю своего народа. Помнить о Новочеркасске, о танках, окруживших восставшие лагеря. О том, что командование садилось даже за один стол с руководителями этих восстаний, даже вставало, чтоб почтить память погибших. Потом теми же танками задавили бунт. Но бунт-то был, был, был... А вы говорите...

С Максимовым трудно спорить, у него пропасть аргументов, к тому же он все время подливает.

На каком-то симпозиуме или коллоквиуме встретился с Войновичем. Кажется, в Лос-Анжелесе. И тот с места в карьер:

— В России были?

— Нет.

— Почему?

А черт его знает, почему. То ли боязно в чем-то разочароваться, то ли с грубостью сталкиваться не хочется. О ней столько говорят приезжающие.

— Простите, но вы писатель русский или французский? — вторым вопросом огорошил Войнович.

— Писатель русский, но пишу по-французски.

— Как Набоков?

— Не надо параллелей, Владимир Николаевич. Набоков есть Набоков, а ваш покорный слуга... Что поделаешь, живу во Франции, французский мне ближе, но без русских не могу. Особенно, когда столкнулся с вами, с той стороны. В маки в первый раз.

— Не с той стороны, а из России. Вы русский. Россия — ваша родина. Вы ж там родились?

— Там. В Киеве. В матери городов русских.

— И неужели не тянет туда?

— Тянет, а как же...

— Ну вот и поезжайте, за чем остановка?

Легко говорить «поезжайте». Это тебе не Италия, Испания, сел в машину и покатил. Это встреча с родиной, которую не знаешь. Вернее, знаешь, но как, по книгам, «Юманите», рассказам родителей, своих и чужих, всегда что-то идеализирующих в потерянной своей молодости, по кинофильмам, таким разным, — «Падение Берлина», «Летят журавли», «Баллада о солдате» — никогда не поймешь, где в них правда, где вранье, по тому же Войновичу, по новым, недавно появившимся авторам... И ехать не для Эрмитажа и Третьяковской галереи, а для чего-то существенного. Для общения. Вот и здесь с советскими как-то не очень получается. Не то что они, советские, высокомерны, нет, но когда говоришь с ними, в каждом их слове чувствуешь: «Ну как вы можете это понять? Мы прошли через все, понимаете, все. Энтузиазм, гордость, унижение, убийства, растление, героизм, победу... Все на собственном горбу. И знаем, ЧТО несем вам. А вы нас слушать не хотите. А несем мы вам рабство. Ясно?»

А мы действительно не понимаем. О каком рабстве можно думать, когда смотришь Плисецкую или Васильева в «Спартаке», взбунтовавшемся рабе.

Войнович улыбается своей милой улыбкой.

— Вот в этом-то и закавыка. Мы мастера обманывать. А вы мастера покупаться. Вас ничего не стоит купить. Умиляетесь нашему балету, бешенно аплодируете Краснознаменному ансамблю, гордитесь Гагариным, а он был той же собачкой, что в космос запустили, только в отличие от нее малость выпивал... Оттуда и «алконавт» слово пошло. Верите в наш спорт, в победы на Олимпиадах. Не знаете, что все эти купленные машинами, дачами, заграничными поездками мальчики лишаются всего, если только проиграют. Короче, обмануть вас — раз плюнуть. Вы доверчивы. И в то же время не верите в то, во что надо верить. Вы ахнули от солженицынского ГУЛАГа. А сколько до него о том же самом писалось? Не верили. Не может быть! У Гитлера было, знаем, но это же Гитлер, говорите вы. А то, что Сталин сажал и губил не только евреев, а всех, без разбора, это в мозгу у вас не укладывалось. Не может быть! И опять же Плисецкая, Рихтер, Прокофьев, Шостакович, Эйзенштейн...

Нет, с ними трудно спорить. Они действительно знают что-то, чего не знаем мы. Но, кроме того, они считают, что и нас самих они знают

лучше, чем мы сами. Языка не одолели, газет не читают, им пересказывают их содержание, но суждения обо всем категорические, возражений не терпящие: Картер — тряпка, Штраус — молодец — все зависит от степени ненависти к советской системе.

Войнович опять смеется.

— Да поймите вы, Христа ради, что она заслужила эту ненависть. Вот для вас хуже всех Пиночет. Диктатор, видите ли... А мы только улыбаемся или злимся. Тоже мне диктатура. В день какого-то юбилея Неруды многотысячная демонстрация, антиправительственные митинги. И никто не разгоняет. Десятка два крикунов арестуют, а к вечеру они уже на свободе. Диктатура... А у нас. Попробуйте выйти на Красную площадь с лозунгом, пусть на нем только «Миру — мир» будет написано, сразу же схватят...

— Зачем же мне тогда в эту страну ехать? Даже без лозунга «Миру — мир»?

— А чтоб собственными глазами все увидеть!

И он поехал.

5

Поехал посмотреть собственными глазами. С туристской группой. На десять дней. Москва, Ленинград, Киев. Поехал к себе на родину. Со своим деревянным эмигрантским русским языком — «не так ли?», «взял поезд», «курьезно», «рояль», «коолит», «синема» — да и интонации французские, кверху в конце фразы и все время вырывающиеся «а бон», «д'аккор». В своих, попроще, стоптанных туфлях «Bally», пятилетней давности рубахе, но с вытачками, которые сразу же засекались москвичами, как и джинсы («в Москве 200 рублей пара, а все мальчишки носят, не удивишь»), а джинсы удивляли неизвестным еще покроем и пуговицами вместо эклер-молний. Ходил по Москве тут же разгаданный и разоблаченный, преимущественно молодежью, а те, что постарше, все больше расспрашивали про Польшу и Афганистан: «У нас в очередях всех этих строптивых братьев-соседей только осуждают. Мы их кормим, освобождаем, а они еще недовольны, бунтуют... В Ярославле, приехала тут одна, рассказывает, и по карточкам-то ничего не достанешь, яиц месяц уже не видели, а они, видишь, — свобода им нужна, профсоюзы какие-то...»

В Третьяковке (москвичи обожают эти Третьяковка, Маяковка, Отечка...) бесконечно долго держали возле «Утра стрелецкой казни» и «Княжны Таракановой»: посмотрите, как выписан шелк! — а о Кандинском та же экскурсоводка, милая и интеллигентная, испуганно сказала: «Нет, не в русле русского искусства. Народом не воспринимается». В Ленинграде, кроме Эрмитажа, Русского музея и маятника Фуко в Исаакиевском соборе, показали дом, где жил Достоевский, и Раскольников, старуха-процентщица. Но больше всего говорили о Пушкине, к месту и не к месту цитировали его стихи. В Петропавловском соборе, где похоронены цари, на вопрос о том, правда ли, что при вскрытии гробницы Александра I там ничего не обнаружили, сухо было отвечено: «Никакого вскрытия не было. Бабьи сплетни». При осмотре же тюремных казематов просто ничего не ответили, когда кто-то спросил: «А есть ли тут камеры тех, кто уже при советской власти был арестован? Министры Временного правительства, например?» Молодой человек, водивший экскурсии, просто сделал вид, что не расслышал вопроса.

От Киева, где он родился, матери городов русских, осталось какое-то странное, двойственное впечатление. И красив, ничего не скажешь, и фальшив одновременно. Нашел дом, в котором родился, на Владимирской, № 4, рядом с немыслимо чистенькой, точно к празднику приодетой, Андреевской церковью. Растреллиевский шедеврик знал по фотографиям, а родной дом никаких эмоций не вызывал. Дом как дом, кирпичный; четырехэтажный, некрасивый, зато балконы большие, широкие. На одном из них, на последнем этаже, по рассказам матери, он провел первые месяцы своей жизни. Ну, провел так провел, велика важность. Доски мраморной о том, что родился здесь французский писатель с русской фамилией, никогда не будет, хорошо, что к какому-то торжественному юбилею доской и, кажется, даже с портретом почтили дом, где жил Булгаков.

Зато море эмоций, впрочем, скорее отрицательных, вызвал победный мемориал над Днепром. Тяжеловесная Брунгильда немыслимых размеров с мечом и щитом в руках стояла на постаменте, в котором расположился музей военной славы. Но музей был закрыт на ремонт, и туристам показали скульптуры разных героев, очень мускулистых и решительных. Такие же бронзовые бицепсы, лятусы и могучие брюшные прессы показаны были на том месте, где тянулся когда-то Бабий Яр. Там расстреливали евреев в первые три дня оккупации. Несколько десятков тысяч. Но об этом ни слова, ни в надписях, ни в облике полуголых гладиаторов, которым впору было передушить весь конвой, в лучшем случае обратить их в бегство...

Вечером бродили по Крещатику, широкой, пустынной, обсаженной деревьями улице. Из любопытства заходили в продуктовые магазины — их три на Крещатике, называются «гастрономы», — у винных отделов происходили маленькие битвы. Тут же востроглазые, серолицые молодые люди приценивались к часам, транзисторам, к джинсам, предлагали иконы.

Я, нынешний, парижский, эту крещатицко-гастрономовскую молодежь прекрасно знаю. Неоднократно одаривал рублями или сам в долю входил. Знаю, кто из них падок на часы, кто на «Плэйбой» и футбольные журналы, кто торгует иконами якобы XVII века. Пьяницы. Есть и наркоманы: но за стаканчиком подкрашенной сиропом «столичной» («бабуля, чтоб не засекли, хватай стеклотару, да поживей!») могут и об израильских успехах поговорить, и о результатах последнего Кубка Европы, и об Иди Амине и Энтебской операции, и не только о цене (50 рублей), но и о содержании «Мастера и Маргариты». И меньше всего о девочках. У них в основном стреляют на пол-литру, у них же, если живет одна или с подругой, ее же «раздавливают», а утром просыпаются малость опухшие и опять же выцыганивают что-то «на поправку». Все они вроде где-то работают, или числятся на работе, или делают вид, что ищут ее, целый день чем-то, неясно чем, заняты, вечером же встречаются у «Гастронома» или на втором этаже «Мороженого», рядом, у входа в Пассаж, или напротив в так называемом «Ливерпуле», или в «Гроте», против улицы Ленина. И всегда есть что выпить и о чем перекинуться парой слов, над чем посмеяться, над чем поиздеваться. Над потерями, убытками и прочими прорехами советской власти в том числе. Милиция их всех знает, но в общем-то не очень трогает. Ни их, ни присоседившихся художников, киношников, ни так называемых письменников.

Если парижский гость к ним присоединится (а такое случалось-таки), то, несмотря на дикую утреннюю головную боль и какие-то другие последствия, случившиеся ночью («Ничего, парижанин, вытрем, не впервой...»), через неделю в Париже будет о чем рассказывать...

— Ну, как съездили? — все с той же тихой, иронической улыбкой спросил Войнович. — Понравилась родина?

— Споили, Владимир Николаевич, споили, как вы говорите, в доску. Что пили, не знаю, какие-то смеси, биомицин называли, разбавленный спирт, потом сказали, что мало и надо, чтоб я пошел в бар отеля «Днепро», где продают на валюту, и я пошел, русских, советских туда не пускали, только иностранцев, и я взял две бутылки коньяка, и мы пошли назад, и опять пили, и они пели про какого-то корнета Оболенского или что-то в этом роде, потом раздобыли гитару, под нее бывший капитан пускал слезу, вспомнив, что до смерти четыре шага. Потом схватили такси — набилось в него человек шесть или семь, — ездили, называется за «пополнением» в какой-то «паровозный резерв», где машинисты ночью обедают. И пьют, конечно. И мы пили. И пели во все горло ночью, полиция, милиция то есть, почему-то не останавливала. В общем, было весело. Но утром, утром...

— М-да... В вашем возрасте все это не очень-то...

— Да в том-то и дело, что забыл про возраст. А здесь, в Париже, все время помнишь... Даже карточка такая есть, «Вермей» называется. Пятьдесят процентов скидки в поезде... И называемся мы «труазьем аж» — третий возраст... А впереди что? Четвертый? Для нас, русских,

Сен-Женевьев-де-Буа, где Бунин, Мережковский, Мозжухин, дроздовцы, Галич...

— Вот видите, зря мы ругаем, значит, советскую власть. Поехали, помолодели.

А Максимов сказал:

— Что киевская молодежь? Вы б с писателями погуляли, лауреатами и Героями Соцтруда, это вам не по рублику или в бар за бутылкой коньяка, узнали б и «Арагви», и «Националь», «Метрополь», ЦДЛ. А повези вас в Тбилиси, ног бы не унесли, там бы и похоронили...

6

Да, поездка встряхнула. И основательно. Началось, конечно, с таможни. Молодые, кровь с молоком, таможенники так увлеклись «Париматчем» и «Плэйбоем» (для того и взяты были), что не обратили внимания на «Жизнь и судьбу» Гроссмана, засунутую среди советских изданий Шукшина, Распутина, Белова. Так и провез, осчастливив москвичей, — умудрялись за ночь прочесть все 600 страниц мельчайшего шрифта. Один же из молодых писателей, специализировавшийся на книгах о военной игре «Зарница» («Я туда под шумок и Киплинга протащил, и генерала Баден-Пауэля, организатора первых скаутов в англо-бурскую войну»), просто заплакал, когда Гроссман был ему оставлен на вечное пользование. «Ну чем я вас отблагодарю?» — и совал серебряные кавказские кинжалы, из моржовой кости эвенкские, у него была целая коллекция. А другой, журналист спортивной газеты, увидав набитую цветными фотографиями брошюру «Мундиаль-82», ахнул. «Вы знаете, сколько мне за нее дадут? Не поверите. Пару джинсов и Мандельштама в придачу, если уж очень буду жмотничать. Ну, а по вашим, парижским, меркам, какой у вас самый дорогой ресторан?» «Максим», «Распутин», «Царевич», «Шехерезада». «Так вот, втроем целый вечер просидеть... — И тут же засмеялся. — А если буду только на один вечер давать почитать, то с «Динамо», допустим, смогу выдоить на ремонт квартиры. Небольшой, правда, однокомнатной».

В Париж вернулся с полупустым чемоданчиком «дипломат». Все оставил в Москве. Дома всплеснули руками: «Клошар!» — стираная-перестираная ковбойка, штаны с пузырями на коленях, стоптанные сандалеты...

Пожалуй, больше всего, что поразило в Союзе, хотя и слыхал об этом неоднократно, — гипнотическая тяга ко всему западному. Не важно к чему, лишь бы заграничное. Не говоря уже о джинсах и рубахах — ручки, карандаши, зажигалки, темные очки (ого-го!), желтенькие бритвы (3 франка 5 штук), крем для бритья, зубная паста, щетки, гребешки, трусы-слипы (два мальчика из-за них чуть не передрались, пришлось уйти в ванную и снять свои, заменив их на цветастые «семейные» советские трусы), полиэтиленовые мешки «FNAC», баночки от йогурта и приведшие женщин просто в восторг зеленые губочки-терочки для мытья посуды. Все это было взято с собой — бери, бери, не представляешь, сколько счастья доставишь москвичам. И доставил!

Поразили и толпы людей, и не только мальчишек, стоящие на улице возле «Мерседеса», ожидающего своих хозяев неподалеку от «Националя» или у посольства. И это в стране ракет, летающих дальше всех и лучше всех. «А потому и гоняются наши бабы за зелеными губочками, что ракет не сосчитать, — сказал один. — А будь ракет поменьше, а губочек и губной помады побольше, не тряслись бы вы перед нами, плевали бы, как на какую-нибудь Гану или Нигерию, где в джунглях разве что обезьяны не душатся «Герленом»...» Впрочем, другой скептик заметил: «Так уж вы уверены, что ракеты эти летают и дальше, и лучше всех? Советское — это значит отличное! А мы говорим: это значит «шампанское». Тоже дерьмо... «Кстати, о шампанском. Пьют его в Союзе разве что на Новый год, во Дворце бракосочетаний да когда перед закрытием магазинов на винных полках ничего, кроме него, уже не остается. Пьют же... Но это тема для отдельной диссертации. Во всяком случае, не так, как французы. Те пусть и с утра, в кафе, перед работой, рюмочку-другую, маленькими глотками, не торопясь, что-то обсуждая, свое, местное, футбольный матч.

Завели как-то москвичи любознательного своего гостя («собственными глазами хочу, собственными ушами...») в элементарную столичную «стекляшку».

Обычной, вываливающейся на улицу, очереди за пивом еще не было. У прилавка, как объяснили хозяева-москвичи, в этот ранний час только те, кому срочно надо опохмелиться. Двое в ржавых спецовках, с виду водопроводчики, угрюмо разделывали у стойки воблу.

— Дать кец? — спросил один из них, заметив внимательный взгляд гостя.

Гость улыбнулся: «Не откажусь».

И завязалась беседа, та самая, из-за которой и приехал-то он к себе на родину.

— Вот эта рыбина, — говорил старший из водопроводчиков, — слыхал я, что тогда, в гражданскую, кроме нее и пшена, ничего не было. А сейчас — попробуй, достань. Тебе, хоть и русскому, но из тех краев, не понять. Купить ее не купишь, х..я, а достать можно. В обмен. Я одному хмырю кое-какие деталишки завалящие дал (тоже ни за какие деньги не достанешь), а он мне десяточек вот этой, золотистой. Вот так и живем...

Все это было сказано без признака улыбки, хмуро, зло.

Отсутствие улыбки особенно как-то поражало. В Париже, в метро, тоже не только целующиеся парочки, к концу дня на лицах серая усталость, здесь же, кроме усталости, какая-то внутренняя привычная озлобленность, затаенная готовность противостоять любой агрессии, а она поминутно вспыхивает где-то при входе или выходе. Нет, ни в метро, ни на улице, ни в магазинах улыбки нет, не увидишь.

— А чего лыбиться? — пожал плечами все тот же, старший. — Вору не до улыбок. А мы все воры, дорогой товарищ, или как там у вас, камрад. И этот, и этот, и этот. — У прилавка постепенно стали накапливаться любители пива. — А она, эта толстая у бочки, главная воровка. И все на нее в обиде, что не доливает, но понимают — иначе не проживешь. И советская власть наша, голубушка, тоже понимает. Воруй, только не зарывайся. Правильно я говорю, Антон?

— Точно, — кивнул Антон, помоложе. — Не воруют только футболисты да хоккеисты. Спекулянты, но не воры. Торгуют шмотками после загранки, зачем им воровать?

Тема эта, воровства и обмана, очень популярная в Союзе, получила свое развитие за отнюдь не пустым вечерним столом в одном из профессорских домов Москвы. Один из гостей, намазывая толстым слоем икру на ослепительно белый хрустящий хлеб, с улыбкой (только здесь, за столом, они стали появляться) сказал:

— Вот икра. Та самая, за которую девять грамм свинца замминистра рыбной промышленности получил. Откуда она здесь, на столе? И все прочее. Стол ведь ломится от яств. Где достали, дорогая наша хозяюшка, Мария Ивановна? В «Гастрономе» № 2, у Елисеева, на рынке? Черта с два! Женщина приносит. Есть такая женщина. Ворует и приносит... Так выпьем-ка за женщин!

Все выпили за женщин. Потом кто-то крикнул: «А за мужчин? Мне тут один завмаг, не-не, не скажу какой, два кило копченых угрей по блату отпустил». И все выпили за мужчин.

Слово взял хозяин.

— Вы здесь совсем недавно, дорогой Виктор Платонович, но, вероятно, обратили все же внимание на обилие лозунгов «Партия и народ едины». Почему-то над всеми въездами в туннели висят. Многие смеются над ними. А я не смеюсь. И вы не смейтесь. Да, да, едины! Притерлись друг к другу, ненавидят, острой ненавистью ненавидят, те этих, эти тех, но на данном этапе, как говорится, прожить друг без друга не могут. На черта колхliving колхознику или рабочему хваленая эта демократия, свобода? Да он ие знает, с чем ее едят. А тут все знает. Где и как толь достать и что принести секретарю райкома, чтоб полуторку на сутки выдурить, и хапуге начальнику милиции, чтоб наскандалившего спьяну пацана твоего освободил. А Партия — та самая, с большой буквы, честь и совесть народа, знает, что как платят, так и работают. Ну и пусть воруют, только не зарываются. Едины, едины...

Вот это да! Какая прелесть! Простой рабочий и заслуженный профессор закончили свои сентенции одними и теми же словами. Словами, точнейшим образом определившими сущность советской власти. Воруй, но не зарывайся! Вероятно, и в Кремле, за тесными их застольями, они, так называемые руководители, ведя пьяную беседу на ту или иную тему, говорят, осуждая кого-нибудь из потерявших стыд министров: «Знает же, падло, что на воровство сквозь пальцы смотрим, без него наш винтик не проживет, но знай же, гад, меру. Воруй, но не зарывайся!»

Очень все это было интересно, стоило ехать. Интересно вникать в то, как советская хозяйка умудряется печься, чтоб холодильник был не пуст, — одна другой звонит, что где выбросили. Забавно обнаруживать в букинистических магазинах Матисса, Модильяни, Сезанна, Леже, в обложках «Скира», но упаси Бог Сальвадора Дали — его только из-под прилавка. Интересно и не только печально все связанное с еврейским вопросом. Централизованный, насаждаемый сверху, антисемитизм и значительно меньший, чем можно было ожидать при такой легализированной директивности, охват им населения. И увлечение ивритом, древней историей, Библией определенной прослойки молодежи. И крестики на шее. И относительно малый процент наркоманов при алкоголизме, ставшем уже всенародным бедствием. Слыхал, правда, что в Афганистане солдаты, лишенные привычной водки или самогона, с лихвой переключились на гашиш...

Все это интересовало, удивляло, пугало, радовало, восхищало, отталкивало, возмущало, не укладывалось в голове...

Одно особенно никак не укладывалось. Свободные, еретические речи не только за профессорским столом, а в забегаловке, да еще с кем, с незнакомым иностранцем, с другой стороны — всеобщая запуганность. Что вы, разве можно? Звонить в Париж, поддерживать переписку с уехавшими евреями? Телефон выносят в соседнюю комнату, покрывают подушкой, хотя все знают, что подслушивать можно и из стоящей у подъезда машины. Ну, и излюбленнейшая тема, кто на кого стучит. «Не может быть, что на тебя не стучали. Исключено. Но кто, кто?» И всем, сидящим за столом, становится не по себе.

7

По части запуганности, или, скажем так, разновидности ее — лояльности по отношению к советской власти, цену которой знают поголовно все, — особенно поразил старый друг детства, еще парижского. Он со своими родителями вернулся в Россию тогда же, в пятнадцатом году. Отец его занимал какой-то крупный пост, но, как ни странно, умер естественной смертью, а сам Мика стал одним из ведущих журналистов страны. Из тех, кто без конца ездит по заграницам, участвует во всех конгрессах, съездах, обо всем, что происходит в мире, знает не только понаслышке.

На телефонный звонок ответил сдержанно: «А-а, очень рад, очень рад...», но особой радости в голосе не чувствовалось. Тем не менее пригласил к себе в гости. Жил он в одном из безликих высоких домов, что выросли на месте старых особнячков арбатских переулков. Квартира большая, светлая, с двумя балконами и видом на кремлевские башни. Обставлена со вкусом, с некоторой претензией — чувствовалось, что хозяин усердно листает заграничные архитектурные журналы.

Низкие столики, шарообразные, подсвеченные аквариумы с экзотическими рыбками, в углу, в японской вазе нечто вроде икебаны из веток и листьев, на стенах африканские маски, абстрактные полотна, на почетном месте, над камином (электрическим!), два пейзажа в золоченых рамах — Марке и Дерена...

Именно о них, как и где они ему достались, больше всего хотелось говорить в этот вечер хозяину. О них и о бутылке старого «амонтильадо» («Помнишь Эдгара По?»), привезенной им из Штатов, о маленькой японской сосенке «банзаи», которая, увы, гибнет, хотя из Японии ему присылают удобрения и по телефону дают советы — что поделаешь, климат не тот...

В прихожей, встретившись впервые через пятьдесят с чем-то лет, развели сначала руками, потом обнялись, ткнулись друг в друга щеками, потом отодвинулись, посмотрели опять друг на друга и, не сговорившись, одновременно произнесли протяжное «м-да-а»...

Полнотелая, добротная жена с бриллиантовыми серьгами в ушах сказала соответственно торжественному моменту:

— Встреча двух миров! — И серебристо рассмеялась. — Ну как, узнали бы друг друга на улице?

— А как же? — сказал гость. — По жгучим, рыжим кудрям...

— А я по золотым локонам, — ответил хозяин, и оба рассмеялись — один был лыс, другой сед.

Представили сыновей-близнецов, вежливых и безразличных. Они тут же исчезли, за столом выпили по рюмке водки и растворились навсегда. «Свои дела, свои жены, у каждого уже по второй, нет, не в нас, не в нас...»

До застолья ходили по квартире, рассматривали картины, негритянских божков, о каждом рассказывалась его история, потом рассматривали старые альбомы с фотографиями, поахали-поохали над одной, где три пятилетних мальчика, один кудрявый, другой златокудрый, а третий в шапочке, держатся за руки и внимательно ждут птички, которая должна вылететь.

— И кто б мог подумать! — вздохнул хозяин, перехватив готовую эту фразу у гостя. — Росли вместе, кормили уточек в пруду, лепили песочные бабки, смотрели «гиньоль» — и вот, пожалуйста, один маститый борзописец, другой французский бель-лэтр, а третий... Пал смертью храбрых наш Алик, до войны подававший надежды поэт, на фронте журналист.

— Он, кажется, в Новороссийске погиб, на той самой Малой земле, воспетой Брежневым?

— Да. В Новороссийске, — сухо сказал Мика, не подхватив брошенный ему мяч. В дальнейшем он тоже всячески избегал его.

После третьей или четвертой рюмки заговорили о войне. Собственно говоря, заговорил не Мика, а Вика, хотя Мика в 42-м году некоторое время был в Сталинграде корреспондентом «Известий», в довольно близких отношениях был с Еременко, командующим фронтом, с Чуйковым. Хорошо знал, встречался там с Симоновым, Гроссманом...

— Кстати, ты читал вторую часть его романа, арестованного в свое время? — спросил Вика. — Недавно на Западе вышел. «Жизнь и судьба» называется.

— Пытался, не пошел... И шрифт мелкий, глаза устают.

— То есть как это не пошел? — опешил гость. — Ты, сталинградец, из-за мелкого шрифта не прочитал лучшее, что написано о Сталинграде? Не понимаю.

— Прочту, прочту, не беспокойся, — замахал руками Мика, точно отбиваясь. — Вообще про войну как-то уже не очень хочется. Столько уже написано.

— Ну, а новоиспеченного лауреата, небось, все же читал? Может, и писал даже?

— Чего с журналистами не бывает! Мемуары Черчилля, де Голля, даже о стихотворных упражнениях великого кормчего пришлось писать.

— А корифея всех времен и народов? В журнале «Иберия» за тысяча восемьсот какой-то там год?

— Нет, — коротко отрезал Мика и посмотрел на жену. — Где ж твоя хваленая индейка, хозяйка?

Но малость выпивший гость не унимался.

— Поразили меня ваши водители троллейбусов и автобусов. Культ личности и тому подобное, а у них эта самая личность на самом видном месте, на ветровом стекле.

— Что ты хочешь, народ соскучился по настоящему хозяину.

— Ты это серьезно? А коллективизация, расправа с армией, ГУЛАГ, дело врачей — все это что, забыто?

— Ну как тебе сказать...

И так и не сказал, зазвонил телефон, потом вышел из кабинета с книгой в руках.

— Тут кое-какие мои статейки. О разных странах. О Южном полюсе даже. Бывал там, нет? А я был.

На первой странице размашистым почерком было написано:

«Другу детства, французскому писателю от советского журналиста. Ха-ха!

Мика».

Расставаясь, о месте новой встречи не условились. Не было даже сказано: «Будешь в Париже, заходи».

8

Тема Сталина развилась на следующий же день в крохотной каморке молодого — относительно молодого, сорок с чем-то лет — художника-диссидента, который упорно не желал считать себя таковым.

— Ну, какой я диссидент? Диссидент — это борец, протестант, а я вольный художник. Хочу делать то, что хочу, не спрашивая разрешения, вот и все...

Гость был в восторге от проведенного вечера, скорее даже ночи. Никаких зажженных, как вчера, свечей и подсвеченных золотых рыбок, и у жены в ушах никаких бриллиантов, ели на клеенке, пили не из хрусталя, а из кружек, и не заморское «амонтиладо», а нормальную водку. Стены были увешаны не Деренами и потугами на Поллака, а веселыми пародиями хозяина дома на Пикассо, Матисса, даже Джотто, и среди них два пейзажа вполне реалистические и жанровая сценка — очередь к московским такси.

О живописи говорили недолго, закончили рассматриванием альбома гитлеровских акварелей времен еще той войны, кто-то из фронтовиков подарил.

— У нас считается бездарностью, — говорил Эдик, аккуратно переворачивая страницы, — несостоявшийся архитектор, горе-художник, а я вам скажу: гений не гений, но профессионал. Акварель — самая сложная техника, а посмотрите на эти облака, на клубы дыма. Лихо сделано. И впечатляет даже.

Впечатляли, правда, не так клубы дыма над горящими французскими городами, как полиграфическое воспроизведение всего этого. Бумага, штрихи, акварельные потеки, пятно от капнувшего кофе. Полное ощущение оригинала, а не копии.

— И в геральдике разбирался, — добавил с усмешкой Вика, в детские еще годы придумавший и нарисовавший собственный герб. — Сталин в этой области был профаном, нет ничего бездарнее советских орденов и медалей.

Тут Эдик посмотрел на гостя не то что с печалью, а даже вроде осуждающе.

— Ах, дорогой Виктор Платонович, профан, профан... Ну, профан... Придумал всех этих Кутузовых и Суворовых, а с формой несколько подкачал. Развешивал в своей комнате вырезки из «Огонька», а Гитлер, может быть, оригиналы Кранаха. Один писал стихи о ландышах, другой делал пусть профессиональные — в этом может быть и разница — акварельки войны. Другое страшно. Не знаю, как с Гитлером в Германии, а у нас со Сталиным... Вы знаете, что я себе представил однажды? Высадись где-нибудь в Коктебеле, допустим, отец и учитель, как в свое время Наполеон с острова Эльбы. Сто дней. Помните? Французские газеты писали вначале: «Узурпатор высадился в бухте такой-то», а через сколько-то там дней: «Его Императорское Величество вступает в Париж!». Солдаты, посланные Бурбонами задержать его, падали на колени, рыдали. Маршал Ней — тот самый, любимец, а потом враг — тут же перешел на его сторону. А Наполеон шел и выходил первым: «Стреляйте в своего императора!». Так вот, я боюсь, что, случись такое сейчас со Сталиным, окажись он живым — допустим такую петрушку, — на руках внесли бы в Кремль.

Это был самый серьезный разговор в Москве. Да и не только в Москве. Вообще.

Сталин. Гитлер... Нужны ли параллели? Сопоставления? И тот и тот убийца. Но один говорил: ты лучше всех, красивее, умнее, чище, но тебе тесно. И мешают евреи. Уничтожим их, пойдем на Восток, где и земли, и недра, и люди, не умеющие этим распоряжаться. Победим и заживем! И во имя этого убивал евреев, коммунистов, всех, кто стоял на его пути. А другой? Убивал побольше первого и не только евреев и коммунистов (а их тоже), убивал всех, без разбора. Но в силу очень сложных обстоятельств стал главным врагом Гитлера. И победил его, единственного человека, которому поверил в 1939 году. Победил. Не считая трупов. А победителей, как известно, не судят. Поэтому не судили ни Молотова, ни Кагановича, ни Маленкова, у которых крови на руках побольше, чем у томящегося в тюрьме Шпандау старика Гесса, не судили и самого Сталина. Выгнали, правда, из мавзолея, но не развеяли прах тайно по ветру, а перенесли чуть ближе к кремлевской стене, и над могилой его красивый бюстик работы то ли Меркулова, то ли Томского, и каждое утро на плиту кладут утвержденные по списку одного из кремлевских учреждений три пиона, такие же, как у Калинина, Буденного, Ворошилова...

Всю ночь они говорили с Эдиком про Сталина.

— Ну что вы! — убеждал малость захмелевший Вика. — Сто дней, Эльба, Коктебель... Наполеон при всем этом был военным гением. И бесстрашным к тому же гением. Аркольский мост, чумные лазареты. Аустерлицы, Фридлянды, Ваграмы — это его победы. Победы военачальника. А Сталинград? Победа солдат, а не маршалов...

— Виктор Платонович, дорогой мой, поверьте мне, я не идеализирую этого убийцу, но именно он — пусть и перепугавшийся насмерть в первые дни войны, — именно он, не принимавший участия ни в одном Аустерлице, понял, что надо вернуть из лагеря Рокоссовского, именно он прогнал всех Ворошиловых и Буденных и оперся на Василевского, Жукова, тоже имевших кое-какое отношение к Сталинграду, не только солдаты... И вообще победил не только Гитлера, но и Рузвельта, Черчилля.

— Эдик, Эдик, речь не о том, кто кого победил, а о том, о чем вы сами заговорили. Победить победил, но какой ценой? И вы считаете, что все это забыто? И двадцать миллионов, которыми почему-то все время теперь хвастаются, и другие миллионы, о которых не вспоминают? А вы говорите — Коктебель, на руках в Кремль внесут...

Так и не разобрались в этом клубке. Спорили, доказывали, убеждали, приводили неопровержимые доказательства, а в конце концов, убедив со смехом друг друга, что во всем виноваты не только Сталин, Ленин, Маркс со своим Энгельсом, а может быть, вовсе Спартак или какой-нибудь неандертальский вождь, оба устали и уснули. Гостю постелили на диване, а утром он проснулся со странным ощущением: никогда у него такой интересной ночи не было.

9

Летя в самолете Москва — Париж, он подводил итоги. Что такое итог? Чему итог? Жизни? Взглядам? Идеям?

Никак не мог разобраться, что ж это такое — советские люди? И советская власть?

Советские люди... Кто? Мика, Эдик, водопроводчик в забегаловке, киевские пьяницы? Все всё понимают. Может быть, это и отличает советских людей от нас, западных? Но вот водопроводчик, протягивая тебе эту самую рыбину, воблу, говорит: жри, вкусная. Но ворованная. Кем, где и когда, неважно, но знай — это наша жизнь. А случись невероятное, напади снова, как в 41-м, агрессор, и он, этот самый водопроводчик, пойдет защищать эту жизнь, эту власть, которая не кормит его, а разрешает воровать — и за это он ей благодарен, — пойдет защищать, как защищали ее сталинградские солдаты.

А Мика, друг детства Мика? Не хочется даже о нем вспоминать. Раб. Раб, на котором и держится это рабовладельческое общество. Он защищает его сейчас, когда никакой войны нет, причем непонятно, от кого и что защищает, — западные его не читают, свои знают, что врет. И он это знает, немолодой, образованный, все понявший и на все закрывший глаза.

А его дети? Два появившихся и исчезнувших близнеца? Обоим за сорок, один инженер, другой что-то там по кибернетике. Оба, очевидно, не только в своей профессии разбираются, но папаше не нужно было в этот вечер их общество, и они исчезли. По двум-трем произнесенным ими фразам понятно, что циники. «В Доме кино показывают сегодня «Эммануэль» для советских импотентов. Не интересуешься, папа?» Ну его, Мику... Это приспособившаяся элита, это не лицо страны. Что же, Сахаров тогда? Нет, он некое оправдание, герой, взваливший на себя тяжесть всего происходящего. И Эдик — не лицо, хотя очень хотелось бы, чтоб именно он — веселый, умный, ироничный и где-то печальный — был лицом. Двести шестьдесят миллионов лиц, а ищешь одно... Чепуха!

Ну, а власть?

Власть есть власть. Насилие. Властью был Нерон, Кромвель, Петр Великий, перед которым преклонялся свободолюбивый Пушкин. Ромен Роллан, Уэллс, Фейхтвангер пытались найти какие-то оправдания в кровавом режиме Сталина. Аристократу Анри Барбюсу принадлежит изречение «Сталин — это Ленин сегодня». У ироничного, скептичного Бернарда Шоу в столовой, на самом видном месте, фотографии, очевидно, подаренные, Ибсена, Ганди и... Ленина, Сталина, Дзержинского. Андре Жид, путешествуя по Союзу, многим искренне восторгался, и в книге его больше восторгов, чем осуждений. Но осуждения были, за это и оплеван был Михаилом Кольцовым, но никак не мог понять: «Ведь я искал хорошее в этой стране, хорошее, хорошее...»

Нынешний парижский гость не искал ни хорошего, ни плохого. Вглядывался, впитывал, тонул во взаимных словоизлияниях, пытался разобраться в противоречиях. О власти кое-что знал, но, чтоб понять ее до конца, говорили ему, да еще такую, надо малость под ней пожить. И все же ему, десятидневному туристу, удалось уловить одну, тщательно скрываемую черту этой власти. Уловить и понять. Понять, что советская власть, несмотря на свои ракеты и танки, если не слаба, то труслива. И понял это на шереметьевской таможне.

Сначала один, потом два, наконец четыре таможенника заинтересовались полупустым чемоданом «дипломат». Возможно, удивил их внешний вид иностранца — ковбоечка, тапочки, а тут еще полупустой чемоданчик. Рассматривали со всех сторон, выпотрошили, проверили зубную щетку, гребешок, пасту, потом унесли пустой чемоданчик и через полчаса, явно разочарованные, вернули обратно.

— Что вы искали? — не удержался и спросил покидавший страну гость. — Атомную бомбу, гашиш?

— Чего надо, того и искали! — буркнул в ответ старший из таможенников.

— А может, литературу, микрофильмы? — И, чувствуя, что зарывается, поставил все же точку над i: — Ох, и боитесь вы печатного слова.

— Мы ничего не боимся, ясно?

Таможенник сказал это громко и четко, но в этом ответе слышен был истинный ответ власти, ответ, который она сама от себя пытается скрыть: да, боимся.

Это было последнее впечатление от страны, от родины, с которой ему так хотелось познакомиться.

Слава Богу, всего этого не было, все это придумано. Игра. Семья вернулась в Россию. И Вика не кончал парижский лицей, очевидно, Мишле, лучший из парижских, и не писал под Пруста (Гамсун и Хемингуэй, такое странное сочетание ожидало его в жизни), и не воевал в маки, и с москвичами и киевлянами встречи были иные.

Да, слава Богу. Хотя, возможно, даже вероятнее всего, у оставшегося в Париже мальчика была бы теперь собственная квартира, а не снимаемая у месье Бретаньона за все растущую плату. Не исключено, что и маленький домик с садиком где-нибудь на берегу речки. А может, и на Лазурном берегу. И собственная яхта.

И мама покоилась бы на тихом, ухоженном русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, а не на Байковом, в Киеве, куда никогда уже не придешь и не положишь букетика ландышей. И Коля был бы жив...

Вариаций много, не счесть — погибнуть в маки, сложить голову под Гвадалахарой, наконец, как многие из русских, вернуться в Советский Союз и угодить в лагерь... Но мы в своей игре выбрали другой, менее трагический путь и тем не менее говорим: слава Богу! Слава Богу. Почему? Но не будем забегать вперед.

10

Итак, вернулись в Россию.

Последние годы царского режима, революция, гражданская война, нэп, коллективизация, индустриализация, тридцать седьмой год...

Вот тут могло кое-что случиться. Но не случилось. А очень и очень могло.

Поселилось семейство, вернувшись из Парижа, на пятом этаже большого шестиэтажного дома, принадлежавшего некоему Гугелю. Никто никогда его не видал, остались после него только швейцар Герасим с женой, лифтершей Катей, и детьми — от них многое что зависело в те нелегкие годы, — но дом сам по себе был прекрасен. Квартиры удобные, большие, по пять, шесть комнат, с наборным паркетом, лестница мраморная, широкая, перила прекрасно отполированные (не без участия наших животов и задниц, чемпионы этого спорта съезжали вниз «по-амазонски»), входные двери из ромбовидного зеркального стекла, ну и лифт, в основном, естественно, не работавший из-за перебоев с электричеством. Но, когда работал, знаменит был тем, что лифтерша Катя за определенную мзду поднимала на нем наших котов, которым после прогулки лень было подниматься по ступенькам.

Шестикомнатность гугельских квартир была в свое время, конечно, плюсом: столовая, даже с камином, гостиная, спальни, детская, кабинет, с незабываемого же семнадцатого года — минусом.

Появилось такое понятие, как уплотнение, такое слово, как реквизиция. Само собой разумеется, что шесть комнат для трех женщин (мама, бабушка и тетка) с ребенком (Коли уже не было) — роскошь. И уплотнили. Не очень помню, но жили у нас сначала немец, потом француз, когда же оккупантов изгнали, появились в нашем доме — по порядку — двое симпатичных студентов-медиков, его звали Файвель Давыдович, ее — Бронислава Викторовна. Потом на их месте, в бывшем мамином кабинете, поселился лихой осетин, как он утверждал, из Дикой дивизии. К нему приходили женщины. Как-то одну из них он обозвал словом, которое я не понял, но бабушка мне объяснила, что это то же самое, что институтка. В моменты безденежья он приносил мне серебряные кавказские кинжалы и без особой надежды спрашивал, не купит ли кто-нибудь из моих товарищей. Потом жильцами, в других уже комнатах, стали люди, которых называли чекистами. Семейство Уваровых с малышом Юрочкой, обожаемым всеми. Юрочка Саольц-Ваольц, называл он себя, что означало Юрий Александрович Уваров. За ними — они куда-то уехали — муж и жена Кушниры, наименее общительные из всех. И наконец, Сидельниковы — он сотрудник милиции, с братьями, женой и отцом. В угловой комнате кроме того жили двое библиотекарей — супруги Балики.

Из шести комнат за нами остались в результате всех уплотнений только две — бывшая гостиная (в ней бабушка на широкой, орехового дерева, кровати, мама на синем диванчике и я на раскладушке, именовавшейся тогда «раскидачкой»), и тети Сонина комната, она при всем своем демократизме любила одиночество.

Вот в двух словах история одного из самых страшных явлений, принесенных новой властью, — коммунальных квартир, в просторечьи коммуналок. О них, родивших в народе лютую ненависть и зависть к соседям, написано столько, что нет смысла повторять.

Мне до того самого счастливого дня, когда выдали ордер на отдельную квартиру (фронтовик, писатель, лауреат, коммунист!), суждено было жить, как и всем нормальным людям, в коммуналках. Не самых страшных. Но с полдюжиной примусов на кухне, с отдельными лампочками над кухонными столами и в уборной (посмотрев на гроздь висевших в передней лампочек, мой друг сказал: «Гроздья гнева»), с горой корыт, тазов и прочего хлама в коридорах, с неспускающейся водой в уборных.

Все это было неудобно, хотя и привычно (другой жизни мальчишки моего возраста не знали), но в случае с моей семьей сыграло, думаю, весьма положительную роль.

Сам по себе напрашивающийся вопрос: почему семейство «бывших», даже дворян, к тому же переписывающихся со Швейцарией — мамина сестра спокон веков там жила, — почему это семейство не репрессировали? Ни в первые годы революции, ни в последующие тридцать седьмые. Почему?

Ответ может быть только один — благодаря соседям. Тем самым, чекистским. Мать их всех лечила. И маленького Юрочку Саольц-Ваольца, и его папу, и маму, и вечно чем-то болевшую жену Кушнира, и все семейство Сидельниковых. И делала это всегда с охотой, потому что была хорошим врачом и любила и умела лечить людей. А люди часто болеют. И любят, чтоб их лечили. Без поликлиники, дома — это особенно любят. И банки тут же ставят, на собственной кровати.

И бабушку все любили, Алину Антоновну. Ее просто нельзя было не любить. И чекисты — не знаю, чем они занимались в служебное время, — не были исключением, тоже любили.

Трудно как-то поверить, что в жестокий наш век любовь могла спасти людей, но другого объяснения не нахожу.

И тут в нашей игре «а если бы» я делаю намеренный пропуск. Могло не быть в нашей квартире № 17 по бывшей Кузнечной, позднее Пролетарской, позднее Горького, улице никаких Уваровых, Кушниров и Сидельниковых или быть-то были, но в силу каких-то причин невзлюбили бы они Зинаиду Николаевну и Алину Антоновну, а особенно Софью Николаевну, все время протестовавшую против незаконных увольнений и арестов, и жизненный путь трех женщин и одного молодого человека круто изменился бы. Но не мне, не испробовавшему тюремной похлебки, а по-русски баланды, не мне после Шаламова и Солженицына рассказывать об этих не случившихся, но возможных днях. Поэтому и пропуск.

Крутой перелом в жизни трех пожилых женщин и их внука, племянника и сына мог произойти в любой момент знаменательной четверти века, отделяющей Великую Октябрьскую от Великой Отечественной. Но не произошел. Семейство без особых треволнений, безбедно прожило эти двадцать пять лет. Уточним — безбедно, это значит без бед, а не без бедности. О каком достатке может идти речь, когда мать ежедневно топала босиком по Протасову Яру и Дарданеллам* участковым врачом, тетка — консультант-библиограф, бабушка — домохозяйка, а чадо больше училось, чем работало, а когда работало — старшим рабочим на «Вокзалстрое», — тоже получало гроши. К счастью, оно тогда еще не пило, ходило в юнгштурмовке и тапочках (первый костюм был сшит к защите диплома, т. е. в 25-летнем возрасте), и только часы были у него заграничные: бабушке дважды (в 1924-м и 1928-м гг.) удалось съездить к младшей дочери в Лозанну — невероятно, но факт.

Ну, какие переломы могли произойти в эту эпоху? Разве что ноги при восхождении на Эльбрус. Даже получи он за свой проект библиотеки Академии наук в Киеве отличную отметку, а не скучную тройку (никаких капителей, пилястр и фронтонов — мы не предатели!) — ничего особенно не изменилось бы в судьбе чертежника какого-нибудь «Киевпроекта». Даже успехи в области театрального искусства. А может быть?.. Может быть, понравься молодой, говорят, способный, но не слишком советский внешностью актер Константину Сергеевичу Станиславскому, и все пошло бы по-другому? А ведь был такой случай, был...

Веселая шайка верящих в свою звезду, только что окончивших студию при театре Русской драмы (теперь он называется почему-то имени Леси Украинки) гениев ринулась в Москву. В Москву, в Москву, в Москву! В театральную Мекку! Там Художественный театр, там живой еще Станиславский, там его студия, предел мечтаний... Повезло только одному Ионе Локштанову. Он был принят в святая святых. И как верный друг сказал:

— Клянусь тебе, я сведу тебя со Станиславским.

И клятву сдержал. И историческая, как мы тогда без тени юмора считали, встреча состоялась.

---

* Дарданеллы — нет, не памятный по первой войне пролив, отделяющий Мраморное от Эгейского моря, а узкая и скользкая тропинка между двумя «глинищами» на Демиевке, хулиганской окраине Киева (позднее — Сталинка).

Почему-то запись о ней, сделанная в тот же вечер 12 июля 1938 года, сохранилась. Можно было бы ее привести, но особыми литературными достоинствами она не отличалась, да и знакомил я уже с ней читателя лет десять тому назад, но сейчас, готовясь к небольшому скачку в сторону, позволю себе все же ненадолго на этом событии остановиться.

Двое нахальных, самоуверенных молодых человека отняли у немолодого и всегда чем-то больного Константина Сергеевича два часа его драгоценного времени. Преподнесли ему коронный свой номер — Хлестакова (Ионя подыгрывал Осипа, городничего и трактирного слугу в отрывке из второго акта), парный этюд (с вспышками темперамента!) и специально написанный самим испытуемым рассказик, выданный за сочинение никогда не существовавшего литовского писателя Скочиляса («Как, как? — переспросил К. С., а потом, вроде вспомнив, кивнул: — Да-да, знаю...»)

Без конца обсуждалось потом, насколько успешно прошел показ. Да-да, он сказал: «С вашим Хлестаковым можно выступать на профессиональной сцене», — такой похвалы из уст самого мэтра предостаточно, — да, но тут же он придрался к маленьким «правдочкам», из которых рождается большая. Было спрошено, например, какой номер телефона я набирал в этюде. Я выпалил какой-то. «Нет-нет, — сказал К. С., — я внимательно следил за вашим пальцем, вы набирали только ноль». Господи, сколько вокруг этого ноля было потом разговору! «Холодный, бесчувственный старик, плевать ему на эмоции, за пальцем, видишь ли, следит...» «Да, но ты помнишь, что во время твоего темпераментного этюда он стянул скатерть со стола, значит, не только пальцы, но и эмоции».

Но кончился показ вовсе не триумфом. Было сказано:

— Вот осенью состоится конкурс в студию. Считайте, что экзамен вы сдали, а по конкурсу посмотрим.

Я считал это провалом, Ионя и все друзья — победой. Но случилось так, что Константин Сергеевич до конкурса не дожил, умер через два месяца после «исторического» свидания. Друзья подтрунивали надо мной: «Просто, увидев тебя, понял, что дальше в этом мире ему делать нечего, и тихо ушел из жизни. Гордись!»

Хорошо, ну а приняли бы в святая святых? До этого была воля вольная: «Тайна Нельской башни», «Парижские нищие», «За океаном» — страсти, страсти! — даже до сих пор заливаюсь краской! — Вронский... Изображалось все это, правда, на захудалых клубных сценах всяких там Гайсинов, Гайворонов и Немировых, но все же размах — Скриб, Гордин, Дюма, Толстой, даже Шейнин. А тут, под придирчивым глазом старика «третий месяц изображай будильник», как жаловался один из любимейших учеников его Гошка Рево.

И все же... Отзвонив положенное количество месяцев, получил бы путевку в жизнь. И тут я холодею.

В армию не взяли б, была б броня (впрочем, в Ростове она тоже была, но как-то отделался), выступал бы с концертами в воинских частях и госпиталях. (В июле 41-го, до мобилизации, узнал я, что это такое. Стыдобушка. На второй же день войны, выступая перед новобранцами, так волновался, что забыл последнее четверостишие стихов Николая Асеева — первые стихи о войне в «Правде» — и тут же, от того же волнения, сам сочинил какой-то набор слов, и ничего, сошло.)

Но это война, фронтовые бригады, где-то что-то все-таки рвется, стреляет, а ты патриотическим глаголом жжешь сердце. Ну а потом?

Мир. На подмостках ерш из абрау-дюрсо с Софроновым, Розов или Миша Рощин — уже радость. Великий МХАТ, качалово-москвинский МХАТ решает проблемы не мироздания и неба в алмазах, а сталеварения. Малый наперегонки с Вахтанговым, изнывая от благодарности к автору, воплощает на сцене героев Малой земли и целины, «Современник» тихо угасает, «Таганка» на волоске, «Малая Бронная» пока еще с Эфросом, но «ще не вечір»...

11

...Ресторан для избранных на улице Горького. Прибежище Счастливцевых и Несчастливцевых. Пропивается получка или премиальные «Мосфильма». Двоими, сидящими в углу за маленьким столиком.

— Вот, казалось бы, радоваться только, сижу в ВТО с любимым другом, пью виски, закусываю креветками, жена в отъезде, дети, слава Богу, не звонят, где-то тоже загорают, читаю себе Тютчева и Цветаеву, новая пластинка вот вышла, из Америки привезли первый том десятитомного Булгакова и парижскую запись последнего концерта Роллингов. Что еще надо, живи и радуйся... И не получается. На душе, как в той песенке «Завтра Новый год», а настроение, черт его знает почему, е....е в... подмышку.

— Тоша, Тоша, ты это обо мне. Булгакова, правда, никто не привез, но жена и дети, как и у тебя, в отъезде, тишь да гладь, а настроение тоже «в подмышку». И из-за чего? Из-за кого, точнее.

— Сын, что ли, спился?

— Да нет, из-за другого алкаша. Талантливого нашего, умного, пусть хитрого, всех и все знающего, но все же пьяницы, значит, не самого последнего человека.

— Знаешь что? Не будем о нем. Он все же дело делает. И людям как-то помогает. А то, что подписывает какие-то ненужные письма, что ж, это плата за то, что дают ему все же дело делать... Погрозим ему пальцем — поймет, поверь мне, — и простим. По-христиански... Давай еще по одной.

— Давай... Знаешь, Тоша, за что выпьем? За то, чтоб никогда нам с тобой не светила звездочка Героя Соцтруда. Хватит с нас народных СССР.

— Хватит...

— Хватит...

— С гаком?

— С гаком! Закажем еще креветок?

— А может, раков? С пивом. У них сегодня пильзенское, настоящее.

— Раков так раков. Идет. Э-э, мэтр! Кстати, о птичках, о народных. Ведь не сыграй я Железного Феликса, так и сидел бы в заслуженных. Плевали мы на это, скажешь ты. Плевать-то плевали, а сыграть сыграли...

— А я Алексей Максимовича, Викуля, а Коля Губенко Керенского, кристальный Вася Шукшин, напялив на голову лысый парик, маршала Конева, а Кваша Карла Маркса, пробривал себе лоб, а друг твой Кеша — Ильича. Попробуй отказаться от таких ролей. Не дорос, мол. Знаем, знаем мы эти ваши штучки — и в книжечку запишут, «Личное дело» называется: «Идеологически не выдержан, политически не развит, ссылаясь на объективные причины, отказался от роли...», и пошло, и пошло...

— Так не отказался же — вот в чем ужас. И сыграл-то плохо, стыдно вспомнить. И автора пьесы презирал, а сыграл. А в награду, пожалуйста, почетное звание, со всеми дополнительными благами, мать их...

— Не казнись, все мы такие. А чтоб Героя получить, мало сыграть мудака в пьесе говнюка, надо и письмишко это самое подписать. Вот ведь и бывший властитель дум Эуген тоже подписал. Вроде оппозиционер. Не ахти какой, но все же...

— Не говори мне о нем, сплошное огорчение. Никогда ж не подписывал. Балансировал, и нашим, и вашим хотел, но подписывать не подписывал. А тут гневно сжимает кулаки. Оккупанты, видите ли, не жалеют никого — ни стариков, ни женщин, ни детей. Ни палестинских, ни ливанских. Остановить убийц! Прекратить провокации в Ливане! И не стыдно...

— Не стыдно. Будем рады уже тому, что о братской руке, протянутой Афганистану, стихов хоть не пишет.

— Ну что ж, давай радоваться.

— Давай!

— Давай!

И в этот момент появляется тот самый Эуген.

— А-а... Представителям наипервейшего в мире искусства наше нижайшее. Пришипились в уголочки и чьи-то косточки перемывают. Можно к вам?

И что ж? Представители наипервейшего говорят «нет»? Черта с два! В лучшем случае скажут: «Ваши, кстати, перемывали, но можем и чьи-нибудь еще. На ваше усмотрение». — И подвинутся, и закажут еще пива. И соответствующие косточки для перемывки найдутся. И усердно примутся за дело.

Сгустил? Сгустил.

Зачем? Ведь не только же в ВТО сидят. И не только Железного Феликса, юного Маркса, начинающего адвоката Владимира Ульянова играют. Не только Ленина, но и Гамлета, Порфирия Петровича сыграл Смоктуновский. И во МХАТе не только «Сталевары», но и Булгаков, Распутин, Володин. И в кино давно уже нет «Клятв», «Третьих ударов», «Падений Берлинов».

Зачем сгущать? Зачем подслушивать в ВТО именно этот разговор, а не другой, где пьют и поздравляют молодого актера с Протасовым или заливающуюся краской девушку с Ниной Заречной?

А потому что нет новой Нины Заречной! А та, чеховская, дожила до наших дней только потому, что автор не дожил. А дотяни он, победив свою чахотку, гнить бы его косточкам на Колыме. И никаких «Чаек». Даже с занавеса содрали бы.

Да, но...

Стоп!

Дальше не могу. Боже мой, какое счастье, что чаша сия миновала меня. Ни я, ни Театр ничего от этого не потеряли. Ни о каком Народном не могло быть и речи. И никаких Железных Феликсов. (Как ни странно, но в юные актерские годы свои мечтал сыграть не только Хлестакова или Раскольникова, но почему-то и... Якова Свердлова. Шел в те годы фильм о нем. Такой себе интеллигент-революционер в пенсне. Как раз для меня, худенький, небольшого росточка.) Нет, играл бы вторые, третьи роли, преимущественно отрицательные, белогвардейцев, интеллигентных хлюпиков. В газетах, какой-нибудь «Сызранской правде», хвалили бы, допустим, может, и в «Советской культуре» появилось бы: «Отлично справился с нелегкой ролью ренегата-отщепенца заслуженный артист Башкирской АССР такой-то». И все бы поздравляли.

А ночью, после спектакля, ни в каком не «Арагви», а в захудалой сызранской или краснодарской «Волне», без всяких креветок глушили бы «Московскую», багровея от градусов и обиды.

— Читал распределение? Каренину-то сисястой своей мадам дал. А?

— А ты сомневался? Думал, твоей Шуре?

— Да, но мадам уже за полста. Постыдился бы...

— Не по его воле. По ее. Если б по его, то играть бы Вознесенской, сам знаешь.

— Вознесенская уже забыта. Он теперь за этой, как ее? Новенькая, в букольках.

— Хе-хе... Новенькую в букольках Карлинский закадрил.

— Все! Не видать ему теперь Фердинанда.

— Не беспокойся, будет и Фердинанд. Он уже в партию подал...

— Жорка! Побойся Бога, он и Гегеля от Гоголя не отличит.

— Зато «Спидолу» нашему Фигаро по блату достал.

И пошло, и пошло... До утра.

Нет, слава Всевышнему, миновала меня сия чаша. Сыграл на прощание князя Кутайсова в «Генералиссимусе Суворове» — три слова под занавес, в последнем акте — и командиром взвода в Запасной саперный батальон — с места песню, шагом марш по маршруту, указанному на карте. Закончился он в селе Пичуга, Сталинградской области. И всю зиму учил бойцов чему-то не очень ясному тебе самому. Все же лучше, чем читать с эстрады стихи Николая Асеева.

12

Война!

Опасность на каждом шагу. Снаряды, бомбы, тупица начальник, нерадивые подчиненные, вор старшина. Да и ты сам. Выпей я, например, больше или меньше после того, как попался на глаза пьяному начальнику штаба.

— Э-э, инженер! Давай-ка сюда! Голую Долину надо кровь из носу взять, ясно? Собирай мальчиков — по кустам расползлись — и вперед, за Родину, за Сталина! Возьмешь — «Красное Знамя», не возьмешь — сдавай партбилет, ясно? Выполняй!

Тут-то и заскочил к Ваньке Фищенко, разведчику, ахнул кружку, стало веселее. Мальчиков собрал человек пятнадцать, пистолет в руку — и «За мной!» Кончилось все в медсанбате. А возьми я эту чертову Долину?

Вариантов не счесть. В первый же день, как столкнулся с немцами, — май сорок второго, тимошенковское наступление под Харьковом. Десяток сопливых саперов с трехлинейками образца 1891/30 г.г. против четырех танков с черными крестами. «Справа по одному к роще «Огурец»!» И побежали. Знаменитый Нурми мог мне позавидовать. А не вспомни я этот овощ, и подавили бы нас гусеницами... Или «Хенде хох!» — лагерь, потом другой, свой, — читай солженицынский «ГУЛАГ».

Одно знаю — ни Александром Матросовым, ни Гастелло не был бы, окажись я даже летчиком. Все было куда банальнее. Начал младшим лейтенантом, кончил капитаном. В Люблине. И тоже не слишком героически.

На этот раз было пиво. В подвальчике бойцы расстреляли бочки, и пиво выносили ведрами. Мы с начфином присоединились. «Эй, танкисты, холодненького!» В Люблин въехал на броне «тридцатьчетверки». Не дойдя до Кшаковского Пшедместья, центра, стала. Чего, спрашивается? Фрицев испугались? Железные, а я из мяса, за мной! И с пистолетом в руке покатился по мостовой. Снайпер! А окажись он попроворнее — и лежать бы мне в Люблине на кладбище воинов-освободителей...

Этим лихим эпизодом и закончилась военная карьера замкомбата 88-го Гвардейского саперного батальона.

Госпиталь. Демобилизация. Инвалид II группы. Карточки, распределители, отоваривания, семья...

Нормальный человек женится лет двадцати. Витя, мой пасынок, двадцати семи. Сделай я этот опрометчивый шаг в его возрасте, и к моменту демобилизации появившийся еще до войны пацан ходил бы уже в школу.

Многие женятся на своих сокурсницах. Воины иной раз на госпитальных сестричках. Некоторые отбивают жен у ближайших друзей. Или у сотрудников по конструкторскому бюро.

И могли же планеты расположиться так, что отбил бы я жену, например, у писателя Н. Ну зачем ему, старому и плюгавому, такая красивая и элегантная? Руку и сердце!

Через полгода выясняется, что никаких гонораров не хватит. «Неужели тебе приятно, если твоя жена будет ходить мымрой?» Вот и ходит не мымрой, даже Скобцева завидует. А гонорары тают. Научпоповскую халтуру взял, не спасает. К счастью, к концу года ушла к Евтушенко.

Но могла подвернуться и другая. Верная подруга. Все, что ты ни напишешь, прекрасно. Завидует машинисткам, которые первые знакомятся с текстом. И к внешности твоей относится с почтением и уважением. Гостей обожает. И все бы хорошо, не втемяшь она себе в голову, что алкоголь разрушает семью. В отсутствие мужа отодвигает диваны и кушетки в поисках недопитой четвертинки. Найдя, разбавляет водой. Дура, главного загашника-то ей все равно не найти...

Третий, четвертый, сотый вариант — один из сложнейших, как бы они, эти мымры и воительницы с алкоголем, сочетались бы с Зинаидой Николаевной, но обо всем этом писать как-то лень, утонешь в семейных мелочах и конфликтах, отцах и детях, дедушках и внучках — ну его, не моя это специальность, не лежит к этому сердце.

За всю свою жизнь я знал только две семьи душа в душу. Одна в Москве, другая в Киеве. Ни разу не изменили друг другу, всегда есть о чем поговорить, поделиться мыслями, друг без друга дня прожить не могут — тоскуют. Пожалуй, даже для соцреализма эти две здоровые советские семьи показались бы лакировкой. «Нет-нет, — сказал бы редактор, — переборщили. Ну неужели Сергей Львович ваш хоть на минутку не может увлечься какой-нибудь актрисулей? Во время съемок, экспедиции, выпив лишнего? Потом пусть раскается, повинится, но вашей же идиллии никто не поверит. Очень прошу, переделайте. Лично для меня...» Но я не переделаю, напишу, как есть, в минуту ностальгического криза. Лишь бы сами мои герои не обиделись: неужели мы такие зануды?

Итак, минуем эту тему. Моя жизнь сложилась иначе и пока еще не закончилась. Подведу итоги не сейчас под женевской сосенкой, а потом в райских кущах — надо же чем-то там заниматься, а то подохнешь от скуки.

13

Писательская карьера, судьба...

О'Генри первый свой рассказ написал в тюрьме, на какой-то конкурс, в подарок своему сыну. Было ему сорок лет. Сервантесу пятьдесят пять, когда он начал своего «Дон-Кихота» в севильской тюрьме. Стивенсон выпустил первую книжку про какое-то Пентлиандское восстание 1666 года пятнадцатилетним мальчиком и только через восемнадцать лет прогремел на весь мир «Островом сокровищ». Александр Дюма начал с никем не замеченного водевиля «Охота и любовь» и лишь в сорок два года воздвиг памятник самому себе «Тремя мушкетерами». Виллергие, Лорд Р'Оон, Орас де Сент-Обен, Альфред Кудре, Эжен Мориссо, граф Алекс. де Б.— псевдонимы посредственного очеркиста, ставшего впоследствии великим Бальзаком. Математик, профессор Оксфордского университета Чарльз Латуидж Доджсон писал между делом, чтоб позабавить свою племянницу, и превратился в Льюиса Кэролла, автора переведенной на все языки мира «Алисы в стране чудес». Мопассана без конца муштровал и не выпускал на свет божий Флобер. Бабеля тиранил Горький.

Мне повезло — я попал в руки Владимира Борисовича Александрова. Но до этого была цепь довольно забавных взаимопереплетающихся событий.

— Как вам нравится? — жаловалась моя строгая тетка знакомым.— Керосин стоит бешеные деньги, а мой племянник завел керосиновую лампу со стеклом: при коптилке, видите ли, ему неудобно,— и целыми вечерами пишет свое гениальное произведение.

Знакомые сочувствовали, а со временем, когда «гениальное» это произведение увидело свет, попробуй они хоть что-нибудь критическое по поводу него сказать — тетка горло перегрызла бы.

Так или иначе, но оно было закончено, перепечатано, в Киеве отвергнуто всеми издательствами и отправлено в Москву Ясену Свету, пусть там покажет кому надо. Но в руки оно ему попало не сразу и не прямо.

Откатимся года на два назад. Баку, госпиталь. Приходит на мое имя открытка. Написана она некой незнакомой мне дамой по фамилии Соловейчик. Из Дербента. Там, на вокзале, некий раненый, услышав, что она едет в Баку, попросил зайти в эвакогоспиталь номер такой-то в Черном городе и передать привет от такого-то. «В Баку я не поехала,— заканчивает она свою открытку,— фамилию раненого забыла, но привет передаю. Желаю скорого выздоровления. Мира Соловейчик».

Прошло два года.

Как выяснилось, на бандероли с рукописью я по ошибке написал не «ул. Веснина, 28, кв. 7», а «кв. 17» (до войны я жил в 17-й квартире). И надо же, чтоб в том же самом доме, где жил Ясен, в 17-й квартире жила та самая Мира Соловейчик, к тому же имеющая какое-то отношение к литературе. «А не лежал ли он когда-нибудь в Баку, ваш Некрасов?» — спросила она, занеся бандероль. «Лежал»,— ответил Свет, и с этого момента не он, а она, дама энергичная, с литературными связями, взяла шефство над рукописью.

Побегать пришлось ей много, безуспешно, везде отказы, пока злополучное произведение не попало в руки того самого, ныне, увы, покойного, Владимира Борисовича Александрова, критика, одного из образованнейших людей на свете, заядлого холостяка, народника и денди одновременно, знатока утонченных блюд, а заодно и напитков, что нас особенно сблизило.

Дальше все пошло как по маслу. Твардовский, Вишневский, «Знамя», растерянность официальной критики, Сталинская премия, успех, издания и переиздания, деньги...

Увы, почти никого из тех, кто стоял у моей литературной колыбели, не осталось в живых. Ни Твардовского, ни Вишневского, ни Толи Тарасенкова и Туси Разумовской, первых редакторов по «Знамени», ни Игоря Александровича Саца, «личного» моего редактора и друга, ни Миры Соловейчик, ни Владимира Борисовича, которому я обязан не только тем, что он меня «открыл», но и тем, что, открыв, приобщил к тому, чем так щедро одарила его природа,— к его уму, культуре, благородству и порядочности. Господи, как мало осталось людей с такими задатками...

Итак, волею судеб, Зевеса или расположения светил мечта жизни осуществилась. Пошел в тетку — та в десятилетнем еще возрасте писала в своем лозаннском дневнике: «Одна мечта — стать писательницей!» Мечта в какой-то степени осуществилась — ее воспоминания, «Минувшее», опубликованные в 1963 году «Новым миром» (ей было тогда 82 года!) одобрены были самим Корнеем Чуковским. «Здорово! В Москве только и разговора, что о Вашем «Минувшем»!» — писал он ей, и это было высшим орденом, который тетя Соня с гордостью носила до последних своих дней.

Писательская карьера и мне не давала покоя. Единственное в моей жизни «Полное собрание сочинений» увидело свет (в одном экземпляре!) в 1922-м или 1923 году. Состояло оно из шести томов. Страницы были пронумерованы, через каждые десять или двенадцать значилось: глава такая-то. Текста, правда, не было, считалось, что со временем я восполню этот пробел. Безжалостные варвары, немецко-фашистские оккупанты, сожгли этот раритет вместе с домом и шкафом, где он хранился,— маленькие, сшитые нитками странички с обязательным на каждой обложке «Издательство Девриенъ, Киевъ, 1922 г.». (В те годы я был еще монархистом, носил в кармане карандаш и на всех афишах приписывал «ъ»).

Я горько оплакиваю эту потерю. До нового собрания сочинений вряд ли доживу, но так или иначе мечта детства осуществилась: в графе «профессия» я мог писать уже не «журналист» (после демобилизации, засыпавшись на экзаменах в аспирантуру в свой собственный, строительный, институт, стал вдруг газетчиком — «Радянське мистецтво», по-русски «Советское искусство»), а «член Союза писателей СССР».

Так я стал советским писателем.

14

Что ж это такое, советский писатель?

Весь мир считает, что скучнее и серее советской литературы ничего нет. Все по заказу.

По заказу, не спорю. И человек, охотно или неохотно выполняющий его, щедро вознаграждается. Но все ли его выполняют, этот заказ? Нет, не все. И именно поэтому русская, советская (уточним: появившаяся на свет после семнадцатого года) литература, безусловно, интереснейшая в мире.

Бежать по утоптанной дорожке куда легче, чем по рытвинам и ухабам. Рекорды, установленные в Мексике, куда выше достигнутых в Мюнхене, Риме или Мельбурне — на высоте 2,5 тысячи метров воздух разреженнее. Воздух московских (и прочих советских) издательств — воздух погреба, а дорожка, по которой писатель бежит, усеяна не только рытвинами и ухабами, она заминирована. Добежать до финиша не легче, чем легендарному Джесси Оуэнсу в Берлине под ненавидящим взглядом самого фюрера.

То, что написать хорошую книгу в нашей стране трудно,— это аксиома. Под хорошей подразумевается правдивая, говорящая не о пустяках, а о чем-то существенном, я не говорю уже — о самом главном. Впрочем, Василий Семенович Гроссман попытался это сделать, написав «Жизнь и судьбу», вторую часть разруганного в свое время романа «За правое дело». Написал о самом главном и страшном, о тождестве двух вроде бы враждебных систем и — о! как легко было всех нас купить в те годы обманчивой оттепели — отдал не кому-нибудь, а в «Знамя», бездарному и трусливому Вадиму Кожевникову. Результат известен — рукопись арестовали. В сталинские годы та же судьба постигла бы и автора, но шестидесятые годы отличались все же от пятидесятых.

По «делу» Гроссмана меня специально вызывали из Киева в Москву, в ЦК. Считалось почему-то, что я могу повлиять как-то на Гроссмана.

— Гроссман написал антисоветский роман,— решительно заявил мне ведавший литературой в ЦК тов. Поликарпов.

— Нет, Гроссман не мог написать антисоветского романа,— сказал я.— Это исключено.

— Вы не читали его, а я читал. Это антисоветский роман!

— Вы неправильно его поняли.

Разгневанный Поликарпов возвысил голос. Я тоже, он стукнул кулаком по столу. И я стукнул, добавив что-то насчет того, что немцев в Сталинграде не испугался, так уж штатского за письменным столом и подавно. Это подействовало. В дальнейшем я эту возникшую в гневном запале фразу с успехом использовал в других, не менее сложных ситуациях.

Беседа наша мирно закончилась просьбой воздействовать на Гроссмана и убедить его никому написанное не показывать. Само собой разумеется, о проведенной беседе ни слова. Я тут же побежал к Василию Семеновичу и все рассказал. Он печально улыбнулся, показал пальцем на потолок и вынул из буфета пол-литра...

Гроссман написал великую книгу. Живя в Советском Союзе, рискуя всем. Это подвиг. И он его совершил. Солженицын тоже написал великую книгу «ГУЛАГ», но он ее скрывал. Гроссман ничего не скрывал, поверил почему-то крокодилу и сам полез в его пасть. Безумный, но подвиг.

Нет, советская литература такими подвигами не очень может похвастаться. А может, вообще он не нужен, подвиг? Или не только из подвигов соткано искусство, литература?

Так думают многие. Писатели, в частности. Даны ведь миру «Смерть Ивана Ильича» и «Холстомер», «Дом с мезонином» и «Попрыгунья», «Над вечным покоем» и «Вечерний звон». Они скрасили наши дни. С ними легче жить.

Вот мы и подошли к главному.

В три шеи был изгнан из страны конструктивизм, с его коробками, жалкими подражаниями всяким там Корбюзье. Нам нужна настоящая, жизнеутверждающая, богатая архитектура. И, хоть именно тогда мерла от голода Украина, страну заполнили колонны, портики, жизнеутверждающие фасады. На экраны вышли «Веселые ребята».

Великое счастье — жить на земле! О нем, об этом счастье, говорил Горький в 1934 году на Первом съезде писателей, обрадовав участников, преподнеся им социалистический реализм. «Социалистический реализм — это непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле».

Здоровье... Долголетие... Великое счастье жить на земле.

Горький жил тогда в недурном особняке Рябушинского на Мало-Никитской, а до этого на вилле в Сорренто, и в те же дни на восток один за одним шли эшелоны с полтавскими, черниговскими, курскими — всех не перечтешь — колхозниками, виноват, «кулаками» и «подкулачниками».

А Шолохов писал «Поднятую целину», Алексей Толстой «Петра Первого» — вот какой был царь, но вы, товарищ Сталин, его переплюнули!

«Творчеству художников социалистического реализма присуще умение смотреть из будущего на настоящее». Тоже Горький, тогда же.

Ну вот мы и посмотрели из будущего, через пятьдесят лет, на то, что было настоящим. А два года спустя после прекрасных слов о здоровье, долголетии и счастье жить на земле Сталин убил Горького. А заодно и еще несколько сот писателей. И миллионы не-писателей. Которым тоже хотелось долго и счастливо жить на земле.

Все это со временем стало называться «культом личности», отдельными ошибками, отходом от ленинских норм, но писать об этом — зачем? Зачем ворошить прошлое, растравлять раны? Партия все исправила, все поставила на свое место. Пишите о героях целины, романтиках БАМа, битве за урожай, славных пограничниках, ученых, кующих победу...

Вот, пожалуйста, и заказ! — ловят нас на горяченьком западные коллеги.

Ладно, разберемся.

В Союзе писателей, говорят, больше восьми тысяч членов. Не-членов — пишущих и печатающихся — не счесть. Кто же они такие?

Позволю себе маленький эксперимент, некую вольность. Поделим грубо всю писательскую массу на несколько категорий.

1. Верные автоматчики (выражение Хрущева) литературы. Все пункты Устава Союза писателей выполняют с завидным усердием и увлечением. Воспевают, призывают, прокладывают, воодушевляют, воспитывают, ведут... Люди злые все эти глаголы заменяют одним — вылизывают. Но это было бы упрощением — Маяковский воспевал не во имя житейских благ, он (до какого-то времени) верил. Мейерхольд, Эйнштейн, Довженко тоже верили. Или убеждали себя, что верят. Закрывая на что-то глаза (надеюсь, что мучительно), пытались, нет, не приспособиться, напротив, возглавить. Это им стоило дорого, Мейерхольду жизни, но убежден, что каждый из них, обливаясь кровью под ударами, стонал: «За что? За что? Ведь я так старался...» Сейчас таких уже нет. Последние могикане — Эренбург, Михаил Ромм — перед смертью что-то поняли, от чего-то отреклись, перестали воспевать, пытались искупить прошлое.

Нынешние автоматчики из другого теста. Иллюзий, веры — никакой. Основной стимул — те самые блага жизни. Циничны. Продажны. Умеют поторговаться. У иных и перо тонко отточено и язык неплохо подвешен. Вознаграждение по заслугам. Посты (оплачиваемые!), тиражи, распределители, дачи, заграничные поездки. За отдельные срывы — пьянки, перерасходы, утайки заработка при оплате партвзносов — погрозят пальчиком, шито-крыто. За особое усердие — Героя Социалистического Труда. Дважды пока еще не было, разве что Брежнев. На очереди Шолохов. На подходе — пока не видно.

2. Основная масса писателей. Цену всему знают — и зрелому социализму, и лично товарищу Брежневу, Шауро (нынешний Поликарпов), Георгию Мокеевичу Маркову (нынешний Фадеев, без его влиятельности только), Чаковскому, всему Союзу писателей вкупе — но, кроме того, знают, что плетью обуха не перешибешь. На собраниях без излишнего энтузиазма, но покорно голосуют за что положено, дома отплевываются. Если не фантасты, не исторические романисты, не детские писатели, пытаются писать о жизни. Ну, не совсем она такая, как на самом деле, — о политике, Андропове, нехватке мяса, Афганистане, что слышал по Би-би-си, о бриллиантах брежневской дочки, т. е. о том, о чем целыми вечерами на кухне, герой, упаси Бог, ни-ни. И все же написанное на что-то похоже. Жизнь какая-то неладная, серая, скучная, дети отбиваются от рук, друзья изменяют женам, пьют, даже переписываются — раньше на все это было табу.

Проходит это отнюдь не гладко — доделки, переделки, вычеркивания. («Ну зачем вам это, дорогой Николай Степанович? И без того все понятно. Зачем подчеркивать, усугублять?»), замены одного героя другим, смягчение концовки («И не надо точек над i»), введение мажорной интонации. Все это выводит из себя, треплет нервы, лишает сна, но зато, когда книга выходит, есть ощущение, что поработал на славу, основная идея сохранилась, самое существенное удалось отстоять: «Вы знаете, сколько из-за этого куска пришлось драться? В ЦК даже посылали», — и внимательный читатель, умеющий читать между строк, конечно же, уловит главное, для чего писался роман. Что поделаешь — всем хочется быть немножко крамольными при всем при том...

Благ поменьше, чем у первой категории, не сравнить. Тиражи поскромнее, путевки в Дома творчества в Коктебель, Малеевку берутся с бою (заграничные духи и колготки, увы, девальвировались), загранпоездки только за особые услуги (а как не хочется их делать!), влиятельные посты исключены.

Но жить все же можно. Отдельная квартира, заболеешь — оплаченный бюллетень. Литфондовская поликлиника, гонорара более или менее хватает (на Западе это не получается), но главное — чувствуешь себя не подонком, уверен, что читатель тебя читает и даже благодарит за ту, пусть скромную, пусть под сурдинку сказанную, но все же правду, и где-нибудь на малеевской лыжне, под елочкой можешь по поводу этого излить душу другу, а заодно поругать начальство, ну и вообще...

2Б. — Подотдел той же категории. Правдоискатели. Найдя, поведывают ее, правду. Не всю, конечно, об этом не может быть и речи, но врать и лакировать ни в какую! Область, охватываемая этими авторами, в основном деревня. Тут почему-то некая поблажка. Этим писателям даже улыбаются, пытаются приручить, заманить к себе, награждают премиями. Но случая перехода в «их» лагерь пока не наблюдалось. Явление новое, обнадеживающее.

3. Врать надоело! Ну их! На всю железку! Таких исключают из Союза, выдворяют за пределы, кое-кого сажают. Книги их изымают, из спра-

вочников и словарей вычеркивают. Злопыхатели и очернители, советская литература как-нибудь и без них обойдется.

Такова в самом грубом виде классификация литературного процесса, писательской братии. Есть отклонения, нюансы, неожиданности. Есть ответвления. Например, те, кого окрестили бардами. По популярности, по любви к ним читателей, вернее, слушателей, с ними никто не сравнится. Власть не нашла еще способа с ними бороться. «Двое из самых каверзных, слава Богу, отдали концы, третий тоже не очень здоров, часто болеет...» А народ слушает, переписывает, поет...

Ну, а автор этих строк, к какой категории он примыкал? Во всяком случае, не к третьей, с грустью приходится признаться. Ко второй? Ко второй «Б»? Пожалуй. Где-то между ними. Имел и квартиру отдельную, и литфондовскую поликлинику, писал для журналов, издательств, за железный занавес ничего не посылал. Парочку-другую подпольных, в меру крамольных рассказиков писал для друзей, почитывал им за вечерним чаепитием. Вот так и жил. Пока не выяснилось, что мы с советской властью смертельно друг другу надоели. В результате — Париж. Десятый уж год...

Хорошо, но не пора ли кончать эти несколько затянувшиеся исследовательски-теоретические выкладки? Вернемся-ка к нашей игре.

Мой добрый конь застыл, храпя, у очередного бел-горюч камня.

Поедешь прямо — голубое небо, легкий ветерок и толпа хорошо одетых, упитанных Героев Соцтруда, лауреатов, председателей, редакторов, издателей, их замов, помощников, чуть в сторонке — рядовые товарищи, тоже в меру упитанные... К нам, к нам! — машут они тебе руками, и шофера их ЗИЛов, «Волг», даже «Мерседесов» (не густо, но есть) приветливо открывают дверцы...

Направо — темный лес.

Налево — еще темней.

Поколебался недолго — и поехал прямо.

И окружили меня добрые, приветливые люди.

15

— Ну, в нашем полку прибыло. Выпьем же за пополнение!

Константин Михайлович Симонов поднял бокал и с нескрываемой симпатией посмотрел на несколько смущенного молодого автора. Симонов только что приехал из Москвы и привез с собой свеженький, пахнущий еще типографской краской восьмой-девятый номер «Знамени», тот самый, долгожданный...

Расположились за маленьким столиком, вдвоем, в небольшом открытом ресторанчике на склоне Днепра, сразу же налево за ажурным мостиком Петровской аллеи. Дул легкий ветерок. Небо из голубого стало розовым, потом лиловым, потом как-то забылось, не до него было.

Говорили тоже о чем-то розовом, радужном. Закусывали чем-то очень вкусным и дорогим.

— Нет, нет, Виктор Платонович, разрешите уж мне. Все-таки в начальствах хожу, посостоятельней.

Было очень-очень хорошо. И важно было не испортить, не увлечься, не расхваливать «Дни и ночи», не злоупотреблять фронтовыми воспоминаниями. Держаться скромно, с достоинством, не проявлять излишней радости. Хотелось же схватить журнал и тут же упиться им. Удержался, полистал, отложил в сторону.

Ах, как хорошо! Подумать только, сам Симонов привез...

Рассчитываясь, Константин Михайлович вынул из бокового кармана толстенную пачку сотенных и, не требуя сдачи, бросил какое-то их количество на стол. Пачку небрежно сунул обратно в карман. Такой толстой я еще не видел.

Александр Евдокимович Корнейчук, толстогубый, весь в орденских планках и лауреатских значках, как всегда улыбаясь, указал на бутылки.

— С чего начнем? «Столичная», «Выборова», коньячок? Или, может, «Вермут»?

«Вермут» я видел впервые, поэтому остановился на нем.

— «Вермут» так «Вермут». А тебе, Ванда?

Мужеподобная Ванда с руками колхозницы — любимое занятие: копаться в саду — предпочла водку. Потом и мы перешли на нее.

Выпив, как положено, первую рюмку «за того, который...», вторую осушили за пнсателей-фронтовиков.

— У нас их много, каждый второй воевал. — Корнейчук разлил по третьей. — И хорошо воевали. На разных фронтах. И в партизанах фрицу духу давали.

Выпили за партизан.

Сидели за длинным, покрытым белой скатертью столом, уставленным всеми видами балыков, телятин, семг, осетрин, не говоря уже о нежнейшей селедке — норвежской, пояснил хозяин, — с крупно нарезанными кружочками лука. Было это в сорок шестом году. Еще до реформы, жили на карточки. По писательским, литерным, выдавали чуть побольше. Я получил уже литеру «А». Литер-атор. Кроме того, были литеры-бетеры и прочие кое-какеры. Это так «хохмили» тогда.

После четвертой или пятой рюмки Александр Евдокимович заговорил о Сталине. Какой он, мол, прекрасный тамада. Тут подключилась и Ванда Львовна, до этого помалкивавшая. Она с товарищем Сталиным тоже неоднократно встречалась. Курьезный был человек.

— Ванда хочет сказать, что с юмором, — поправил ее Корнейчук. — Чего, чего, а этого у него хватало.

Я удивился, не знал. Корнейчук рассмеялся.

— Расскажи-ка, Ванда, Виктору про этот ваш Щеттинек.

И Василевская, в прошлом член польского, так называемого Люблинского правительства, рассказала, как Сталин вызвал их, чтоб уточнить границу между Польшей и Германией. Все шло хорошо, к взаимному удовлетворению, но вот Штеттин он почему-то оставил немцам.

— Мы просим, а он смеется и говорит: «Нэт, нэт, это нэмецкий город».

Мы убеждали, что с XII века он польский, а Иосиф Виссарионович только смеется. «Нэт, нэт, нэ польский, а прусский. С XIII века». Мы чуть не плачем, ведь лучший порт на Балтике, а он ни в какую: «Хватит! Нэмцам отдаю. Они тоже нэплохо воевали». И мы умолкли. А когда расставались, уже к дверям шли, вдогонку сказал: «Мынуточку»... Мы обернулнсь. «Как его, этот город, Штеттин, да? Ладно, бэрите сэбэ, — и хитро подмигнул. — Воевали-то онн нэплохо, но все же каждый второй у них фашист. Бэритэ сэбэ, пока не раздумал...»

После этого Александр Евдокимович удалился в свой кабинет и вернулся, неся, точно святыню, белый лист бумаги.

— Письмо от товарища Сталина, — полушепотом произнес он и, не давая мне его в руки, только показав, прочитал: — «Спасибо, товарнщ Корнейчук, за хорошую пьесу «Фронт». Такие пьесы помогают бить врага. С комприветом. И. Сталин».

Так же бережно, чуть ли не на цыпочках, письмо было отнесено обратно в кабинет.

Потом, малость еще выпив, опять заговорилн о писательских делах.

— Значит так, Виктор. Творчество творчеством, а и общественные дела не надо забывать. Посоветовались мы тут с товарищами и решили, что отважному нашему воину надо какой-нибудь пост дать. Например, моим заместителем по русской литературе. Что скажешь?

Я пожал плечами.

— Загін російських письменників в нас не великий, але добрый, — перешел он вдруг на украинский язык. — Ось і будешь керувати російською секциею. Добре?

Так стал я членом Президиума и шестнадцатым, если не изменяет память, заместителем Голови Спілки письменників Україні... Избрали единогласно. Даже аплодировали.

На каком-то съезде или пленуме подошел бело-розовый Фадеев — волосы белые, физиономия розовая, вплоть до ушей.

— Что-то вид у вас неважный, Некрасов. Худой, бледный. Не болен ли? Или заработался? Оправдать первый успех хочешь? — Он стал искать кого-то глазами, нашел, подозвал. — Надо, товарищ Суббоцкий, путевочку защитнику волжской твердыни дать. На юг куда-нибудь, к теплому морю. За наш счет, разумеется.

И, похлопав по плечу, мол, давай-давай, отошел.

Обхаживали, обхаживали, заманивали...

И шло бы так из года в год. Похлопывали бы по плечу, угощали бы вермутом, считали бы, что их полку прибыло, все чаще и чаще пускали бы за границу. На съезды борцов за мир, симпозиумы о «традиции и новаторстве» или судьбе романа, на встречи обществ «СССР — Эфиопия», «СССР — Мадагаскар». Посмотрел бы Африку, встречался бы с разными Менгисту, вручал бы им медали то ли за борьбу, то ли за стихи.

Жил бы, не тужил. Попивал бы с друзьями. И теми, и другими. С одним — обнимаясь, с другим — морщась. Что-то писал бы. Может, и медалька какая-нибудь перепала бы, даже наверняка. Отдыхал бы с неунывающей, всегда веселой мамой в разных Малеевках и Коктебелях. Путевки получал бы без боя. И продлевали бы без всяких хлопот. И дачка под Киевом. Что еще надо?

Хорошо...

А может быть?..

Может, в этой кажущейся идиллии не только розы, «сто грамм» и уютные вечера, освященные улыбкой загадочной Тай-Ах в волошинском доме? И коктебельский пляж — не только сердолики и халцедоны? Бывают и зыбучие пески. А они засасывают...

16

Приехала как-то в Париж группа советских поэтов. Человек пятнадцать, не меньше. Во главе с поседевшим, обрюзгшим, потраченным молью Симоновым. Всех не припомню, но были там Роберт Рождественский, Евтушенко, наш украинец Коротич, Олжас Сулейменов, Булат Окуджава...

Это была какая-то неделя какой-то дружбы, и все они выступали в большом спортивном зале, где-то на окраине Парижа. Я сел во втором ряду. В первом сидели товарищи из посольства.

Поэты читали стихи — неплохие, средние, плохие, очень плохие. Кто с бо́льшим, кто с меньшим темпераментом. Какой-то француз переводил. Зал хлопал. Иногда погромче, иногда потише. Особых оваций не было, но после концерта участники, обмениваясь мнениями, очевидно, пришли все же к выводу, что встреча прошла с успехом.

Я сидел во втором ряду, тоже хлопал. В перерыве все пятнадцать скрылись за кулисами. Только один соскочил с эстрады и решительно направился ко мне. Мы обнялись и расцеловались. Не виделись лет шесть, а может, и больше. Все это происходило на виду у всех. И товарищей из посольства в том числе. Человеком этим был... Ну, догадайтесь сами.

После концерта поехали ко мне. Из пятнадцати приехавших не меньше чем с двенадцатью, я был знаком, с полудюжиной выпивал в свое время. И крепко. Ни один из них не позвонил.

С тех пор прошло сколько-то там лет. И, вспоминая этот вечер, я мысленно реконструирую его, включая в нашу игру...

...Я сижу на эстраде. Единственный не-поэт среди всех. По правую мою руку Евтушенко — он жмет мне колено и шепчет, что сейчас даст дрозда, прочтет поэму с двойным дном, — по левую Симонов. Как старейший и наиболее известный во Франции (в «Ляруссе» даже его портрет есть), открывая вечер, прочел «Жди мня, и я вернусь». Все почувствовали какую-то неловкость, но он, вполне удовлетворенный самим собой, раскланялся и вернулся на свое место. Через минуту наклонился ко мне.

— Вы видите, кто сидит во втором ряду?

— Где?

— А вон там, чуть правее Червоненко, посла. Во втором ряду.

Я посмотрел в указанном направлении и увидел Виталия Никитина. Того самого, которого три года тому назад выперли за пределы Союза. Знаменит он был тем, что, не будучи никаким писателем, а простым старлеем на минном заградителе, участвовал в обороне Одессы и Севастополя, сразу же после войны написал книгу «Тельняшки, за мной!» Книга наделала шуму, одни хвалили взахлеб, другие ругали с не меньшим усердием. Вторые оказались сильнее, и, учитывая еще непокорный, строптивый характер автора, кончилось все выдворением из страны.

Сейчас он сидит во втором ряду, крепко поседевший, но загорелый, как всегда, и, по-моему, в той же ковбойке, в которой был, когда мы в последний раз выпивали. Слушал внимательно, хлопал не меньше других. Очевидно, из вежливости.

— Вы с ним в каких? — спросил, опять наклонившись ко мне, Симонов.

— Как в каких? В нормальных.

— А вы знаете, что он выступает по «Свободе»?

— Не только знаю, но и слушаю.

Больше вопросов Симонов не задавал, отодвинулся.

17

На следующий день мы с Виталием обедали в «Лондонской таверне», недалеко от Сен-Жермен-де-Пре и кафе «Де маго».

— В это время здесь всегда пусто, — сказал он, ставший истым парижанином. — И тихо, и кормят прилично.

— И очереди на улице нет, как в нашем «Арагви».

— Ну, а Дом литераторов, ВТО как поживают?

— Выродились. Не то уже. Совсем не то. За столиками незнакомые лица. Из молодого, подрастающего поколения. Самоуверенные, хамоватые, развязные.

— Но пьющие, подозреваю, не хуже нашего поколения.

— Почище. Только за чужой счет норовят. Если не ставят пол-литра редактору...

Когда нам подали «фо-филе» с неведомым мне гарниром, мы еще говорили о ЦДЛ и поколениях. Пили сначала «Божолэ», потом переглянулись и взяли «Смирновскую». И вот тут-то, после второй или третьей рюмки, разговор принял несколько иной характер.

Виталий по натуре человек деликатный. При всей своей невоздержанности и прямоте он не позволил себе ни одного могущего задеть или обидеть меня вопроса. Но я понимал, что задать их очень хочется, и чувствовал, что раньше или позже мы их коснемся. Причем инициатором буду я. Из какого-то мазохизма.

Так оно и случилось. Ну чем я лучше Симонова, думал я. Разве что тем, что не побоялся встретиться с Виталием. А так, хоть и не пишем мы по специальному заказу, как какой-нибудь Корнейчук или поменьше рангом Сахнин, но власти-то мы все же служим. Каждый по-своему, но служим. Знают, что не подкачаем.

Вспомнил, как, уезжая на какой-то конгресс в Рим, все допытывался у одного из старших своих друзей, поэрудированнее, как сформулировать понятие «соцреализм», чтоб было убедительно и не очень краснеть потом. «И рыбку съесть, и на эту самую штуку сесть?» — рассмеялся тогда мой друг и прочел мне маленькую, вполне изящно изложенную лекцию по по марксизму-ленинизму. В Риме я пытался ее воспроизвести, за что крепко получил по зубам от самого Пазолини, кстати, тоже коммуниста.

— Да не переживайте вы, — успокаивал потом меня Сурков, — подумаешь, Пазолини, кто его в Союзе знает? А на то, что напишут о вас в «Мессаджеро» или «Джорно», наплевать. По нашим меркам, это продажные, антисоветские, буржуазные газеты.

И я внял его совету — попытался не переживать.

Сейчас Виталий, сдерживая ухмылку, говорил:

— Ох, и тяжело, ох, и больно смотреть на всех вас, советских писателей, с моих нынешних парижских высот. И все-то вы озираетесь, боитесь лишнее слово сказать. Ты не обижайся, я не о тебе, ты свое дело сделал и имеешь право на какие-то плоды. Но за них все же платить надо. Бесплатно не раздаются.

Что я мог на это ответить? Да, бесплатно не раздаются. И мы платим.

Хотелось бы забыть, да не забывается сборище в Союзе писателей по поводу событий в Чехословакии. К моменту голосования один только Никитин встал и вышел в коридор. А когда, кажется, Ильин подошел к нему и поинтересовался, почему он не голосует, спокойно ответил: «А потому, что я за это самое человеческое лицо, которое сейчас гусеницами давят».

Потом его исключали из Союза. Я не пошел, сослался на болезнь. В наших условиях это считается почти героизмом, но Виталий, если исключали бы меня, пришел бы и голосовал бы против.

После «фо-филе» заказана была еще форель, потом подкатили столик на колесиках с не менее чем десятью сортами сыра, закончили все ананасным мороженым со сливками кофе-экспрессо. Попутно добавлена была и «Смирновская».

— Трудно было оторваться от коллектива? — спросил Виталий.

— Как тебе сказать? Коллектив все же особый, кто не хочет оторваться? Да все. Сам Симонов что-то там насчет «Галлимара» говорил.

— А, кроме него, другого товарища в штатском при вас нету?

— Есть, но она дама приличная. Относительно, конечно.

— А если засечет?

— Они этот ресторан не знают...

— И все же?

— Что ж, буду нести ответ. Скажу, что...

— Случайно встретились на улице, неловко было отказать...

Мы оба рассмеялись, ну, как не догадаться, что именно так я отвечу, засеки меня Клавдия Сергеевна.

И надо же, чтоб, выходя из ресторана, мы нос к носу столкнулись именно с ней. Она вместе с Коротичем и Рождественским стояла на углу рю де Ренн и разглядывала в витрине дубленки.

Вечером, когда все шли на прием в общество «Франция — СССР», она в холле гостиницы весьма корректно, но с интонациями классной дамы сказала мне, отведя в сторону:

— Вы же не мальчик, Виктор Платонович, и должны были бы понимать, что советскому писателю как-то не к лицу встречаться с отщепенцами. Член партии все же...

Я ответил что-то вроде того, что вырос из того возраста, когда извиняются за содеянное и отвечают «больше не буду», но осадок остался мерзейший.

Виталий только улыбнулся, когда я рассказал ему на следующий день об этой стычке.

— Дорогой Александр Матросов, грудь твою уже прострелили, но давай все же устроим поминки.

И повел меня в маленький ресторанчик «Л'Эклюз», на берегу Сены, против букинистов, в двух шагах от Буль-Миша.

В тот вечер мы выпили крепко и говорили совсем уже начистоту. Нет, Виталий не осуждал меня, только огорчался.

— Ты мне небезразличен, понимаешь? — говорил он, разливая очередную порцию, на этот раз коньяка. — И судьба твоя тоже. И не потому, что ты когда-то, на заре туманной юности, написал хорошую книжку. Ты тогда ничего не знал, что к чему и с чем его едят. А сейчас знаешь. Все знаешь. И тем не менее придерживаешься правил их игры. А играть с ними нельзя, они шулера... Нет, и никто от тебя не требует, чтоб ты их подсвечниками, шандалами лупил по голове, я вообще ничего от тебя не требую. Но сидеть с ними за одним столом...

— Стыдно?

— Нет, я другое хотел сказать... О даче на берегу Днепра. И «Волга», и тиражи массовые, Гослит полное собрание сочинений выпускает, с портретом, где ты еще молодой и красивый, с хвалебным предисловием какого-нибудь Феликса Кузнецова.

— Ошибся, Михаила Алексеева, он тоже ведь сталинградец.

Виталий схватился за голову.

— Не убивай меня, не убивай! Ведь это отъявленный...

— Знаю, знаю, но если уж выбирать...

— Ладно, — перебил он меня, — Алексеев так Алексеев, один черт. Но я это вот к чему, весь этот длинный монолог... Вспомни, когда это началось?

— Что «это»?

— Что, что, что? Сам знаешь, «что»... Благополучие.

Повисла пауза. Он потянулся к бутылке.

— Бла-го-по-лу-чие... Это так называется. Все эти Кончи-Заспы, машины вне очереди, заграничные вояжи... — Он провел рукой по моим волосам, потрепал. — Седой, б..., совсем седой стал... — Разлил по коньячку. — Ладно, не будем вспоминать, кто старое помянет, тому глаз вон. Поехали?

Мы выпили.

18

М-да... Я-то хорошо помню, когда «это началось». Очень хорошо. В 1946 году еще. Когда Сталин руками и устами спившегося алкаша Жданова нанес первый после войны удар по литературе. Зощенко был назван тогда пошляком и подонком литературы, Ахматова блудницей и монахиней, у которой блуд смешан с молитвой, и оба они, и он, и она, не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе.

С этого все и началось.

Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», доклад Жданова на эту же тему и покаянная статья редакции «Знамени» напечатаны были в том самом, десятом, номере журнала, где и мои «Окопы», называвшиеся тогда «Сталинградом», вторая их часть.

Вот так, не успел я вылупиться, как сразу же окунули в дерьмо...

Ну и что? Возмущался, кипел, протестовал? Да, и возмущался, и кипел — за пол-литрой, с друзьями, — но, будучи секретарем парторганизации издательства «Радяньске мистецтво», провел все же по указанию райкома собрание на эту тему. Длилось оно, правда, полторы минуты (Володя Мельник хронометрировал!), в детали не вдавался, сказал, только: «Все вы, товарищи, знакомы с последним постановлением ЦК ВКП(б) и, конечно же, как настоящие коммунисты, примете его к сведению и исполнению», на этом собрание закончил, все разошлись, но собрание все же провел. И соответствующую реляцию отправил в райком *. А потом? Когда стали топтать Максима Рыльского, Сосюру, Яновского — за национализм, умиление прошлым, низкопоклонство? Не встал же и не сказал: «Товарищи, что вы делаете? Опомнитесь! Это же лучшие ваши писатели!». Нет, ничего этого не сказал, промолчал. (В тот же день Корнейчук, как бы между делом, осведомился: «Ты почему заявку на строительство дачи не подаешь? Подавай, поможем...») И в разгар космополитической кампании кратко, но осудил с трибуны, что нет, не «позорное», как говорили другие, «прискорбное» явление. (На следующий день, на этот раз не Корнейчук, а Збанацкий — секретарь парткома, намекнул, что есть возможность без очереди получить машину.)

И выросла среди дубрав Кончи-Заспы, на берегу Днепра, двухэтажная дача, с верандой и гаражом, где стояла бежевая «Волга», а после поездки в ФРГ и недурной «опелек», и не только в Гослите, но и директор «Совписа» Лесючевский встречал с улыбкой, просил присаживаться, спрашивал, когда новую повесть принесете, включим сверх плана...

Да, сидел за одним столом.

С шулерами за одним столом. И хлебал из их же миски... Потом, встав из-за стола и утерев губы, шел в «Новый мир», неся под мышкой свой «Родной город», где Митясов вовсе не бил по морде декана Чекменя, а в «Кире Георгиевне» бывший ее муж, Вадим, ни в каких лагерях не сидел, просто работал где-то на Крайнем Севере. И нигде и никогда не позволял себе критиковать великого Довженко — в статье о хуциевском фильме «Два Федора» просто проводил параллель между двумя художниками, старым и молодым...

И все его любили. Читатели, в основном, за первую книгу, друзья за веселый нрав и компанейство, редакторы за покладистость, начальство за то, что на их языке называется принципиальностью — пьет, правда, и, выпивши, не прочь поиронизировать над системой, но линии партии придерживается, никогда не отклоняется ни вправо, ни влево.

Корнейчук как-то сказал ему:

— Написал бы повесть о Марине Гнатенко, нашей знатной бурякивнице, свекловодке, ты, кажется, с ней знаком. Русский писатель об укра

---

* Факт из действительной биографии автора.— В. Н.

инской героине, здорово б получилось, а? Премию подкинули б, Шевченковскую, например...

Нет, повести не написал, премию не получил. А мог бы, поленился, дурак.

19

Расплатившись в «Л'Эклюз», вышли на набережную и пошли вдоль Сены в сторону Нотр-Дам. Букинисты уже закрывали свои «буат», но у одного Виталий нашел номер немецкого журнала «Адлер», издававшегося во время войны на французском языке, номер, посвященный Сталинграду, купил и преподнес мне. Пройдя вдоль набережной Монтебелло, вышли к мосту Аршевен, и долго стояли на нем, глядя на проплывающие под нами набитые туристами «батомуш». Говорили больше о Париже, о его жемчужности, прекрасных, хотя и загаженных собаками улицах, о его домах, крышах, трубах, от Утрилло и Марке, о шарме этого города, о том, что в него нельзя не влюбиться. Потом вернулись назад, к Нотр-Дам. Примостились на скамеечке возле бронзового Шарлеманя — Карла Великого и смотрели на всех этих мальчишек и девчонок в рваных джинсах, поющих, танцующих, бренчащих на гитарах, валяющихся просто на мостовой, веселых и беспечных...

— Господи, — говорил Виталий, — ну почему наши ребята всего этого лишены? Ты посмотри на этих... Свободные, вольные, ничего не боятся. Не озираются, не вздрагивают, не пугаются. И, в общем, трезвые. Ты обратил внимание, как мало пьяных? У нас, чтоб почувствовать себя чуть-чуть свободным, не меньше пол-литры надо ахнуть. А тут? «Дроги», скажешь, наркотики? Есть, много пишут об этом, но вот сейчас перед тобой пацанва, молодежь... Ты представляешь себе такое на Пушкинской площади? — И, помолчав, добавил: — Нет, спасибо партии и правительству за этот подарок, Париж они мне подарили. Это ценить надо.

Я молчал.

— Чего грустным стал?

— Да так как-то...

— Ты напомнил мне сейчас эту байку, знаешь, про писателя Первухина, назовем его так... Чего невеселый, спрашивают, Володя? Дома плохо? Да нет, все в порядке. Сын на второй год остался? Напротив, на одни пятерки учится. Дачу ремонтировать надо, денег не хватает? Да уже кончил, третий этаж отгрохал. Деталей к машине не можешь достать? Какие там детали, новенький «Шевроле» в гараже стоит... Так в чем же дело? — Народу тяжело...

— А у меня, Виталий, к тому же и внук из двоек не вылазит, у жены любовник, а «опель» на вечном приколе, деталей таки да нет, так что...

— Ладно, не кончай. Знаю я тут одну кафешку, чувствую, что тебе тонус надо поднять.

И мы пошли на Муфтар.

С трудом нашли пустой столик, жарко и душно, парижане вывалили на воздух, — заказали пива, и Виталий стал рассказывать о своей эмигрантской жизни.

— Нелегко, Викочка, ох как нелегко. С писательства не проживешь. Это тебе не Союз нерушимый, где по триста рублей за лист отваливают. Кроме Сименона и Труайя, никто с книг и тиражей своих не живет. Надо подхалтуривать. Прилепиться к какой-нибудь газетенке, журнальчику, радио, телевидению. За книги платят с количества проданных экземпляров. Значит, читателю должно понравиться, не ЦК, а читателю. А как ему угодить? Сейчас в ходу мемуары и детективы. На растерзанную русскую душу ему наплевать, подавай убийства в «Ориент-экспрессе»... — Виталий вздохнул. — И на квартиры здесь каждый год повышают, сволочи, плату. И цены дай Бог... Я приехал, пачка «Голуаз» франк двадцать стоила, сейчас четыре. И так все. В кино иной раз не пойдешь, двадцати пяти франков нету... И все же, дорогой мой письменник, как подумаешь только, что мог бы я сидеть рядом с тобой на той эстраде и стишки читать, или там прозу, а потом отчитываться, где был, с кем встречался... — Он хлопнул ладонью по столу, так, что соседи даже обернулись. — Счастливый я все-таки человек, в сорочке родился...

Заказали еще пива. Я спросил, пишется ли ему сейчас, мне вот как-то не очень.

— Писать-то пишется. Но в общем-то...

Глаза его потеряли вдруг свою обычную веселость.

— Тренажа здесь нет, понимаешь. Размякли. Дома всегда был собран. И школу хорошую мы прошли. Литературной эксцентрики, я бы сказал. Жонглировать, ходить по проволоке научились. Мускулы всегда в хорошей форме, реакция моментальная. А здесь? Здесь все можно, все дозволено. И риска никакого, никакой опасности. Здесь не надо быть героем... — Он вздохнул. — И читатель здесь непонятный. Да и не очень нужный. Пишу-то я не для французов, для вас, гадов. А вы далеко. И путь к вам, ох, как тернист. Ты все же вроде начальства, в разных президиумах, секретариатах, партбюро числишься, за солженицынский «ГУЛАГ» тебе ничего не будет, сами дадут почитать, не давай только другим, а у районного врача найдут — персональное дело.

— Иронизируешь? — Я обиделся. — Да! Член партбюро, но, поверь мне, не только «ГУЛАГ» читаю. Иной раз и за песосыпа какого-нибудь на партбюро заступишься, заслуги, мол, у него есть, немолод и беден...

— А если и молод, и здоров, и заслуг еще нету? Ладно, догадываюсь, что членство в этом твоем засранном партбюро — не только привилегия, но и крест, который надо тащить. Но знаешь, что мне сказал один очень славный мичман нашего минзага «Ураган», когда его завербовал смершист? Другой донесет на тебя, трепача и хулителя начальства, сказал он, а я — нет! Так что радуйся, поздравь меня, заодно и поллитру поставь. Логично?

— Виталий, ты стал западным человеком, ты все забыл.

— Нет, не забыл, а отверг.

— А я не отверг, за это у нас дома сажают. Но, имея пусть маленькую, пусть ничтожную власть, используешь ее...

— Не на зло, а на добро. Знаем мы эту теорию.

В этот вечер мы чуть не поссорились. Но Виталий оказался умнее меня.

— Вика, мы не на равных. Я свободный человек и ничем не рискую, а ты... Сейчас ты мой гость и гость Парижа. Давай-ка упиваться им, Парижем! Может, на Пигаль сходим? Или тут недалеко, на Сен-Дени? Что скажешь, гражданин Союза Советских Социалистических...

Тут впору было дать ему по зубам, но вместо драки начались почему-то пьяные лобзания, почти как на Внуковском аэродроме все эти гусаки и кадары. За соседним столиком с некоторым удивлением следили за этим неожиданным проявлением мужской нежности. «L'âme slave mysteriouse» — единственное объяснение: загадочная славянская душа.

20

На следующий день я позвонил Виталию из автомата.

— Ну что еще? — раздался сиплый, очевидно, от вчерашнего, голос.

— Жажду общения.

— Случилось что-нибудь?

— Общения жажду...

Оно произошло в кафе «Эскуриал» на углу бульвара Сен-Жермен и рю дю Бак. Виталий, небритый и какой-то всклокоченный, увидев меня, сразу же все понял.

— Тебя прорабатывали.

— Прорабатывали.

— Долго, усердно?

— Порядочно. Но не то что усердно, а по выражению товарища Симонова, с чувством непреходящей горечи.

— Давай по порядку. Ты вернулся поздно, косой и тут же наткнулся на...

— Булата. Завтра в десять партгруппа, сказал он. Постарайся не опохмеляться.

Пива я все же выпил, побрился и пошел на партгруппу...

Длилась она часа полтора, не меньше. Председательствовал Симонов, напяливший на себя маску печали с трагическим оттенком.

— Постарайтесь, Виктор Платонович, отнестись ко всему, что вы здесь услышите, с достаточной серьезностью, — начал он, мило, по-симоновски, грассируя. — И ответственно, добавил бы я. В кармане у вас партбилет, и не вчера полученный, а на фронте, в разгар боев. Думаю, что это должно кое-что определить в нашем с вами поведении, образе жизни...

И он заговорил о нашем поведении, в частности, за рубежом, об образе жизни, о принципах, на которых эта жизнь построена. Говорил он долго, с паузами, не повышая голоса, приводя примеры, вспоминая прошлое.

— Когда я уговаривал Бунина, это было давно, вернуться домой, я знал, что передо мной человек, ненавидящий все советское. Но это был Бунин, русский писатель, один из лучших наших стилистов, может быть, только Набокову под силу с ним тягаться. И все же мы знали, что при всем его озлоблении против нас ему без нас, без России, плохо. И надо было ему помочь. — Тут он посмотрел на меня долгим, укоризненным взглядом. — Ну, а Никитин? Не станете же вы нас убеждать, что ресторанные ваши беседы посвящены были вопросу возвращения его в лоно семьи. Ни семья ему, ни он семье не нужны. Это ясно. Не будем говорить, какой он писатель. — И тут же заговорил о том, что писатель он средний, даже не писатель, а просто свидетель неких событий, пусть с острым глазом и чутким ухом, и события, описанные им, как и все на фронте, интересные, и все же только свидетель, не умеющий ни обобщать, ни делать выводы, человек с узким кругозором...

Тут я его перебил и сказал, что в свое время именно в этом обвиняли и меня: дальше собственного бруствера ничего не видит.

— Ну, зачем эти сравнения, дорогой Виктор Платонович? Они совсем неуместны. Слава Никитина — слава дутая, основная масса его читателей и почитателей — алкоголики и одесская шпана. И, простите, я не совсем понимаю, что у вас с ним может быть общего...

— Этот самый алкоголь! — расхохотался Виталий. — Ну, дальше, дальше.

— Дальше стали выступать товарищи. И повторять приблизительно то же самое. Никитин, мол, не просто отщепенец и махровый клеветник, подразумевается все та же «Свобода», а человек, которому ничто не дорого, не свято. Такие понятия, как патриотизм, любовь к Родине, гордость нашими успехами, ему просто неведомы. Наплевать ему на них. Джинсы «Левис», пластинки Битлов или Роллинг-Стоунов, шотландское виски — вот его идеал.

Тут я опять не выдержал и сказал, что в джинсах ты, правда, ходишь, и, может быть, они даже получше, чем те, что сейчас на Евтушенко, но виски терпеть не можешь, предпочитаешь «Выборову», а музыку, как ни странно, классическую. Здесь все изобразили благородное негодование и с тебя, Виталий, переключились на меня... А вообще ну их всех на х...! Надоело!

— Давно жду этих слов, именно этих. — Виталий одобрительно похлопал меня по плечу. — Чем же все кончилось?

— Думаю, что не кончилось, а только началось. А на данном этапе, в этом нашем «Эглон», резюмировала, подвела, так сказать, итог, все та же Клавдия Сергеевна. Ее удивляет, мол, мое легкомыслие, несерьезность, непартийное поведение, и, закончила она, как это ни печально, но в Москве обо всем этом придется доложить. На этом и разошлись.

— И никто потом не подходил?

— Как же, подходили, озираясь. Тот же Евтух. Плюй, мол, на них, что ты хочешь, иначе они не могут, — и, подмигнув, исчез. А вообще ну их всех! Вот где они у меня сидят со своими партгруппами и поучениями... Давай-ка лучше напьемся, дорогой мой свидетель интересных событий.

— С острым глазом и чутким ухом... Давай!

И мы заказали бутылку водки. Принесли какую-то неведомую ни мне, ни Виталию, под названием «Staraya datcha».

Потом гуляли по Парижу, от кафе к кафе. Как ни странно, но у Виталия откуда-то были деньги и мы могли не только пить, но и закусывать. Почему-то не пьянели. Виталий рассказывал забавные эпизоды из флотской своей жизни, я пытался вспомнить последние московские анекдоты про чукчей, они пришли на смену Василию Ивановичу.

Но где-то опять переходили на то, что грызло.

— Вот смотрю я отсюда на Париж, — говорил Виталий, когда мы примостились у окна во всю стену ресторана на 56-м этаже Монпарнасской башни, — гляжу на него, на все эти крыши, улицы, поток автомобилей, всех этих спешащих или, наоборот, никуда не спешащих парижан и задаю себе вопрос: почему надо ненавидеть капитализм? А потому, что он плохой, нас с детства этому учили. И любой из этих не спешащих никуда парижан скажет то же самое: плохой! Миттеран это скажет, и старый мудрый Раймон Арон, и Ив Монтан, и Симона Синьоре, и даже этот официант с усиками, ручаюсь. Всем он не нравится, этот капитализм, все его ругают, но у каждого в кармане больше, чем у тебя, знаменитого советского писателя.

И мы заговорили о всеобщей нищете и немыслимом богатстве отдельных представителей страны бесклассового общества. Виталий приводил примеры.

— Кому ты все это рассказываешь? — не выдержал я. — Ты вот этому мусью в очках расскажи, что за тем столиком сидит, «Либерасьон» читает. Расскажи ему популярно, что такое социализм. Я-то им уже объелся.

— Объелся?

— Объелся. Воротит.

— Что ж, меняй тогда меню. Повара-то при всем желании не прогонишь.

— В обозримом будущем, во всяком случае. А насчет меню... Ладно, давай расплачивайся, пошатаемся еще по ночному Парижу.

Распрощались мы с ним, когда совсем уже рассвело. Сидели на каких-то ящиках у самой воды. За нашей спиной проносились, стуча на стыках, редкие еще ранние электрички. А за полотном, вдоль набережной Андрэ Ситроен, торчали такие чужие этому городу стеклянные башни «а-ля Нью-Йорк» пятнадцатого аррондисмана, по-русски — района. Сидели и ждали восхода солнца.

— А этот мост Мирабо, — сказал Виталий, — тот самый...

— Какой? — не понял я.

— Ох, уж эта мне темнота... Аполлинер, Гийом Аполлинер. Поэт такой французский был. «Sous le Pont Mirabeau»... Под мостом Мирабо течет Сена... И дальше что-то там про любовь. Каждый школьник здесь знает.

— Перерос я уже этот возраст, Виталий.

— А тот вон мост, где статуя Свободы, копия той, нью-йоркской, — он махнул рукой вправо, — называется «Пон де Гренель».

— Не отравляй последние минуты, на рю Гренель советское посольство...

21

Вернулся я в свой «Эглон», уже когда первые постояльцы начали опускаться в кафе на «пти-деженэ». Я сел за столик, заказал яичницу с ветчиной и апельсиновый сок.

Когда, позавтракав, уходил, столкнулся в дверях с Симоновым в сопровождении Клавдии Сергеевны.

— А я вас вчера весь день разыскивала, — сказала она, задержавшись в дверях. — Вам раза три или четыре звонили из посольства. Товарищ Червоненко вами интересуется. Просили позвонить не позже двенадцати. У вас есть их номер?

— Есть, — сказал я и направился к выходу. Оба посмотрели мне вслед. Симонов так ничего и не сказал, был мрачен и суров.

...Впереди был целый день. Самолет на Москву в 18.00. С «Шарля де Голля». Билеты всем уже раздали. Сбор в гостинице в 16.00. Сейчас было около восьми утра. Виталий сегодня целый день чем-то занят. И вот, оказывается, трижды звонили вчера оттуда. Товарищу Червоненко, послу, я, видите ли, понадобился. Донесла все-таки эта сука. Вы все же член партии, товарищ Некрасов, не забывайте...

Не стану туда звонить, ну их в баню, обойдутся...

Я свернул с бульвара Распай, где наш отель, на бульвар Монпарнас; от нечего делать постоял у расписания на вокзале. Может, в Версаль катнуть? И поехал в Версаль.

Не торопясь, в одиночестве гулял по осеннему парку. Шуршали под ногами листья, слава Богу, никто не подметал. Было пусто, никаких туристов, раньше девяти они не появляются. Бродил по аллеям, вспоминал Александра Бенуа.

А в восемнадцать ноль-ноль в Руасси на «Шарль де Голль» минут за двадцать до посадки объявят в репродуктор: «Пассажиров, отлетающих в Москву рейсом № 085, просят пройти к выходу «Е». И все направятся к выходу «Е», и у каждого в руках будет пухлый пакет, а в пакете дубленка...

Во дворец я не пошел, появились первые туристы, японцы, у всех на шее фотоаппараты вот с такими вот полуметровыми объективами. Я сел на электричку и вернулся в Париж.

В центре я уже неплохо ориентируюсь. От вокзала по рю де Ренн дошел до Сен-Жермен-де-Прэ. Это если не самая старая, то одна из древнейших церквей Парижа, «прэ» — это значит «луг». Она оказалась открыта. Я вошел внутрь. Две опрятные старушки сидели в разных концах и молились. Третья меняла воду гладиолусам у алтаря. Лучи солнца сквозь цветные стекла витражей, красные, желтые и больше всего синих, то тут, то там оживляли пятнами каменный пол и средневековые стены церкви. Я примостился в углу. Вот если б зазвучал орган. Но еще рано...

— Ну, что ж, Виктор Платонович,— сказал Виталий, когда мы прощались у станции метро Бир-Хакейм.— На сколько мы с тобой расстаемся, Аллаху и то неизвестно. Надеюсь, не навсегда...

— J'espere, как говорят твои французы. Не совсем ясно, где встретимся, но верю.

— Верю,— сказал он.— Верую. Глупо как-то жить в разных мирах. Глупо и противоестественно.

— И скучно, очень скучно, Виталий. Даже не представляешь как...

— Пытаюсь представить. И понять. И в общем-то понимаю. Я ведь умный.

— Ты уверен в этом?

— Абсолютно... И, как всякий умный человек, советов никогда никому не даю. А хотелось бы...

— Кому? Мне?

— Тебе хотя бы...

— Не надо. Я знаю, о чем ты. Не надо.

— А может, все же надо?

— Пока нет.

— Пока?

— Пока.

— Ну что ж, договорились на «пока».

Мы обнялись. Ткнулись друг в друга щеками.

— Ну я побежал,— сказал он.— Это мой поезд на мосту идет. Будь.

— Будь.

Он сунул свой билетик «карт-оранж» в турникет, помахал мне на прощание рукой и легко, через одну ступеньку, побежал вверх по лестнице. А я пешочком пошел в свой «Эглон», на Распай.

Весь день шатался по Парижу. Последний парижский день. Вышел из церкви, пошел по рю Бонапарт, куда-то свернул, кажется, на рю Жакоб, потом еще куда-то.

Шататься по Латинскому кварталу — что может быть лучше? Мечта, голубая мечта каждого русского мальчика из интеллигентной семьи. Когда-то и я им был. В общем-то и остался. Несмотря на гражданские и прочие войны.

Впервые попав в этот квартал юношеской своей мечты, далеко, правда, уже не мальчиком — было это в конце пятидесятых годов,— долго, разинув рот, стоял перед витриной с игрушечным поездом. Бежал он себе по игрушечным рельсам, вагоны первого, второго класса, международный и ресторан, нырял в туннели, останавливался у семафоров, гудел и бежал дальше. Я стоял в оцепенении. Мне так хотелось его купить, привезти домой, запрятаться от всех, разложить рельсы на полу — и ту-ту, мой милый норд-экспресс...

Сейчас я тоже постоял перед витриной — все за эти годы усовершенствовалось, вместо паровозов электровозы, и светофоры, и длинные платформы, груженные «Фиатами» и «Ситроенами», и кто все это может купить? Паровозик или там электровозик не меньше тысячи франков — спросите любую эмигрантскую жену, она вам скажет, что на эти деньги можно приобрести.

Но что-то не забавляли меня сегодня ни паровозики, ни белокрылые яхты, ни колумбовские каравеллы. Привык уже даже я, редкий гость, к этому запаху — загнивающего Запада. Гниет, проклятый, хотя воняет больше бензином. Нормальный парижанин только и говорит, что надо бежать из Парижа, задохнешься, смотрите, почти все вязы погибли.

Зашел в две-три галереи. Картины, скульптуры — понятие более или менее условное. Эмоций не вызывают никаких. В углу очень симпатичный бородатый молодой человек, очевидно, автор всех этих брызг и клякс на полотнах. С какой-то непонятной, с трудом подавляемой ненавистью смотрел я на добротные алюминиевые рамы. Бог знает, сколько каждая из них стоит. И ведь все это уже было, было. Кандинский давно умер, Малевич тоже...

Кивнув симпатичному бородачу, вышел из галереи. Как Хрущев из Манежа. «Искусство педерастов!» ... Хорошо, не было рядом Виталия. Что, по Лактионовым своим соскучился, по Илье Глазунову? Зайди в «Глоб», там его навалом...

И я зашел в «Глоб». Был уже раз, приценивался к Цветаевой. Но ее и в Москве, если очень уж хочешь, достанешь, а сейчас смотрю на два толстенных тома — Серов и Левитан. Какая бумага, какие поля, какой шрифт, репродукции... Да что ж это такое? Свои, родные, советские книги в Париже! А в Москве — шиш...

Со зла купил на последние гроши «Плэйбой» и уселся в кафе над кружкой пива.

Ничего, ничего, пей свое пиво и закругляйся. Вечером будешь уже в Москве. А тебе уже три раза из партбюро звонили, все интересуются, когда приедешь.

Я посмотрел на часы. До самолета еще три часа. В отеле надо быть за два часа до отлета. Значит, еще час.

Расплатился за пиво, направился к Сене. Попрощаться с букинистами, порыться на прощанье в их «буат».

Опять не вышло. Рылся, ходил от одного к другому, наткнулся на пачку «Иллюстрасьон» за шестнадцатый год — мое детство, «Нива», Верден, форт Дуамон, роскошные, на всю страницу лихо нарисованные атаки, траншеи, взрывы, зачуханные героические «пуалю» — хотел купить, подсчитал ресурсы, не потянул. Пошел к «Шекспиру» — книжная полка любителей старья, английских книг, встреч и еще чего-то. С хозяином-стариком вроде знаком по прошлым приездам, говорит малость по-русски, может, выклянчу у него какую-нибудь подешевле, не возвращаться же с пустыми руками. Оказывается, болен. Заменявший его лохматый парень, жаривший яичницу на электрической плитке — здесь все по-домашнему,— мило улыбался, но к ценам относился строго.

Потом долго сидел у самой Сены, устроившись на каких-то канатах. Справа рыболов, весьма живописный, находка для туриста, слева целовались. Вдоль набережной, за моей спиной, прогуливали экзотических собак, неведомых нам, россиянам, афганцев, пиренейцев, пятнистых далматинцев и пугающе вытянутых, как черви, крохотных такс. Мимо проплывали баржи и длинные, набитые бездельниками, насквозь стеклянные туристские катера. Доносились голоса кричащих в микрофон гидов: «Слева Нотр-Дам, воспетый Виктором Гюго, справа бульвар Сен-Мишель, любимое место парижской молодежи». Легкий ветерок трепал мне волосы.

Надо идти в гостиницу. А ноги не несут. Там ждут, пересчитывают, как цыплят. Ну и черт с ними, плевал я на Клавдию Сергеевну, пусть поволнуется.

Приехали поэты, элита называется. На пять дней. Продлиться не разрешили. Почему? А черт его знает почему. Москва не разрешила — и все! А что я успел за эти пять дней? Ничего. Только с Виталием пообщался. Стоило, конечно, хотя я так и не понял, как ему тут живется. Кажется, не очень, но почему-то весел. А я зол, на все и всех. А поэты озабочены, бегают по «Лафайетам». Один только Евтушенко заглядывает в книжные магазины. Кроме туфель из пупыристой страусовой кожи, на высоких ковбойских каблуках, купил полного Набокова у Каплана. А Вознесенский не приехал, звонил из Лондона, очень сожалеет, но задерживают студенты, то ли оксфордские, то ли кембриджские. А на самом деле боится, что аплодисментов будет меньше, чем у Женьки. А тот только рад, тоже побаивается соперника. А перекрыл всех Булат — ему больше всех хлопали.

Без пяти три. Надо идти.

Куда?

В «Эглон»...

Все уже набивают свои чемоданы, ругаясь, что не влезает. А я, дурак, везу какого-то нубийского божка, два тома Юрия Анненкова да подаренный мне Виталием «Адлер». «И это все?» — спросят в Москве. «Все, — совру я, — остальное пропил!» Зачем эта ложь, непонятно. Как будто Виталий разрешил бы мне хоть франк потратить на спиртное.

Хорошо или плохо Виталию — вот чего я до сих пор не пойму. Свобода свободой, но...

Я спросил его как-то: скучает ли он по дому? Он не сразу ответил:

— Ну, как тебе сказать? Скучаю, конечно.

— По березкам или по ханыгам?

Он рассмеялся, сверкнул своими фербенксовскими зубами.

— И по тем, и по тем, и по тебе, гаду. Друзей-то здесь нет...

Вот тут-то мы и распили последнюю поллитровку, ту самую, под названием «Staraya datcha».

— Какие же это друзья? Так, знакомые, приятели, за стаканчиком вина. Водки французы не пьют, а русские, сам знаешь, не лучший вариант... Но главное не это. Казалось мне всегда, что в Москве у меня миллион друзей. Закадычных, полузакадычных, любимых девочек, назовем их так, хотя они давно уже не девочки да и я не такой уж мальчик. Короче — некая привычная, необходимая тебе среда. И ты в ней, как рыба в воде. А потом уже семья. Ты ж меня знаешь, я не ахти какой семьянин, холостяк по натуре. Ну и вот...

Он стал вдруг серьезен. Разлил по стаканам.

— Уехал-то я из России не только потому, что обрыдло это свинство и захотелось глотнуть чего-то там свеженького... Начались партсобрания, где стали меня песочить, и телефон-то умолк. И за столиком в ЦДЛ сидишь один, разве ты только подойдешь. Анчар — и все... И птица не летит, и тигр нейдет, лишь вихорь черный... Вы не сердитесь на меня, Виталий Сергеевич, сказала мне одна весьма порядочная дама, свой срок в свое время, не ахти какой, но отсидевшая, потом реабилитированная, но в партии восстанавливаться не захотевшая, одним словом, весьма достойная дама... Так вот, не сердитесь на меня, Виталий Сергеевич, говорит, но у меня сын подрастает, ему семнадцать лет, и я не хочу, короче: вы должны сами понимать. И я понял. Вот так-то дорогой Виктор Платонович... А березки? Их тут полно. «Було» называются. А вот как плакучая или кудрявая, не знаю. Может, ее-то и нет. Ну и хрен с ней, зато... Что зато? Вика, дорогой мой Викуля, поверь мне, не мучает меня совесть. Ну вот нисколечко. Прозрачна и чиста, как слеза младенца. Был бы у меня сын, дочь — другой вопрос. А так, жене посылаю барахлишко, то с тем, то с другим. Сюда вызывать не собираюсь. И оба мы довольны. Я в большей, она, очевидно, в меньшей степени, но с работы ее не прогнали, директриса у нее хорошая, думаю, кое-что и ей перепадает из моих гостинцев. К слову, тебя ничем отягощать не буду, недавно была оказия, послал очередную партию кофточек...

К этому вопросу мы больше не возвращались, пошли шататься по Парижу.

Анчар... Прокаженный... Как все это мне знакомо.

Страна не-героев. Великая страна вечно озирающихся, вздрагивающих от каждого окрика ничему не верящих людей.

Сахаровых единицы... Где Гастелло? Где? Только на войне? Миру мир! А, оказывается, постыднее его ничего нет. У меня, видите ли, сын подрастает...

Но эта хоть не верит, а остальные?

Евтушенко. Когда-то мы все его любили, властитель дум молодежи, а теперь ночами, видите ли, не спит, нейтронная бомба покоя не дает.

И Рождественский тоже здесь, в Париже, по телевидению выступал — прорвался-таки. Я горжусь, что я советский поэт, сказал он, мне стыдно за Солженицына, который променял Родину на толстую пачку долларов и сомнительную славу... Тьфу! А я не пошел на телевидение, хотя мне и не предлагали. А если б предложили? О Солженицыне, конечно, тоже спросили бы, а что я, уважаемый писатель, участник Сталинградской битвы, отвечу? А? А еще медаль «За отвагу» в Сталинграде получил!

Оторвался я от букинистов и пошел на цветочный рынок. Розы, сирень, громадные кусты сирени, ирисы всех цветов, то огненно-красные, белые, розовые, желтые и черные тюльпаны, двухметровые гладиолусы, какие-то африканские, неведомые, с красными толстыми, точно из носорожьей кожи, лепестками.

У входа в префектуру — она рядом с цветочным рынком — стоял полицейский. Молодой парень с приветливой курносой физиономией, не то что вечно насупленный наш мент, мусор. Стоял себе и курил, хотя, вероятно, это и не полагается.

Подойти, что ли, к нему? Подойти и сказать — так, мол, и так...

Боже мой, что будет на аэродроме «Шарль де Голль». А до этого в осточертевшем «Эглоне», куда ноги никак не донесут, паника, телефонные звонки: кто его видел в последний раз? Прибегут из посольства, Симонов поминутно будет прикуривать золотой зажигалкой гаснущую трубку, не ожидал, не ожидал, от кого угодно, только не от него, на Клавдии Сергеевне лица нет, хватается за сердце, остальные угрюмо молчат, поглядывая на часы. Растерянный парень из посольства висит на телефоне.

Все еще нет... Что делать? Автобус ждет. Не задерживать же самолет... Наш, аэрофлотский. Нет, нет, вы сами позвоните, я не буду... Что? Не слышу... Лица на нем тоже нет.

Виталий встретил бы с распростертыми объятиями. Вот это да! Вот это молодец! Да подавись они все! Плевал ты на их сердечные припадки и инфаркты. Симонов, Симонов... Переживет. Пропесочат, поругают, в следующую поездку не пустят, а потом заколесит по-прежнему... Пойдем, пропустим по маленькой, пошевелим извилинами. Как тебе быть, горемычному... Не пропадешь. Никто еще здесь не пропадал. И домочадцев твоих потом вытащим. Мобилизуем мировую общественность. Всяких там Беллей, Моравиа, Шагалов. Вперед, лауреат Сталинской премии, за мной!

А курносый, со славной мордой полицейский, точно предчувствуя что-то, смотрит на лауреата и улыбается.

И вздохнул лауреат, щелкнул окурком в урну, не попал — не бывать, значит, этому, — и направился к станции метро «Ситэ».

Через полчаса был в «Эглóне». Все облегченно вздохнули. Никто ничего не сказал, даже Симонов, только Клавдия Сергеевна, запивая очередной транквилизатор, от волнения пролила почти полстакана себе на грудь.

Лауреат же забился в самый зад автобуса, мрачнее тучи глядел на пролетающие мимо отели, кафе, рекламы и думал о том, что медаль «За отвагу», приедет в Киев, выбросит за окно, нет, отдаст внуку, пусть тот ее потеряет или выменяет на какой-нибудь кинжал или жвачку.

Приехав, не выкинул и внуку не отдал. Так и лежит она в своей картонной коробочке, даже не догадываясь, что хозяин ее о парижских терзаниях вспоминает все реже и реже и пишет новый роман.

О чем? А Бог знает о чем. Не все ли равно? Говорит, что листов двенадцать-тринадцать, обычный его размер.

Говнюк? Зачем? Просто нормальный советский писатель.

Грустная картина? Мало сказать, грустная.

Саперлипопет!

Нет, не тянет оно, это французское «жюрон», вялое, без души. Тут бы покрепче, выразительнее. Знаем мы как... Но воздержусь. При всей своей любви, даже, говорят, при злоупотреблении ими, этими столь русскими, нет, не ругательствами, какое ж это ругательство, это крик души, но в письменном виде все же воздержусь. Не приветствую новое увлечение.

Вспоминаю Толстого. После Бородина старик Кутузов сочно матюкнулся, солдаты заржали, пришли в восторг, и мы все поняли, хотя заветные слова автор и не произнес. Да будет он нам примером...

22

Повествование наше развивается по какой-то странной кривой. Скорее даже зигзагом. Вперед, назад, в сторону. Никакой стройности, композиции. Вот и сейчас, после Парижа семидесятых годов, откатимся-ка назад, лет этак на тридцать, к концу сороковых годов.

Эйфория послевоенных лет уже на исходе.

Редакция «Знамени» в те годы находилась на улице Станиславского. По-видимому, в помещении бывшего магазина. В просторной его части, где когда-то торговали, был кабинет редактора Всеволода Вишневского. В подсобках — секретарша, машинистка, редакторы. В обычные дни было весело и шумно. Когда приходил редактор, становилось тише. Он садился за большой стол, спиной к окну-витрине и начинал писать письма, в том числе и сидевшему в соседней комнате Толе Тарасенкову, веселому своему заму,— очевидно, для истории, последнего тома собрания сочинений — «Переписка». Это была первая редакция журнала, где меня не отвергли.

В 1947 году, на удивление многим, «Окопы» были «лаурированы».

Потом меня все спрашивали:

— Расскажите, как вам вручали премию. Торжественно? В Кремле? Кто?

Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко МХАТовского администратора тов. Михальского. Он по совместительству был секретарем Комитета по Сталинским премиям.

Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходили в студийные еще годы в надежде попасть на «Турбиных».

— На сегодня контрамарок нет,— сказал Михальский, даже не повернувшись в мою сторону, он говорил с кем-то по телефону.

— Мне не контрамарку, а...

— Билеты в кассе. От двенадцати до пяти...

— Нет... Мне это самое... Как его... Диплом, что ли...

Он мельком взглянул на меня: фамилия? — и, продолжая говорить по телефону, вынул из шкафа две плоские бордовые коробки — большую и маленькую. Из ящика стола папку, из нее лист.

— Вот тут, пожалуйста. Распишитесь.

Я расписался и взял свои коробки. В большой был диплом. В маленькой золотая (так говорили) медалька с профилем вождя.

Беседа по телефону при мне так и не закончилась.

С этого момента, точнее, дня — 6 июня 1947 года — все издательства Советского Союза, вплоть до областных и национальных, стали включать книгу в свои планы. Делалось это автоматически: раз лауреат — в план, срочно...

Следствием этого было то, что в парижском «Фигаро» через много лет сообщено было в статье, посвященной только что прибывшему эмигранту: «Личный друг Сталина, член ЦК, миллионер в рублях...»

Миллионером не стал, но какие-то деньжата завелись. Членом ЦК, разумеется, никаким не был, а что касается товарища Сталина...

Вот тут-то и подъехал ко мне, обогнув бел-горюч камень, большой черный ЗИС, и выскочивший оттуда моложавый полковник вежливо козырнул:

— Прошу.

— Куда? — опешил я.

— Садитесь, пожалуйста. Рядом с шофером попрошу.

— А коня?

— Не беспокойтесь, все будет в порядке.

Я сел, и мы поехали.

О том, что Сталин невелик ростом и конопат, я, конечно, знал. И то, что «курьезен» и хороший тамада — тоже, со слов четы Корнейчуков. Но то, что он встанет из-за стола и пойдет тебе навстречу, кто мог этого ожидать? А он встал и пошел навстречу.

— Заходы, заходы, будь дарагым гостэм.— И, взяв под локоток, подвел к креслу возле своего стола.— Садысь, садысь, сталинградец, потолкуем. Куришь?

Говорил он с акцентом, но небольшим (в дальнейшем читатель пусть сам расцвечивает его речь, я не буду).

Сталин сел за стол, выдвинул ящик, взял оттуда коробку своей знаменитой «Герцеговины Флор», вскрыл ее и протянул мне.

— Кури.

Папироса долго не выковыривалась, от волнения дрожали пальцы. Сталин заметил, но ничего не сказал. Только что-то вроде улыбки промелькнуло на его губах.

— Между прочим, почему «Герцеговина Флор» называется? Не знаешь?

Откуда я мог знать? Сам всегда удивлялся этому нелепому не «Герцогиня», а «Герцеговина».

— Тоже не знаешь. Никто не знает. Даже такой умный, как Шкловский, и то не знает. Странно. Очень странно...

Чиркнув спичкой, он долго, попыхивая, прикуривал трубочку, знаменитую свою сталинскую трубочку. Точно, как на напельбаумовской фотографии,— мелькнуло у меня в голове. Когда-то я был очень поражен, обнаружив ее в спальне Твардовского, над самой кроватью. Другая — Бунина, висела над письменным столом. Это странное содружество долго не давало мне покоя.

Прикурив, Сталин откинулся в кресле и стал разглядывать меня.

Было одиннадцать часов утра. Я запомнил это, потому что часы, неизвестно где висевшие, я их так и не обнаружил, очень сухо и по-деловому пробили одиннадцать.

Все последующее я попытаюсь изложить как можно точнее. Дело нелегкое, с тех пор прошло не более не менее, как тридцать пять лет, какие-то детали стерлись, но главное не это, главное — количество выпитой водки. А выпито было много. Сначала вино, потом только водка. Меня это несколько удивило,— всегда думал, что грузины не очень-то падки на водку.

Учесть надо еще и то, что рассказчик, как правило, всегда несколько идеализирует, приукрашивает свою роль и поведение в описываемом событии. Вряд ли мне удастся этого избежать, но, понимая всю значительность того, что я сейчас поведаю, постараюсь быть предельно точным.

Какое-то время Сталин, откинувшись в кресле, рассматривал меня.

Мучительно пытаюсь сейчас вспомнить, какое же чувство я испытывал тогда. Первое, что напрашивается,— конечно, страх. Перед тобой в кожаном кресле сидит убийца, самый страшный из всех убийц, которых знало человечество. И перед ним ты, один-одинешенек. В большом, пустом кабинете.

Но, как ни странно, страха не было. Было что-то другое. Черчилль в своих мемуарах писал, что, готовясь к первой встрече со Сталиным, строго-настрого наказывал себе ни в коем случае не идти первым навстречу. Но достаточно было ему, маленькому седому человеку, показаться в дверях, как какая-то неведомая сила толкнула английского премьер-министра в спину, и он торопливо пересек весь громадный пустой зал, а Сталин стоял.

Нет, входя в кабинет, я никаких клятв себе не давал. Коленки, правда, малость дрожали, когда сопровождающий меня вежливый полковник сказал, открывая передо мной тяжелую, обитую кожей дверь: «Товарищ Сталин вас ждет», но, кажется мне, вошел я спокойно, не убыстряя шаг, и вот тут-то Сталин пошел мне навстречу. И усадил против себя. И угостил «Герцеговиной Флор». И во всем его облике была только приветливость, только доброжелательность. И в памяти моей на миг вспыхнул рассказ одного очень хорошего человека, который ни при каких обстоятельствах не мог соврать. Рассказ Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Сталин тоже как-то вызвал его к себе. Узнать подробности рейса «Малыгина»: Иван Сергеевич принимал в нем участие. Очень понравился ему тогда Сталин. Такой обходительный, любезный, немногословный, внимательно слушал.

Насчет исходивших от него гипнотических или каких-то других флюидов ничего не могу сказать — думаю, что моя скованность на первых порах (к концу она, увы, исчезла под влиянием винных паров) была такой же, сиди я перед Черчиллем или де Голлем. Впрочем, ни тот, ни другой, насколько известно, в лагеря писателей не загоняли — деталь существенная.

Итак, Сталин разглядывал меня. А я — его письменный стол. Пытался запомнить предметы на нем — отточенные карандаши в вазочке из уральского камня, маленький самолетик на стальной пружине и большой, зеленый, точно летнее поле, бювар. Потом я поднял глаза и взгляды наши встретились.

И тут он — молчание несколько затянулось — сказал наконец:

— А я думал, высокий, широкоплечий блондин, а ты вот какой, да еще с усиками... Так вот, знаешь, чего я тебя пригласил? А? Не знаешь... Со Сталинской премией хочу поздравить! — и неторопливо протянул мне руку.

Я вскочил и, пожалуй, торопливее, чем надо, пожал протянутую ладонь.

— И почему твоя книжка мне понравилась, тоже не знаешь? — Он произнес это после небольшой паузы, во время которой я чуть не выпалил: «Служу Советскому Союзу!», но вовремя сдержался.— Задница у меня болит, вот почему. Все ее лижут, совсем гладкая стала.

Он рассмеялся, зубы у него были черные, некрасивые.

— Совсем, как зеркало, стала.— Он встал и прошелся по комнате. Роста он оказался не больше моего, пожалуй, даже пониже, но плотнее, покрепче, шире в плечах.

— Ты сегодня вечером что делаешь? — спросил, остановившись передо мной.— Может, девушке свидание назначил?

— Никак нет, товарищ Сталин.

— Тогда приглашаю тебя к себе. Премию твою отпразднуем. Винца попьем. У меня хорошее, государевых подвалов.

Впоследствии в разговоре он несколько раз вспомнил царя, но всегда говорил «государь». Не царь, не Николашка, не Николай II, а государь. И никакого озлобления. «Слабенький государь был, безвольный, не такой России нужен был...»

— Массандровского винца попробуем. Сохранилось еще. Кстати, что вы там у себя в Сталинграде пили? А может, не пили, только воевали? Под мудрым сталинским руководством? А?

И опять рассмеялся.

Действительно, «курьезный», подумал я. Такой приветливый, уютный дедушка. С ухмылочкой, на портреты свои совсем не похож.

Принесли чай. Очень крепкий, в подстаканниках. И вазочку печений. Сталин пил, макая печенье в чай.

Потом в дверях вырос вдруг Поскребышев. Внешности у него не было никакой, но по тому, как он беззвучно появился, а потом так же растворился, я понял, что это он.

— Ну, чего возник? — не глядя на него, спросил Сталин.

— Вы, товарищ Сталин, на двенадцать товарищу Гротеволю и немецким товарищам назначили. Ждут в приемной.

— Назначил, говоришь? Что ж, точность, говорят, вежливость королей. И генсеков тоже. Зови.— И, повернувшись ко мне: — Немцы, немцы... Фрицы... Вот где они у меня.— Он провел рукой по горлу.— Сациви любишь?

Я кивнул головой.

— Вечером покушаем. Не оторвешься.

В дверях появились немецкие товарищи. Сталин раздраженно махнул рукой.

— Да подождите, куда лезете?

Немцы попятились, беззвучно прихлопнув за собой дверь.

— Книжку мне подпиши. Только без всех этих «ах-ах», понял?

23

Никак сейчас не соображу, сколько же мы пропьянствовали тогда. Начали часов в восемь вечера, потом ненадолго разошлись, опять встретились и кончили вечером следующего дня. Когда, в котором часу?

Началось все в большой столовой, у него на даче, в Кунцеве.

Посторонних никого не было. Я и он.

Подали сациви. Действительно, отличное. И лобио, конечно. И шашлык. Карский.

— Люблю карский, ах! — Он причмокнул языком.— А мне все курицу, курицу...— Он погрозил пальцем уютной, похожей на няню, женщине, которая нам подавала.— Еще раз курицу принесешь, знаешь, куда отправлю?

— Да уж знаю,— проворчала няня.

— То-то же... Так что пить будем, а? «Мукузани» или эту самую, вашу «Московскую»? Ты кем в армии был?

— Капитаном.

— Ай-ай, плохо, значит, воевал, не дотянул даже до майора? В твоем возрасте покойный Якир знаешь, кем был? Командовал Украинским военным округом. Командарма первого ранга вскоре получил. А ты... Ну, да ладно.

Он разлил вино по стаканам.

— Ну, что? За того, который до победы довел? — И посмотрел на меня хитрым взглядом.— А может, есть другие предложения?

Я что-то провякал, вроде «что вы, что вы»...

Выпили.

— Да, погорячился я тогда, погорячился... Буденный, Тимошенко, мудило этот Ворошилов, первый красный офицер. Им-то и с батальоном не справиться, а я им, дурак, фронты поручил...

И заговорил о первых месяцах войны. И то не так, и это не так, и зачем долговременную линию обороны на старой границе взорвали.

— Жуков, Жуков во всем и виноват, начальник Генштаба. Он в ответе...

Меня, конечно же, распирало от желания задать тысячу вопросов. Но пока воздерживался, боязно было.

В середине разговора Сталин вдруг крикнул:

— Э-э! Кто там есть?

В дверях безмолвно вытянулся немолодой полковник.

— Скажи там кому надо, что завтра у товарища Сталина выходной.

— Есть сказать, что товарищ Сталин завтра выходной! — Полковник лихо козырнул и исчез.

— На охоту завтра полетим. В Беловежскую пущу. Не бывал? Там еще зубры есть. Или как их теперь, зубробизоны называют...

В жизни я никогда не охотился. Это всегда огорчало Ивана Сергеевича, страстного охотника, охотника-поэта.

«Единственное, что нас с вами разъединяет,— говорил он.— Будь вы охотником, мы бы с вами...» — и никогда не договаривал... И вот, пожалуйста, первый раз в жизни в Беловежской пуще, и не с Иваном Сергеевичем... Никогда б не простил.

После второй бутылки «Мукузани» речь зашла о литературе, писателях.

— Все прохиндеи. Все! Как один. С этим пьяницей во главе, Фадеевым... Вот Платонов — то был писатель. Божьей милостью. Ругал я его, правда, было за что, но писать умел. Или Булгаков... Видал во МХАТе «Дни Турбиных»? Я раз десять, а то и больше...

Потроша папиросы, стал набивать трубку.

— Вот это офицеры были, м-да, настоящие офицеры. Все вокруг рушится, большевики прут, а они присяге не изменяют. Молодцы! Приятно смотреть... Спички есть?

Я подал коробок. Он закурил, сделал несколько затяжек.

— А тут окружен со всех сторон всякими там... Никому не веришь! За полушку продадут.

Он встал, прошелся по комнате. Она была большая и пустая. Обеденный стол, вокруг стулья. У стенки то ли диван, то ли тахта, то, что у нас, в Киеве, называлось «боженковская»,— продукция мебельной фабрики имени Боженко. Над столом трехсотсвечовая лампочка под розовым абажуром с бахромой.

Сталин походил, сел, разлил вино.

— По последней, завтра рано вставать.— И опять крикнул: — Эй!

Вырос полковник. Сталин отдал распоряжение о самолете и чтоб разбудили не позже семи. Вздохнул:

— Плохо с писателями, плохо. Хороших пересажал, а новые — куда им до тех. Ну зачем, спрашивается, Бабеля сгноили? В угоду этой самой дубине усатой, Буденному? Обиделся, понимаешь, за свою Первую Конную. Оболгали, мол... А вот и не оболгали! — И вдруг без всякого перехода: — А может, подкрутить все же писателей? Дать команду Жданову... А?

Он посмотрел на меня долгим, испытующим взглядом, потом махнул рукой.

— Ладно, утро вечера мудренее. Отбой.

Неторопливо, вразвалочку, направился к дверям. Взявшись за ручку, обернулся и сказал на прощание:

— А писатели наши — дерьмо! Не обижайся, но дерьмо...

И вышел.

24

Всю ночь я ворочался на неудобной узкой кушетке в полупустой комнате, куда меня привели два вежливых, молчаливых капитана. «Что б это все могло значить? — думал я. — И как себя держать? Нельзя же все время молчать и поддакивать. Подумает еще, что трус или дурак. Но как его раскусить? Пока не получается. Может, когда больше выпьем? А вообще-то молодец. Все же под семьдесят, не тридцать шесть, как мне.

Опыта общения с тиранами у меня не было. Гитлер тоже, говорят, за столом был внимателен, общителен, ручки дамам целовал. Ильич кошечек поглаживал, говорил, что всю жизнь слушал бы «Апассионату». Правда, добавлял, что она его размягчает, хочется милые глупости говорить, по головкам гладить, а по ним надо бить, бить... «Адски трудное занятие». А этот? Вроде бы уютный дедушка, с юмором, над собой пошутить не прочь, но вот под конец, когда Жданова вспомнил, и потом, когда обернулся у дверей, уютного дедушки уже не было. А это — «за полушку продадут»?

Чуть ли не всю ночь проворочался, к чему-то прислушивался — тишина была гробовая.

Что же дальше будет, думаю.

А дальше проснулся я посреди ночи, а он сидит у меня в ногах, в руках пол-литра.

— Не спится что-то, капитан. Мальчики кровавые в глазах. Решил к тебе зайти.

Я натянул штаны. Он был в полосатой пижаме, на локте заштопанной. Как Александр III, подумал я. Тот тоже любил все старенькое, ношеное. Витте в своих мемуарах вспоминает, как он сопровождал царя, когда был директором Юго-Западных железных дорог. Зашел ночью в царский вагон и с удивлением обнаружил государева денщика, старательно штопающего штаны самодержца. «А они не любят нового. Посмотрите на их сапожки, каждый месяц новые подборы ставим».

Сталин подсел к столу у окна.

— Ну, давай, капитан.

— А из чего, товарищ Сталин? — оглядевшись, я не обнаружил стаканов.

Сталин вроде даже смутился.

— Минуточку, сейчас придумаем. — И вышел.

Вскоре вернулся. С двумя гранеными стаканами и тарелочкой огурцов.

— Хлеба вот нет. А старуху будить не хочется. Обойдемся?

Пьянка эта, начавшаяся где-то часа в три ночи, затянулась на весь день. Охота почему-то была отменена. «А ну ее, пожалеем этих зубров. Сохраним поголовье. Хоть тут, да сохраним», — и мрачно рассмеялся.

Пили водку, ели вяло, хотя старуха натаскала потом кучу всякой копчености, грызли, в основном, орешки.

— Закусывать надо, закусывать, — ворчала она, злобно бросая на стол вилки и ножи. — Забалдеете, начнете гостя обижать. Смотрите, какая телятинка, во рту тает.

— Не учи, старая, сами, знаем, ученые.

— Чему ученые? Людей сажать ученые, а пить не умеете.

Сталин попытался рассердиться, но не получилось.

— Ладно, старая, иди, не мешай.

Старуха, ворча, ушла.

И все пошло вроде как по маслу. Даже закусывать стали. Возникший опять разговор о писателях принял вдруг шутливую окраску. Не ввести ли, мол, звания? Лит-майор, лит-полковник, генерал-литератор первого ранга, второго, третьего. Маршал литературы. Надеть на всех погоны, с лирой там или с гусиным пером. Собирался даже позвонить Фадееву, чтоб комиссию создал, потом раздумал.

— Дождемся съезда какого-нибудь. Выступлю на нем, ох и благодарить будут. Как архитекторы. Когда я им мысль про высотные здания подсказал. Очень им эта идея понравилась, акценты, говорят, расставили. Гениальное решение, товарищ Сталин, говорят...

Он разлил водку по стаканам.

— Надо бы еще что-нибудь придумать. Ты вот, говорили мне, по образованию тоже архитектор. Помоги, дорогой. Метро есть, высотные здания будут. Что еще?

И прищелкнул вдруг пальцами.

— Блестящая идея! Выпьем за нее, за еще одно доказательство сталинской заботы.

Выпили. Не окосеет ли? Нет, держится. Могучий старик.

— Так вот, — начал он. — Знаешь, почему Дмитрий Самозванец в русские цари не годился? Нет, не знаешь. Умный ведь, образованный был, а вот есть две вещи, без которых русский не может. Поспать любит после обеда да в баньку сходить. А Дмитрий ни в какую. И не спит, и в баню не ходит... А? Какой же это русский царь?

— Никакой, — согласился. — А вы, Иосиф Виссарионович, ходите?

— Куда? В Сандуновскую? Да что ты, она для народа, не для нас. Потому и в цари не гожусь... Так вот, задумал я... Знаешь, как в Риме? Громадные такие бани, «термы» называются, красивые, с колоннами из мрамора, бассейны разные, фонтаны вокруг, а потом в специальных залах, тоже красивых, русалки там на потолках, Садко богатый гость, по кружечке пивца, попотеть, поговорить за жизнь. Народ наш доволен будет. Спасибо, скажет, товарищу Сталину, обо всем он заботится. И на душе легко, и тело чистое...

Очень ему понравилась эта затея. Поговорили еще о том, где их, эти термы, разместить, и остановились на острове, где Дом правительства, кинотеатр «Ударник». Потом вернулись опять к «царской» теме.

— Баня там или не баня, а народ наш, кроме бани, любит, чтобы у него и царь-батюшка был. — На лице его появилось некое мечтательное выражение. — Самодержец Всесоюзный. Неплохо звучит, а? Царь польский — Берута побоку, наместником сделаем, — Великий Князь финляндский — Па-а-сикиви тоже побоку, — Эмир бухарский, Хан казанский и крымский, Господарь молдавский, Гетман всея Украины. Вот приеду к вам в Киев, булаву вручать будете.

Он развеселился от этой мысли, встал, подошел к столу.

— Чару налей! Келех по-вашему, по-хохлацки. За нового Гетмана выпьем! — Он отхлебнул чуток. — Надо бы Никите позвонить, чтоб разыскал он эту самую булаву, Богдана Хмельницкого. Хранится же где-нибудь у них там.

Устроившись в кресле, в углу стояло одно в белом чехле, стал развивать тему о коронации. И про шапку Мономаха вспомнил, и про бармы царские. И во что нарядить членов Политбюро.

— В кафтаны, кафтаны! И Молотова, и Маленкова, и еврея нашего почетного Кагановича, всех в кафтаны... И хоругви чтоб несли. И в колокола ударим... Их, правда, всех к черту перелили. Вот Кагановичу и поручим достать. Распяли Христа — пусть грехи замаливают, — весело засмеялся. — Ну, что там еще при коронации бывает?

— Ходынка, — ляпнул я.

Смех прекратился. Поджал губы.

— Знаешь, что за такие штучки положено? Скажи мне такое Молотов или придурковатый наш Клим, да я бы их... — И покачал вдруг примирительно головой.— Ох, капитан, капитан. Шутник ты все же большой. Только потому, что сталинградец, прощаю. А то сделал бы тебя своим Балакиревым, придворным шутом. Колпак с погремушками на голову — и сиди у трона, шутки шути, остроты пускай. Ох-хо-хо.

Гроза миновала.

— Слушай, а что если я тебя в Политбюро введу? Русский, фронтовик, что еще надо? Они же, серуны, и пороха не нюхали. Или в секретариат. Жданов пусть музыкой занимается, чижика-пыжика на рояле одним пальцем умеет, а ты литературой. Будешь подсказывать мне, кого в кино пригласить, «Тарзана» посмотреть, выпить потом, а кого под задницу. Поприжать их всех надо, паразитов. Расплодились, черти. Дачи себе понастроили, живут, как паны... А у тебя дача есть?

— Что вы, товарищ Сталин, в коммуналке живу.

— В коммуналке? Сталинский лауреат — и в коммуналке?

— Так точно, товарищ Сталин.

— Безобразие, понимаешь.— Он подошел к телефону.— Хрущева мне.— И через минуту: — Никита? Ну как, живой? Лазарь не замучил? Ну ладно, ладно. Так вот, сидит тут у меня один ваш киевский писатель, молодой. Некрасов фамилия.— Он повернулся ко мне: — Ты не родственник, часом, того, классика?

— Ни с какой стороны.

— Говорит, ни с какой стороны. Сам вылупился, без протекции. Что? Не слыхал о таком? И не стыдно? Руководитель называется. Так вот, садись в самолет и чтоб... Сейчас сколько? Глянь, капитан, я без часов... Девять? Без пяти девять. Чтоб в двенадцать был у меня. Ясно?

Он положил трубку.

— Пусть проветрится. А то совсем замучил его там Лазарь, с этими делами украинскими. Заодно и повеселит нас, парень занятный.

Дальше произошло нечто, в чем я не проявил достаточной активности. А надо бы. То ли хмель помешал, то ли важность того, что сообщено было мне, поставило меня в тупик, но только сейчас, столько времени спустя, я понял окончательно, какую промашку дал.

После телефонного звонка Сталин начал ходить по комнате. Из угла в угол, туда и обратно, своей неторопливой, неслышной походкой. Какое-то время постоял у окна. Я продолжал сидеть за столом, ковыряя вилкой остатки вчерашнего сациви.

Сталин подошел к столу и как-то странно посмотрел на меня. Потом направился к двери, приоткрыл и к чему-то прислушался, неслышно затворил, вернулся к столу. Да, подумал я, боги, оказывается, вовсе не благодушествуют на своих облаках, они тоже чего-то все время остерегаются, озираются, к чему-то прислушиваются...

Сталин внимательно смотрел на меня. Во взгляде его было что-то новое — не то что недоверие, а какая-то неожиданная для меня неуверенность, будто он сомневался в чем-то, на что-то не решался. И это Сталин... Длилась пауза секунд пять, может, десять.

— Никому не говорил, а тебе скажу,— произнес он наконец, и глаза его сузились.— Молчать умеешь?

Я проглотил слюну. Сказал, что умею.

— Под большим секретом... Тайна.— Он подвинул стул вплотную к моему и, наклонившись, шепотом сказал: — Дневник веду...— приложил толстый палец к губам.— Никто не знает...

Я молчал. Взгляд его сверлил меня насквозь.

— Никому не верю, все серуны... А тебе верю, понимаешь? И доверяю, дневник свой доверяю. Понятно? Когда умру...

Он вдруг умолк, стал к чему-то опять прислушиваться. Было тихо, только какая-то птичка щебетала за окном. Встал, беззвучной походкой подошел к кушетке, осторожно отодвинул ее, но тут же придвинул обратно.

— Не сегодня, нет...— Распрямился.— Специальный разговор будет. Вызову.

И он вновь заходил по комнате. Туда, сюда. Раза три, четыре.

— Ладно, налей.

Я разлил по стаканам.

— Пикнешь только, язык вырву. Ясно? Как шах персидский или афганский...

Мы выпили, и он как ни в чем не бывало заговорил о Востоке. Вспомнил Амануллу-хана, который в начале двадцатых годов приезжал в Союз.

— Трактор мы ему тогда подарили. Тебе смешно? А тогда, знаешь, какой это подарок был? Интеллигентный был шах, падишах в то время назывался. И жена красавица...— Он причмокнул языком и тут же добавил: — А язык вырву. Как его прадедушка вырывал...

Мне стало как-то не по себе, хотя он тут же улыбнулся своей чернозубой улыбкой и похлопал меня по плечу.

— Уже и пошутить нельзя, пугливые вы все какие-то...— И без всякого перехода: — Послушай, а ты дневник вел? Когда-нибудь? А?

— Пытался в Сталинграде, не получилось.

— Трудно, очень трудно. И непонятно. Для кого пишешь? Для истории? Для себя? Ладно. Потом. Вызову, поговорим... Как с писателем. Толстой вот писал, в сапог прятал. А мне куда? А? — Он рассмеялся и погрозил мне пальцем.— Как там у Пушкина? И вырвал грешный мой язык, какой-то там, не помню уже, и лукавый, и жало мудрое змеи... Эх, нет больше Пушкиных, товарищ писатель, нет...— Он вздохнул.

Фу ты черт, подумал я, холодея,— влип. Язык, может, и не вырвет, но вот возьмет и вызовет. Что тогда? И заставит читать. Или наоборот — запретит. Но даст указание. Тогда-то и тогда-то, когда он умрет, в таком-то месте... А может, и совсем по-своему — кто слишком много знает, к ногтю... Самый реальный из вариантов... Мне стало по-настоящему страшно.

25

Ровно в двенадцать, минута в минуту, дверь приоткрылась и в ней показалась поросячья физиономия Хрущева.

— Можно, товарищ Сталин?

— А, Лис-Микита! — Сталин приветливо помахал рукой.— Горилку привез?

Хрущев растерянно развел руками.

— Ну и недогадливый ты хохол. И истории не знаешь. К царям всегда с дарами приходят. Шубу там соболью, коня резвого, яхонты, алмазы... А нам вот с писателем горилки с перцем вашей украинской не хватает. Ну, что делать с ним будем? Накажем?

— Так я, товарищ Сталин, сейчас...

— Да хрен с тобой! На первый раз прощаем. Налей-ка ему, капитан. Полный, полный. Бери! Да не расплескивай. Ручки чего дрожат? Со страху, что ли? Ну, рявкнул мишка...

Очевидно, действительно, от страха, но руки у Никиты Сергеевича так дрожали, что он с трудом стакан к губам поднес. Потом поперхнулся. Но выпил, с трудом, но выпил.

— Ох и питух же ты, Никита! — рассмеялся Сталин, обнажая черные свои зубы.— Тоже мне, казак, запорожец...

Удивительно он все-таки словоохотливым оказался. А я-то думал, что так лениво роняет слова. Ходит вокруг стола, попыхивает трубочкой и неожиданным вдруг вопросом каверзным огорошивает. Таким в кино мы его видали, к такому привыкли.

— Выпил? Теперь закуси. Балычок, семужка. Да ты не стесняйся, чувствуй себя как дома. Там, небось, от стола не оторвешь. Смотри, какое пузо отрастил. Давай ему второй, капитан. А то не на равных будем.

Второй пошел у Хрущева легче. Крякнул, вытер ладонью рот, отрезал кусок телятины.

— Вот и хорошо,— сказал Сталин и встал.— Вы тут закусывайте пока, а я тем временем...— Он вышел, очевидно, по надобности.

Хрущев тяжело вздохнул, посмотрел на меня со смешанным чувством почтения и недоумения.

— Так это из-за вас он меня вызвал?

— Да вроде.

— А по какому поводу, не знаете?

— Квартирному.

— Квартирному? А у вас что, нету? Так это ж по телефону все можно.

— Вероятно, можно.

— А еще про что-нибудь говорил?

— Говорил.

— Про что?

— Про булаву.

— Какую булаву?

— Богдана Хмельницкого.

— Что на памятнике? Убрать, что ли, надо? Вмиг уберем. — Он облегченно вздохнул.

Иди оно так, как шло, все было бы прекрасно. Хрущеву было приказано отгрохать мне дачу на берегу Днепра и квартиру не хуже, чем у Корнейчука («Ах, у него особняк, и Некрасову особняк!»), потом предложено было по традиции сплясать гопака и совсем уже не по традиции — есть такое русское развлечение — изобразить борьбу с медведем, и в награду преподнесен был келех, и беднягу совсем развезло. Сталин смеялся, хлопал в ладоши. На этом бы и кончить, поблагодарить за гостеприимство, Никиту взять под микитки и улететь бы с ним в Киев, а там дача, особняк и прочие лауреатские блага с царского плеча.

Но не тут-то было: позвонил вдруг телефон. Сталин взял трубку.

— Ну, чего там, — буркнул. — А кто его приглашал? Занят я... Скажи, что занят, — и положил трубку. — Тоже мне борец с алкоголизмом.

Через минуту опять звонок.

— Ну, что? Какое там может быть важное дело? — Матюкнулся. — Ладно, пусть зайдет.

Зашел Берия.

— Ну, чего принесло? Видишь, пьем. О серьезном разговариваем. Чего тебе надо? Короче?

Берия приоткрыл было рот, но Сталин перебил.

— А ну, дыхни! Трезвый! А трезвый человек — человек подозрительный. На, выпей. — Сталин налил полный стакан. — Штрафную.

Берия взял стакан и злобно посмотрел сначала на Хрущева, тот примостился уже на моей кушетке, потом на меня.

— Чего косишься на него? Писатель. Мы тут с ним литературные проблемы решаем, а ты со своей мурой. Сажать сегодня никого не буду, ясно? Пей! И залпом!

Лаврентий Павлович с трудом, но выполнил приказание. Сталин ткнул вилкой в огурец.

— Закусывать надо. А то окосеешь и заведешь волынку... Ну, докладывай, раз пришел.

— Разговор конфиденциальный, — сказал Берия.

— Ах, конфиденциальный? Серьезный? Жизнь страны от него зависит? Да? А может, я не хочу сейчас о стране говорить? Хочу о литературе. С писателем. Ты Щедрина читал когда-нибудь? Нет. А был такой губернатор-писатель. И неплохой. Лучше вашего Горького. Вот пойди, почитай. Потом доложишь. Кру-угом, марш!

Берия на глазах бледнел. После последних слов начал пятиться. Опять злобно глянул на меня. Сталин перехватил его взгляд.

— Пью с кем хочу, ясно? С тобой не хочу, а с ним хочу. Пришел еще подглядывать! — И стукнул кулаком по столу. — Марш отсюда!

И Берия, грозный Берия, растаял: как будто его и не было.

— За грузина себя еще выдает, гад... — Сталин встал и прошелся по комнате. В столовую мы так и не пошли, пили у меня. — Подглядывают, сволочи, подслушивают, проверяют... Житья нет.

Поправил косо висевший шишкинский лес.

— На тебя еще грозно смотрит, б....га. Пусть попробует только. Хребет сломаю ему, Малюте зарвавшемуся.

Нежданный визит этот испортил всю нашу идиллию. Начал вспоминать, кто в чем провинился. Виноваты, оказалось, все. Прихлебатели, болтуны, доносчики, каждый на чужом х... в рай хочет въехать. Втируша Маленков, и Вячик-медный лоб, и Лазарь этот обрезанный — все друг друга стоят....

И исчез уютный дедушка. По комнате из угла в угол решительными шагами ходил пока еще не разгневанный, но явно разозленный выпивший (нет, не пьяный, я поражался этому, а именно выпивший), крепкий еще старик в заштопанной пижаме и, щедро пересыпая свою речь матом, поносил своих нерадивых слуг.

Подошел к прикорнувшему на моей кушетке Никите, пнул ногой.

— Ну, чего развалился? Сталин его вызвал, а он слюни тут пускает. Утрись!

Ошалелый Хрущев лихорадочно стал вытирать рот, оттуда, действительно, что-то текло.

— А ну встать! По стойке смирно! Докладывай, что у вас там, на Украине? Как указания выполняете?

Хрущев вытянулся, руки по швам, заморгал глазенками.

— Кре... Крещатик вот по вашему указанию восстанавливаем. Писатели включились. Павло Тычина стихи написал. Как это? Сестричку, братику, попрацюемо на Хрещатику...

— Нужен мне твой маразматик Тычина... Сестричку, братику... Ты мне про зерно, про уголек доложи. Сядь, соберись с мыслями.

И, как ни странно, Никита собрался — в этом, вероятно, и была магическая сила Сталина: уметь выколачивать из людей нужное в любой момент, в любой обстановке. Вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумажку, стал, не очень даже заплетаясь, приводить какие-то цифры.

Сталин, к моему удивлению, похлопал его по плечу и то ли доброжелательно, то ли с издевкой сказал:

— Видал? Пятидесятимиллионная республика, а у него все цифры в боковом кармане. Ну и даешь ты, Никита.

Тем не менее подсел к столу.

26

Дальше произошло то, чего я больше всего опасался. Мне захотелось говорить.

Ни в коем случае! — пытался я убедить самого себя. — Ни в коем случае! Видишь, как все хорошо идет. Всех ругает, а тебя нет. Над всеми издевается, а тебя только по голове гладит. Никиту вот специально вызвал, дачу, особняк отвалил, что тебе еще надо? Кати немедленно в Киев и пиши, пока зеленая улица перед тобой...

Нет, хочу говорить!

Не гневи Бога, не гневи Сталина, балда! Начнешь за здравие, кончишь за упокой. Опять с какой-нибудь Ходынкой влезешь. Сейчас уже не сойдет тебе. Берия в нем всю муть со дна поднял, разве не видишь? Нет уже рождественского дедушки. Перед тобой Сталин, ты что, забыл? И оба вы пьяные...

Ни в какую... Тост! Только тост! Хочу тост произнести!

И произнес.

Подошел к столу, разлил остатки водки и очень громко произнес:

— Дорогой товарищ Сталин, дорогой Никита Сергеевич! Простите, что я вторгаюсь в ваш серьезный, деловой разговор, но мне кажется, что настало время выпить...

— Очень правильное замечание, — серьезно сказал Сталин, взяв протянутый мною стакан. — Выпить никогда не вредно. Мозги прочищает.

И меня понесло. В пьяном словоизвержении своем я говорил в основном о войне. Об отступлении, об оставленной Украине, о мосинских трехлинейках, которые выдавали нам за день до вступления в бой, и, конечно же, о Сталинграде, Мамаевом кургане, солдатах, командире полка, Чуйкове, Родимцеве, колхозных лопатах, мерзлом грунте... Патриотизм так и пер из меня.

— У сталинградцев, у солдат была одна мечта, — закончил я свой несколько затянувшийся тост. — Дорваться до логова этого бандита, до его канцелярии и нагадить ему на стол. Вот за что солдаты и пили свои положенные сто грамм.

— Хороший тост, — сказал Сталин. — Но в ответ я тебе вот что скажу. Налей-ка еще.

— Больше нет, товарищ Сталин.

— Как так нет? Такого не бывает. А ну, Никита, сбегай. Скажи там дежурному.

Хрущев неуверенной походкой направился к двери.

— И нарзану заодно! — крикнул ему вдогонку Сталин. — А тебе скажу. — Он ткнул меня пальцем в грудь. — Понял я, наконец, тебя, Некрасов. Хитрый ты человек. Очень даже хитрый. За это хвалю. Но не расчетливый. Что раз прошло, второй раз уже не годится... Вот ты тост произнес. Хороший тост, патриотический. И тамада из тебя может выйти хороший. Уж не грузин ли ты? Может, бабушка какая была грузинкой, а? Но в тосте своем ты допустил ошибку — перехитрил или недохитрил, не знаю, но впросак попал.

Он прошелся по комнате. Озлобление его вроде прошло. Остановился против меня.

— Но скажи мне такое, только откровенно. По совести. По-твоему что, товарищ Сталин участия в Великой Отечественной войне не принимал? — И, выдержав паузу, во время которой я почувствовал, что начинаю холодеть: — А мне казалось, что небольшой, но все-таки вклад сделал. Может, я ошибаюсь?

Я стоял перед ним и молчал. Руки и ноги оцепенели.

— Хорошо... На это ты мне вполне справедливо ответишь, что вы сами, товарищ Сталин, сказали, что жопа у вас болит и что ты эту самую мою жопу пожалел... Вот и подсказал я тебе ответ. А ты уже испугался. Не надо. Но запомни — хитрить хорошо, но не с товарищем Сталиным. Понятно?

Он поднял руку, то ли предваряя возможные мои извинения или объяснения, то ли давая знак, что еще не кончил. Опять прошелся по комнате.

— Но это, так сказать, для начала. Присказка. Небольшой совет юному другу. Но главное, что я хотел тебе сказать после твоего тоста, хорошего тоста, не спорю, другое. Про Гитлера. Ты назвал его бандитом. И солдаты так его называли. Правильно называли. Конечно, он бандит, но я думал, что бандит умный, а оказался глупый. Вот если б мы вместе да против всех этих наших союзничков, Черчиллей, Рузвельтов, весь мир покорили бы, понимаешь, весь мир! А потом поделили бы пополам! А он, дурак, не понял. И полез. И по зубам получил.

Я почувствовал, что сейчас что-то произойдет.

— Товарищ Сталин, но ведь вы сами...

— Не перебивай! Товарища Сталина перебивать нельзя. Слушай. Договорились, значит, мы с тобой, что Гитлер бандит. Людей убивал, в печках сжигал. Нехорошо, конечно. Негуманно. Ну, а товарищ Сталин, по-твоему, не бандит? — Он сделал паузу, и я почувствовал: по спине у меня побежали мурашки. — Сколько он людей на тот свет отправил? А? Куда там Гитлеру. Ребенок по сравнению с товарищем Сталиным... Учиться ему у товарища Сталина надо было, а он вместо этого полез, дурак, на него... А начал-то он вообще неплохо. Тесно, говорит, нам, немцам. Версаль задушил! И гам! — для пробы — Саар. Плебисцит вроде устроил. Сошло. Потом Австрия, аншлюс. Сошло. Судеты, Мюнхен — тоже сошло, победа. Сожрал Чехословакию, союзнички промолчали. Молодец! Хвалю! Знал, что делал. И внутри тоже. С врагами народа надо поступать решительно. Колебаться нельзя. «Окончательное решение еврейского вопроса» — правильное решение. Я бы сказал даже, гениальное.

Что он говорит? Я почувствовал, что во мне что-то оборвалось.

— Товарищ Сталин... Иосиф Виссарионович... Но нас же всю жизнь учили, убеждали, что антисемитизм...

Он не дал мне договорить.

— Не было его! Нет! И не будет! — Он вдруг побагровел. — Нет такого понятия — «антисемитизм»! Понятно? Есть племя торгашей, ростовщиков и хапуг...

— Эйнштейн, что ли, торгаш и хапуга?

— Эйнштейн — не знаю, а Каганович — да!

Тут как раз вошел Никита с двумя бутылками водки.

— Скажи, Никита, Лазарь вор?

Никита опешил. Поставил бутылки. Лихорадочно стал одну из них раскупоривать.

— Вор или не вор, говори!

Никита, точно рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух. А перед ним стоял, расставив ноги, Сталин, весь красный, даже шея и грудь покраснели, со сжатыми кулаками, и казалось, что вот-вот он размахнется и ударит его.

— Говори!

Но Никита не в силах был выдавить ни слова.

А я... До сих пор не могу понять, как это получилось, нашло какое-то затемнение, но я выхватил у Никиты бутылку, молниеносно разлил по стаканам и сказал, упершись пьяными глазами в Сталина:

— Я предлагаю выпить за командира пятой роты лейтенанта Фарбера, товарищ Сталин. Слыхали о таком?

— Фарбера? Какого такого Фарбера? Не знаю я никакого Фарбера.

— И напрасно! Командир пятой роты, 1047-го полка, 284-й дивизии. Выпили?

Сталин взглянул на меня так, что я понял — сейчас конец. Потянулся к телефонной трубке.

— За такое знаешь что? — сказал он, не сводя с меня глаз, страшно медленно, вколачивая каждое слово, точно гвоздь. — Не знаешь? Так вот, узнаешь.

Он набрал номер.

— Берию ко мне! — И швырнул трубку.

Все! Я понял, что все.

Воцарилась пауза. Никто не двигался. Ни Сталин, ни Хрущев, ни я. Застыли.

В ушах стучало. Все быстрее и быстрее.

Сталин, стиснув протянутый мною стакан так, что пальцы даже побелели, стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой-то крадущейся походкой.

И смотрел, не отрываясь, смотрел. В глазах его вспыхнули маленькие красные огоньки, как у кошки ночью.

За спиной моей тихо открылась и закрылась дверь.

Я понял, что это конец.

Залпом выпил стакан водки. В глазах пошли круги. В ушах зазвенело. Все сильнее и сильнее.

Я упал. Стакан покатился по полу. Последнее, что я услышал сквозь все усиливающийся звон в ушах:

— Жиденький паренек... А я еще на брудершафт хотел.

Больше я ничего не слышал, я умер.

. . . .

Умер-шмумер, был бы здоров.

Одна из самых одесских сентенций великого черноморского города. Тираны умерли — не все, правда, Молотовы и Кагановичи все еще поливают свои грядки, а может, что-то и строчат, лживое, — но главные убийцы все же лижут в преисподней раскаленную сковородку. А я, отряхнувшись, у своих друзей, в любимой Женеве, под прошлогодней сосенкой дописываю последние страницы. Весна, март. Лопнули первые почки на каштанах. В Швейцарии это считается наступлением весны. Специальный человек следит за специальным каштаном в университетском парке, и лопнула почка, выглянул крохотный пятипалый листочек — и сразу же в газету: началось! Дописываю... Напротив меня, под березкой, вылезли из-под земли четыре крохотных крокуса, три лиловых, один белый. Утром только выглянули, сейчас уже распустились. И пчелка прилетела. За работу, товарищи!

Что-то затянул я на этот раз. Прошли лето, осень, зима. И много событий произошло за это время. И в мире, и в моем парижском Ванве.

В магазинчике с джинсами, том самом, сделали ремонт. Заменили вывеску. «Саперлипопет» засияло свежим золотом. Помыли витрины, убрали мусор, хозяйка вымыла тротуар, опять же мылом, и я помчался к автобусу по другой стороне...

В мое кафе «Сентраль», где я по утрам пью кофе с краусаном и листаю «Фигаро», бросили бомбу. Кто — до сих пор неизвестно. Никто серьезно не пострадал, кого-то поцарапало, хозяйку слегка контузило. Много об этом говорили, больше месяца кафе было закрыто, сейчас опять хожу, пью кофе, из «Фигаро» узнаю, что в мире по-прежнему плохо, никакого просвета. Только молодежи хорошо. Ухаживают по-прежнему. Сын Бельмондо — за хорошенькой монакской принцессой Стефани: траур по матери, принцессе Грасс, кончился; сын Росселини и Ингрид Бергман — за старшей, Каролин. А Альберт, наследник монакского престола, не расстается с дочкой Грегори Пека. (Это я все узнаю, нет, не из «Фигаро», оно посолиднее, а из веселой, приличными французами презираемой «Франс-диманш» — я ее не презираю.)

Ну, а Париж? Лучший в мире город Париж? И мы в нем, изгнанники? Что ж, живем, работаем, ворчим, болеем, боремся против несправедливости, ссоримся все из-за той же истины, которую каждый из нас знает лучше другого. По-прежнему пьем, кто чаще, кто реже, женщины по-прежнему часами говорят по телефону, темы никогда не иссякают, ждут не дождутся очередных «сольд», магазинных скидок.

Ну, а автор этих строк?

Посмотрев недавно по парижскому телевидению все четыре серии бондарчуковской «Войны и мира» и тут же бросившись к первоисточнику, который читал взахлеб, будто в первый раз, я понял, что из всех толстовских героев я больше всего смахиваю на старика Болконского. Так же нетерпим, ворчлив и раздражителен, жена считает, что и деспотичен. К тому же неожиданно выяснилась еще одна весьма прискорбная для меня деталь: оказывается, всегда казавшийся мне глубоким стариком князь Болконский моложе меня. Да-да! Если считать, что он ровесник Кутузова, а это, очевидно, было так, то оба они умерли, не дожив до семидесяти, Кутузов — шестидесяти восьми лет... А я перешагнул этот рубеж. Всю жизнь считал себя мальчишкой, делил всех на молодых и взрослых, относя себя к первым, а тут вдруг оказался не только взрослым, но и весьма и весьма преклонного возраста.

И вот сидит сейчас под любимой своей сосенкой этот самый весьма преклонного возраста господин (в просторечье просто старик), следит за пролетающими самолетами, за длинным белым следом, оставляемым ими высоко в небе, умиляется пчелкой-мохнаткой, перелетающей с венчика на венчик таких красивых весенних, вчера только появившихся крокусов, сидит, курит свой «Голуаз» и думает думу свою.

Бел-горюч камень. Сколько раз попадался он на его пути. Сворачивал то туда, то сюда, объезжал, ехал прямо. А в итоге — по правильному ли, как говаривал Владимир Ильич, по нужному ли пути направлял он коня своего? И туда ли, куда хотел, приехал он? Может, с тоской вспоминается какая-нибудь оставшаяся позади тропинка, соблазнительно манившая его? Или, напротив, большак, который разумно или неразумно объехал стороной?

Нет, все сложилось так, как и должно было сложиться. Ни на что не сетую, ни на что не жалуюсь.

Ну какое я имею право жаловаться, если, оттрубив весь Сталинград от первого до последнего дня, остался жив? И дошел до самой Польши, и вернулся в родной Киев, и обнял маму, которой тоже не так уж сладко было в годы оккупации, обнял, расцеловал ее, маленькую, худенькую, склонившуюся над своей дымящей из всех щелей печуркой, и прожил с ней еще двадцать пять лет! Подумать только — двадцать пять лет! Не всякому выпало такое счастье. А на меня вот свалилось.

И жили мы в Киеве. И в Москве, и в Ленинграде, и в любимом нашем Коктебеле, и в Ялте, и на озере Севан. И ездили по Волге, и в родном мамином Симбирске побывали («Но где же хорошавки, самые вкусные в мире яблоки, что-то не вижу я их нигде...»), и поднимались на Мамаев курган в Сталинграде, и сфотографировал я ее на месте наших окопов, на фоне скромного обелиска, под которым покоятся кости бойцов нашей 284-й стрелковой дивизии. Не сосчитать, сколько их полегло. И нету больше этого обелиска, снесли и бульдозером прошлись. По могилам, по окопам. И стоит на их месте стометровая «Мать-Родина» с мечом в руке, и кругом ступени, мрамор, гранит, нагромождение бронзовых мускулов, куда-то рвущихся и кричащих солдат. Мама этого не видела. И слава Богу...

И очень не хватает мне ее сейчас. Как радовалась бы она, что мы живем с ней вместе в Париже. Она долго в нем жила и любила его. «Грязный, правда, везде бумажки, мусор, собачьи кучи, но, поверь мне, совсем этого не замечаешь...» «Но почему, мама, ты же у меня такая чистюля?» «А потому, что люблю парижан. Всех без разбора. Даже апашей. С одним из них, представь себе, танцевала в каком-то кафешантане. Очень был красивый, черноглазый, с усиками, в красном шарфе и клетчатом кепи набекрень. Говорят, теперь их уже нет. Куда они девались?» Да, исчезли апаши-воры, грабители и сутенеры времен маминой молодости, как исчезли фиакры, трамваи, газовые фонари, пелеринки полицейских. Теперь террористы, гангстеры, хиппи, панки. Боюсь, что мама и их полюбила бы: парижане все же...

Но мамы нет. А Париж есть. И в нем тот самый «городок», о котором так замечательно написала когда-то Тэффи. Не могу удержаться, приведу несколько строк:

«Это был небольшой городок, жителей в нем было тысяч сорок, одна церковь и неимоверное количество трактиров.

Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Секваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, стали называть «ихняя Невка».

Местоположение городка было очень странное. Окружали его не поля, не леса, не долины — окружали его улицы самой блестящей столицы мира, с чудесными музеями, галереями, театрами. Но жители городка не сливались и не смешивались с жителями столицы и плодами чужой культуры не пользовались. Собирались жители городка больше под лозунгом борща, но небольшими группами, потому что все так ненавидели друг друга, что нельзя было соединить двадцать человек, из которых десять не были бы врагами десяти остальных. А если не были, то немедленно делались.

Еще любили они творог и долгие разговоры по телефону.

Они никогда не смеялись и были очень злы...»

Вот и я живу в этом, не так уж и изменившемся за прошедшие годы городке. Хотел сказать: живу и не тужу. Нет, тужу. И очень тужу. Стоит ли расшифровывать, по ком и о чем? По-моему, и так ясно.

Вот если бы да кабы... Но это уже не о прошлом, о будущем, саперлипопет!

Женева, 13.3.83 г.

Не стало нашего товарища, замечательного человека и талантливого писателя Иосифа ГЕРАСИМОВА. В последние годы на него обрушилась тяжелая болезнь, которая привязывает к постели навсегда. Но Иосиф Герасимов был от рождения бойцом, в годы войны сражался на героическом невском пятачке под Ленинградом, был ранен. Вот и теперь только самые близкие знали, чего стоил ему поединок с недугом, для остальных Иосиф оставался энергичным участником нашей тревожной жизни, умевшим ценить ее радости и противостоять невзгодам. Мы его таким и запомним. И еще в нашей памяти останутся его кристальная честность и верность своим принципам, удивительно сочетавшиеся с душевной мягкостью, добросердечием. Активное неприятие несправедливости и лжи двигало его творчеством, начиная с ранних книг. В начале 60-х Герасимов написал небольшую, но пронизанную огромной болью повесть «Стук в дверь», в которой первым рассказал о геноциде против одного из народов, входящих в «счастливую советскую семью». Была «оттепель», однако недостаточно теплая для издания таких книг. Повесть пришла к читателю только четверть века спустя в одном из номеров журнала «Октябрь». Автором этого журнала Иосиф Герасимов считал себя до последних дней. Своим автором считал его и журнал, публикуя на своих страницах его повести и романы.

Демократические идеалы перестройки нашли в писателе Герасимове страстного и преданного поборника. Он был среди инициаторов создания ассоциации, которая поначалу так и называлась «Писатели в поддержку перестройки», а впоследствии стала известна под кратким именем «Апрель». По его идее возникло независимое писательское издание ПИК, где он был главным редактором отдела художественной прозы. Иосиф Герасимов работал за письменным столом до последних дней. Накануне смерти закончил новую повесть. Но — остановилось сердце. Произошло это в поездке, на иной, пусть и дружественной к нему земле. Герасимов избегал высоких слов, но последние его слова были устремлены к Родине и Богу.

А. АДАМОВИЧ, А. АНАНЬЕВ, И. БАРМЕТОВА, Л. БАТКИН, И. БРЯНСКАЯ, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, ВЯЧ. КОНДРАТЬЕВ, Н. КРЮЧКОВА, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, В. ЛИТВИНОВ, Н. ЛОШКАРЕВА, В. МАЛУХИН, Ю. МОРИЦ, И. НАЗАРОВА, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, ВАД. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

Вадим КРЕЙД

Зеленое окно

Коралвилльское озеро

Плыву на спине, глазею —
Плывет надо мной широ́ко
Лохматая карта Рассеи
Сюда, на Запад, с востока.
День будний, засушлив август.
А год? — приближенье сроков.
И смотрит стоокий Аргус
С незримого нам порога.

Плыву на спине и в небо
Гляжу... В ожиданьи урока?
В словах «голубое небо»
Есть музыка, Бах, барокко,
Что дышит в небесной отчизне,
Вдыхая прямо из тверди.
И нет уже жажды жизни,
И нет уже тайны смерти.

* * *

Безветрие, мороз, вороний грай,
Сеть тропок торных — рыхлые прожилки,
Гравюрных веток серебристый край,
Дымы столбом и жалкие пожитки.

У водокачки зеленеет лед,
Под краиом накренились сталактиты,
И с коромыслами стоит народ —
Детишки, женщины и инвалиды.

В природе синева, алмазный блеск.
В народе — оторопь, отрепья и молчанье.
Сибирь, январь, войны тяжелый крест
И детские астральные мечтанья.

* * *

Не внемлет слух, сомкнуты вежды
Ал. Толстой

О, как далеко здесь до Бога,
Душа — слеза, глаза сухи,
От устья жизни до истока
Полынь-трава да пустяки.

Лишь бедной радугой ажурной
Парит любовь во мгле ума.
Да медной фразою дежурной
Глушит твою надежду тьма.

* * *

Случается — ты не отвергни
Судьбы неожиданный дар:
Схожденье высоких энергий
И сердца холодный пожар.

Весь мир как дрейфующий айсберг,
И кажется — родина здесь,
Откуда пылающий ангел
Послал свою строгую весть.

* * *

Где жизни промах — смерти взмах,
Как вдох и выдох.
И наши дни и наша тьма
Находят выход.

И называют просто «смерть»,
И эта чаша
Кропит землю и даже твердь
И время наше.

И если знать тебе дано
Лишь два предела,
Той чаши вечное вино —
Привычка тела.

И дни слагая подо тьмой,
Как пишут стансы...
И возвращение домой
В конце сеанса.

Молитва

Без племени и без рода,
Без родины, без любви,
Без крова, без идеала,
Без звона стихий в крови.

Без мира, без друга, без блага
Земного светлого дня,
Но только бы не без Бога,
А если — то без меня.

* * *

Я бы сузил человека —
Слишком уж он широк
Из Достоевского.

Когда б не жизни холод,
Когда б не жар страстей,
Любить бы жизни солод
До траурных костей.
Но жажда жизни здешней
Взамен насквозь иной —
То бойкою скворешней,
То терпкою черешней,
То бравурной струной.

А маятник качнется
В лазоревую твердь,
Помедлит и очнется
И рушится во смерть.
И так идут минуты,
Отважный Ахиллес,
И вы уже пригнуты,
Пристегнуты, прильнуты
К двусмыслице телес.

* * *

Древний мост через канал
Брови-арки выгнул,
Словно очи растворил
В зелени воды.
Резвый всплеск, как будто гном
С моста в ряску прыгнул.
Где я видел этот мост,
Башню и сады?

Облицованы дома
Камнем поседевшим,
Черепицею луна
Над двускатом крыш.

И сошедшая с ума,
Как ослепший леший,
Над каналом прочертит
Летучая мышь.

Возвышает башни храм
Над листвою майской,
Память мне разворошил
Со своих высот.
Или раньше здесь ты жил
В неведеньи райском
Триста лет тому назад,
Может, и пятьсот?

Воспоминание о Царском селе

С. Голлербаху

Когда сентябрь то трепещет, то сияет,
И солнце тихое над городом царит,
Душа-затворница собою наполняет
Пространство легкое, и каждый лист горит.

Эмаль и золото, и эту кисть рябины
Сравнил бы с музыкой, да музыка есть шум...
Какие грустные прозрачные картины,
И как в согласии с прозрачностью наш ум.

Заботы прошлые, удачи и невзгоды,
И годы грозные, и годы кабалы —
Хожу по городу сентябрьской погоды,
Хочу молчать, но сами шепчутся хвалы.

* * *

Сидели, галдели, балдели,
И лилась и речь, и вино.
И знали — на этой неделе
Златое отыщется дно
И древний философов камень,
И юный, как бог, эликсир...
Казалось, касались руками
Орфеевых лютен и лир.

Клубилась лиловая липа,
И вились над ней голубки.
До ночи — до крика и хрипа,
От пьяни — до мести тоски.
Какие-то мальчики русские
И гость — наблюдательный сноб.
Идеи, как семечки, лузгали,
Но вечности трогал озноб.

* * *

Но есть богатство и страна, и знанье,
Откуда было странное касанье,
Хотя бы век не подавало вида —
Ушла досада и прошла обида.

Теперь ныряй, бери, смотри, исследуй,
Но только ничего не исповедуй,
Не сотвори ни веры, ни кумира,
Есть простота — она опора мира.

* * *

Чистота святого страха —
Наследить на белизне:
Снега белая рубаха
Точно счастие во сне.

Здесь отведал в изумленьи
Снова мальчик-лоботряс
Бескорыстного служенья
Этих белотканных ряс.

* * *

С деревьев падали листья
Едва поднимался ветер,
Рябины спелые кисти
Качалися в бледном свете.

Потом набежали мысли
О нашей судьбе бредовой,
И пили никчемный рислинг
В кафе на углу Садовой.

* * *

И память помнить не хочу,
И о молчании смолчу,
И ничего не берегу
На опустевшем берегу.

Одной внимаю пустоте
В ее прозрачной высоте.
А впрочем, где тут низ и высь —
О, память, ты не отзовись.

●

Владимир ГОНИК

Сезонная любовь

РАССКАЗ

Снова после тягостного ожидания на побережье грянула весна, четвертая по счету. И опять надежда, которая едва тлела зимой, проснулась и начала разгораться, хотя он знал, что проку от поисков не будет.

Но так всегда: весной человек надеется, несмотря ни на что.

Пряхин подошел к доске объявлений, где толпились приезжие, и громко спросил:

— Из Смоленска никого нет?

Ему ответили вразнобой: из Смоленска не было никого.

Пряхин пересек двор; у входа в барак возле чемоданов и сумок стояли женщины.

— Девчата, Раи из Смоленска никто не знает?

— Может, Галя из Витебска подойдет? — бойко спросила одна из них.

Он обошел все бараки, но ее никто не видел и не знал. Двор кипел толчеей, гудели толпы, толпились у щитов с объявлениями, слонялись по улицам; Пряхин бродил, шаря взглядом по лицам.

Зима давно выбилась из сил, но еще долго тянулись сумрачные холодные дни, низкое хмурое небо не сулило перемен; конца не было вязкому сонливому ненастью.

Уже не верилось, что весна возьмет верх, как вдруг сломался привычный ход событий: внезапно очистилось небо, открылось бездонно, распахнулось среди ночи всеми звездами, а утром засияло солнце и хлынуло тепло.

Весна обрушилась на побережье и покатилась стремглав с юга на север по Сихотэ-Алиню, растапливая снега и заливая склоны. Весело и резво взбухли реки, переполненные играющей мутной водой, шало и безудержно понеслись к океану, волоча камни и смывая берега. В заливах и бухтах день и ночь раздавались гулкие удары, сухой треск и скрежет: весна взламывала и крошила толстый ледяной припай.

Солнце пригрело Екатериновку, большое старое село в двадцати километрах от Находки в сторону Сучанской долины. Улицы покрылись топкой грязью, отовсюду бежали глинистые ручьи, а в воздухе томительно пахло талым снегом, мокрой землей, прелыми листьями и почему-то пьяными яблоками; пахло влажным ветром, свежестью, простором, новизной и чем-то необъяснимым, что теснило грудь и смущало душу.

Даже местная лакокрасочная фабрика не могла перешибить этот неукротимый запах, от которого в тревожной сумятице путались мысли и едко ныло сердце.

То был умопомрачительный запах весны.

В такие дни трудно усидеть в доме. Запах весны проникал в бараки, унылые строения на окраине села, вид которых нагонял скуку; снаружи они были окрашены в светлые невинные тона, точно это был пионерский лагерь или детский сад, а не пересыльный пункт оргнабора.

Стоило подойти поближе — и было видно, что стены густо изрезаны именами, фамилиями и названиями городов: выходило, что побывала здесь вся страна, тьма людей из разных краев — из столиц, из глухих деревень, из всех прочих мест, какие есть на нашей земле.

Пряхин вернулся в барак, полежал на постели и вновь вышел во двор: в это время из Находки приходил автобус, и в городке появились приезжие; Раи среди них не было.

Он расспрашивал всех, кто появлялся в городке вновь, а те, кто приехал раньше, спрашивали других.

Обычно в барачном городке долго не задерживались. Вербованные следовали транзитом: день-два-три, баня, санпропускник и дальше, дальше — сезон, путина, времени в обрез.

Сезонники съезжались в Екатериновку отовсюду, здесь их собирали в партии — кто куда нанялся — и на пароходах развозили по всему Дальнему Востоку: Сахалин, Камчатка, Курильские острова и побережье материка к северу от Находки; каждая партия дожидалась в городке своего парохода.

Сезонников набирали по всей стране осенью и зимой. К весне на Дальнем Востоке пробуждались рыбные порты, в доках после ремонта спускали на воду суда, оживали причалы рыбокомбинатов и повсюду, на побережье и островах, промысловый флот готовился к путине.

Так бывало каждый год с тех пор, как в этих краях вели промысел.

С наступлением зимы жизнь в городке замирала, бараки пустели, побережье погружалось в спячку, а весной вновь оживало, и потоки людей текли к океану со всей страны, чтобы осенью хлынуть обратно.

Женщин обычно определяли на рыбокомбинаты, в разделочные цехи, в коптильни, на консервные фабрики и плавучие заводы, а мужчины шли ловцами на суда или грузчиками в рыбные порты.

Лов вели день и ночь. День и ночь бессонно кипела путина, витал над океаном угар сезона. Не спи, не спи, салага, сезон на дворе, заработок с хвоста — шевелись!

Сезон длится шесть месяцев, с апреля по сентябрь, полгода не разогнуть спины, в барачном городке только и разговоров что о рыбе: есть рыба, будут деньги — ох, и огребем, ребята! Но потом, позже, осенью — дожить бы...

В бараках все разговоры — кому где повезло; встречались фартовые ребята, удача гонялась за ними по пятам. Говорят, в этом году сайры у Сахалина невпроворот, на Шикотане краб идет, на Итурупе кальмар — вот и гадай, куда податься. Некоторые просились на заготовку морской капусты ламинарии, ее собирали на мелководном шельфе, дело верное, не то что рыба.

За три сезона Пряхин объездил весь Дальний Восток. В первую весну пересыльный городок в Екатериновке оглушил его толчеей: в иные дни здесь скапливались тысячи людей. Стоило задержаться пароходу — и мест в бараках не хватало, приезжие ночевали где придется, а самолеты и поезда каждый день доставляли из глубины материка новые толпы.

Городок был веселым местом, хотя все помирали от скуки — ни работы, ни зрелищ, только и оставалось, что пить да слоняться. Этим Пряхин и занимался наравне со всеми.

Михаил Пряхин по прозвищу Руль уже был женат дважды: один раз в Касимове, другой в Рыбинске, оба раза неудачно. Жены его, хотя и не были знакомы между собой, сходились в одном: ветрогон.

Обе жены то и дело попрекали его, называя непутевым, обе прогнали после недолгого совместного проживания и обе порознь, не сговариваясь, произнесли схожие слова: чем такой муж, лучше уж никакого.

Он пытался еще устроиться — в Кимрах, в Спас-Клепиках, в Чухломе: одинокие женщины имелись повсюду.

Пряхин особенно не раздумывал, не выбирал строго — прибивался без затей и претензий, и уж, казалось бы, королев среди них не было, а ни одна долго не выдерживала, каждая вскоре указывала на дверь.

Надо сказать, уходил Пряхин легко, впрочем, как и сходился. Он не страдал, не темнел лицом, а подхватывал чемодан и уходил, насвистывая, точно и сам был рад.

Но Пряхин отнюдь не радовался, в бездомной жизни мало радости, но особой привязанности к кому-либо он до сих пор не испытывал.

Нет, он не был гулякой или горьким пропойцей, употреблял в меру и больше для общения, чем из потребности, но он любил застолье, душевный разговор, и когда жил с одной женщиной, о других не думал, не заглядывался.

И на чужой шее Руль никогда не сидел, захребетником не слыл, в чужом прокорме не нуждался, ничего такого за ним не водилось.

Так что жизнь он вел вполне домашнюю и ужиться с ним было бы легко, если б не одно обстоятельство: Пряхин то и дело пропадал из дома.

Это было вроде непонятной хвори, он и сам толком не мог объяснить. Причины Руль не знал, путных слов не находил, но если кто-то его звал, Пряхин никогда никому не отказывал. Бывало, выйдет на минуту и пропадет невесть где; любой прохожий мог увести его без труда.

Пуще всякой затеи он любил душевный разговор, дружескую застольную беседу — неважно, где и с кем, с давним знакомым или с первым встречным.

Ему случалось зайти к соседу за безделицей и проторчать полночи в разговорах, а иногда он шел мимо чужого двора и вдруг сворачивал необъяснимо, забыв куда и зачем идет; дома или в другом месте его ждали часами.

Повод значения не имел, был бы собеседник. Зимой обычно располагались на кухне, летом на дворе, в тени, под деревьями, а то и в зарослях на траве или на берегу реки, но чаще всего он засиживался в чайной, где болтал о всякой всячине.

Стоило кому-нибудь поманить его на дороге — устоять он не мог. Не имел сил отказаться.

Ах, как сладко сидеть в тепле и дыму, млея от духоты, и талдычить уютно о том, о сем под сбивчивый гомон и звяканье посуды, или найти укромное местечко в заброшенном саду, на пустыре, в сарае, где можно славно посидеть; его жены и подруги то и дело выуживали его из разных мест, куда его занесло ненароком и где он прочно застревал.

— Зарулил невзначай,— бормотал он растерянно и виновато улыбался щербатым ртом.

Будь это редкостью, можно было бы снести, но такое случалось довольно часто — кого угодно выведет из себя. По крайней мере женщины, с которыми он жил, то и дело доходили до белого каления. И даже кроткая, безответная Нюра, подруга из Чухломы, не стала терпеть.

После каждого случая Пряхин клялся и божился — все, конец, больше не повторится; он и сам верил искренне, что сдержит слово, и не думал его нарушать, но стоило кому-нибудь кликнуть его — он тут же забывал все клятвы.

Когда жена или подруга отыскивали его, он пугался необычайно, цепенел и в первую минуту прятал глаза, замирая от страха; его костлявое, с ранними морщинами и впалыми щеками лицо бледнело, а корявой жесткой плотничьей ладонью он неловко приглаживал редкие волосы; к тридцати годам у него просвечивала плешь.

Пряхин знал, что спасения нет, и в предчувствии скорой расплаты начинал строптивиться, как бы показывая всем, что он сам, сам по себе волен поступать, как ему вздумается.

— Ты чо?! Чо пришла?! — спрашивал он, супя брови и хмурясь.— Да, сидим! Зарулил... А чо? Я, што ль, за подол твой держаться должон?! — Он постепенно распалялся и впадал в крикливый кураж.— Чо тебе надо?! Хто ты мне?! Отец — мать?! Чо ты за мной ходишь?! Стреножить хочешь?! Не дамся! На, выкуси! Глянь на нее... нашлася... За ворота не дает выйти! А ну, вали отсюда! Вали, вали... Сам приду, когда захочу. А не захочу, так и не приду! Поняла?!

Вернувшись после домой, он покаянно молчал, пожевывая щербатым ртом, и не знал, куда деться.

Впрочем, это не вся правда. Числился за Пряхиным и другой порок: стоило ему выпить, он начинал без удержу врать, такую нес околесицу — уши вяли.

Язык у него развязывался после первой рюмки. Сначала Пряхин начинал подвирать, потом врал и хвастал напропалую, не в силах остановиться. Незнакомым людям он назывался следователем или журналистом, а то и актером или даже вовсе футбольным судьей. Если кто-то не верил, Пряхин, доказывая, спорил до хрипоты.

Первая жена прогнала его после дня своего рождения. Она и так уже была сыта по горло, а то, что стряслось, было последней каплей.

Целый день Антонина сновала по кухне и парилась у плиты. Пряхин слонялся по дому и топтался в дверях, томился в ожидании праздника. Уже был накрыт стол, вот-вот могли появиться гости, когда Тоня попросила сходить за хлебом; Пряхин отправился в булочную. Он возвращался, когда вдруг увидел стоящую на дороге с поднятым капотом «Ниву», водитель копался в моторе.

Пряхин остановился, заглянул под капот, а через минуту уже и сам запустил руки в мотор; они провозились без малого час, потом хозяин пригласил его отпраздновать ремонт, и дальше они поехали вместе — до первого магазина. Высадились на берегу водохранилища.

— Я тебе честно скажу: меня в Рыбинске во как уважают! — запальчиво признался Пряхин.— Что хошь могу. Меня в Москву звали, квартиру давали. Пятикомнатную! Художник я, картины рисую. Что хошь могу нарисовать. Музеи на куски рвут. Захочешь, тебя нарисую, это мне пара пустяков.

Пряхин был плотником, брусил топором бревна, приколачивал штакетник, стелил полы, ставил стропила, но ему казалось, что говорить об этом скучно — тоска сгложет.

Поздним вечером он вспомнил, что его ждут с хлебом к столу, вспомнил и похолодел. Он явился домой, когда гости уже разошлись. Тоня домывала посуду.

— Ты где был? — спросила она ровным и каким-то неподвижным голосом, точно несла в чашке воду и боялась пролить.

— За хлебом ходил,— ответил Пряхин так, будто ничего не случилось.

— Принес? — поинтересовалась она беспристрастно.

— Принес,— он положил сумку с хлебом на стол.

— Спасибо. Тут я тебе собрала кой-чего на первое время,— не отрываясь от мойки, Тоня кивнула на стоящий у двери чемодан.— Остальное потом заберешь.

— Да? — с обидой и даже придирчиво как-то спросил Пряхин.— Надумала?

— Бери,— мокрой рукой она указала на чемодан.

— Сама ж послала! — возмутился Пряхин, взмахнув рукой, но пошатнулся и ухватился за косяк двери.

— Бери...

— Ты меня послала? — спросил он ломким капризным голосом.— Послала! Я тебе хлеб принес? Принес! Чего тебе еще надо?!

— Ничего,— ответила Тоня.— Ничего мне больше не надо. Я теперь плакать и упрашивать не буду.

— Подумаешь!.. Я, можно сказать, на дороге человека спас.

— Иди,— тихо, покорно даже произнесла Тоня.— Ты уже многих спас,— не вытирая рук, она подняла чемодан и сунула его мужу, он почувствовал на ладони мокрое.— Иди. Опостылел ты мне.

— Да ладно тебе! — скривился Пряхин в досаде; Тоня открыла дверь и ждала у порога.

Пряхин сел на табуретку, замотал головой, заплакал:

— Сволочь я, гад последний... Знаю, Тоня, а поделать ничего с собой не могу,— сморкаясь, он глотал слезы и утирал лицо рукой.— Я, Тоня, сам себя не уважаю.

Но разжалобить ее он уже не мог: ей надоел его нелепый мятый вид, бестолковая жизнь, вечные неурядицы... Она позволила ему заночевать, но не простила: веры ему уже не было никакой.

Он скитался недолго по чужим углам, потом переехал в Касимов и, недолго думая, женился на полной крикливой женщине по имени Зинаида. Она работала поваром, была крупна телом, шумлива, и, если что-нибудь было ей не по нраву, голос ее гремел, как звук боевой трубы.

Зина гоняла Пряхина в хвост и в гриву, настырно преследовала повсюду и, находя в укромных местах, учила нередко уму-разуму: рука у жены была тяжелая.

Но и эта наука не пошла ему впрок, надо думать, он не переменился

бы даже под страхом смерти — страсть была сильнее, он уже сам от себя не зависел.

Устроив мужу таску, Зина прогоняла его частенько, но, к счастью, была отходчива и, успокоившись, принимала назад. Впрочем, терпение ее истощалось, пока наконец не лопнуло окончательно. Она решила, что с нее хватит.

— Испеклась,— сказала она ему.— Сыта по горло. Только и числюсь, что замужем.

Пряхин вновь — в который раз — покаялся и дал клятву.

— До первого раза,— сказала она.

Ждать пришлось недолго, больше двух-трех дней Руль терпеть не умел. В субботу Зина взяла билеты в кино, но Пряхин забрел в столовую и засиделся среди разнобоя голосов и табачного дыма. Рядом с ним ел незнакомый человек.

— Чтой-то мне лицо ваше неизвестно,— сказал ему Пряхин.— Я здесь всех знаю.

— Я приезжий,— сдержанно ответил незнакомец.

— Я смотрю, мужчина вы крепкий, а едите мало, вроде ребенка. Экономите, что ли?

— Нет, я вообще стараюсь поменьше есть. У меня такое правило.

— Может, вам еще чего-нибудь взять? Компот или котлет порцию? Ежели денег нет, вы скажите.

— Нет, спасибо,— усмехнулся приезжий.— А вы что же, богаты?

Пряхин вдруг почувствовал, что его распирает.

— А у меня денег куры не клюют! — сказал он неожиданно для себя.— Сколь хошь могу ссудить. Тебе сколько надо — тыщу, две?

— Да пока не надо, но при случае, спасибо, буду помнить,— ответил приезжий и спросил:

— А что ж вы здесь прозябаете?

— Это как? — не понял Пряхин.— Зябну, что ли?

— Нет,— улыбнулся заезжий.— Я не это имел в виду. При таких деньгах вы б вполне могли на курорте жить. Что вам здесь? А там море, пальмы...— он посмотрел на Пряхина и добавил: — Женщины...

— Не отпускают,— огорченно пожаловался Пряхин.— Говорят, заменить некем. Без отпуска работаю.

— Почему же без отпуска? А трудовое законодательство?

— Оно верно, закон... А на деле как заведу речь об отпуске, мне сразу — не можем. Мол, пока я там отдыхаю, у них здесь люди мрут.

— Вы что же — врач?

— Ага, хирург,— кивнул Пряхин.

— Вот оно что,— приезжий скользнул взглядом по его жестким корявым пальцам, на которых держались темные смоляные пятна.

— Каждый день режу. Без меня им никак.

— Теперь понятно, откуда у вас деньги. А я, грешным делом, подумал...— усмехнулся собеседник.

— Что ты! Ко мне очередь — два года! Записываются — ночами стоят!

— Ах, так... Да-а, видно, вы специалист...

— А ты думал! Для меня вырезать что-нибудь — раз плюнуть. Зря, что ли, все ко мне рвутся? Им других предлагают — не хотят. Мол, только к нему. Это ко мне, значит.

— Понятно, репутация,— покивал приезжий и спросил неожиданно:

— А что вы зубы не вставите?

— Дорого. У меня отродясь таких денег...— Пряхин вспомнил, что богат, и осекся.— Зубы... это... Понимаешь, какое дело... Некогда мне. С утра до вечера режу. А насчет курорта верно говоришь. Давно собираюсь. Ты-то сам бывал?

— Приходилось... Ялта, Сочи, Гагра...— он вдруг пропел: — О, море в Гаграх...

— Да...— мечтательно вздохнул Пряхин.— Спасибо, что сказал. Может, тебе вырезать чего надо? Устрою.

— За бутылку? — неожиданно спросил приезжий.

— Что ты... Так. Для хорошего человека... Хочешь, сам вырежу?

— Без очереди?

— Да ты только скажи, так, мол, и так: нуждаюсь! Что хочешь вырежу.

— Спасибо, — поблагодарил приезжий. — Я уж как-нибудь сам.

— Сам? — непонимающе уставился на него Пряхин.

— Сам. Я ведь врач.

Пряхин оглушенно помолчал и наконец выдавил из себя:

— Тоже?

— Тоже, коллега, тоже! — засмеялся приезжий. — Я, правда, не такой специалист, как вы, и денег у меня таких нет, скорее наоборот. Может, возьмете к себе в ассистенты?

— Куда? — хмуро спросил Пряхин.

— Ассистировать буду вам на операциях. Заодно и подучусь. Возьмете?

Пряхин встал и молча пошел прочь. «Нарвался», — думал он по дороге, — «зарулил», называется. Кто ж мог знать? Молчал, гад, поддакивал. Прикидывался».

Пряхин был зол на приезжего, точно тот надул его, и злился на себя за доверчивость.

Был уже поздний час, Пряхин пришел домой. Он поскребся едва слышно ключом в замке и крался в темноте, когда неожиданно ярко вспыхнула лампа: Зина поджидала его с белыми от ярости глазами.

— Явился?! — спросила она так, словно говорила по радио.

— Не запылился, — щурясь от света, податливо усмехнулся Пряхин в надежде обернуть дело шуткой.

— Ты давеча что обещал?

— Что? — как бы сам заинтересовался Пряхин и поморгал, силясь вспомнить.

— Забыл?!

— Почему? Не забыл...

— Божился... Слово давал... Давал?!

— Имело место...

— Ах, имело!.. — вспыхнула Зина и медным голосом объявила: — Козел ты вонючий!

Пряхин так и сел от неожиданности, нижняя губа оттопырилась, как у плаксивого ребенка.

— Обидно, — сказал он.

— Обидно?! А мне не обидно?!

В ночной тишине ее голос звучал оглушительно. «Весь дом переполошит», — подумал Пряхин.

— Зина, ты б потише, люди спят, — попросил он.

— Он о людях думает! А кто обо мне подумает?!

Она могла разбудить не только дом, но и улицу, и даже город. Неожиданно Зина горько покачала головой:

— Дура я, дура... Дура набитая. За кого пошла...

— Не такая уж дура, — попытался разубедить ее Пряхин, но она посмотрела на него гневно и объявила непреклонно:

— Дура!

Он смиренно пожал плечами — тебе, мол, виднее.

— Кому верила, — произнесла она с горечью. — Забулдыга несчастный.

— Зина, то другая причина была. Третьего дня я зарулил невзначай, а шас дело было. Ей-Богу... Вишь, я в трезвости...

— В трезвости?! — ужаснулась она. — В трезвости?! Это от кого ж так разит на весь дом?!

— Не разит, а пахнет чуток. И то вряд ли. Пива выпил...

Она глянула искоса, потом внятно, с нажимом, точно втолковывала непонятливому, сказала:

— Кобель худосочный!

— Прошу без оскорблений, — Пряхин ладонью отстранился от ее слов.

Зина подскочила, схватила его за плечи и, не давая подняться, стала бешено трясти.

— Душу вытрясу! — рычала она сквозь зубы.

Сил у нее вполне могло хватить; его легкое костлявое тело билось у нее в руках, как отбойный молоток, голова моталась из стороны в сторону. Пряхин хотел что-то сказать, но слова рассыпались в тряске, и только дрожащий, прерывистый, похожий на блеяние звук вырывался из горла.

Она вдруг швырнула его и отошла. Пряхин умолк, будто оборвал песню. Он подумал, что теперь она оставит его в покое, но не тут-то было, оказалось, он еще не получил сполна.

— Пустобрех! — с прежней медью в голосе объявила Зина. — Ты не муж, ты квартирант! Тебя, как собаку бездомную, любой увести может! За всяким по первому слову бежишь! Брехун пустопорожний! Язык что помело: брешет, брешет — я, я!.. А что ты?! Что ты?! Кто ты есть?! Мужик называется... Одна видимость.

Он и на самом деле был мелок телом, кожа да кости, только руки выглядели непомерно большими, разношенные плотницким топорищем, а щербатый рот старил его против истинных лет. Но причиной были и плохая еда, бестолковая жизнь, нелепица, вечная маета...

Зина неожиданно заметалась по комнате — помещение было слишком мало для нее, она выдергивала из разных мест его вещи, рубахи, кальсоны и, комкая, с силой швыряла в него, он лишь растерянно прикрывался руками; на ходу она сбивчиво кляла его, но слов было не разобрать, одно лишь злобное урчание, которое вместе с ней носилось по комнате.

— Чтобы ноги твоей здесь не было! — успел понять Пряхин, как вдруг Зина замерла на мгновение, обессиленно рухнула на стул и завыла, заголосила, обливаясь слезами.

Пряхин не упирался и не спорил. Отныне он не противился, когда женщина его прогоняла, не просился назад, уходил легко, без сожалений: брал чемодан и был таков — привык.

И не терзался, не переживал: белый свет велик, найдется где голову приклонить.

Белый свет и впрямь был велик, повсюду имелась нужда в плотниках и в мужчинах — в Чухломе, в Кимрах, в Спас-Клепиках, в Кинешме; постепенно он добрался до больших городов, и здесь тоже был недостаток в плотниках и в мужчинах, даже в таких завалящих, как он, — где ни возьми, хоть в Рязани, хоть в Костроме, уж на что города хоть куда и людей в них пропасть.

Со временем он усвоил закон: не прикипай никогда душой — к месту ли, к человеку, себе больнее, после отдирать с кровью. И уже сам уходил, своей волей, прежде чем его гнали, чуть что — привет, пишите письма!

Он даже сам удивлялся, как это раньше он тянул до последнего, не мог оборвать, а оказывается, проще простого — шагнул за порог и пошел, дорогой все образуется.

Однако это он позже усвоил — ума набрался, а пока он неохотно подбирал раскиданное по комнате имущество и горестно думал, куда идти на ночь глядя. Зина истошно выла, лицо ее опухло от слез.

«Может, оно и лучше, — свобода как-никак», — думал Пряхин, заталкивая в чемодан мятые рубахи.

Он надел свой единственный пиджак, купленный год назад; пиджак был велик, Пряхин это и в магазине видел, размера на два больше, но продавщица смотрела строго, и он не рискнул отказаться, постеснялся — зачем тогда примерял?

Он вообще всех их боялся: продавцов, официантов, таксистов, страшился их гнева, даже недовольства и тушевался заранее, будто наперед знал, что стоит им рассердиться, ему несдобровать.

В Спас-Клепиках Пряхин задержался ненадолго.

— Пустой ты человек, Миша, — сказала ему вскоре Лиза. — Ненадежный. Врун, хвастун... Никакого в тебе содержания.

Она работала на ватной фабрике и считала себя содержательной.

Пряхин и сам знал, что жизнь его идет вкривь и вкось, а он болтается в ней, как дерьмо в проруби.

Приятели не раз интересовались, как это он рвет с такой легкостью; многие из них в семье мучились, хлебали сполна, но терпели, тянули лямку. В ответ Пряхин посмотрит свысока и хмыкнет с превосходством: «А по мне что та, что эта — один хрен. Все они мне до фонаря. Чуть что — привет, пишите письма!» — глаза его смотрят дерзко, на губах играет победная усмешка, и он горделиво, по-петушиному озирается: мол, учись, пока я жив!

В такие минуты он на самом деле казался себе весельчаком, балагуром, все ему трын-трава и море по колено — сам черт не брат...

Но как бы там ни было, все чаще сверлила мысль о собственной крыше: в своем доме ты себе хозяин.

Это были пустые мечты, он знал. Деньги у него не водились, хотя возможность была, как-никак плотник, а вот скопить не умел. Если и перепадало иногда, то по малости — не держались у него деньги, как ни старался.

Сколько, бывало, понукал себя — толку не было. Иной раз определит скопить, взнуздает себя решительно, но, как ни терпит, как ни жмется, спускает все до последней копейки, еще и в долги влезет.

Правда, имелась одна последняя возможность: на худой конец можно завербоваться. Но он еще не был готов, не созрел, как говорится.

Последнее время Пряхин обретался в Кинешме. Зима была на исходе, в низовьях Волги уже вовсю гуляла весна, но здесь береговые откосы еще покрывал снег, и река с высоты открывалась неподвижным белым пространством, на котором кое-где чернели вмерзшие в лед баржи.

Третий вечер подряд Пряхин скучал. Нынешняя его подруга работала на заводе «Электроконтакт» в вечернюю смену; Пряхин вышел из дома и побрел по улице.

Шел мокрый снег, касался земли и таял. Пряхин вдруг вспомнил, что ему тридцать пять — полжизни, если повезет протянуть семь десятков. А не повезет, значит, и того меньше, значит, он шагнул уже за половину и теперь только вниз, под гору. И не было у него ничего своего, кроме чемодана с мелким имуществом, рот щербат, никак зубы не вставит, даже на курорте ни разу не побывал.

Когда он вернулся, Зоя была уже дома, ужинала, не разогревая.

— Где ты шатаешься? — глянула она хмуро. — Хоть бы раз встретил...

— Зоя, ты на курортах бывала? — неожиданно спросил Пряхин.

Она помолчала и вздохнула тяжко:

— Никчемный ты человек. Что ты есть, что тебя нет... Только языком чесать...

— Не нравлюсь? — въедливо поинтересовался Пряхин. — Может, тебе артист нужен? Так ты скажи, я живо...

— Полно тебе, — отмахнулась Зоя. — Чего кривляешься?

— Нет, ты скажи! — настаивал Пряхин. — Скажи: хочу артиста. Я мигом! — дернувшись, он подбросил вверх плечи и тряско охлопал себя ладонями, будто в цыганском танце. — Ап! — Пряхин застыл, вздернув голову и раскинув руки: просторный пиджак висел на нем, как на жерди. — Похож я на артиста?

— Ерник ты, Миша, — грустно покачала головой Зоя. — Пустозвон. Ломаешься все... Вроде куклы тряпичной.

— Какой есть! — ощерился Пряхин. — А ежели я вам не по нраву, так это поправить можно!

— Ну что ты завелся? — устало спросила Зоя. — Я спать хочу.

— Спать, спать... Только и знаешь, — с досадой попенял Пряхин. — Курица.

— Это я курица?! — Глаза у подруги стали большими и круглыми. — Ах ты... — от возмущения она потеряла слова. — Да ты сам-то кто?! Или у тебя деньги есть?! Или ты мужик какой-то особенный?! Принц заморский?

— Ну ты чего? Чего? — оторопел Пряхин. — Вожжа, что ли, под хвост попала?

— Да я с тобой на безрыбье только! — клокотала Зоя. — Я б тебя в упор не видала. Тоже мне хахаль! Гляди, как бы ветром не сдуло!

— Ах, ветром?! — медленно и как бы зловеще спросил Пряхин и пошарил глазами по сторонам. — Где мой чемодан?

— Испугал! Ой, не могу, испугал!

— Где мой чемодан? — оцепенело, с железной решимостью повторил Пряхин.

— Да катись ты со своим чемоданом! Вот ты где у меня! — Зоя ладонью провела по горлу.

— Разберемся... — пообещал Пряхин, привычно побросал в чемодан белье и рубахи, снял с вешалки пальто и начальственно, вроде бы с трибуны, помахал рукой. — Привет! Пишите письма!

До утра он дремал в зале ожидания на вокзале. Иногда удавалось уснуть, но даже во сне он помнил, что у него нет крыши над головой, и прежняя мысль о бездомности мучила его во сне и наяву. Вокруг слонялись и, скорчившись, спали люди, вскрикивали во сне дети и, сидя на узлах, бессонно бдели немощные старухи.

«Сколько людей в дороге, мать честная», — думал Пряхин, разглядывая солдат, хныкающих младенцев, деревенских девушек, мужиков в ватниках и прочих людей, которые спали и бродили вокруг или просто сидели, думая о своем.

На свете пруд пруди было неприкаянных и бездомных, как он, у каждого имелась своя причина, но он-то, он чем виноват — острая жалость к себе сквозила в душе навылет, и не было с ней сладу.

Жалость чуть не до слез травила и ела сердце, в пору было завыть или вырваться в крик, Пряхин сидел молчком, сжался, будто на холодном ветру, — застыл и окаменел.

К утру он знал, что делать. Пропади она пропадом, такая жизнь, к черту, пора кончать. Значит, так: всех баб побоку, завербуется куда подальше, с первых денег вставит зубы, потом на курорт, а после купит дом. Хоть какой, лишь бы свой... Сам поправит, ежели будет изъян.

Он не трогался с места, сидел неподвижно, твердея в своей решимости, и уже не было человека на свете, который мог бы его отговорить или отвадить — ни человека, ни другой силы. Впрочем, никто и не собирался.

Пряхин едва дотерпел до утра. За час до открытия он уже топтался у конторы оргнабора и первым сел к столу уполномоченного.

Поезд неделю шел через всю страну. Пряхин часами глазел на глухие леса, поезд то возносился над широкими реками, то пробивал горы: земли вокруг было невпроворот.

Это ж сколько людей надо, чтобы ее обжить, думал Пряхин, вспоминая тесные города, их мельтешение и толчею, и среди прочих мыслей твердил себе настырно: «Сперва зубы, потом курорт, а после — дом».

Во Владивостоке поезд остановился у самой воды: вокзал располагался на берегу бухты Золотой Рог по соседству с причалами, бок о бок с вагонами поднимались борта судов.

Пряхин вышел и обомлел: в бухте царило безостановочное движение — буксиры, лихтеры, баркасы, какие-то мелкие посудины, у причалов грузились огромные корабли, теснились палубные надстройки, мачты, антенны, трубы, а над головой, над берегами плыла шумная разноголосица — сдавленные низкие гудки пароходов, лязг вагонных сцепок, перестук колес, звонки портальных кранов, гулкие голоса станционных и портовых динамиков, свистки маневровых тепловозов, гудение тросов, треск лебедок, вопли буксирных сирен; по всему было видно, что живут здесь в беспокойстве и суете.

А вокруг, по склонам высоких сопок, поднимался в поднебесье город, тысячи крыш и окон росли друг над другом на сколько хватало глаз.

«Ничего себе!» — задрав голову, озирался по сторонам Пряхин. — «Ну и занесло меня...»

Ему казалось — здесь край земли, но вышло, что и это еще не конец: на автобусе Пряхин поехал в Находку.

Океан его оглушил. Конца края не было воде, Пряхин растерялся на таком просторе и присмирел, смешался: по всему неоглядному пространству один за другим катились могучие валы и тяжело, с гулом рушились на каменистый берег. Пряхин явственно ощутил свою малость — песчинка под небесами.

Но как ни странно, за спиной он почувствовал безоглядную свободу — стоит лишь захотеть, и пойдешь, пойдешь, вроде ты оборвал путы и теперь все зависит от тебя самого, — живи без оглядки. Он не мог этого понять и думал как умел: «Воля — охренеть можно!»

Ветер с моря обдавал влагой и путал мысли. Океан наполнял грудь беспокойством. «С чего бы это?» — гадал Пряхин и не знал, что и думать. Ветер и океан смущали покой и тревожили кровь. «Уж теперь мне никто не указ,— бесшабашно думал Пряхин, стоя на ветру.— Как захочу, так и будет».

Он как пьяный бродил по берегу, подставляя лицо мелким брызгам, вдыхал запах моря и думал, что вот ведь столько лет жил на свете, а и знать не знал, не ведал такой воли.

А в глубине души скреблась и неотвязно ныла одна мысль: «Сперва зубы, потом курорт, а после — дом!»

Екатериновка смутила его многолюдьем и сумятицей. В пересыльном городке среди бараков в ожидании пароходов толклись и томились тысячи людей. К щитам, на которых вешали объявления, было не подступиться.

«Ах ты, бляха-муха,— озадаченно поозирался Пряхин,— так и прозевать недолго». Он заработал локтями, но народ здесь собрался тертый, нахрапом его было не взять.

— Ты куда прешь, щербатый? — спросили его и кинули назад, даже не старались особенно: Пряхин глазом не успел моргнуть, как оказался позади всех.

Он постоял в раздумьях, затих и вроде бы угомонился, но вдруг засвистел пронзительно, принялся бешено плясать — с треском охлопывал себя ладонями, так что все оглянулись в недоумении: толпа воззрилась на нелепого плясуна.

В пляске он двинулся вперед, перед ним расступались, давали дорогу, он оказался под самым щитом. Тут он остановился и с деланным вниманием принялся разглядывать объявления; за ним висела мертвая тишина.

Пряхин обернулся.

— Ну, что пялитесь? Зенки повылазят,— сказал он зрителям.

— Ай да плясун! Ловкач! — засмеялись в толпе и не тронули, снизошли.

Пересылка была веселым местом. Это было скопище всякого люда, у Пряхина разбежались глаза: вокруг сновал разноликий сброд со всей земли, пестрая мешанина, от которой голова шла кругом. Приходил пароход, забирал партию, места тут же занимали другие.

Сезонники маялись от безделья, слонялись в ожидании отправки, а днем, когда была открыта контора, выколачивали авансы, которые тут же пропивали или проигрывали в карты: игра шла день и ночь.

Постояльцы в бараках менялись круглые сутки. Многие спали, не раздеваясь, тут же ели, пили, в комнатах время от времени вспыхивали драки, и тогда по замызганным, черным от грязи, заплеванным полам катались клубки тел, а иногда раздавался дикий вопль, и опытные люди догадывались, что без ножа не обошлось: поножовщина случалась.

День и ночь шла немыслимая круговерть, люди появлялись, исчезали, уступая место другим, прибывали новые — изо дня в день, из ночи в ночь многоликая пестрая масса томилась и колобродила, точно на медленном огне, вскипала иногда, чтобы выпустить пар и вновь ждать и томиться.

Между тем среди безделья и скуки, день и ночь напролет в лагере цвела любовь. Ее крутили без оглядки, напропалую, одурев от существования, в ознобе, в лихорадке, точно всех их, мужчин и женщин, вскоре ждали чума, мор, конец света.

Паровались с налета и в открытую, без утайки, да и что тянуть, если времени в обрез, день-два-три — весь отпущенный срок: один пароход на Курилы, другой на Сахалин...

При таком распорядке всех одолевала спешка, тут не то что ухаживать, познакомиться недосуг. Да и скрыться в лагере было негде, всяк устраивался как мог. Хорошо, конечно, если с соседями повезло, уступят комнату на часок — долг платежом красен. А другому и это роскошь, исхитрится при всех, только бы советами не мешали. Так что тут тебе привычная жизнь — едят, пьют, дуются в карты, тренькают на гитарах, и здесь же рядом, на койке, непонятная возня под одеялом.

«Ну и жизнь!» — думал Пряхин, ошалев от пестроты и разнообразия. Но и здесь, среди толчеи и сутолоки, неотвязно сверлила мысль: «Сперва зубы, потом курорт, а после — дом!».

По приезде на другой день Тимка, сосед по комнате, получил аванс и устроил праздник. Надо сказать, общество в комнате подобралось на славу, впрочем, как в других комнатах, в бараке и вообще в городке.

Тимка был тугой крепкий парень, строивший из себя блатного. Пуще всего он боялся, что его не сочтут отпетым, и потому украсил себя татуировками сверх меры и держался так, вроде он вор в законе, хотя на деле был шпаной; целый день он матерился, бренчал на гитаре и утробным жестяным голосом напевал лагерные песни.

Был в комнате еще бродяга без роду, без племени — Проша, и был один брюнет-ученый, то ли физик, то ли химик — Пряхин не разобрал. Ну и сам Пряхин, конечно. Комната на четверых — жильцы-соседи...

Проша был известной личностью, местная знаменитость: он вербовался каждый год, после сезона подавался на зиму в теплые края — в Среднюю Азию, на Кавказ, где обретался без дела до нового сезона. Он был толст, сонлив, жмурился благодушно, но маленькие цепкие глаза на заплывшем лице смотрели колко, как у зверя.

Физик-химик был странной фигурой, хотя здесь видели всяких: часами он стучал руками по дереву, набивал мозоли для каратэ. Он носил бороду, в разговоры не вступал и ни во что не вмешивался; почти все время он лежал на постели и читал маленькие иностранные книжки в ярких глянцевых обложках. Ко всему он не пил и не играл в карты. Но задирать его было нельзя, даром что худ и бледен и по виду книжный червь; двое здоровенных жлобов полезли к нему в туалете и сами были не рады: через секунду оба валялись на полу, никто даже глазом не успел моргнуть. Все называли его академиком.

«Сколько народу всякого!» — думал Пряхин, озираясь. После пляски у доски объявлений его определили весельчаком. Пряхин не возражал: веселых любили. И уже сам он для прочности время от времени подогревал общее мнение: то споет не своим голосом, то взбрыкиет потешно, охлопает себя по-цыгански ладонями или пустится в пляс, дурачась и ломая коленца.

Итак, Тимка получил аванс и устроил праздник.

— Академик, ты будешь? — спросил он у физика-химика, но тот не ответил, молча покачал головой, не отрываясь от книги.

— Хозяин — барин,— покивал на него бродяга Проша.

— А ты? — мрачно повернулся Тимка к Пряхину.

— Я завсегда с народом,— мелко хохотнул Пряхин и на месте отбил чечетку.

Проша зазвал Толика, приятеля из соседнего барака, тот привел четверых женщин, живущих в комнате по соседству. Все уселись на койках вокруг стола, лишь физик-химик лежал безучастно и, казалось, поглощен чтением.

— Мужчина, а вы что же? — обратилась к нему одна из женщин, но тот не ответил, продолжал читать.

За столом все переглянулись.

— Подруливай к нам, академик,— предложил Пряхин, чтобы развеять зреющую обиду.

— Я не пью,— ответил физик-химик.

— Брезгует,— заметил приглашенный Толик.— Еще надо проверить, что он там читает. Не по-нашему написано.

— Проверяй,— физик-химик протянул ему книгу в яркой обложке.

— А мне ни к чему. Кому надо, те проверят.

— Ну так сбегай, скажи,— предложил физик-химик и уткнулся в книгу.

— Отдыхай, мужики! Отдыхай!..— встрял бодро Пряхин с одним умыслом: не дай Бог испортят праздник.

— Подумаешь, строит из себя,— обиженно проворчал Толик.— Все мы здесь сезонники.

— Не скажи,— заметил Проша.— Я среди сезонников всяких встречал. И кандидатов, и докторов... Мало ли что кому надо, у каждого свое...

— Мужики, мы, это... не по делу...— снова вмешался Пряхин.— Пущай себе читает. Он нам не мешает, мы ему. Поехали...

Они выпили, посидели и снова выпили, стало легко, уютно, накатилось блаженное тепло, и голоса загалдели сбивчиво, вразнобой, как и положено в застолье.

— Хорошо сидим,— радовался Пряхин и улыбался радушно всем, соглашался с каждым — кто бы что ни сказал

Женщины раскраснелись, громко жеманно смеялись, кокетничали, но не все, правда, одна сидела спокойно, улыбалась слегка и не хлопотала, как прочие. Потому Пряхин и заметил ее.

Волосы темные, лицо живое, но проглядывала в нем давняя усталость, точно жила весело, безоглядно, а потом притомилась, и горести одолели. Конечно, она прошла огонь и воду, Пряхин сразу определил, как говорится, невооруженным глазом: жила — не скучала и хлебнула сполна.

Пряхин заметил, как отбрила она Тимку, когда тот приобнял ее,— усмехнулась спокойно:

— Тимофей, ручки у вас шаловливые...

Тимка мотнул головой, словно боднул кого-то, но руки отнял. Позже его развезло, он смотрел на всех пристально, не мигая, и однажды в общем гомоне обратился к соседке:

— Я на тебя глаз положил...

— Очень тронута,— отозвалась она насмешливо.

— Не ломайся,— он положил руку ей на колено, она встала.

— Подвиньтесь, я пересяду,— обратилась она к сидящим напротив; за столом все притихли.

— А ну сядь! — с угрозой сказал Тимка, беря ее руку.

— Ну что ты, Рая, подумаешь...— укорила ее одна из женщин.— Что особенного?

— Сядь, кому сказал?! — злобно повторил Тимка.

Все видели: он не угомонится, пока она не сядет, но она не садилась, нашла коса на камень. Все молчали и не двигались.

— Хорошо сидим, братцы! — вскинулся в тишине Пряхин, выскочил из-за стола, бойко охлопал себя ладонями:

С неба звездочка упала
Прямо к милому в штаны.
Пусть бы все там оторвало,
Лишь бы не было войны!

Все засмеялись, облегченно задвигались, под шумок Рая обошла стол; когда Пряхин сел, они оказались рядом. Вокруг снова поднялся сбивчивый галдеж, смех, возня.

— Гуляем! — весело сказал ей Пряхин.— Вас Раиса зовут?

— Рая,— ответила она.

— Очень приятно. А меня Михаил. Вы здесь бывали?

— Впервые...

— А ну отвали, щербатый! — неожиданно предложил Тимка.

— Куда? — удивился Пряхин.

— Отвали, я сяду.

— Это почему?!

— Миша, уважь его,— вмешался Проша.— Охота ему здесь сидеть.

— Ну, ежели просит...— неопределенно помялся Пряхин и пересел. Он заметил, как глянула на него Рая, и отвел глаза.

— А теперь спляши,— приказал Тимка.

— Я?! — оторопел Пряхин.

— Ты! Давай...

— Щас? — Пряхин был в замешательстве, не знал, что делать. Он не прочь был сплясать, но не так, а так было обидно.

Все смотрели на него и ждали, и Рая смотрела, он видел. Пряхин нерешительно встал, отказаться не было сил. Он видел, что все смотрят, и Рая смотрела — невесело, с сожалением, смотрела и ждала, он все еще медлил.

— Тебе что, жалко? — спросил у него Толик.— Гуляем же...

Пряхин неохотно стукнул ногой в пол и вяло охлопал себя ладонями.

— Давай, давай...— подзадорил его Тимка.— Давай, щербатый!

— Жги! — крикнул Толик, прихлопывая в ладоши.

— Ну ладно, будет вам,— неожиданно вмешалась Рая.— Хватит.

— А чего? — лениво спросил Тимка.— Пусть пляшет...

— Ладно тебе! — прикрикнула на него Рая.— Чего куражишься?! — Она повернулась к Пряхину.— А ты садись,— и добавила едко: — Плясун!

Пряхин сел, у него было такое чувство, будто босой ногой ступил в коровью лепешку. Но еще гаже было оттого, что случилось все у нее на глазах. Он понурился, сам себе стал противен — хоть беги.

«Всяк и каждый ноги об меня вытирает,— думал он, горечь драла и щипала горло.— Любой, кому не лень, в дерьмо меня мордой тычет. А я терплю».

Он и впрямь готов был заплакать, отвести душу слезами, и заплакал бы, не будь здесь чужих.

Между тем за столом снова выпили, загалдели, пошел прежний сбивчивый разговор, поднялся смех и гомон, Тимка щипал струны гитары.

Опять сумятица, разнобой голосов, пьяный путаный галдеж, но для Пряхина не было уже уюта в застолье, на сердце скребли кошки.

В общей неразберихе Рая подсела к нему, заглянула в лицо.

— Что загрустил, плясун? — засмеялась она и толкнула его плечом.

— С чего вы взяли? — он старался не смотреть на нее.

— Да уж вижу. Что, тошно?

Пряхин уклончиво пожал плечами, не признаваться же, в самом деле.

— А зачем терпел? — спросила она.— Не хотел, не плясал бы.

— Неудобно... У нас вроде застолье, компания, а я ломаюсь...

— Эх ты...— попеняла она с жалостью.— Ведь измывались над тобой.

Его стала разбирать злость, он почувствовал в крови зуд — всего проняло.

— А тебе-то что?! — неожиданно спросил он.— Тебе что за дело?! Ты-то чего лезешь?! На жалость берешь?!

— Хорош...— с усмешкой покачала она головой.

— Мое дело! Чего вяжешься?!

— Вон как заговорил...

— Видали мы таких! — расходился Пряхин.— В душу лезешь?!

— Угомонись! — нахмурилась она.— Сам не знаешь, что говоришь.

— Знаю! Плясал — значит, хотел! Веселье у нас! Гулянка! — Пряхин вскочил и пустился в пляс.

Он плясал, выламываясь, свистел пронзительно, подбадривал себя криком на разные голоса; было что-то дикое, пропащее в этой пляске, гиблое, он плясал так, будто с треском рвал себя на куски, вот допляшет — и конец, больше незачем жить.

— Перестань,— сказала ему тихо Рая, но он не слышал, бешено кружил, задыхаясь. Сил уже не было, он едва держался на ногах, дергался и почти падал.

— Остановите его,— с тревогой сказала Рая.

— Пусть пляшет,— отозвался Тимка.— Давай, щербатый...

За столом все шумно закричали, загикали, подбадривая плясуна, прихлопывали сообща, а Пряхин, бледный, едва живой, мокрый и задыхающийся, хрипел, выбиваясь из сил, корчился и, казалось, рухнет вот-вот, как загнанная лошадь.

— Остановите его! — кинулась Рая к физику-химику, который попрежнему, невозмутимо лежал, читая.

Физик-химик на мгновение отвел книгу в сторону, глянул ясными, трезвыми глазами и отвернулся без единого слова, вновь уставился в книгу.

— Ах ты!..— кинула ему Рая и повисла на Пряхине, толкнула его на койку и придавила, навалившись. Он замер, обессиленно дыша всей грудью. Рая дала ему воды, он выпил, откинулся на подушку и затих.

— Жалеешь? — насмешливо спросил у нее Толик.

— Жалею,— отозвалась она.

Веселье в комнате пошло на убыль. Вяло переговаривались, томились, но никто не решался встать и уйти. Да и куда идти, если некуда, уж лучше коротать время здесь, чем разбрестись по своим углам: сообща худо, а в одиночку и вовсе невмоготу.

На дворе был поздний вечер, горели окна бараков, и казалось, огни врезаны в кромешную темень, горят, не давая света.

Пряхин отдышался и сел.

— Ну как, оклемался? — спросил Проша.

— Вроде ничего,— усмехнулся Пряхин.— Можно сызнова.

Он сел к столу, но сидел тихо, оцепенело, точно его оглушили и он никак не может прийти в себя. Тимку потянуло на песни, он запел ненатуральным жестяным голосом про нары и охрану и вскоре навел на всех скуку.

Пряхин слушал, подперев рукой щеку; невнятное смущение испытывал он — смущение, которого не знал раньше. Ему было неловко перед этой женщиной, хотя, казалось бы, что особенного, а тем более — здесь. Ведь и впрямь ничего не стряслось — мало ли бывает, но сидишь, как пришибленный, глаз не поднять.

Его мучил стыд и не слабел, нет, а чем дальше, тем больше рос и взбухал. Пряхина тянуло поговорить с ней, потолковать о том о сем, но, странное дело, — не знал как.

Никогда он не задумывался о таких пустяках, выходило само собой, а сейчас — на тебе, не знает, как подступиться, извелся весь.

— Щас бы чаю, — пробормотал Пряхин едва слышно.

— У меня в бараке заварка есть, — ответила Рая так же тихо. — Кипяток нужен.

— У соседей кипятильник имеется...

— Поздно уже, спят, наверное.

— Тогда перебьемся, — усмехнулся Пряхин.

Тимка внезапно бросил петь — звякнула и заныла тонко струна — и неожиданно предложил:

— А ну выйдем, щербатый!

— Ты чего? — опешил Пряхин.

— Поговорить надо! Выходи!

Идти Пряхин не хотел. Он почувствовал, как ослабли ноги, противный холодок тронул сердце. Пряхин знал, что с Тимкой ему не сладить, козырей нет; он вообще избегал потасовок, обходил стороной и, если пахло дракой, уступал.

— Выходи! — бешено повторил Тимка.

Пряхин не знал, что делать. Ему стало неуютно и зябко, он всегда робел и сникал перед таким напором, чувствовал себя раздетым на морозе.

— Тимофей! Миша! — закудахтали женщины, но Рая молчала, рта не раскрыла.

— Ты, щербатый, не возникай! А то я враз рога обломаю! — с яростью надвинулся Тимка. — Клинья подбиваешь?!

Пряхин растерянно молчал. Он знал, что она смотрит на него, но поделать с собой ничего не мог, страх был сильнее.

— Здесь я пахать буду, понял?! — напирал Тимка. — Понял, щербатый?

— Понял, — тихо ответил Пряхин.

Все решили, что на этом конец, но неожиданно вмешалась Рая.

— Пахарь, значит? — спросила она Тимку. — Пахарь, да? А ты меня спросил?! Мое согласие?!

— Ничего, разберемся, — ответил Тимка.

— Да хоть разбирайся, хоть нет — погань ты! Мразь! — Она обернулась к Пряхину: — А ты что молчишь?! Мужик называется! Тошно мне на тебя глядеть. Хоть бы голос подал...

— Я ему подам, — пригрозил Тимка.

— Не бузи, — ответила она. — Стоящий мужик тебя по стене размажет, падаль! — Рая вышла из комнаты.

Все сидели в молчании. Стало так тихо, что слышно было, как за окном посвистывает ветер.

Это был сырой весенний ветер Японского моря, гнавший волну в бухте Находки; он насквозь продувал Внутреннюю Гавань и летел дальше, на север, в Сучанскую долину, за которой слабел, угасал и терялся в глухих распадках Сихотэ-Алиня.

Ветер нес влагу и запах моря и вызывал смятение, потому что внятно помнилось открытое неоглядное пространство — там, откуда он прилетел.

Пряхин поникше сидел за столом. В комнате происходило какое-то движение, разговоры, кто-то входил, выходил — Пряхин не замечал. Было тошно и муторно, едкая горечь скреблась и саднила в груди, на плечи давила каменная тяжесть — пальцем не шевельнуть, чернота в глазах. Но самое главное — никого не хотелось видеть, до одури, до рвоты, а тем более — встречаться взглядом или говорить.

Гости ушли, но Толик вскоре вернулся, и они допили остатки: Пряхин пить не стал — такого с ним не бывало.

— Совсем мужик скис, — заметил Проша. — А бабенка ничего...

— Я б не прочь с ней сразиться, — вставил Толик.

— Кишка тонка, — засмеялся Проша.

Они посидели, вяло покидались словами, и Проша объявил:

— Мужики, пора ночевать... Надо сговориться, кто с кем.

— Я не в счет, к своей пойду, — отозвался Толик.

— Понятно... Хорошо устроился. — Проша глянул на остальных: — Как народ? Давайте заявки...

— Как это? — непонимающе поднял голову Пряхин.

— О, сразу очнулся, — показал на него Проша. — Не прикидывайся. Нас трое, их трое, надо решить.

— А они знают? — Пряхин пребывал в растерянности.

— Узнают, — развеселился Проша. — Телеграмму пошлем.

— Закройся, щербатый, — предложил Пряхину Тимка.

— А вы их спросили? — не унимался Пряхин.

— Спросим, спросим... — пообещал Проша. — Собрание устроим.

— Малохольный. — Толик показал на Пряхина и покрутил пальцем у виска.

— Ну ты, хмырь!.. — мрачно глянул на Пряхина Тимка. — Не хочешь, ходи голодный.

— Силком, что ли? — вертел на всех головой Пряхин.

— Зачем? — усмехнулся Проша. — Большинством голосов.

— Да он тронутый! — пялился на Михаила Толик.

— А ежели они против? — спросил Пряхин.

— Уговорим, — добродушно объяснил Проша. — Слушали-постановили...

Они стали переговариваться, Пряхин сидел неподвижно, погруженный в раздумья.

— Дерьмо, — неожиданно сказал он без адреса. Помолчал и скованно повторил:

— Дерьмо.

— Ты чего? — прищурился Проша. — Нехорошо, кореш...

— Дерьмо, — в лицо ему сказал Пряхин.

— Слушай, придурок... — начал было Толик, но Пряхин его перебил:

— Дерьмо.

— Ах ты, падло! — взвился Тимка. — Да я тебе...

— Дерьмо, — повернулся к нему Пряхин.

Он знал, что ему несдобровать, хотя мог еще унести ноги, кинуться в дверь и сбежать, но рано или поздно нужно держать ответ: беги не беги, а платить придется. Он обернулся к лежащему на кровати физику-химику и сказал:

— И ты дерьмо.

Пряхин наперед знал, что пощады не будет, свое он получит, но не жалел ни о чем, лишь повторил снова:

— Все вы тут дерьмо.

Они избили его, Пряхин не сопротивлялся. Позже он с трудом поднялся с грязного, заплеванного пола и медленно побрел прочь.

На дворе темнота была не такой кромешной, какой казалась из комнаты, в селе тускло светились редкие огни.

Дул сырой ветер, погода была промозглая, но — странное дело! — в душу снизошел покой. Вот ведь как оказалось — места живого нет, лицо вспухло, а испытываешь облегчение, будто повезло.

Он чувствовал непонятную свободу, даром что еле двигался, но стало легко, словно отдал все долги и уладил дела: никому ничего не должен.

Пряхин побрел за бараки, он еще днем приметил укромное место, где лежали на земле ящики, отыскал их и сел, в комок сжался. Откуда ни возьмись появилась стайка собак, они послонялись вокруг и легли рядом, видно, приняли за своего.

Он подумал, что они правы, он один из них — ни кола, ни двора, ни будки своей, ни миски.

Неожиданно собаки чутко подняли уши, заворчали глухо, потом вскинулись в звонком лае; Пряхин их усмирил — цыкнул, и они умолкли, словно признали в нем хозяина.

Кто-то медленно приблизился, и Пряхин, не зная еще, догадался, кто идет.

Рая молча села на ящик и посидела смирно, куталась в платок, зябко горбила плечи.

— Схлопотал? — спросила она.

Пряхин не ответил, жевал разбитые губы.

— Что молчишь? Загордился?

— А что говорить? Сама видишь...

Она пригляделась в темноте, выпростала из рукава руку и мягко ощупала его лицо и голову:

— Больно?

— Есть маленько, — поморщился Пряхин, готовый и дальше терпеть, лишь бы она касалась его рукой.

— Я сейчас, — сказала она и ушла в темноту.

Он не знал, сколько прошло времени, она вернулась, в руках у нее белело полотенце, край был мокрым, и она осторожно отерла ему лицо.

— Ну как, жить буду? — спросил Пряхин.

Она усмехнулась, покачала головой:

— Шутник... Легко еще отделался.

— Ничего себе — легко! Скособочился весь, морда на сторону...

— Заживет. Могло быть хуже.

— Я им тоже насовал будь здоров! — не удержался Пряхин.

— Да ладно тебе — насовал... Спасибо, что ноги унес.

— Они свое получили, — настаивал Пряхин. — Меня на кривой козе не объедешь.

— Вот порода... — покачала головой Рая. — Сам еле жив, а туда же... Ну, мужики!..

— Больно много ты знаешь о мужиках!

— Знаю, — спокойно подтвердила Рая. — Я, Миша, опытная. Три раза замужем была.

— Ничо себе! Чо так много?

— Искала...

— Нашла?

— Перевелись настоящие мужики.

— Так уж перевелись?

— Перевелись. Три раза ошиблась, — призналась Рая и усмехнулась. — А ты, видно, подруг и не считал, а, Миша?

— Считал. Со счета сбился, — засмеялся Пряхин.

Была поздняя ночь, но городок не спал, доносились голоса, крики, пение, звенела гитара. Вдали за дворами катился по селу лай, лежащие у ног собаки то и дело поднимали головы и сторожко прядали ушами.

— Зря я ушла, — посетовала Рая. — При мне обошлось бы.

— Навряд ли... У нас спор вышел.

— О чем?

— О международном положении.

Она даже отодвинулась от неожиданности, глянула на него оторопело; горящие окна светлыми точками отразились в ее глазах.

— Что ты плетешь?! — не поверила она.

— Почему плету? О политике спорили.

Некоторое время держалась тишина, Рая как бы приходила в себя.

— Я ведь все знаю, Миша, — сообщила она тихо.

Руль нахмурился и ответил с досадой:

— Знаешь — нечего спрашивать.

— Что ты за человек, Миша? — так же тихо спросила Рая. — Ты же знал, что они тебя изобьют.

Он молчал, словно его приперли к стене, гадал, что ответить, и наконец признался с досадой:

— Ну, знал...

— Так какого же черта?! — возмутилась Рая. — Говори прямо: так и так!

— А кому это интересно? — вяло возразил он.

— Дурень ты, дурень... — скорбно покивала она и глянула на него с сожалением. — Дурень!

— Это еще почему? — капризно, как избалованый ребенок, поинтересовался Пряхин.

— Ломаешься много.

— Ну ты уж скажешь! — игриво хохотнул Пряхин. — И откуда ты такая умная?

— Из Смоленска, — ответила она.

— Не бывал, — покачал головой Пряхин. — А я из Кинешмы. — И неожиданно для себя сказал:

— Я там директором был.

— Директором? — удивилась Рая.

— Ага, — кивнул Руль. — На заводе. Меня там каждая собака знает.

— Трепач, — сказала Рая насмешливо, но без зла. — Какой из тебя директор, ты сам подумай? Директор!..

— Бывший... — неуверенно заметил Руль.

Рая засмеялась:

— А сюда тебя каким ветром занесло? Выгнали?

— Сам бросил. Надоело.

— Надоело? В сезонники подался? — смеялась она. — Очень ты врать горазд, Миша. Хоть бы меру знал. Кто ж тебе поверит, что ты директор?

— Пущай не верят. Я-то знаю.

— Ты на руки свои посмотри...

— Ну что — руки? Днем я директор, а в свободное время кем хошь могу быть.

— И кем же ты был?

— Плотничал. Кому штакетник поставлю, кому замок врежу, кому полы настелю... А что — имею право!

— Подрабатывал?

— Ну да, где какая халтура подвернется.

— Молодец! Трудолюбивый... У вас там каждый директор так?

— Многие. А в Смоленске как?

— У нас если директор, только этим и занимается. Совсем обленились.

— Смотри ты! У меня один кореш, тоже директор, по выходным сантехником дежурит. Не веришь?

— Верю.

— Ну то-то. Многие не верят.

Они помолчали. Свежий ветер со стороны Находки гонял по двору клочья газет.

— Миша, а ты часто врешь? — поинтересовалась Рая.

— Часто, — беспечно признал Пряхин.

— Зачем?

— А интересно. Живешь, хлеб жуешь — скука. А так... вроде веселее.

Ветер загнал газету под ящик и устроил ей трепку, бумага билась на ветру, как живая.

— А ты как жила? — спросил Пряхин.

— Я? — Рая задумалась, наклонив голову и опустив лицо. — По-разному, Миша. Всяко бывало.

— А сюда зачем?

— Нужда заставила.

Она рассказала, как работала в магазине и в ревизию обнаружилась недостача: пришлось влезть в долги, а потом вербоваться, чтобы отдать.

Конечно, она видала виды, он сразу понял, да она и сама не скрывала; с первого взгляда было ясно, чего-чего, а опыта ей не занимать. Но Пряхин ее не судил, он вообще никого не судил, не имел привычки: дело такое — жизнь!

Поначалу больше молчали, постепенно разговорились. Рае случалось кочевать, работала где и кем придется, как и он, была перекати-поле, не имела своей крыши, мыкалась по чужим углам — натерпелась.

И ей, и ему было что рассказать. Никто из них не таился в ту ночь, говорили до рассвета. И то ли ночная свежесть была причиной, то ли темнота, скрывавшая лица, но каждый из них не лукавил в ту ночь, говорил открыто и без оглядки, как редко приходится нам в нашем грешном существовании.

И он, и она терпели вдоволь, теряли и хлебали сполна, жизнь их была пестрой, переменчивой, разноликой — всего вдоволь.

Пряхин впервые рассказывал о себе без утайки. Он сам диву давался: больше в эту ночь он не врал и не хвастал, говорил все как есть, без притворства.

Спать не хотелось. Накатила редкая бессонная ясность, сна ни в одном глазу, и можно толковать без спешки — когда еще доведется.

Погода не располагала к долгому разговору, на дворе было сыро, ветрено, пробирал холод, да и разговор у них был не из веселых — толковали о своей жизни, какое уж тут веселье. Но, окоченев, они говорили час за часом.

К утру им казалось — они давно знают друг друга. В кое время бывает у нас возможность открыться кому-то, сокровенное слово редко вырывается наружу, и еще реже услышит его чужая душа, услышит и отзовется. И уж если случилось — радуйся, повезло.

Ночь повернула к рассвету. Волосы стали волглыми, холод проникал под одежду, на востоке слабо посветлело небо.

Городок спал глубоким сном. К этому времени все угомонилось, обитателей бараков сморило тяжкое забытье: в смрадной духоте невесомо и зыбко плыли тысячи снов — тайные мысли, голоса, смутные призрачные картины.

— Светает,— сказала Рая.

Пряхин с сожалением кивнул. За ночь они поговорили о многом, однако времени не хватило: весенняя ночь коротка.

Казалось, они не сказали и доли того, что хотели, а уже брезжил рассвет и нужно было расстаться.

Вся огромная масса ночующих здесь людей отсыпалась напоследок, прежде чем отправиться дальше, до самого предела земли; то был их последний ночлег на материке.

Рассвет тихо крался над побережьем, разливался, набирал ясности, новый день затоплял долины и сопки, тесня ночь в глубь материка.

Пряхин и Рая неподвижно сидели в тишине, их клонило в сон, но расходиться не хотелось. Им казалось, что-то произошло, что — они сами не знали; была некая новизна, какая-то перемена, хотя ничего не изменилось и все осталось по-прежнему.

— Пора...— вздохнула Рая и встала с трудом: руки-ноги свело.

Пряхин молча поднялся. Он не хотел уходить, но покорно встал, готовый сделать, как скажет она.

Минувшая ночь жила в них обоих, но был какой-то безотчетный страх, будто стоит им разойтись — все исчезнет, канет, словно в воду.

— Иди,— тихо велела Рая.— После свидимся.

Он скованно кивнул и, похоже, пребывал в сомнении, как поступить — не возразить ли? — но не решился, смолчал.

Он как будто боялся словами испортить прощание, молчал, робея, точно набрал в рот воды, и сам в это не верил — никогда с ним подобного не случалось.

Отойдя, Пряхин вдруг вспомнил что-то и окликнул ее:

— Рая, ты на курорте бывала?

— Бывала, а что?

— Ничего, это я так...

Они отправились к своим баракам, на полпути обернулись и, улыбнувшись, помахали друг другу; так и запомнились навсегда — он ей, она ему: взмах руки и улыбка в рассветном тумане.

Барак спал, тишину нарушал громкий храп, доносившийся из дверей. В комнате было душно, спертый воздух напоминал жидкое тесто. Постояльцы лежали в неудобных позах, во сне все изнемогали от духоты и вони, дышали тяжело, и казалось, не выдержат, задохнутся.

Один физик-химик без подушки лежал на спине, прямой, отрешенный, уставя бледное лицо вверх и вытянув руки по одеялу; он дышал легко и ровно, будто спал на лугу, и даже мнилось, что он не здесь, со всеми, а отдельно, сам по себе и в отличие от остальных занят чем-то иным, своим.

Пряхин лег, не раздеваясь,— все равно утро. Засыпая, он вспомнил Раю, ночной разговор и улыбнулся, ошеломленный непривычным чувством новизны.

Он не знал, сколько прошло времени, спал как убитый и проснулся от того, что кто-то толкал его:

— Миша, проснись! Миша!.. Да проснись же ты, охломон! Шатается неизвестно где, потом не добудишься!

Пряхин открыл глаза: его тормошил Проша.

— Вставай, ехать надо!

— Куда? — не понял Пряхин и пялился недоуменно.

— Совсем ополоумел... Давай быстро, тут не ждут!

Пряхин вскочил, покружил по комнате, схватил чемодан и, не умываясь, как был, сонный и мятый, очумело кинулся в дверь.

Сезонники уже сидели в автобусе, сухой белесый дым мотора поднимался и таял в тумане. Пряхин поставил чемодан и сел, растирая лицо и горбясь от холода. Он лениво зевал, тянулся спросонья, грел дыханием руки.

— Что это они вздумали спозаранку? — спросил он недовольно.

— Тебя не спросили,— огрызнулся Проша.

— Спать охота...

— Успеешь. Пароход пришел.

— Как? — не понял Пряхин.

— Отплываем,— пожал плечами сосед.

Пряхин замер. Он вдруг остро, до боли, точно кто-то ударил ножом, вспомнил, что происходит: до него дошло, что он уезжает. Едва он понял это, сжалось сердце, он чуть не задохнулся.

Он уезжал, а она оставалась, и не сегодня-завтра придет другой пароход, за ней.

Пряхин вскочил, хотел кинуться в дверь, но не успел: дверь захлопнулась, автобус тронулся с места.

— Ты чего? — сонливо спросил Проша.— Забыл что?

— Забыл,— скованно сказал Пряхин.

— Теперь уж поздно.

Он и сам знал, что поздно. Пряхин был в каком-то странном оцепенении, смертная тоска теснила грудь, щемила — вздохнуть больно. Только и оставалось, что сжаться в комок и застыть, не шевелиться, терпеть до упора, пока не отпустит; вот только воздуха мало, дышать нечем.

До осени Пряхин работал в рыбном порту на Сахалине, Рая была на острове Шикотан. Она приехала в Екатериновку в октябре, но в пересыльном городке о Пряхине никто ничего не знал, и она отправилась дальше, в Смоленск: нужно было раздать долги.

Спустя неделю в Екатериновку вернулся Пряхин, ему сказали, что его спрашивала какая-то женщина. Он кинулся искать, не нашел, конечно, и принялся искать наугад в портах и на рыбозаводах.

Спустя три месяца Рая вернулась, ей передали, что он ищет ее, и тогда она тоже стала искать. Они переезжали с места на место, спрашивая друг о друге.

Тем временем подошел новый сезон — они так и не встретились. Они вновь завербовались, Пряхин — матросом на сейнер, Рая — на краболов. Перед путиной каждый из них побывал в Екатериновке, правда, в разные дни: везенье вновь обошло их, они разминулись.

Осенью после сезона и он, и она продолжали искать.

И вот уже три сезона они ищут по всему побережью, хотя каждый из них понимает, что пора бросить. И он, и она не раз назначали себе последний срок, но подходил новый сезон, и вновь оживала надежда.

В поисках они исколесили весь Дальний Восток, но встретиться им не удалось, и в глубине души они знали, что вряд ли удастся. Да и то сказать — в этих краях, где пространства вдоволь и больше, а люди снуют с места на место, искать человека все равно что иголку в сене.

На побережье и островах о них уже шла молва. Она раскатилась далеко, до самых глухих углов. Я встречал их — его и ее, они расспрашивали меня, как расспрашивали всех, но проку от меня им не случилось: я встречал их порознь, в разное время.

В последнюю осень Пряхин решил твердо: хватит, пора... Пора ехать на запад, в родные места, пора вставить зубы, съездить на курорт и купить дом, как задумано. Пора...

Он знал, что нечего ждать и нельзя надеяться, и она тоже знала.

Но снова после зимы открылась весна, впереди маячил новый сезон, и вместе с ним вновь брезжила надежда.

1977 г.

Марк АЛДАНОВ

Самоубийство

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В Западной Европе в 1903-4 гг. почти все еще было тихо и спокойно. Такие времена называются в истории «периодами процветания». Разумеется, процветало не все европейское население. Но и обездоленным людям в ту пору жилось лучше, чем когда бы то ни было прежде. Отношения же между главными государствами были либо превосходные, либо хорошие, либо — в худшем случае — корректные. Монархи обменивались визитами и во дворцах или на яхтах произносили дружеские, радостные, бодрые тосты. Министры очень вежливо отзывались в парламентских речах о политике других стран и даже в тех случаях, когда бывали ею не очень довольны, давали это понять лишь намеками и чрезвычайно осторожно: одно невежливое слово неизбежно вызвало бы очень серьезные неприятности.

Больших войн давно не было. Но скорее всего именно поэтому некоторые государственные люди уже начинали скучать. Разумных причин для войны не было, как их, впрочем, не было в истории почти никогда. Основной причиной возможного столкновения считалось в ученых книгах и в передовых статьях экономическое соперничество между Англией и Германией; в связи с иим газеты говорили, что Англия не может допустить увеличения германской экономической мощи и военного флота. За океаном быстро рос не такой соперник для обеих стран: скоро Соединенные Штаты своей промышленностью, богатством, могуществом далеко превзошли Англию и Германию, вместе взятые. Однако о войне Европы с Америкой и позднее никто не говорил, кроме совершенных дураков. Такая война просто по непривычке не возникала в сознании политических деятелей, ученых экономистов и даже самых воинственных газетчиков. Вдобавок американские правители редко встречались и почти не соперничали с европейскими. И, главное, они неизмеримо меньше интересовались тем, что, по существу, и определяло политику правителей Европы: злосчастной идеей престижа, наделавшей столько бед человечеству.

При всем законном желании «заглянуть в корень вещей» трудно найти хоть какую-либо общую идею или сколько-нибудь прочный интерес во внешней политике главных европейских держав того времени. В 1901 году Чемберлен предложил Германии заключить англо-германский военно-политический союз. Это предложение показалось немецкому министерству иностранных дел столь важным и заманчивым, что к Вильгельму, находившемуся тогда в Гамбурге, был специально послан с запросом граф Меттерних. Идея императору понравилась. Он искренне любил свою бабку, королеву Викторию. Ее преемника Эдуарда VII, правда, недолюбливал, но его брата, герцога Коннаутского, любимого сына Виктории и хранителя ее традиций, считал в числе своих ближайших друзей. Император — и не он один среди монархов — признавал европейскую политику отчасти как бы семейным делом. Все же он задал вопрос: «Союз против кого?» Из Лондона пришел немедленно ответ: «Против России, так как она хочет овладеть Индией и Константинополем». Это объяснение, тоже больше по семейным обстоятельствам, понравилось императору меньше. Он велел ответить, что его связывает тесное родство с домом Романовых, личная дружба с царем и вековое братство по оружию с Россией. Таким образом из английского предложения ничего не вышло. Император в обществе своего друга Эйленбурга посетил в Мюнхене инкогнито известную гадалку и спросил ее, может ли он положиться на одного своего русского друга (разумел Николая II). Гадалка ответила, что вполне может. Это успокоило Вильгельма.

Его и много позднее (до выхода его воспоминаний) очень высоко ставили в мире. Незнакомые с ним люди часто писали об его необыкновенном уме, талантах, образовании. Правда, фельдмаршал Вальдерзее говорил, что император почти ничего не читает и вообще почти не работает, а любит только охоту, церемонии и болтовню. Особенную рекламу ему делали его приближенные, страстно подкапывавшиеся друг под друга в борьбе за его милость. «Все они кусаются, дерутся, ненавидят и обманывают один другого. У меня все больше укрепляется чувство, что я живу в доме умалишенных», — писал один из них.

Какие именно умалишенные изменяли настроение и принципы Вильгельма, мы не знаем. Но ориентация германской внешней политики внезапно изменилась. Теперь канцлер Бюлов при личном свидании запросил короля Эдуарда, не согласилась ли бы Великобритания заключить с Германией военный союз. При английском дворе раболепства, грызни, гадалок, «дома умалишенных» не было, и политику делали преимущественно министры. Однако, обиделось ли британское правительство за первый отказ или по другой, непонятной простому разуму причине, на этот раз ответило отказом оно.

Английская политика, «строящаяся на долгие десятилетия вперед», тоже изменилась. Король ответил, что отношения между Англией и Германией превосходны, в мире все совершенно спокойно и что он в военном союзе никакой надобности не видит.

Несчастьем для Европы было и то, что почти все секретные и не секретные соглашения строились главным образом на взаимном обмане, причем каждое правительство обманывало и своих союзников. В 1907-м году новый русский министр иностранных дел Извольский посетил Вену. Его осыпали знаками внимания, он был принят Францем-Иосифом, получил большой крест ордена св. Стефана и установил дружеские отношения с Эренталем. Извольский хотел добиться для русского черноморского флота прохода через проливы. После Крымской войны проливы были закрыты для военных судов всех стран. В течение полувека, особенно после Берлинского конгресса, в Петербурге были в общем довольны этим соглашением, защищавшим все русское черноморское побережье от возможного, в случае войны с Англией, нападения британского флота. Один из русских государственных людей говорил в 1897 году: «Нам нужен швейцар в турецкой ливрее, Дарданеллы ни в каком случае не должны быть открыты: Черное море — русское mare clausum» [*]. Затем то, что считалось выгодным преимуществом, было признано непереносимым злом.

Извольский хотел поднять престиж России, уменьшившийся после войны с Японией; о своем еще не создавшемся личном престиже он, разумеется, не говорил. Этот остроумный, раздражительный человек считал себя много выше других министров иностранных дел, — позднее своего французского собрата называл «человеком универсальной некомпетентности», что, конечно, тому вскоре стало известным. В деле о проливах была очень заинтересована Австро-Венгрия, и он готов был дать ей «компенсацию»: соглашался на то, чтобы она присоединила к себе и формально Боснию и Герцеговину, фактически ею захваченные еще тридцать лет тому назад. Он желал бы, чтобы право прохода через проливы было пре-

---

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 3 с. г.

[*] внутреннее море (лат.)

доставлено только русскому военному флоту, но в крайнем случае соглашался и на то, чтобы его получили все державы.

Эта мысль чрезвычайно понравилось барону Эренталю. Было устроено секретнейшее совещание. Граф Берхтольд предоставил для него свой великолепный замок в Моравии Бухлау. Никто другой приглашен не был. Совещание состоялось 15 сентября. Решено было не вести стенограммы: все по памяти запишет Извольский и представит Эренталю свою запись. Странным образом русский министр очень долго записи не представлял и, быть может, кое-что забыл. Так по крайней мере утверждал Эренталь. Не было записано и то, когда именно будет объявлено о присоединении Боснии-Герцеговины к Австро-Венгрии. Извольский узнал о нем на станции Мо из газет, подъезжая к Парижу, где его ждало письмо Эренталя. Из права прохода русских судов через проливы ничего не вышло. Он пришел в ярость и возненавидел Эренталя, которого с той поры считал и в письмах называл «не джентльменом». Вся дальнейшая его политика определялась ненавистью к Австрии.

Несколько меньше, чем Извольский, но все же были раздражены германское и итальянское правительства. С ними Эренталь не счел нужным предварительно посоветоваться, хотя они были союзниками. Так и несколько позднее при свидании царя с Виктором-Эммануилом в Ракониджи, Извольский и Титтони, заключая важное соглашение, тщательно скрыли его от своих союзников. Впрочем, через несколько дней после этого соглашения Титтони заключил другое, с Австро-Венгрией, прямо противоречившее первому и столь же тщательно скрытое от России.

Австрия со времен похода принца Евгения в начале восемнадцатого столетия считалась главным другом сербов, их защитницей от турок. При Обреновичах, несмотря и на захват Боснии и Герцеговины, отношения между обеими странами были самые лучшие. Дело было, впрочем, не столько в последовавшей перемене сербской династии, сколько в том, что сербы из малого и слабого народа стали не столь малым и слабым. Как в разное время и другие государства, они теперь мечтали об объединении всех людей их национальности, — предвидеть сталинское объединение не могли. И в 1908 году превращение неофициального захвата Австрией Боснии-Герцеговины в официальное присоединение, принесшее Эренталю графский титул, вызвало у сербов необычайное негодование.

Все это, как известно, позднее привело к сараевскому убийству, к мировой войне и к крушению монархии Габсбургов. Эренталь давно умер, с графским титулом и с сознанием своих великих исторических заслуг перед родиной. Через несколько лет и от его дела, если не считать прямо его делом катастрофическую войну и гибель Австро-Венгрии, не осталось ровно ничего. Тем не менее серьезные историки, и австрийские и иностранные, в своих трудах расточают похвалы его уму, талантам и даже гениальности. Он в известный исторический период стяжал себе весьма краткое «бессмертие» верной, по духу чисто спортивной, службой австрийскому престижу. В нем видели нового Меттерниха, это очень ему нравилось, и он не сердился на самые враждебные статьи, если только в них его сравнивали с Меттернихом. В общем, его настроение было приблизительно такое же, как у громадного большинства правителей Европы: войны, разумеется, не надо, но не будет большой беды, если война возникнет: ведь войны были всегда. Неизмеримо хуже было бы «Derogierung an Prestige» *.

Жизнь при дворах везде была, хотя и не очень спокойная, но веселая и пышная. Вильгельм II все чаще переходил от одного настроения к другому. Он болел и порою думал, что болен опасно. Ему вырезали полип в горле. Император предполагал, что это не полип, а рак: от рака умерли его отец и мать. Относился к этому предположению мужественно. Иногда (вероятно, думая о смерти) он произносил миролюбивые речи, порою прекрасные, говорил, что войны никому не нужны; в частных беседах утверждал, что больше всего хотел бы сближения и тесной дружбы с Францией. К нему приезжали друзья из второстепенных французских политических деятелей. Один из них, Жюль Рош, обожал Гете и всегда носил с собой экземпляр «Фауста». Это приводило императора в восторг.

---

* падение престижа (нем.)

Были у него и русские, и английские друзья, правда, не носившие «Фауста» в кармане, и их он тоже уверял, что только и желает общего мира. Уверял довольно искренне. Но нередко произносил воинственные, даже почти бешеные речи, вызывавшие панику в Европе, впрочем, обычно недолгую. Сенсация, производившаяся каждым его выступлением, была большой радостью его жизни. Ему, однако, было далеко до некоторых позднейших диктаторов: этим было душевно необходимо, чтобы о них — дожил! мог ли прежде и мечтать! — говорил весь мир. Политиковедение уж совсем прочно стало важным отделом психиатрии, которому следовало дать обозначение: «комплекс Моссаде».

Этого у германского императора быть не могло. Как большинство государственных людей, Вильгельм II просто сам не знал, чего хочет. Он был живым доказательством того, что место красит человека гораздо чаще, чем человек красит место. Несмотря на некоторую его общую даровитость и на немалую способность к эффектам, к позам, к рекламе, никто в мире не обращал бы на него внимания, если б он не был германским императором.

Исключение среди государственных деятелей составлял Франц-Иосиф. Он слышать не хотел ни о какой войне. Однако все знали, что в Вене идет глухая борьба между императором и наследником престола, которого поддерживали важные австрийские сановники и генералы. Исход борьбы не мог быть предугадан; предполагалось, что исходом будет кончина престарелого императора. Многие думали и писали, что с ней вообще кончится империя Габсбургов.

Австро-Венгрия приблизительно с 1906 года оказалась главным центром европейской большой политики. В ее военном могуществе люди сомневались, в России ее называли «лоскутной империей», а на Западе — «вторым больным человеком Европы» (первым издавна считалась Турция). Но «Балль Платц», «намерения Вены», «политика Эренталя», «воинственные замыслы эрцгерцога Франца-Фердинанда» заполняли телеграммы министров иностранных дел и послов, ежедневно упоминались в статьях главных газет Европы.

Главой военной партии в Австрии признавался наследник престола, эрцгерцог Франц-Фердинанд. Его почти все считали черным реакционером, ненавистником славян и сторонником войны — разумеется, «превентивной» — с Сербией и Россией. С этим, однако, вышла много позднее странная история. На полях доклада об его убийстве Вильгельм II написал собственноручно: «Эрцгерцог был лучшим другом России. Он хотел возродить Лигу Трех Императоров». Когда в Германии произошла революция, записи императора на докладах были напечатаны. Эти слова вызвали у историков недоумение. Вильгельм не имел основания лгать в таких записях и никак не мог предвидеть, что они со временем будут опубликованы. С эрцгерцогом он был связан тесной дружбой, часто с ним встречался и совещался наедине, должен был лучше, чем кто-либо другой, знать его самые тайные политические замыслы. Возник спор, не разрешенный окончательно и по сей день.

Еще значительно позднее появились в печати разные бумаги Франца-Фердинанда. Они как будто не оставляют сомнения в том, что никакой войны он не хотел, что в этом вопросе был совершенно согласен с Францем-Иосифом, с которым расходился чуть ли не во всем другом. Выяснилось также, что он стоял за дружбу и союз с Россией, видел в них оплот против революции, что он преклонялся перед самодержавными русскими императорами, что славян он очень любил — гораздо больше, чем венгров, — что хотел превратить двуединую монархию в триединую (с третьей, славянской частью) и обеспечить полное равноправие для всех своих будущих подданных. В его бумагах найден был даже проект манифеста, предусмотрительно им составленный на случай внезапной кончины Франца-Иосифа и провозглашавший коренные либеральные реформы в отношении национальных меньшинств. «Он был настоящим другом хорватов и сербов в Боснии», — пишет как будто с некоторым недоумением новейший английский историк, самый ученый из всех занимавшихся той эпохой. Ненавидел эрцгерцог только итальянцев, которым не прощал конца светской власти пап. «Один из самых загадочных людей нашего времени», — говорят теперь и некоторые другие историки. Слухи о том, будто у эрцгерцога были секретные соглашения с Вильгельмом о войне, оказались совершенной легендой. Особенно много зловещих рассказов ходило об их последнем свидании в Конопиште, великолепном имении Франца-Фердинанда. Говорилось, что на этом свидании была окончательно решена война. Теперь доказано, что и речи о войне там никакой не было: эрцгерцог пригласил к себе императора преимущественно для того, чтобы показать ему свои розы, считавшиеся лучшими в мире. Да еще хотел сделать удовольствие своей морганатической жене: она очень любила Вильгельма. В Вене на обедах у Франца-Иосифа ее сажали ниже самых молодых эрцгерцогинь. В Потсдаме же все германские принцы сидели за общим столом, а отдельный, особенно почетный, стол ставился для нее, для эрцгерцога, императора и императрицы.

Вероятно, в суждениях о намерениях и настроениях Франца-Фердинанда все были правы: он тоже менял их довольно часто. Как бы то ни было, еще за год до войны ее по-настоящему никто, кроме полоумных, не хотел, — и все к ней бессознательно мир подталкивали, совершенно не подозревая о том, на кого в действительности работают. Видели это ясно лишь очень немногие государственные люди Европы (в их числе двое русских: Витте и Дурново). Лишь в последние недели прямо повели дело на войну Вильгельм, граф Берхтольд, Конрад фон-Гетцендорф и некоторые другие.

Так называемые секретные соглашения заключались в Европе часто, и печать видела в тайной дипломатии очень большое зло: она требовала, чтобы все совершалось под контролем общества. На самом деле одна из главных бед тайной дипломатии уж скорее заключалась в том, что она не была тайной: ее секреты очень быстро разглашались; министры не умели держать язык за зубами и даже не хотели этого: им было необходимо, чтобы их меттерниховские победы становились по возможности скорее известными всему миру. Иначе к ним и стремиться не стоило: уйдешь с должности, нечем будет похвастать, в лучшем случае будет слава у потомства, которое никого из них по-настоящему не интересовало; да и то, потомство еще может приписать заслугу преемнику, обычно противнику и сопернику. Старательно и успешно работали также репортеры, — и в Европе того времени не было ни одного секретного соглашения, которое скоро не стало бы «достоянием общественного мнения». «Общественное мнение» смыслило в иностранных делах еще гораздо меньше, чем министры. Почти в каждом соглашении одна сторона как будто выигрывала больше, чем другая, и другую начинали бешено ругать ее собственные газеты, не меньше ругая — хотя и с признанием ума и хитрости — противную сторону. Начиналось столкновение разных общественных мнений, и раскалялись национальные страсти.

К началу 1905 года забота об избежании «Derogierung an Prestige» совершенно овладела умом канцлера Бюлова. Ему вдобавок очень хотелось получить княжеский титул. Этот титул давался редко и только за исключительные заслуги. Исключительную заслугу можно было себе устроить. Момент был благоприятный: Россия была занята войной на Дальнем Востоке, европейское равновесие нарушилось в пользу Германии. Французское правительство, в котором были и русофилы, и англофилы, и даже германофилы, все больше старалось прибрать к рукам Марокко. Эта нищая страна, почти ничего не обещавшая метрополии, кроме немалых жертв людьми и деньгами, была еще гораздо менее нужна Германии, чем Франции: Вильгельм сам это говорил и писал. Но в будущее почти все европейские государственные люди заглядывали разве лишь на несколько месяцев, да и то в большинстве случаев неудачно. Между тем престиж для германской империи и княжеский титул для Бюлова можно было приобрести быстро.

Ранней весной император для отдыха решил предпринять путешествие по Средиземному морю. Морские поездки всегда действовали на него успокоительно, а он при крайней своей нервности очень в этом нуждался. Руководитель огромного пароходного общества Баллин, «друг императора», с полной готовностью предоставил роскошный пароход «Гамбург» и сам по своей инициативе посоветовал взять с собой побольше

сановников. Это было для общества превосходной рекламой. Среди приглашенных были антисемиты, недолюбливавшие еврея Баллина, но и они от приятного, бесплатного путешествия в обществе Вильгельма не отказались. Предполагалось отправиться сначала в Лиссабон, затем в Неаполь. Совершенно неожиданно Бюлов потребовал, чтобы император по дороге высадился в Танжере и произнес там энергичную речь в защиту независимости марокканского султана.

Вильгельм II в ту пору очень любил канцлера (которого несколько позднее стал ненавидеть). Этот очень образованный, блестящий человек, прекрасный оратор, считавшийся (вместе с Клемансо) лучшим causeur*-ом Европы, неизменно при каждой встрече его очаровывал. Вдобавок он считал Бюлова как бы своим учеником и, во всяком случае, своим созданием. С прежними главами правительства ему было скучновато, а с ним никогда. Император раза два-три в неделю приезжал в гости к канцлеру и долго с ним болтал о новостях, о сплетнях, о государственных делах. Часто оставался у него то завтракать, то обедать. Бюлов как бы случайно приглашал к столу посторонних людей, ученых, писателей, артистов, которых Вильгельм в других дворцах встретить не мог. Эти встречи были императору приятны, он много говорил об искусстве и даже о разных науках. Профессора иногда недоумевали, но слушали с восторженным вниманием. Сводил канцлер Вильгельма с крупными промышленниками, с еврейскими банкирами. Император был очень богат, хотя и не так богат, как русский царь или как Франц-Иосиф (это его раздражало). Кроме большого цивильного листа, у него было больше 90 тысяч гектаров собственной земли, много собственных замков и денег. Он уважал богатство и был очень любезен с Швабахами, Фридлендерами, Симмонсами.

Предложение Бюлова и озадачило Вильгельма, и было ему вначале очень неприятно. Гимназистам было бы ясно, что речь в Танжере поведет к большим неприятностям, а может быть, и к войне. Немного раньше или немного позднее император, наверное, отнесся бы к плану канцлера с восторгом. За два месяца до того, принимая в Берлине бельгийского короля Леопольда II, он в последний день перед обедом сказал наедине королю, что принадлежит к школе Фридриха Великого и Наполеона I, что он не уважает монархов, считающихся не с одной Божьей волей, а с министрами и парламентами, что он шутить с собой не позволит, что Фридрих начал Семилетнюю войну с вторжения в Саксонию, а он начнет с вторжения в Бельгию, причем обещал королю в награду за доброе поведение несколько французских провинций. Король от ужаса за обедом ничего не ел и почти не разговаривал со своей соседкой императрицей. «Император говорил мне вещи ужасающие!» — только сказал он перед отъездом на вокзал.

Однако в марте 1905 года Вильгельму никакой войны не хотелось, и он отнесся к плану поездки в Танжер очень неодобрительно. Сказал канцлеру, что визит вреден и опасен, так как марокканский вопрос заключает в себе слишком много зажигательного материала: «zu viel Zündstoff». Бюлов не отставал, ссылаясь все на то же: на престиж Германии. Он и сам не хотел войны или думал, что ее не хочет, но любил «finassieren» ** и беспрестанно повторял приписываемые Бисмарку слова: «Надо всегда иметь на огне два утюга». Хорошо зная императора, соблазнял его и эффектом. Речь в Танжере император должен был сказать, сидя верхом на коне. Дело было подробно разработано в тайных переговорах с марокканским султаном. Были приготовлены лучшие лошади султанской конюшни. Вильгельм уступил и в сопровождении большой свиты выехал в Танжер.

Море было беспокойное, пароход сильно качало, император чувствовал себя не очень хорошо. По дороге он опять начал колебаться: нужно ли ехать? вдруг, как это ни маловероятно, выйдет война? Помимо прочего, она означала бы конец дружбы с царем, быть может и с другими монархами; гвардия, вероятно, вся погибла бы, армия сильно пострадала бы, все пришлось бы восстанавливать сначала, — каких денег это стоило бы?

---

* острослов (франц.)

** лукавить (искаж. франц.)

Правда, почти все его предки вели войны и странно было бы ни разу за все блестящее царствование не повоевать. Большая дипломатическая, а тем более военная победа чрезвычайно увеличила бы престиж. С другой стороны, были еще разные причины для колебаний. Танжер был гнездом анархистов, можно было ждать покушений или хоть враждебной демонстрации. Капитан, качая головой, говорил, что в такую погоду причалить к берегу в Танжере невозможно, его величеству придется отплыть с парохода на лодке, а она при сильных волнах может и опрокинуться, или же всех вода обольет с головы до ног.

Эффект мог пропасть. Император колебался все больше. Из Лиссабона он по телеграфу известил канцлера, что решил в Танжер не ехать. Пришла ответная телеграмма с мольбами, убеждениями, почти с угрозами: можно ли не считаться с мнением германского народа? Германский народ ни о каком Танжере и не слышал, но как было не поверить Бюлову? За час до высадки император сказал Кюльману: «Я не высажусь!» — и высадился.

Лодка его не опрокинулась, арабский жеребец, хотя и взвивался на дыбы, но дал на себя сесть, и фотографии вышли чрезвычайно удачными. Правда, революционеры орали. Вильгельм II, по его словам, произнес речь «не без любезного участия итальянских, испанских и французских анархистов, жуликов и авантюристов». В возбуждении и чтобы проявить независимость, он даже отступил от приготовленного канцлером текста и сделал свое слово еще более «энергичным». Впечатление во всем мире было сильнейшее. В демократических странах все негодовали. Газеты вышли с огромными заголовками: в Танжере брошена бомба! Германские генералы (впрочем, не все) наслаждались. Трудно сказать, кого император называл «авантюристами» — себя и Бюлова, разумеется, к ним никак не причислял. Но верно, еще больше наслаждался, читая газеты, Ленин: шансы на войну увеличиваются.

Все обошлось очень хорошо. Войны не произошло. Французский министр иностранных дел Делькассе после бурного правительственного заседания подал в отставку. Престиж Франции понизился, престиж Германии вырос. Канцлер получил княжеский титул.

В своих воспоминаниях Бюлов изобразил себя крайним миролюбцем и с негодованием издевался над своим преемником Бетманом-Гольвегом, который по глупости и неосторожности довел в 1914 году Германию и весь мир до катастрофы. В действительности, и его собственная ценная идея очень способствовала приближению войны, как и тому, что Англия выбрала второй утюг и — без восторга перешла на сторону Франции и России. Бюлов понимал значение своих действий не лучше, чем Бетман-Гольвег, Эренталь, Делькассе, Извольский. Все они бессознательно направляли Европу к самоубийству и к торжеству коммунизма — тоже, конечно, ие вечному, но оказавшемуся уже очень, очень долгим.

II

Незадолго до возвращения из Парижа в Россию Люда вспомнила, что у нее просрочен паспорт. На границе могли выйти неприятности.

— Как же мне быть? — с досадой спросила она Аркадия Васильевича. Он после защиты диссертации в Сорбоние стал доктором парижского университета и был хорошо настроен. Даже не подчеркнул, что у него все бумаги всегда в порядке, и всего один раз напомнил, что «давно ей это говорил»:

— Паспорт у каждого должен быть исправен.

— Да, да, ты говорил. И, конечно, русский человек состоит из тела, души и паспорта, это давно известно. Все же бывают и отступления. Вот у тебя, например, есть паспорт, есть тело, но нет души.

— О том, есть ли у меня душа, мы как-нибудь поговорим в другой раз.

— Я уверена, что нет.

— В том, что ты в этом уверена, я ни минуты не сомневался, но дело не в моей душе, а в твоем паспорте. Помни, что мы едем в Россию через две недели.

— Что ж, ты можешь отлично поехать и без меня. Я и вообще не знаю, вернусь ли я.

— Пожалуйста, не пугай меня и не уверяй, что ты хочешь стать эмигранткой. Ты уже давно скучаешь по России. Гораздо больше, чем я.

— Это немного, потому что ты совсем не скучаешь. Была бы у тебя где-нибудь своя лаборатория, а все остальное в мире совершенно неважно.

— Разумеется, твоя деятельность в отличие от моей имеет для мира огромное значение. Но возвращаюсь к делу: ты завтра же пойдешь в наше консульство...

— Как же! Непременно! — сказала Люда, раздраженная словом «пойдешь». — Как это я пойду в императорское консульство?

— Так просто и пойдешь или поедешь на метро. Если б ты в свое время сделала мне честь и повенчалась со мной, то вместо тебя мог бы пойти я. Но ты мне этой чести не сделала, поэтому ступай в «императорское консульство» сама. Может быть, там тебя не схватят, не закуют в кандалы и не бросят в подземелье. Правительство ие так уж напугано вашей революционной деятельностью. Я думаю, что и твой Ильич может беспрепятственно вернуться, и оио от этого тоже не погибнет.

— Разумеется! Ты всегда все отлично знаешь!

— Ты мне сама говорила, что он преспокойно получает деньги, которые посылают ему его родные из России легально по почте или через банк по его настоящему имени: Николай Степанов.

— Он не Николай и не Степанов, а Владимир Ульянов, и ты отлично это знаешь.

— Да я сам видел у тебя на его брошюрке: Николай Ленин.

— Псевдоним «Николай Ленин», а имя «Владимир Ульянов».

— Довольно глупо. Впрочем, мне недавно какой-то жидоед сказал, будто он и не Ленин, и не Ульянов, а Пинхас Апфельбаум.

— У тебя очаровательные знакомства. Ильич никогда евреем не был. Он великоросс и, кстати, дворянин.

— Очень рад слышать. Но в консульство завтра же пойди.

Люда и сама понимала, что ей пойти в консульство придется. Она действительно нисколько не собиралась становиться эмигранткой. Уже начинала скучать во Франции. Особенно скучны были две недели, проведенные ими в Фонтенбло. Аркадий Васильевич и сам не любил уезжать из Парижа, но его работа была кончена, и он считал отдых необходимым им обоим: о здоровье Люды заботился почти так же, как о своем. Они сняли комнату в дешевом пансионе. Ни души знакомых не было. По два раза в день гуляли в лесу. Он различал деревья, умел даже определять их возраст или по крайней мере знал, как это делается, объяснял Люде (которая никаких деревьев, кроме берез, не знала), наслаждался законным отдыхом и даже предложил остаться на третью неделю. Люда решительно отказалась: в таких поездках был особенно приятен лишь момент возвращения в Париж.

Впрочем, на этот раз была разочарована и возвращением. Члены партии в большинстве разъехались. Центром партийной работы стала Швейцария, где жили Лении и Плеханов. Там же находился временно Джамбул. О нем Люда вспоминала с некоторой ей самой плохо понятной досадой. Тем не менее при этом у нее неизменно выступала на лице улыбка. Ей очень хотелось побывать в Женеве перед отъездом в Россию; следовало бы получить от Ильича инструкции. Но было совестно брать у Рейхеля деньги на поездку, хотя он их дал бы по первому ее слову. Хорошо было бы заработать франков сто. Однако зарабатывать деньги Люда совершенно не умела.

В Фонтенбло она от скуки читала три получавшиеся там газеты, все консервативные; пансион был bien pensant*. Люда иногда заглядывала в передовые статьи «Temps», что ей казалось пределом и скуки, и человеческого падения. Пробегала светский отдел «Фигаро». Снобизма у нее не было, но звучные имена герцогинь и маркиз ей нравились. Дня за два до их возвращения ей в хронике бросилось в глаза: M. Alexis Tonychev.

---

* благомыслящий (франц.)

Она радостно ахнула: «Конечно, он! Я давно слышала, что он служит в парижском посольстве». Газета называла его имя в списке гостей на приеме, впрочем, не очень важном, не у герцогов, а у банкиров, покровительствовавших новейшему искусству,— их имя упоминалось в светской хронике довольно часто. Теперь Люда подумала: «Вот кто может мне помочь в деле с паспортом. Прийти в консульство без протекции, будут бюрократишки ругаться. Но он, верно, о моем существовании давно забыл?».

С Тонышевым она лет шесть тому назад встретилась в Петербурге на балу в пользу недостаточных студентов. Их познакомила курсистка, брат которой отбывал воинскую повинность. Тонышев был дипломат, попал на бал по просьбе этой курсистки, был с ней очень любезен, а с Людой еще больше, танцевал с обеими, и хорошо танцевал. С той поры Люда его не видела, но в душе надеялась, что он никак ее не забыл.

На следующее утро она, одевшись как следует, поцеловав кошку, отправилась в посольство. Революционеры говорили, что где-то поблизости от посольства помещается и русская политическая агентура. Люда осмотрелась и вошла с любопытством. Спросила, не здесь ли принимает Алексей Алексеевич Тонышев, и, узнав, что здесь, взволнованно написала на листке бумаги: «Людмила Никонова». Через минуту ее пригласили в его кабинет. Из-за стола поднялся элегантно одетый человек лет тридцати или тридцати пяти. «Ну, да, он, я сейчас же узнала бы!» Тонышев ее не помнил, хотя ее лицо показалось ему знакомым. «Очень хороша собой! Кто такая и где я ее встречал?» — спросил он себя и наудачу поздоровался как со знакомой, не спросил: «Чем могу служить?» Когда Люда о себе напомнила, он радостно улыбнулся и стал очень приветлив.

— Что вы! Разумеется, узнал вас тотчас. Вы нисколько не изменились.

— Вы тоже не изменились. Даже монокля не носите, хотя и дипломат, и даже, я слышала, известный дипломат. Мне недавно попалось ваше имя в хронике «Фигаро» и даже без de. — Он удивленно на нее взглянул. — Там, у этих банкиров, чуть не все другие гости были с de.

— Очень скучный был прием. Но картины у них прекрасные.

— А я к вам по делу, Алексей Алексеевич. Видите, я помню ваше имя-отчество. А вы моего, наверное, не помните: Людмила Ивановна.

— Вас тогда и нельзя было называть по имени-отчеству. Вам было лет шестнадцать, это был, верно, ваш первый бал? — сказал он с улыбкой. — Какое же у вас дело? Разумеется, я весь к вашим услугам.

— Оно небольшое и скорее зависит от консульства, чем от посольства. — Объяснила, что просрочила паспорт и хочет его продлить.

— Действительно, вы правы, — сказал он. — Продление паспорта зависит от консульства.

— Но я там никого не знаю.

— Личное знакомство тут и не требуется. Надо только объяснить причины. Вы почему просрочили? По нашей русской халатности?

— Отчасти и поэтому, но были еще другие причины. Не скрою от вас, я чуть колебалась, возвращаться ли мне теперь в Россию или нет. Видите ли, я левая. Консульская братия упадет в обморок.

Он немного поднял брови.

— Вы хотели стать эмигранткой?

— Не то, что хотела, но одно время думала и об этом. Теперь раздумала.

— И отлично сделали, что раздумали. Надеюсь, за вами ничего худого не значится?

— «Худого» ничего. По крайней мере, на мой взгляд.

— Это, конечно, очень дипломатический ответ. Скажу вам правду, я плохо знаю, какие формальности необходимы в таких случаях. Там, наверное, есть списки неблагонадежных лиц, — сказал он, не разъясняя слова «там». — Но так как ничего «худого» за вами нет, то вы, наверное, ни в каких списках не значитесь, и я не вижу, почему консульство могло бы не продлить вам паспорта. Быть может, впрочем, они пожелают предварительно запросить Петербург. Если хотите, я могу справиться.

— Я была бы вам чрезвычайно благодарна. Надеюсь, это вас не скомпрометирует!

— Я тоже надеюсь, — улыбаясь, ответил он. — Сообщите мне ваш телефон.

— У меня нет этого инструмента.

— Неужели еще есть счастливцы, живущие без телефона? Тогда я вам напишу.

— Вы очень меня обяжете, — сказала Люда и записала свой адрес. Он смотрел на нее с любопытством. «Разумеется, революционерки такие не бывают», — подумал он. Никогда ни одной революционерки не видел.

Тремя днями позднее под вечер Люда готовила несложный обед. Рейхель, долго учившийся в Германии, предпочитал всем блюдам бифштекс с яйцом. Говорил, что еще любит русские котлеты. Однако котлеты требовали труда и времени да еще вдобавок «плевали жиром со сковороды», и Аркадий Васильевич получал их редко, лишь в знак особой милости. Люда работу на кухне терпеть не могла; надевала, стряпая, белый халат и завязывала волосы платком. Сама в еде была неприхотлива и вполне удовлетворялась бифштексом. На хозяйство тратила пять франков в день. Прислуги у них не было, но она держала меблированную квартирку в чистоте.

Работа была уже кончена, когда на улице протрубил автомобиль, к некоторому удивлению Люды. Автомобилей тогда еще было не так много и в Париже, а в их тихом квартале они почти не появлялись. Люда подошла к окну: «Тонышев! К нам!..» Она поспешно сняла передник, сорвала с головы платок, осмотрела комнату, бывшую у них кабинетом, столовой и гостиной. Все было в порядке. Кухней не пахло. Послышался звонок. Она быстро осмотрелась в зеркале: «Прическа не смялась», — и отворила дверь. Тонышев в легком пальто, в шелковом шарфе, в цилиндре, радостно улыбаясь, просил извинить его:

— Не очень помешал? Незваный гость хуже татарина.

— Нисколько не помешали. Я очень рада.

— Я только на несколько минут.

— Да почему «на несколько минут?» Я совершенно свободна и страшно вам рада. Снимите пальто, положите цилиндр хоть на этот стул... Пойдем в гостиную.

— Ваше дело с паспортом в полном порядке.

— Неужели? Тогда я рада еще больше. И очень, очень вам благодарна. Усаживайтесь.

— Я собирался вам написать, как было условлено, но сегодня суббота, вы получили бы письмо только послезавтра, или же вас завтра утром разбудил бы пневматик. А я получил в консульстве ответ только часа два тому назад. Поэтому я позволил себе к вам заехать.

— Да вы точно оправдываетесь! Это так любезно и мило с вашей стороны.

— Разумеется, вам надо будет побывать в консульстве лично. Это займет не более получаса. Они где-то навели справку, и оказалось, что никаких препятствий нет. Видите, не так страшен черт, как его малюют.

— Особенно, когда есть к черту и протекция.

— В самом деле я за вас у черта поручился, — сказал он, смеясь. — Пожалуйста, не подведите меня.

— Не обещаю, не обещаю. Пеняйте на себя, что поручились. Но вас, наверное, не повесят, разве только сошлют в каторжные работы, — весело говорила Люда. — Вот что, чаю я вам не предлагаю, не время, но хотите портвейна? Я выпила бы с вами.

— Если вы так добры.

Люда вышла на кухню. Там у них был графин с банюильсом, который она выдавала за портвейн, угощая некомпетентных гостей. «С ним это, верно, рискованней, но ничего, сойдет... Какой элегантный!» Подумала, что Рейхель вернется из лаборатории не раньше, чем через час. Это было кстати.

Тонышев тем временем осмотрелся, стараясь по обстановке определить, кто такая Люда. «Замужем? Курсистка? Едва ли». Взглянул на лежавшие на столе книги: «Что делать?» Это хуже. Имя автора «Н. Ленин» было ему неизвестно. «Но ведь «Что делать?» — это Чернышевского?» Другая книга была успокоительней: роман Поля Бурже. Рейхель недавно купил ее; кто-то из товарищей по Пастеровскому институту сказал, что в этом романе выведен un prince de la science*. Это выражение понравилось Аркадию Васильевичу, но, прочтя роман, он подумал, что выведенный prince de la science очень мало похож на настоящих ученых.

Поль Бурже давал тему для начала разговора: от него легко было перейти к более модным писателям, к Марселю Прево, к Анатолю Франсу, к Киплингу, еще легче к модным курортам, к Трувилю, Веве или Остенде. По обстановке квартиры Тонышев видел, что о модных курортах говорить не надо. С красивыми женщинами он предпочитал начинать разговор с литературы или с живописи. Говорил достаточно хорошо для светского человека, хотя и не слишком блистательно; было именно приятно, что он не старается блистать, как профессиональный causeur. Он много читал, преимущественно тех авторов, при чтении которых надо было «делать поправку на их время».

О легком похождении с этой новой своей знакомой он и думал, и нет. Старался запрещать себе мысли, казавшиеся ему не очень благородными. Иногда это ему удавалось. Но, еще прощаясь с Людой в посольстве, он сказал себе, что, собственно, в таких похождениях ничего неблагородного нет, да и как же без них жить человеку, не собирающемуся стать монахом?

— Боже, как отстал этот человек! Я встречал Бурже в обществе. Он живет идеями начала прошлого века и вдобавок влюблен в аристократию, хотя сам Monsieur Bourget tout court**. Да и по таланту где ему до Эмиля Золя: вот кто был герой. Мне так жаль, что он не дожил до реабилитации Дрейфуса.

К удивлению Люды, оказалось, что Тонышев недолюбливал антидрейфусаров и правых. Она сочла возможным ругнуть не так давно убитого Плеве. Ильич министров обычно называл непристойными словами. Люда их никогда не произносила и Плеве назвала просто негодяем. Тонышев тоже отозвался о нем резко.

— Я благодарю Бога, что служу по ведомству иностранных дел. У нас такие люди невозможны!

— И вы довольны службой?

— В общем доволен. Это интересная жизнь. Я побывал в разных столицах. Особенно мне было интересно пожить в Константинополе. Теперь мой несравненный Париж. Однако я скоро его покину. Меня переводят в Вену.

— Вот как? — спросила Люда с огорчением. «Но какое мне до него дело?» — рассердившись на себя, подумала она. — Это повышение?

— По должности повышение. Вена — тоже красивый город. Интересно будет взглянуть и на их закостенелый двор, с этикетом пятнадцатого века. Вдобавок Австро-Венгрия — теперь центральный географический пункт мира, по крайней мере в дипломатическом отношении. Я не люблю швабов, но...

— Каких швабов?

— Я хотел сказать: немцев. Но австрийцы, в частности, наши противники. Что же делать, «la verité a des droits imprescriptibles»***, как говорил Вольтер. Необходимо приглядываться. Да и независимо от этого, я люблю новые места, новых людей, люблю наблюдения. Когда уйду на покой, напишу мемуары, как все уважающие себя дипломаты.

— Куда же вы уйдете на покой?

— У меня в Курской губернии есть имение. Не очень большое, но оно дает мне возможность сносно жить, — сказал он, чтобы иметь возможность спросить и ее о том, кто она.

— Родовое имение?

— Нет, не родовое. Я не «столбовой», — весело сказал он. — Имение купил отец и выстроил там дом, не «в стиле русского ампир», а просто удобный дом с проведенной водой, с ванной комнатой. Я очень люблю свое имение, хотя сельского хозяйства не знаю. Каждое лето там бываю и всегда чувствую, что и у меня, кочевника-дипломата, есть свой дом. А какая там охота!

— Вы охотник?

— Горе-охотник. Впрочем, почему же «горе»? Я охотник настоящий и стреляю в лет недурно.

— Но что же все-таки делать в деревне, кроме писания мемуаров? Охота — развлеченье, нельзя же только развлекаться... Вы женаты?

— Нет, не женат, — ответил он. Теперь был случай спросить ее, замужем ли она. Но Люда предупредила вопрос:

— Будете скучать? Я никогда в деревне не жила. Мой отец и дед были военные, жили в городах. («Вот как. Я думал, она колокольного происхождения: Никонова», — подумал Тонышев в чужих привычных словах; сам был к вопросам происхождения равнодушен.) У нас никакого имения не было.

— Нет, скучать не буду. Я нигде никогда не скучаю. Буду охотиться, ездить верхом. Я недурно езжу, отбывал воинскую повинность в кавалерии.

«Не сказал «в гвардии», — подумала Люда.

— Ведь вы, кажется, служили в кавалергардском полку или в лейб-гусарском?

— О, нет, эти полки были бы мне и не по карману. Я служил вольноопределяющимся в лейб-гвардии драгунском, второй дивизии. И я не очень люблю военную службу, — ответил он. Кошка вспрыгнула ему на колени. Он ее погладил и похвалил. Это тоже понравилось Люде. Рейхель в таких случаях сгонял кошку с ругательствами и проклятьями.

— Вы в Париже давно?

— Третий год. Какой очаровательный город, правда?

Они еще поговорили о Париже, о театрах, особенно о выставках. Люда в театрах бывала не часто, выставками мало интересовалась, но с честью поддерживала разговор. «Однако для царского дипломата он очень образован!» — думала она.

— Я особенно люблю Париж ранней весной, когда еще сиверко, — сказал Тонышев.

«Сиверко»! Надо запомнить».

— Представьте, я тоже. Обожаю Булонский лес. Какая красота! Я и Петербург обожаю, но там Булонского леса нет.

— Вы мне даете мысль, — нерешительно сказал Тонышев. — Надеюсь, вы не сочтете ее дерзостью? Что, если бы мы поехали в Булонский лес и там пообедали в одном из этих чудесных ресторанов? Вспомним и Петербург, где мы познакомились. Ведь мы, выходит, старые знакомые!

Люда смотрела на него озадаченно. «Очевидно, думает завести интрижку? Никакой интрижки ему не будет, но почему же отказываться? Он сам, кажется, смутился. Это у него вышло экспромтом, без «заранее обдуманного намерения». Отчего бы и нет? Обед Аркадию готов, отлично пообедает и без меня. Сказать ему об Аркадии? Нет, успеется».

— Спасибо, это очень милое приглашение. С удовольствием принимаю. Сейчас и поедем? Тогда я пойду переоденусь. Вы подождете меня минут десять?

— Разумеется. Сколько вам угодно! — радостно ответил он.

Люда вышла в спальню и написала записку: «Аркаша, обед готов. Разогрей бифштекс, положи немного масла на сковороду. Пиво в буфете. За мной неожиданно заехал этот Тонышев и еще неожиданнее пригласил на обед!!! Не ревнуй. А если и ревнуешь, то все-таки накорми кошку не позже восьми. Ее печенка за окном в кухне. С паспортом все в порядке. Он очень любезен. Не паспорт, а Тонышев. Доброго аппетита. Л.» Ее платья были в шкафу в спальной. Она выбрала подходящее.

Тонышев тем временем перелистывал «Что делать?». Опять подумал: «Это хуже. Но какое мне дело до ее взглядов? Она очень мила. Хорошо встречать самых разных людей. Уж если решил быть в жизни «наблюдателем»... Бисмарк дружил с Лассалем».

---

* ученый муж (франц.)

** всего-навсего г-н Бурже (франц.)

*** правда имеет неписаные права (франц.)

III

Люда подумала, что и этот ресторан, и переполнявшая его публика живут эксплуатацией рабочего класса. Но сильных угрызений совести не почувствовала. Все тут — столики с белоснежными скатертями, мягко и уютно освещенные лампочками с одинаковыми абажурами, туалеты дам — так не походило на дешевенькие грязноватые ресторанчики, в которых они иногда обедали с Рейхелем, обсуждая цену каждого блюда. По привычке Люда и тут взглянула на правую сторону обеих карт, но никаких цен не нашла.

— Вы любите шампанское, Людмила Ивановна? — спросил Тонышев. — Я не люблю, это у меня какая-то аномалия. Но здесь есть превосходное красное бордо. С вашего разрешения мы с него начнем. Вместо рыбы я вам предложил бы лангусту, а ее отлично можно запивать и красным вином. Вообще все эти правила гастрономов очень условны и часто казались мне неверными.

— А вы гастроном? И знаток вин? — спросила Люда, беспокойно вспомнив о банюильсе.

— Нет, просто люблю хорошо поесть. Гастрономам плохо верю, а уж тем знатокам, которые говорят, что различают год вина, не верю совершенно.

По тому, как он заказывал обед и как ел, Люда видела, что еда занимает немалое место в его жизни. «И без рисовки человек», — думала она. Ей понравилось, что после красного вина он заказал только полбутылки шампанского, очевидно, не боясь потерять уважение лакея. «Джамбул тоже не рисуется, но он полбутылки не заказал бы».

— Я ведь пить не буду, а вы целой бутылки не выпьете, — пояснил Тонышев.

— Без вас и я не буду пить, — сказ́ала Люда. Ей очень хотелось шампанского.

— Тогда выпью бокал и я.

Разговор он вел очень приятно, слушал внимательно, говорил о себе в меру. Ее спрашивал только о том, о чем можно было спрашивать при первом знакомстве: любит ли она импрессионистов, что думает о Дебюсси, предпочитает ли Малый театр Александринскому?

— О Художественном я вас не спрашиваю. На нем у нас коллективное умопомешательство. Театр хороший, и артисты есть талантливые, но нет гениальных артистов, как Давыдов. Он величайший актер из тех, кого я видел, а я видел, кажется, почти всех. Да и актрис таких, как Ермолова или Садовская, у них нет. Книппер или Андреева, если говорить правду, артистки средние. И ничего не было уж такого умопомрачительного в постановке «Федора Иоанновича». Не говорю о Станиславском, он большой талант. Но Немирович-Данченко мало понимает в искусстве: достаточно прочесть его собственные пьесы, это просто макулатура, и вдобавок макулатура à clef *: выводил своих знакомых!

— Ось лихо!

— Вы не украинка ли? По вашему говору не похоже.

— Нет, я коренная великоросска. Но я обожаю украинцев! И еще кавказцев, особенно осетин, ингушей. Малорусского языка я и не знаю, но ужасно люблю вставлять украинские слова, обычно ни к селу, ни к городу, как только что. И ругаться чудно умею. Вы не верите? «Щоб тебя пекло да морило!..» «Щоб тебя, окаянного, земля не приняла!..» «Щоб ты на страшный суд не встал!..»

— Да это все великорусские слова плюс «щоб». Так и я умею, — сказал Тонышев. Обоим было весело.

— А вы говорите «сиверко». Разве вы вологодский? Или где это у нас так говорят?

— Нет, это моя мать была родом из северо-восточной России, и у нас в семье осталось это слово. А я родился в Петербурге.

— Я тоже.

— Но возвращаюсь к театру. Я когда-то видел в Киеве малороссийскую труппу. Они тоже ставили макулатуру, такую же, как та, что преобладала и в наших столичных театрах. Но как ставили и как играли! Заньковецкая могла дать нашей Комиссаржевской «десять очков», как говорится в чеховской «Сирене».

---

* списанная с натуры (франц.)

Люда горячо вступилась за Комиссаржевскую.

— Я ее обожаю! — сказала Люда. Она по-особенному произносила это слово: «Аб-ба-жаю!». — Комиссаржевская наша, она понимает чаянья нашего времени. Божественная артистка!

— Едва ли «божественная». Конечно, и она очень талантлива, хотя тоже мало смыслит в литературе.

— Уж очень вы строгий судья, Алексей Алексеевич! Да вы сами не пишете ли?

— Только докладные записки. Правда, веду дневник.

— Вот как! О чем же?

— Не о мировых проблемах. Просто о том, что вижу и слышу. И, разумеется, только для себя.

— Так говорят все авторы дневников, а потом печатают. Но вы любите литературу?

— Чрезвычайно. Имею библиотеку тысячи в две томов. Я немалую часть своего дохода трачу на книги и на переплеты. У меня слабость к переплетам, есть даже работы самого Мишеля.

— Но ведь как дипломат вы часто переезжаете. Неужели все с собой перевозите?

Он вздохнул.

— Вы попали в больное место. Да, перевожу и книги, и обстановку. Я думал, что в Париже пробуду долго, и устроился прочно. Нашел квартиру с собственным садиком в Пасси, где еще мало кто живет. На отделку потратил все свои сбережения, даже влез в долги магазинам. Теперь, конечно, все уже выплатил. Так вот, переезжай в Вену!

— Хорошая у вас квартира?

— Не сочтите за хвастовство: чудесная! И картины есть. Поверите ли вы, что я купил Сезанна за сто франков? А он по гению равен величайшим художникам Возрождения. Отчего бы вам не взглянуть? Сделайте одолжение, побывайте у меня.

«Однако! — подумала Люда. — Темп берет уж очень быстрый! Даром стараешься!»

— Как-нибудь с удовольствием.

— Отчего же «как-нибудь»? Поедем ко мне хоть сегодня, отсюда, — предложил он и сам опять смутился. «Прямо мопассановский вивер с гарсоньерками!» — подумала она. Другому ответила бы: «Отстань, нет мелких». — Вот и отдадите мне визит, — пошутил Тонышев. — Или вы по вечерам не выходите?

«Это значит: «Или вы замужем?» — перевела она его вопрос. Ей не хотелось говорить ему о Рейхеле, особенно об их гражданском браке; в своем кругу она об этом сообщала новым людям с первых слов, но там на это никто не обращал внимания.

— Отчего не выхожу? В самом деле можно было бы куда-нибудь еще поехать после обеда. Разве в театр?

— В театр уже поздно.

— Значит, вы меня сегодня «вывозите»? Если так, то знаете что? Мне давно хочется взглянуть на ночной Париж. Вы его видели?

— Разумеется, видел. Но Монмартр с его кабачками уж очень банален. Хотите побывать на «Bal d'Octobre?»

— Какой «Bal d'Octobre»?

— Это одна из самых популярных трущоб Парижа. Я всюду бывал: и у Fradin и в «Ange Gabriel» *, и в «Le Chien qui fume» **. «Bal d'Octobre» самая жуткая. Не пугайтесь, никаких убийств там не бывает, есть много апашей, но сидят и полицейские. Туда ездят наши великие князья. Недаром в Париже все такое теперь называется «la tournée des Grands Ducs» ***. Только туда в одиннадцатом часу ехать еще рановато.

---

* «Ангел Габриел» (франц.)

** «Собака, которая курит» (франц.)

*** прогулка великих князей (франц.)

И уж на минуту мне все равно пришлось бы заехать домой. Переодеваться ни вам, ни мне не нужно, а вот мой цилиндр там был бы принят недружелюбно.

— Ваш цилиндр не только в трущобах, но и на мою консьержку, верно, произвел сильное впечатление, — сказала Люда. «Где наша не пропадала! Вернусь к часу. Аркадий беспокоиться не будет, привык».

— Я и сам не люблю этот странный головной убор. Ничего не поделаешь, все носят.

— Не в моем ученом квартале, — сказала она. Говорила бессознательно в единственном числе: «Мой квартал, моя консьержка». «Так она ученая? Надеюсь, хоть не медичка?» — подумал он. — Но вы были, верно, еще элегантней в мундире. Вы имеете придворное звание? — спросила Люда. «Точно я ему все учиняю допрос! Тогда необходимо сказать хоть что-либо и о себе». Ей не хотелось говорить и о том, что она социалистка.

— Никакого придворного звания не имею... Вы, верно, меня считаете человеком из романа какого-нибудь Болеслава Маркевича? — спросил он, засмеявшись. — Это неверно. Уж если говорить на политическом жаргоне, то я просто либерал, разве с легким уклоном в сторону... Как сказать? Не славянофильства, а в сторону нашего покровительства балканским странам с целью объединения славян. Видите, я жаргон знаю. И, само собой, я сторонник введения в России конституции. Мы к этому и идем со времени убийства Плеве.

— Значит, вы сочувствовали его убийству? — насмешливо спросила Люда.

— Я не могу сочувствовать убийствам, как не могу сочувствовать и казням. Но если говорить совершенно искренне, то мое первое чувство, когда я узнал о смерти Плеве, была радость.

— Довольно неожиданно для царского дипломата.

— Мне самому было совестно, да что ж делать, это было именно так. Вы говорите: «царский дипломат». Да, я царский дипломат и монархист. Вы еще больше удивитесь, если я скажу, что убийству Плеве рады были многие «царские дипломаты». Он, помимо прочего, был одним из главных виновников этой бессмысленной и несчастной войны с Японией. Дипломат по самой своей природе не должен стоять за войну... Не должен, хотя часто стоит. По-моему, наша единственная задача, даже наше ремесло в том, чтобы предотвращать войны. Офицеры — другое дело, хотя и из них немногие сознаются, что в глубине души хотят воевать... А вы очень левая? — весело спросил он.

— Очень. Но я не хочу говорить о политике.

— Признаться, и я не хочу. Понимаю, что мы во взглядах не сходимся. Не все ли равно, каких вы взглядов, если...

— Если что? — спросила Люда. «Вот теперь для него прекрасный случай сказать какую-нибудь галантерейность о моем уме или о моем очаровании», — подумала она.

— Если можно говорить о чем угодно другом, о том, что людей не разъединяет, — докончил он. Люда смотрела на него чуть разочарованно. Ее несколько разочаровали и его либеральные взгляды. Почему-то с самого начала она его представила себе «холодным аристократом»; между тем он на «холодного аристократа» не походил, и ей было досадно расстаться со своим представлением. «Уж не просто ли бесцветная личность? Впрочем, симпатичный. В старости, верно, будет носить великолепную окладистую бороду à la... Не знаю à la кто... И это его испортит. Он недурен собой».

— Шампанское очень хорошее. Вы обещали выпить бокал, — сказала она. — За что же? Давайте выпьем, как запорожцы: «щоб нашим ворогам було тяжко»!

— За это не могу. Я не запорожец — и не революционер. У меня нет врагов.

— Это скорее печально: значит, у вас мало темперамента.

— Выпьем, «щоб нам було хорошо».

— Что ж, можно и так.

Квартира у Тонышева была небольшая, всего в три комнаты, действительно очень хорошая. «Ему никак нельзя сказать, что я люблю все

красивое. Мебель, разумеется, стильная, но лучше об этом не говорить: можно и напутать». Свойственное ей чутье подсказывало ей, как приблизительно надо с ним говорить. В кабинете у среднего из трех окон стоял большой письменный стол с покатой крышкой.

— Вы, верно, видели в Лувре похожее бюро, принадлежавшее Людовику XV, — сказал он. — Разумеется, то неизмеримо лучше, но и мое недурное, мне посчастливилось купить на редкость дешево! Я был просто счастлив в тот день!

Люда поддерживала разговор осторожно. Подходя к картинам, старалась незаметно прочесть подписи и очень хвалила, особенно картины новых художников. Это, видимо, доставляло ему удовольствие, хотя он сразу огорченно заметил, что его гостья мало смыслит в искусстве. У длинной стены были шкапы с книгами. На столах лежали разные издания в дорогих переплетах. «Верно, если капнуть чаем, он сойдет с ума от горя»... На шкапах стояли бюсты Пушкина, Тургенева, Чайковского. «А этот кто? Кажется, поэт Алексей Толстой? Он-то почему»?

— Сколько у вас книг! Завидую, — сказала она.

Тонышев улыбнулся.

— Помните у Гоголя обжору Петра Петровича Петуха? Каждый из нас на что-нибудь Петух, если можно так выразиться. Он на еду, я на книги. А вы на что Петух?

— Ни на что, — подумав, ответила Люда с досадой. — У вас на шкапу Пушкин и Чайковский. Я очень люблю их сочетание. «Евгений Онегин» — моя любимая опера.

— Хоть тут мы с вами вполне сходимся.

— Не удивляйтесь, в искусстве я люблю не только революционное.

— И слава Богу!

— А вы играете на рояле?

— В молодости учился.

— «В молодости»! Значит, теперь вы стары?

— Мне тридцать три года, Людмила Ивановна. Все главное уже позади. На что новое может надеяться тридцатитрехлетний человек? Ведь это уже почти старость, а? Играть же я перестал, когда впервые услышал Падеревского. Сделалось совестно, что я смею играть на рояле. Тогда начал интересоваться живописью.

— Почему, кстати, у вас эта вещь над диваном в двух экземплярах?

— Это мой трюк! — сказал Тонышев. — Та, что слева, — это моей работы: подделка под сангину восемнадцатого века. А рядом оригинал. Не удивляйтесь, подделывать нетрудно. Я нашел в лавке старьевщика очень старую бумагу, подверг ее действию дыма, чуть обжег где-то концы, намалевал и ввожу в заблуждение знакомых. Кажется, похоже?

— Очень похоже! Так вы умеете и «малевать»? Вы, я вижу, эстет?

— Знаю, что так называются не одаренные творческими способностями люди и что быть «эстетом» очень гадко.

— Я этого и в мыслях не имела!

— Будто?.. В эту трущобу ехать еще рановато. Посидим немного у меня. Я вас ничем не угощаю?

— Помилуйте, после такого обеда!

«Никаких мопассановских намерений у него, очевидно, и не было. Просто хотел мне показать свои сокровища. Ну, и слава Богу! Да я, конечно, и не допустила бы», — подумала Люда.

Она действительно никогда никаких похождений не имела и порою сама этому удивлялась: «Все-таки несколько «страстных слов» мог бы из себя выдавить. Джамбул был предприимчивее, хотя и с ним не было ничего. Там просто помешал съезд! Очень он добивался, но уехал из Лондона без большого сожаленья. Правда, на прощанье поцеловались. Он сказал, как будто даже с угрозой: «Мы скоро встретимся», но, должно быть, думал: «Не хочешь — не надо, найду другую». Где же мы встретимся? Писал он из Женевы довольно мило», — вспоминала Люда с улыбкой. Думала о Джамбуле и поддерживала разговор с Тонышевым. «Этот царский дипломат по-своему тоже мил, но он чужого мира, и какое же сравнение с Джамбулом!»

— ...А вы скоро переезжаете в Вену?

— Сначала должен еще съездить в Россию. Побываю на Певческом мосту, увижу начальство, сослуживцев. Надо людей посмотреть...

— И себя показать? — спросила Люда. «На Певческом мосту»! Конечно, чужой мир»!

— И себя показать, совершенно верно.

— Вы в Москве не будете?

— Только несколько дней, проездом в имение. Я в Москве почти не имею знакомых. А вы в России будете скоро?

— Очень скоро! В Москве остановлюсь у родных, у Ласточкиных, — ответила Люда, не уточняя «родства». — Может быть, слышали? Дмитрий Анатольевич Ласточкин? Его в Москве все знают. У них музыкальный салон, они очень гостеприимны, тотчас вас, конечно, позовут, послушаете хорошую музыку.

— Я был бы чрезвычайно рад.

— Позвоните с утра, я буду вас ждать. Номер найдете в телефонной книге. Они будут вам очень рады... А все-таки не пора ли нам ехать в этот ваш Bal d'Octobre? Почему оно так называется?

— Не знаю, в самом деле странное название. В нем есть что-то зловещее. — Тонышев посмотрел на часы. — Да, теперь уже можно. Я сейчас надену более подходящую шляпу, — сказал он, вышел и тотчас вернулся в другом пальто, впрочем, тоже элегантном, держа в руке мягкую шляпу и другую палку.

— Это палка с лезвием внутри, но вы не беспокойтесь. Апаши там театральные... Едем.

У Люды екнуло сердце, когда она увидела полицейского в тускло освещенной комнатке около входной двери, над которой снаружи красными буквами горело одно слово «Бал». Из залы доносились звуки вальса, смех, гул. Полицейский хмуро оглядел новых посетителей. Они явно принадлежали к знакомой и малопонятной ему породе искателей сильных ощущений. Он буркнул, что палки надо оставлять в раздевальной. Тонышев поспешно отдал палку сидевшей в каморке мрачной старухе.

— Еще не составили бы протокола за незаконное ношение оружия, — сказал он Люде. Видел, что она взволнована, и пожалел, что привез ее в такое место.

В зале со сводчатым низким потолком было накурено и очень душно. Почти все грязные, не покрытые скатертями деревянные столики были заняты плохо одетыми, полупьяными людьми. За одним из столиков с тремя пустыми бутылками два человека спали, опустив головы в каскетках на скрещенные на столике руки. Спавший около них бульдог залаял было на вошедших, но раздумал и снова положил голову на лапы. В средине зала в небольшом круге танцевала одна пара: молоденькая, миловидная, пьяная женщина и мужчина в блузе, с папиросой в зубах. «Апаш! Куда мы попали! Хорошо, что там ажан!.. Все женщины без шляп!» — еле дыша, подумала Люда. Впрочем, у стены сидела компания туристов, в ней дамы были в шляпах. Рядом с ними был свободный столик. Тонышев и Люда направились к нему. Публика их провожала насмешливыми взглядами. Кто-то зафыркал, кто-то зааплодировал, все же большого интереса они не вызвали. Тонышев заказал абсент подошедшему к ним сонному человеку, тоже очень похожему на апаша.

— Вот это и есть «ночной Париж», — сказал негромко Тонышев Люде. Видел, что она очень взволнована. — Вы удовлетворены?

— Удовлетворена.

— Будьте спокойны, с нами ничего случиться не может.

— Я совершенно спокойна!.. Так это и есть апаши?

— Во всяком случае, подонки общества. Тут и ночлежка. Кажется, двадцать сантимов за ночь, а «с женщиной за франк». Я по крайней мере сам видел такую надпись на домах страшной средневековой рю де Вениз.

— Не может быть!

— Забавно, что здесь играют сантиментальный вальс из «Фауста». Знаете ли вы, что в двух шагах от этой трущобы в Сент-Этьен-дю-Мон похоронены Паскаль и Расин? В этом есть некоторый символизм, правда? Вершины и низы рядом. Так, у подножья Синая ведется теперь торговля опиумом и гашишем.

Люда с жадным любопытством смотрела на все в зале. Танцевавшая женщина вдруг вскрикнула, грубо выругалась и ударила по руке своего партнера. Он обжег ее лицо папиросой. Все засмеялись, смех перешел в хохот, бульдог опять залаял. Еще две пары пошли танцевать.

— Вы не жалеете, что пришли?

— Не жалею. Надо увидеть и это.

— Пожалуй, хотя особенной необходимости я в этом не вижу.

Лакей налил им абсента.

— Два франка. Деньги вперед, — сказал он умышленно грубым тоном. Знал, что и это производит впечатление на посетителей трущоб: «Чем грубее с этими болванами говорить, тем больше они оставляют на чай».

— Эти страшные социальные контрасты! После того ресторана и вашей музейной квартиры этот притон «с женщиной за франк»! — сказала Люда. Ей было очень не по себе и не хотелось начинать в притоне умный разговор, но нельзя было и молчать. Она залпом выпила абсент. — Вот с такими явлениями мы и боремся.

— Кто мы?

— Социалисты. Я социал-демократка.

— Я не знал, что вы боретесь с этим. Что же вы можете тут сделать?

— Создать такие общественные условия, при которых никому не надо будет продаваться.

— Я с этим совершенно согласен, — сказал Тонышев. «Уж очень obvious[*] то, что она говорит. Мы с ней и люди разных миров», — подумал он. — То есть согласен с этой общей целью. Но это, по-моему, дело медленного совершенствования нравов. Тут религия гораздо важнее, чем самые лучшие партии.

— Какая уж религия! Я атеистка.

Он вздохнул.

— Боюсь тогда, что вы будете несчастны, как три четверти нашей левой интеллигенции. Последствие атеизма: человек не может быть счастлив.

— Это в политике можно и нужно думать о последствиях, а в философии, в религии они ни при чем.

Он тоже подумал, что глупо и даже неприлично говорить в притоне о Боге. «Très russe!»[**] — сказал себе он и хотел свести разговор к шутке:

— Вот вы социал-демократка, но признайтесь, вы рады, что внизу сидит полицейский... Не гневайтесь. Мне так хотелось бы, чтобы вы были счастливы, Людмила Ивановна... Как, кстати, ваше уменьшительное имя?

— Люда.

— Вы так молоды. Можно вас называть Людой?

— Можно.

К ним подошла, держась за щеку, женщина, которую только что обожгли. Она была совершенно пьяна. Тонышев смотрел на нее с тревогой, а Люда с ужасом.

— Милорд, можно к вам подсесть?.. Нельзя? Тогда угости меня, здесь недорого, — сказала она. Тонышев поспешно сунул ей деньги. Женщина отошла, с ненавистью взглянув на Люду.

— Вы расстроены? Если хотите, пойдем?

Люда, отвернувшись от него, вдруг достала носовой платок и поднесла его к глазам. Он смотрел на нее растерянно. «Что с ней? Надо поскорее увести ее. Еще может случиться истерика! Вот не ожидал!» — подумал он. В конце зала около пианино кто-то вынул фотографический аппарат и навел его на публику. Послышались крики и брань. Апаш рванул аппарат из рук фотографа. Говорившая по-английски компания туристов сорвалась с мест и направилась к выходу. Поднялся сильный шум. Упала и разбилась бутылка. Залаял бульдог. У пианино началась драка.

— Они правы, что уходят. Это, верно, полицейский фотограф. Пойдемте и мы, — поспешно сказал Тонышев и поднялся первый. Люда встала, не отвечая и не отнимая от глаз платка. Он все больше жалел, что привел ее сюда. За дверью полицейский, неторопливо шедший в зал, окинул искателей сильных ощущений еще более угрюмым взглядом и что-то пробормотал. Старуха отдала Тонышеву пальто и шляпу, с любопытством поглядывая на Люду.

---

[*] очевидно (англ.)

[**] очень по-русски (франц.)

На улице им протянул руку с шапкой дряхлый старик, его поддерживала женщина, тоже очень старая. Люда открыла сумку и дала старику свою единственную золотую монету. Тонышев смотрел на нее все более растерянно. Он тоже что-то дал старику.

— Мы найдем извозчика у церкви, это налево, — сказал он. С минуту они шли молча.

— Извините меня, я глупо разнервничалась, — сказала, наконец, Люда.

— Это вы меня, ради Бога, извините. Совсем не надо было нам сюда ездить.

— Отчего же?

Они нашли извозчика.

— Нет, верно, фотограф был не из полиции, она и без того всех их знает. Должно быть, просто любитель или репортер, — сказал Тонышев. — Да он и не успел нас снять. У него тотчас вышибли аппарат.

— Да, вышибли аппарат... А хотя бы и снял, мне совершенно все равно.

Тонышев решительно не знал, о чем говорить. У крыльца ее дома он сказал:

— Когда я могу быть у вас, Люда?

— Будем вам очень рады. Мы обычно принимаем по воскресеньям, но можно и в любой будний день, только предупредите... И еще раз спасибо за вечер, — сказала она и отворила дверь ключом. Тонышев смотрел на нее с недоумением... «Так она замужем? И сообщила об этом под занавес! И социал-демократка! И так дешево-гуманно расплакалась в притоне!» — думал он разочарованно; сразу потерял к Люде интерес.

IV

Спор был о том, примут ли работу. Автор говорил, что никогда не примут. Его друг отвечал, что могут принять. Они часто спорили. Впрочем, Эйнштейн видел, что Бессо, инженер по образованию, понимает в его теории не очень много.

— По-моему, могут напечатать, — говорил Бессо, впрочем, старавшийся не слишком обнадеживать своего друга: думал, что если работу не примут, то это будет для него очень тяжелым ударом. — Ты когда ее доставил?

— 30 июня. Если бы приняли, то уже появилась бы, — отвечал со вздохом Эйнштейн.

— Разве непринятые рукописи не возвращаются? Ведь это не газета!

— Вероятно, возвращаются.

— Но почему же ты думаешь, что не примут?

— Потому, что я никто: не ученый, не профессор, не приват-доцент, один из двенадцати служащих Патентного бюро. Кроме того, ты ведь знаешь, что это за работа. Ее понять не так легко.

— Не так легко, так пусть и потрудятся. И там, в редакции, сидят не фельетонисты, а Друде, Рентген, Кольрауш, Планк!

Эйнштейн только вздыхал.

— Они скажут, что это глупая шутка. Как французы говорят, une fumisterie *. — с трудом выговорил он французское слово. — Я и сам иногда так думаю: может быть, теория относительности — это именно fumisterie?

— Ну, я не Рентген, но я никак этого не думаю! — бодро отвечал Бессо. — Увидишь, напечатают хотя бы как парадокс.

Жили Эйнштейны в Швейцарии очень бедно, берегли каждый франк, принимали мало, ни в какое швейцарское общество не вошли. Только Бессо бывал у них чуть не каждый вечер. Он недолюбливал Милеву. У нее и вид был всегда суровый, говорить с ней ему было трудно. Она была сербка. Училась математике, но муж с ней о науке никогда не разговаривал, да и вообще разговаривали они не часто. Быть может, Эйнштейн

---

* надувательство, мистификация (франц.)

и сам не знал, почему на ней женился. А она, уж наверное, плохо понимала, зачем вышла замуж за этого скучного немецкого еврея, который вечно рассказывал несмешные анекдоты, зарабатывал в Патентном бюро 3 500 франков в год, одевался Бог знает как и брился без щетки обыкновенным мылом, растирая его на щеках и подбородке рукой. Милева обычно к ним и не выходила, только подавала им бутылку пива и оставшуюся от обеда баранину, — он почти всегда ел баранину да еще колбасу. По воскресеньям Бессо приходил днем. Они сидели у окна и любовались поверх веревки с сушившимся бельем видом на Юнгфрау. Иногда Эйнштейн пиликал на скрипке. Иногда говорили о политических делах. Он высказывал очень левые и совершенно неинтересные мысли, — Бессо грустно думал, что Альберт ничего в политике не понимает. Иногда говорили и о литературе. Альберт восхищался Толстым:

— Ах, какой замечательный, полезный писатель! И какой хороший человек! Жаль, что не любил науку и не получил математического образования. Впрочем, я тоже мало понимаю математику.

— Это неожиданная новость. Что же ты тогда понимаешь?

— Может быть, и ничего, — соглашался Эйнштейн. — Какой я математик? Я и таблицу умножения помню плохо. Ни одной гимназической задачи я никогда не мог решить. В школе я считался тупым и отсталым мальчиком.

Бессо умилялся его скромности. Ему казалось, что Альберт гений, хотя и смешной чудак. Другие знакомые не считали Эйнштейна гением. Знали, что экзамена в Политехническую школу он не выдержал: удивил экзаменаторов своими математическими познаниями, но ничего не знал в ботанике, в зоологии, почти не владел иностранными языками. Ему предложено было сначала пройти курс в швейцарской коммунальной школе, где преподавание было предназначено для детей. Ничем особенно не выделялся он позднее и в Политехникуме, и после окончания курса. Более способным к физике иностранцем считался Фридрих Адлер (будущий убийца графа Штюрка). Позднее оба были кандидатами на университетскую кафедру по физике, и ее предложили Адлеру, а не Эйнштейну. Несмотря на доброту и благодушие Альберта, некоторые товарищи его не любили, не выносили его шуточек и называли его циником, — как будто менее всего подходило к нему это слово. Искренне его любил, по-видимому, только Бессо. Он, собственно, первый и оценил теорию относительности. Но при своем латинском уме все же не очень увлекался «тевтонскими глубинами». По забавному стечению обстоятельств Эйнштейн очень долго, уже будучи мировой знаменитостью, считался воплощением немецкого духа в науке. Его поклонник, тоже знаменитый физик Вин, по политическим взглядам немецкий националист, говорил лорду Рутерфорду, что по-настоящему понять Эйнштейна может только германский ученый. Рутерфорд поднимал брови не столько обиженно, сколько изумленно: «Is that so?» Никак не думал, что в физике есть вещи, которых он понять не может. Очень скоро после этого, при Гитлере и даже раньше, Эйнштейн был объявлен воплощением антинемецкого духа.

И, наконец, пришла эта тетрадь в светло-коричневой обложке, десятая тетрадь «Annalen der Physik», за 1905 год, перешедшая в историю науки, вероятно, навсегда или на очень долгое время. Там на третьем месте в оглавлении значилось: «Zur Electrodynamik bewegter Körper», von A. Einstein *. Он очень обрадовался и даже позвал Милеву. Та тоже обрадовалась: может быть, из ее болвана и выйдет какой-нибудь толк? Вечером, как всегда, пришел Бессо, узнал новость и обнял своего друга:

— Это я тебе предсказывал! Теперь о твоей работе говорит весь мир!

Работа была им тотчас прочтена вслух, и он делал вид, будто все понял. Растрогался еще и от того, что в конце Альберт выразил «благодарность своему другу М. Бессо». Прочитав слова: «Wir wollen diese Vermutung (deren Inhalt im folgenden Prinzip der Relativität genannt werden wird) zur Voraussetzung erheben»,** он многозначительно поднял палец. В этот день были выпиты две бутылки пива, а после них Альберт что-то играл на скрипке — от волнения еще хуже, чем обычно.

---

* «К проблеме электродинамики движущихся тел», сочинение А. Эйнштейна (нем.)

** мы хотим это предположение (содержание которого станет в последующем называться принципом относительности) сделать исходной посылкой» (нем.)

На следующий день он принес в Патентное бюро тетрадь в светло-коричневой обложке. Товарищи корректно его поздравили, хотя и не без некоторого недоумения: «Лучше бы этот юный, одетый, как нищий, иностранец больше занимался патентами». Он зарабатывал свой хлеб добросовестно, но в самом деле интересовался патентами очень мало. Больше в бюро о работе не говорили. Вопреки предсказанию Бессо, не говорил о ней и «весь мир».

Однако через некоторое время пришло письмо из редакции: секретарь — тоже с некоторым скрытым недоумением — сообщал ему, что его работой чрезвычайно заинтересовались три знаменитости: Анри Пуанкаре, Ван'т Гофф и Гендрик Лоренц. Спрашивали: кто такой этот А. Эйнштейн? где преподает?

Он был очень доволен. Тщеславия у него никогда не было ни малейшего; в этом отношении он был редчайшим исключением среди людей. Но честолюбие было, хотя и честолюбивые мысли тревожили его не часто: просто для них у него никогда не было времени; он всегда думал; когда думал о физике и математике, очень мало людей в мире могло с ним сравниться по глубине и своеобразию; когда писал о другом, особенно о политике, было совестно слушать, так это было банально. Был он редким примером ограниченной гениальности.

Свою работу он прочел раза два еще в печатном виде, хотя знал ее почти наизусть, и отчасти в связи с ней, отчасти как будто и без связи ему приходили мысли странные, уж совсем необыкновенные. Иногда в разговорах чуть дразнил ими своего друга. Тот иногда сердился, — был очень нервным человеком. Его звали Микеланджело, и это имя вечно давало повод для шуток, тоже его раздражавших. Порою Эйнштейн изумлял его разными своими, еще смутными, идеями, которые могли изумить не одного Бессо.

— Что такое в геометрии «пи»? — спрашивал Эйнштейн как будто не своего друга, а самого себя. — Знает каждый школьник, а это совсем не так просто.

— Не понимаю, зачем считать сложными самые простые вещи, — отвечал Бессо, настораживаясь при новых «тевтонских глубинах». — «Пи» — это отношение окружности к диаметру: три, запятая, один, четыре, один, пять, девять... Я в гимназии заучил это число до пятнадцатого знака.

— Напрасно терял время. «Пи» не есть постоянная величина.

— «Пи» не есть постоянная величина? Чего только вы, немцы, не измышляете!

— Это очень просто, но объяснять долго, и я не умею. Или возьми понятие времени. Мы им и в науке, и в жизни пользуемся постоянно. Но ведь время может сжиматься и расширяться.

— Может сжиматься и расширяться? Время?

— Ну, да. Вообще надо переменить все, чему учат в гимназиях и университетах. Механика Ньютона неверна, и закон сохранения материи Лавуазье тоже неверен. Они оба ошибались.

— Ньютон и Лавуазье ошибались? — спрашивал Бессо уже с раздраженьем. Как он ни любил своего друга, все же находил несколько странным, что этот молодой человек опровергает Ньютона и Лавуазье. — Они ошибались, а ты не ошибаешься?

— Они были великие, гениальные люди. Разумеется, я ни в какое сравнение с ними не могу идти, но это так. Они упростили мир и многого не приняли во внимание. Их понятие о массе было слишком простое. Скоро можно будет, кстати, превращать массу в энергию.

— Да мы это, слава Богу, давно знали и без тебя. Если сжечь вот этот стол, то тепло можно превратить в работу, например, в электрический ток.

— Я имею в виду совершенно другое. Я имею в виду атом, — говорил Эйнштейн со вздохом.

— Вильгельм Оствальд вообще отрицает существование атомов.

— Он чудак. Атом — такая же реальность, как этот стол.

— И много энергии ты надеешься из него извлечь?

— Очень много. Страшно много. Так много, что можно будет переделать жизнь на земле. Можно будет облагодетельствовать человечество, мы все станем богачами.

— Это было бы, конечно, очень кстати. У тебя, верно, нет сейчас и ста франков?

— Кажется, Милева говорила, что осталось двадцать пять. Но это так: через сорок или пятьдесят лет не будет предела богатству человечества. Все будут свободно размышлять и радоваться друг другу.

— Это, конечно, возможно. Только вот что, дорогой мой, ты совершенно уверен, что ты в своем уме? Извини меня, я дружески спрашиваю. Неужели Пуанкаре, король ученых, одобряет всю твою... все твои мысли?

— Я ему в подметки не гожусь, но я не думаю, чтобы он мог одобрять в с е. Да я еще почти ничего и не сказал.

— Пожалуйста, смотри за собой: как бы ты с сжимающимся временем не попал в...

V

Дмитрий Анатольевич просыпался без будильника всегда ровно в семь. Ему полагалось перед ванной проделывать гимнастические упражнения, но он их проделывал довольно редко и жаловался жене на непреодолимую лень. Татьяна Михайловна знала, что он работает целый день, не видела большой пользы в гимнастике и была недовольна предписаниями врача мужу. Врач требовал, чтобы Ласточкин ел возможно меньше. Она понимала, что требование разумно, но знала, что Митя очень любит есть, и за обедом все его угощала. «Ты ведешь меня прямо к кондрашке!» — говорил весело Дмитрий Анатольевич. «Помилуй, какая кондрашка в твои годы! И от мяса не полнеют. Право, возьми еще ростбифа. Кажется, он сегодня очень хорош, именно такой, какой ты любишь». Ласточкин, хотя и с угрызениями совести, соглашался: он и сам не верил, что у него может быть апоплексический удар.

В свое время он составил себе «расписание». На большом листе бумаги выписал сверху горизонтально дни недели, сбоку вертикально часы дня и отметил, что должен делать каждый день в такой-то час. Было указано даже время для чтения новых книг. Расписание было подробное. Он показал его жене, но та отнеслась к затее ласково-иронически:

— Если б я не знала, что ты очень умен, Митя, я подумала бы, что в тебе есть и некоторая ограниченность. Разве можно жить по расписанию? — сказала она. — Да никогда всего и включить нельзя.

Татьяна Михайловна имела на мужа такое влияние, что он скоро бросил бумагу в корзину. Однако старался и без расписания вносить в свою жизнь возможно больше порядка и точности; так, аккуратно записывал все свои доходы и главные расходы; никаких заседаний никогда не пропускал и на них не опаздывал; настаивал, чтобы завтрак и обед подавались в точно определенное время.

В этот июньский солнечный день, ровно в восемь часов утра он уже не в халате, а в прекрасном, тщательно выглаженном сером костюме, с такими же по цвету галстуком и носками, вышел в столовую и с удовлетворением окинул взглядом накрытый белоснежной скатертью стол. Калача и масла на столе не было, но врач разрешил икру, и Татьяна Михайловна ежедневно ее покупала у Елисеева «свежей получки, прямо из Астрахани». Уже был соединен со штепселем небольшой серебряный электрический самовар — не принятая в Москве новинка. Дмитрий Анатольевич любил все новое и находил странным, что самовары остались такие же, какие были чуть не при Петре Великом; пора бы, где можно, освобождать прислугу от лишнего труда.

Не любил он только домов новой московской стройки и лет пять тому назад, когда стал много зарабатывать, снял в старом доме поместительную квартиру с большими, высокими комнатами, с толстыми стенами, с голландскими печами; произвел в ней капитальный ремонт, устроил вторую ванную, для жены. Татьяна Михайловна была в восторге. Она проводила в горячей воде часа полтора в день. Об этом уже Дмитрий Анатольевич говорил ей: «Чрезвычайно вредно, ты просто себя губишь!», и она тоже этому не верила. «Собственная ванна — это единственная роскошь, которая действительно доставила мне радость! — сказала она мужу и тотчас поправилась, заметив огорчение на его лице: — Ну не единственная, конечно, но самая главная». На стене был шкапчик красного дерева; поставили туда борную кислоту, бертолетовую соль, новейшие лекарства против головной боли, антипирин, фенацетин. Эта домашняя аптека увеличивала уютность их благоустроенной жизни: есть на случай и борная кислота.

В парадных и в других комнатах тоже все было очень хорошо. Старую мебель, оставшуюся от времени бедности, снесли на чердак: Дмитрий Анатольевич предлагал раздарить ее знакомым из богемы, но Татьяна Михайловна не согласилась: с этой мебелью было связано прошлое. Как ни счастлива она была теперь, пожалуй, еще лучше было прежде, когда они молодоженами покупали за дешевку шкапы, столы, стулья. Чуть было не прослезилась, когда на чердак относили маленький письменный стол Дмитрия Анатольевича, купленный когда-то за девять рублей у Сухаревой башни: помнила и лицо, и фамилию старьевщика, помнила, какая была в тот день погода, как Митя был доволен покупкой.

В доме не было ни старинного серебра, ни золоченой через огонь бронзы, ни мореного дуба, — Дмитрий Анатольевич даже не знал, что это, собственно, такое. Он не очень любил бар, очень не любил людей, прикидывавшихся барами, и старательно избегал в устройстве квартиры того, что могло бы казаться «аристократическими претензиями». Но все было хорошее, прочное, удобное. «У нас стиль культурных, сознательных парвеню», — говорила, смеясь, Татьяна Михайловна. С «аристократической претензией» случайно вышла лишь вторая гостиная: необычная, круглая, затянутая атласом: Нина просила, чтобы ей разрешили устроить эту комнату по ее плану: «Будет как в Мальмезоне у Жозефины, но ведь Жозефина не была природной королевой, и Мальмезон — это не Версаль и не Трианон, успокойся, Митенька». Просто у нее был хороший вкус. «И не беда, что никто теперь атласом стен не затягивает, ведь уж если на то пошло, то и круглых комнат почти ни у кого нет, и это не посягает на твой модерн, на твои электрические штучки», — весело говорила она брату. Дмитрий Анатольевич выписывал разные новые приборы: любил и умел их устанавливать, разбирать, чинить. В далекой, ненужной комнате он даже устроил себе механическую мастерскую, но уже с год ее гостям не показывал: его пишущая машинка не подвигалась. Все в доме сверкало чистотой, и, несмотря на размеры комнат, вся квартира была уютной. Она была создана на заработки Ласточкина, это особенно умиляло его жену. Говорила, что чувствует себя дома «как за каменной стеной». «Точно тебе в других местах грозит какая-то опасность», — недоумевала Нина.

На электрическом приборе поджаривались тосты. В герметически закрывавшейся коробке был чай. Приказчик сообщил Ласточкину, что той же самой смесью чаев всегда пользовались китайские богдыханы, — Татьяна Михайловна дразнила мужа этим чаем и его самого называла богдыханом. Лежала на столе и утренняя почта. Ласточкины получали московскую и петербургскую газеты, а также те четыре толстых журнала, которые читали все образованные люди в России. Получались и «сверхъестественные издания», как их называла Татьяна Михайловна. Они выписывали «Орловский вестник», потому что Дмитрий Анатольевич был родом из Орла, «Харьковскую речь», так как его жена родилась в Харькове, «Фигаро», чтобы «следить за Парижем», международный финансово-экономический журнал, — полезно просматривать, — и уж совершенно ни для чего не нужные «Известия Московской городской думы» и «Земскую неделю». Второй год выписывали также «Правду». Этот ежемесячный журнал «ставил себе задачей быть неизменным выразителем интересов рабочаго класса и проводником той его идеологии, которая во всех странах была ему всегда надежным компасом и служила залогом побед». Ласточкин подписался потому, что попросил Максим Горький:

— В нем, понимаете, участвует цвет мирового социализма и цвет русской литературы! — сказал он с силой, увеличивавшейся от говорка на «о». Дмитрий Анатольевич, в отличие от всех недолюбливавший этого

знаменитого писателя, думал, что он говорит так нарочно: «Мог бы давно отучиться!» Удивляло его и то, что Горький говорил: «Бéрлин», Жóрес» — с ударениями на первом слоге.

Покупали Ласточкины и много новых книг, русских и иностранных. Прочесть все это очень занятому человеку было почти невозможно; Дмитрий Анатольевич стыдился, что покупает и не очень читает; так делали и чуть ли не все люди его круга. Впрочем, Татьяна Михайловна читала почти все. В отличие от мужа и разрезала книги не без удовольствия. Они лежали в порядке на круглом столе гостиной, пока не убирались в книжные шкапы и не заменялись другими.

Ласточкин пробежал письма; старался всегда отвечать в тот же день или хоть в первый свободный вечер (свободных вечеров у них было не более одного-двух в неделю). На этот раз письма были либо печатные, разные циркуляры банков и промышленных предприятий, либо не требовавшие ответа. Это было приятно. Он развернул «Русские ведомости». Особенно любил и уважал эту газету, знал ее редакторов, они бывали у него, и он бывал у них. Но в последнее время газета чуть его раздражала — не направлением, а необыкновенным спокойствием (которое, впрочем, составляло часть направления); это спокойствие в обществе называли «академическим» люди, не знавшие академий. Сам Ласточкин при страстности своего характера и прежде, и особенно теперь никак спокойным быть не мог. Правда, и тон «Русских ведомостей» несколько изменился последнее время, однако меньше, чем тон других газет: никогда они столь смелыми не были. Ясно было, что надвигаются важные, а может быть, грозные события. В разных местах России, особенно на Кавказе, происходили беспорядки, убийства, грабежи. Их приписывали то социалистам-революционерам, то анархистам, то, как писали газеты, «уголовным элементам». Многие говорили и о работе новой партии, или фракции, большевиков. Это слово было еще непривычно; москвичи думали, что так называется революционная партия, которая требует еще больше, чем другие.

Одни в московской интеллигенции тайно или открыто сочувствовали этим делам, другие считали их неизбежным последствием правительственной политики, третьи просто разводили руками и своего мнения не высказывали. Обо многом газеты еще писать не могли. В обществе сообщались невероятные слухи: надвигается революция, царь должен будет отречься от престола в пользу одного из великих князей (назывались разные имена) или же уйдет вся династия Романовых и на престол будет посажен князь Долгоруков. Этот либеральный князь был москвич, слух был приятен московскому патриотизму, но вызывал у некоторых и недоумение: «Как же так? Вчера был свой брат, пили чай у него на Колымажной, а завтра называй его «ваше величество»! Да и почему он? Мало ли в России князей?»

Ласточкин, впрочем, не верил слухам и не знал, радоваться ли им, или нет. Он был левее и правее своих друзей. Умеренные люди теперь возлагали главную надежду на Витте: он один при своем необыкновенном уме и государственном опыте может спасти Россию. Другие резко возражали: Витте просто карьерист без убеждений, да и незачем спасать от революции: она стала единственным выходом из трясины. К удивлению Дмитрия Анатольевича, большинство его знакомых были или казались настроенными очень радостно, как прежде давно не были. Он этого радостного оживления не чувствовал. Война, падение Порт-Артура, Цусима понемногу уменьшили то, что он сам шутливо называл своим «неизлечимым оптимизмом». Он больше не говорил о сказочном росте русской промышленности и о необычайном расцветании России. Промышленность продолжала расти, — быть может, из-за войны росла даже еще быстрее, — все улучшались и его личные денежные дела, он стал членом правления еще двух обществ. Татьяна Михайловна убеждала его этого не делать:

— Митенька, зачем нам еще деньги? Ты больше отдыхал бы. Помни, что говорит доктор!

— При мне один человек, гораздо богаче меня, в ответ на вопрос, зачем ему еще деньги, сказал: «В Америке говорят: «A little more to make enough» *. А я хочу не только денег, — смеясь, отвечал Дмитрий Ана-

---

* еще немножко, чтобы было достаточно (англ.)

тольевич. Однако новая, неожиданно ему открывшаяся противоположность между государственным развалом и его личным благосостоянием была ему неприятна.

Прежде он знал очень многих в Москве, теперь уже знал всю Москву, т. е. главных профессоров (университет преобладал в московской общественной жизни), известнейших политических деятелей, а также наиболее шумевших писателей. Знал их сложные личные и общественные отношения, это было важно. Бывал с женой в московских либеральных салонах, преимущественно у людей из делового мира, у «Варвары Алексеевны», у «Маргариты Кирилловны», — этих двух дам из морозовской династии москвичи обычно и за глаза называли по имени-отчеству, без фамилии. Дворцы промышленных династий удивляли его. Иногда Дмитрий Анатольевич шутливо убеждал сестру не строить, когда она станет знаменитым архитектором, ни венецианских, ни готических, ни других замков: «Строй простой дом». Был раз на приеме и в правом по направлению салоне, — туда Татьяна Михайловна пойти решительно отказалась, да и сам он принял это приглашение неохотно; хозяин был с ним необычайно любезен и осыпал его любезностями, как прежде Плеве говорил комплименты Михайловскому или Милюкову. Бывал Ласточкин — без жены — на разных политических совещаниях, у Новосильцовых, у Долгоруковых. Там ему стало известно и о готовящемся важном событии.

Действительно, в газете на самом видном месте было сообщено: Государь принял во дворце делегацию общественных деятелей. Эта делегация была задумана в Москве. Была выработана петиция на высочайшее имя. «Ваше Императорское Величество, — говорилось в ней, — в минуту величайшего народного бедствия и великой опасности для России и самого престола Вашего мы решаемся обратиться к вам, отложив всякую рознь и все различия, нас разделяющие, движимые одной пламенной любовью к отечеству. Государь, преступным небрежением и злоупотреблениями Ваших советников Россия ввергнута в гибельную войну. Наша армия не могла одолеть врага, наш флот уничтожен, и грознее опасности внешней разгорается внутренняя усобица. Увидав вместе со всем народом Вашим все пороки ненавистного и пагубного приказного строя, Вы положили изменить его и предначертали ряд мер, направленных к его преобразованию. Но предначертания эти были искажены и ни в одной области не получили надлежащего исполнения. Угнетение личности и общества, угнетение слова и всякий произвол множатся и растут. Вместо предуказанной Вами отмены усиленной охраны и административного произвола полицейская власть усиливается и получает неограниченные полномочия, и подданным Вашим преграждается путь, открытый Вами, дабы голос правды мог восходить до Вас. Вы положили созвать народных представителей для совместного с Вами строительства земли, и слово Ваше осталось без исполнения доныне, несмотря на все грозное величие совершающихся событий; а общество волнуют слухи о проектах, в которых обещанное Вами народное представительство, долженствовавшее уничтожить приказный строй, заменяется сословным совещанием. Государь, пока не поздно, для спасения России, во утверждение порядка и мира внутреннего повелите без замедления созвать народных представителей, избранных для сего равно и без различия всеми подданными Вашими. Пусть решат они в согласии с Вами жизненный вопрос государства, вопрос о войне и мире, пусть определят они условия мира или, отвергнув его, превратят эту войну в войну народную. Пусть явят они всем народам Россию, не разделенную более, не изнемогающую во внутренней борьбе, а исцеленную, могущественную в своем возрождении и сплотившуюся вокруг единого стяга народного, пусть установят они в согласии с Вами обновленный государственный строй. Государь! В руках Ваших честь и могущество России, ее внутренний мир, от которого зависит и внешний мир ее, в руках Ваших держава Ваша, Ваш престол, унаследованный от предков. Не медлите, Государь. В страшный час испытания народного велика ответственность Ваша пред Богом и Россией».

Дмитрий Анатольевич принимал участие в обсуждении петиции, но не очень большое участие: ее составляли люди гораздо более известные, чем он. Ласточкин входил в московскую и даже во всероссийскую общественность, однако входил в нее преимущественно как «представитель торгово-

промышленного класса», — по неписаному рангу это было все-таки чуть ниже, чем профессор, публицист или общественный деятель просто. Он всей душой сочувствовал петиции, но кое-что в ней ему не нравилось. Не нравился слезливо-торжественный стиль: «Тот же казенный слог, только обратный». Не нравилась некоторая неискренность: составители петиции, он знал, не думали, что государь так ненавидит «приказный» строй и что все его предначертания были кем-то искажены. Не нравилось и заверение, будто народные представители могут, если захотят, превратить войну с Японией в «войну народную», установить «мир внутренний» и сплотить Россию вокруг какого-то «единого стяга народного».

Преувеличенной ему казалась и гражданская скорбь авторов петиции. Тут, впрочем, он себя никак от них не отделял. «У нас у всех, — думал Дмитрий Анатольевич, — есть личные, практические, прозаические дела, они для нас важнее политических, пожалуй, и никак с теми не вяжутся. Можно ли много думать о своих имениях, о дивидендах, о гонорарах и одновременно о стяге народном?» В последнее время Ласточкин стал еще правдивее с собой, чем был прежде, и, быть может, поэтому еще противоречивее. Приятели говорили, что он полевел; между тем к возможной революции он относился гораздо мрачнее, чем большинство участников московских совещаний. Не очень одобрял он и состав отправившейся к царю делегации. В нее входили четыре князя, один граф, один барон, несколько нетитулованных родовитых дворян, и больше не было почти никого. Он понимал, что это вышло более или менее случайно, но считал отсутствие крестьян, промышленников, купцов очень досадным, непростительным упущением.

В газете была напечатана и речь, сказанная государю фактическим главой делегации, князем Сергеем Трубецким. Дмитрий Анатольевич лично знал этого профессора и, как все, очень его почитал. Речь до некоторой степени пересказывала петицию, но по форме была значительно мягче. Ласточкин догадывался, что она была сказана хорошо, с искренним волнением и должна была произвести сильное впечатление. Он и сам был взволнован, точно ее слышал; но думал, что лучше было бы сказать то же несколько иначе. «Ну, что ж, сказано, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего не выйдет ничего».

На третьей странице был еще некролог второстепенного публициста. Дмитрий Анатольевич пробежал его рассеянно, очень мало знал умершего. «Писатель, если только он — Волна, а океан — Россия»... «Этот крест он нес на своих плечах, нес стойко и мужественно сквозь терновник, густо заполнивший путь русской публицистики»... «И лишь под конец, сквозь мрак реакции, мелькнул и для него, как для всего русского общества, первый проблеск рассвета»... «Зачем так преувеличивать? Какой он нес крест? И еще каков будет этот «проблеск»?» — думал он с легкой досадой.

Вода в самоваре вскипела, он сполоснул чайник кипятком и насыпал чаю. «Я тоже делаю, что могу, но никакого креста не несу, и нельзя его нести за серебряным самоваром. Он, как и я, никогда, вероятно, не был ни в тюрьме, ни в ссылке, иначе в некрологе об этом упомянули бы. Едва ли Россия будет счастливой страной, если мы все не освободимся от фраз и преувеличений».

Было в газете небольшое сообщение о каком-то самоубийстве. Покончил с собой совершенно неизвестный ему человек; причиной была неудачная любовь. Дмитрий Анатольевич, почти никогда не читавший заметок о преступлениях, если только они не были уж очень сенсационными, сообщения о самоубийствах читал неизменно и всегда изумлялся. «Даже из-за любви никак не следует кончать с собой», — с недоумением подумал он и теперь.

Он просмотрел и петербургскую газету, и финансовый журнал. На бирже не играл, но имел немало выигрышных билетов, русских и иностранных. Уже года три собирался продать некоторые ценности и на вырученные деньги купить небольшое имение. Татьяна Михайловна очень это поддерживала. Она мало интересовалась делами и ничего в них не понимала. В акции верила плохо, особенно с тех пор, как бывавший у них профессор-экономист сказал за обедом, что на бирже «нездоровое оживление», которое рано или поздно должно плохо кончиться. За покупку имения под Москвой она стояла больше потому, что было бы хорошо возможно чаще увозить туда мужа для отдыха. Они осмотрели несколько имений — не подходили. В одном был прекрасный дом, построенный каким-то графом в начале прошлого столетия. Однако покупать «графскую подмосковную» им обоим было совестно. В это близкое к Москве имение они съездили на своих рысаках, в этом тоже было что-то «нестерпимо-графское», очень не понравившееся обоим. И оказалось, что нужно было бы вместе с домом купить триста десятин земли, а о земле Татьяна Михайловна и слышать не хотела: отношения с крестьянами только ухудшили бы здоровье Дмитрия Анатольевича, особенно с тех пор, как начались аграрные беспорядки. Должности Ласточкина в торговых и промышленных предприятиях не были синекурами, он немало получал по каждой жалованья, но в случае его смерти вдове никакой пенсии не полагалось, и никто из богачей, имевших с ним дела, о ней даже не подумал бы. «Если в самом деле оживление «нездоровое» или если произойдет революция, то и Таня, и Нина, и Аркаша останутся без средств», — говорил себе Дмитрий Анатольевич. Он застраховал жизнь на большую сумму и успокоился: такой революции, при которой страховые общества не исполнили бы обязательства, все-таки не представлял себе, — никогда таких нигде и не было.

Накануне был розыгрыш одной из лотерей. Ласточкин всегда аккуратно просматривал выигравшие номера и обычно весело говорил жене и сестре: «Зато в следующий раз выиграем непременно». Так и в это утро, перейдя в кабинет, он достал из ящика список своих билетов и стал сверять. Вдруг сердце у него чуть забилось. «Неужели?.. Не ошибаюсь ли?! Нет, так и есть! Выиграл восемь тысяч!»

Сумма была невелика. Все же Дмитрий Анатольевич обрадовался чрезвычайно, — потом было даже несколько совестно вспоминать. Дело было даже не в деньгах, а в том, что и тут повезло, — во всем везет. Он хотел было разбудить жену и сообщить ей о выигрыше, но раздумал: «Незачем, Таня даже не обрадуется, она совершенно равнодушна к деньгам, — разумеется, пока их достаточно, — с благодушной улыбкой подумал он. — Сообщу, когда вернусь домой, с подарками им обеим. Может, и Люде купить подарок? Нет, Аркаша еще обидится. Ох, тяжело с ним». Рейхель и Люда недавно приехали из Парижа, остановились у Ласточкиных, но скоро переехали в «Княжий двор».

Дмитрий Анатольевич вернулся домой раньше обычного с футляром от Фаберже. Купил большую черную жемчужину в платиновой оправе. В магазине кольцо ему очень понравилось оригинальностью, но уже у подъезда дома ему пришла мысль: вдруг черная жемчужина означает дурную примету? С ним уже раз был такой случай: привез жене букет из хризантем, она мягко ему попеняла: хризантемы часто кладутся на гроб! Ласточкин чуть было не вернулся к ювелиру. «Нет, Фаберже не стал бы у себя держать драгоценности с мрачными предзнаменованиями». Все же поднялся к себе несколько смущенно.

Татьяна Михайловна сидела в гостиной за роялем. Разучивала новое произведение Метнера, которого только начинали ценить знатоки. Она следила за музыкой и хотела разобраться в новом композиторе. Метнер ей понравился.

Она обрадовалась выигрышу и еще больше вниманию мужа. К драгоценностям была довольно равнодушна, имела их немного и просила Дмитрия Анатольевича их ей не покупать. Кольцо показалось ей необыкновенно красивым. Горячо поцеловала мужа. Он сразу вздохнул свободно: «Нет, приметы, что за вздор!»

— Как ты мил, Митя!.. А Нине ты что купил?

— Ей книги, знаю, что будет довольна. Кстати, уже привезли?

— Федор сказал, что принесли пакет для барышни. Он положил в ее комнату. Я и не видела. Люде и Аркаше тоже купил?

— Думал купить, но ведь они, чудаки, не примут?

— Аркадий, верно, не примет и еще насупится. Но отчего же не принять Люде? Ей лучше что-либо по туалетной части. Например, горжетку. У нее после Парижа мало вещей для нашей зимы.

— Тогда купи ты, я ничего ни в каких горжетках не понимаю.

— Это святая истина. Как ты говоришь, «поставь ее перед совершившимся фактом». Сколько ты ассигнуешь, богдыхан?

— Сколько будет нужно.

— Я куплю, а передашь, конечно, ты. Она меня не жалует.

— Дорогая, это неверно.

— Тебе отлично известно, что это верно. Но ты еще не знаешь, что тебя ждет! Милый, дорогой, добренький, подари мне пятьсот рублей для одного бедного пианиста. Он еще неизвестен, но очень талантлив. Теперь заболел чахоткой, денег, конечно, ни гроша. Кит Китыч, дай!

— Кит Китыч в первую же минуту решил, что даст своей жене десятину, то есть восемьсот рублей, на всякие ее темные дела. Кажется, твои древние предки в Палестине давали одну десятую? — сказал весело Ласточкин.

— Помнится, даже одну седьмую. Но десятой вполне достаточно. И, разумеется, ты должен купить подарок и себе. Или я тебе куплю на твои деньги. Знаешь что? Я куплю тебе пейзаж Левитана, который тебе так понравился.

— Вот еще! За него просили две тысячи.

— Это будет подарок нам обоим. И это помещение капитала. И не каждый день выигрываешь в лотерею! Идет?

— Идет. Вот мы уже и разбазарили бо̀льшую часть выигрыша.

— Так и надо. Видно, «подмосковной» не купим и на этот раз. Ты очень щедрый, Кит Китыч.

— Если так, то надо еще раз поцеловать Кит Китыча.

— Это, пожалуй, можно.

В гостиную вошла сестра Ласточкина Нина, очень миловидная блондинка, с небольшим, почти треугольным лицом, просто и прекрасно одетая. Нина радостно поздоровалась с братом и поцеловала Татьяну Михайловну, что регулярно делала при каждой встрече и при каждом расставании. Они нежно любили одна другую. Узнав о выигрыше, бросилась брату на шею.

— Как я рада! Тебе во всем везет!

— Не сглазь, Ниночка. Посмотри, что̀ Митя мне купил по этому случаю!

Нина ахала и восторгалась, примеряла кольцо на свой палец, потребовала, чтобы Таня тотчас его надела и носила «не по парадным случаям, а всегда!». Дмитрий Анатольевич ласково на них смотрел. Он тоже очень любил свою сестру. Их называли самой дружной и счастливой семьей в Москве.

— Как ты догадываешься, Митя и тебе купил подарок.

— Не может быть! Что? Что? Покажи!

— Он у тебя в комнате. Довольно грузный, не поднимешь, — сказал Ласточкин. Они пошли в комнату Нины. Эта комната тоже, как круглая гостиная, выделялась в квартире Ласточкиных. Нина одна из первых в Москве решила, что совершенно не нужно «единство стиля». В ее большой красивой комнате все было самых разных стилей и эпох. Были и старинные вещи, и новые, подлинные и хорошие подделки, все было расставлено умышленно несимметрично, и тоже несимметрично, сбоку, рядом с полочками для статуэток, висела на стене недурная огромная копия известной картины Жигу: «Леонардо да Винчи умирает в Фонтенбло в объятиях короля Франциска I», — Татьяна Михайловна говорила, что у этой картины есть один недостаток: Леонардо умер не в Фонтенбло, и король при его смерти не присутствовал.

Дмитрий Анатольевич развязал и вынул из обертки и толстого складчатого картона кучу книг. Это было многотомное, иллюстрированное, в великолепных переплетах, английское издание истории архитектуры всех времен и народов. Восторгу Нины не было конца.

— Я именно об этом издании долго мечтала! Но оно стоит так дорого! Ах, как я тебе благодарна, Митенька! И тебе, дорогая моя! — говорила она, опять целуя обоих.

— Мне-то за что? Я и не знала, что это такое. А у тебя найдется в шкафу место для этой махины?

Они втроем занялись обсуждением места. Нина решила, что поставит Гнедича и словарь на нижнюю полку, а на их место «это чудо».

— Сегодня же после обеда начну читать! И не читать, а изучать! Вы не можете себе представить, как мне это нужно!

— После обеда нельзя. У нас винт, и ты должна быть четвертой, Ниночка, без тебя второго стола не будет.

— Винт так винт. Обожаю винт! Люда придет? Или она бойкотирует карты?

— И карты, и нас,— сказала Татьяна Михайловна.

— Что ты говоришь, Таия? — возразил Дмитрий Анатольевич.— Просто они очень заняты.

— Чем бы это? Аркадий, допустим, наукой, а Люда чем? Освобождением России?.. Кстати, сегодня у нас борцов за идеалы не будет? — спросила Нина. Она так называла политических деятелей, собиравшихся в их доме.

— Не будет,— ответил Дмитрий Анатольевич с легким неудовольствием. Он не любил хотя бы и безобидных насмешек над тем, что никакой иронии не заслуживало.

VI

Нина в самом деле любила винт, как любила теннис, крокет, верховую езду, театр. Она была не менее жизнерадостна, чем ее брат. Но ей казалось, что карты все-таки удовольствие стариковское (хотя играли в винт и гимназисты). В последний год она часто себя называла «старой девой». Это пока говорилось и принималось как шутка; однако она понимала, что скоро ее будут так называть и всерьез.

Еще надавно она училась на курсах. И теперь ей жилось не худо, но тогда было еще веселее. Кружок молодежи, к которому она принадлежала, мало интересовался политикой, то есть не участвовал в сходках, демонстрациях, беспорядках. Она и ее друзья неопределенно сочувствовали целям сходок и демонстраций, но в тюрьму никто из них не попадал; никто даже и не желал приобрести «тюремный стаж» и «ореол мученичества», для которого, впрочем, было вполне достаточно очень непродолжительного пребывания под арестом или же высылки из Москвы. Но в подписках в пользу заключенных принимали участие почти все и в ее группе.

Ласточкин был рад, что его сестра не занимается политикой. Он и сам ею не занимался в свое студенческое время и хотя ни тогда, ни теперь этого не говорил, но думал, что громадное большинство учащейся молодежи предпочитало бы обходиться без демонстраций, высылок и арестов; это было неудобно в виду «чуткости» и «свободолюбия», давно за учащейся молодежью признанных и утвержденных общественным мнением. Дмитрий Анатольевич не выносил скептических мыслей; однако иногда ему казалось, что самый идеализм студентов и курсисток очень преувеличен газетным клише: чрезвычайно многие из них думают о карьере гораздо больше, чем люди пожилые и — тоже по клише — «очерствевшие». «Да это и естественно, нам уж и поздно что бы то ни было выбирать». Впрочем, крайностей Ласточкин тоже ни в чем и нигде не любил, и ему было бы приятно, если б его сестра больше интересовалась общественными вопросами. Он ей давал книги Струве, Туган-Барановского, Железнова. Она послушно прочла, но, как всегда откровенно, сказала брату, что они не очень ее заинтересовали: «Что ж делать?» Нина часто говорила «что ж делать?» или «ничего не поделаешь». Дмитрий Анатольевич с торжеством приносил домой заграничное нелегальное «Освобождение» и всем в нем восторгался. Татьяна Михайловна читала и сочувствовала. Нина сочувствовала, но не читала.

Ее особенностью было очень простое, уж слишком простое, отношение к жизни. Про себя Татьяна Михайловна думала, что Нина не может быть ни очень счастлива, ни очень несчастна. «Кто-нибудь тяжело болен,— ну, что ж, тяжело болен: надо лечиться; а если умрет, ничего не поделаешь, все умрем, и ничего тут страшного нет». Нина говорила, что нисколько не боится смерти. Ей очень хотелось выйти замуж, но она думала, что не будет катастрофы, если и не выйдет. Требования предъявляла разумные и не очень большие. О богатстве не мечтала,— лишь бы только сносно жить. «Ведь все равно я знаю, что Митя и Таия, если понадобится, будут нам помогать и будут делать это с радостью, хотя, конечно, было бы лучше обойтись без этого». Еще меньше она мечтала о «знатности» жениха: «Уж это совершенная ерунда, и нисколько мне это не нужно, и неоткуда этому взяться в нашем кругу. Был бы просто умный, порядочный человек и любил бы меня хотя бы и не так, как Митя обожает Таню, но любил бы. Во всяком случае, надо иметь свои интересы и свое занятие».

Лет до двадцати двух жизнь Нины была чуть не сплошным праздником. Раза три в неделю она с друзьями бывала в Большом, в Малом, в Художественном театрах. Так как среди друзей преобладали небогатые молодые люди и барышни, то билеты обычно брались на галерку,— иногда по очереди приходилось для этого простаивать ночь в ожидании открытия кассы. Это только увеличивало общую радость от спектаклей. Нина была немного влюблена в Собинова, но не очень. В кружке все были влюблены в кого-либо из знаменитых артистов,— это никак не мешало частным романам: все знали, что Лена влюблена в Качалова и в Петю, а Петя в Книппер и в Машу. Нину очень любили, за ней молодые люди ухаживали, но по-настоящему в нее не был влюблен никто.

В те дни, когда в театры не ходили, собирались по вечерам друг у друга. Особенно охотно собирались у Ласточкиных: у Нины большая комната с мягкой удобной мебелью. Хозяин и хозяйка иногда заходили на минуту — «пожать руку» — и тотчас исчезали. Зато присылали превосходное угощение. Ужинов Нина у себя почти никогда не устраивала, так как далеко не все другие могли бы это себе позволить, а надо было по возможности соблюдать бытовое равенство. Но к чаю Федор, которого все в кружке ласково называли по имени-отчеству, приносил в изобилии бутерброды, торты, печенье, даже ром и коньяк, имевшие особенный успех. Из комнаты до поздней ночи доносились веселые голоса, хохот, иногда музыка (у Нины было свое пианино в дополнение к бехштейновскому роялю гостиной). Хозяева прислушивались издали, но входить не смели. Татьяна Михайловна не очень и хотела бы этого: с грустью чувствовала большую разницу в возрасте. А Дмитрий Анатольевич охотно посидел бы с молодежью, если б не знал, что от его присутствия и от разговоров, особенно на общественные темы, она тотчас «скиснет». Слушали издали и декламацию, и игру на пианино. Нина и ее друзья играли много хуже, чем Татьяна Михайловна. Порою она морщилась.

— Право, лучше бы этот Петя не играл, а читал свои стихи,— говорила она мужу.— Никогда этого не могла понять: ведь как будто и поэзия, и музыка должны были быть основаны на одном и том же: на слухе. Между тем почти все московские кавалергарды поэзии ничего в музыке не смыслят. А о слабых поэтах, об армейских, они сами презрительно говорят: «Ему на ухо слон наступил». Или есть два слуха?.. Нина запела арию Ленского. Что за идея петь теноровую партию!

— Обязана: влюблена в Собинова.

— Ох, Собинов поет это лучше.

— Не спорю,— сказал Дмитрий Анатольевич и негромко подтянул баритоном свою любимую фразу: — «Благо-словен и день за-бот, бла-го-сло-вен и тьмы приход»... День забот — это так, а тьмы приход не за что благословлять,— сказал он и поцеловал жену.

— Это за что?

— Так. Ни за что. За то, что ты понимаешь музыку в сто раз лучше, чем они.

— Прошло наше с тобой время... Впрочем, нет, нисколько не прошло.

Оба радовались тому, что у Нины такая радостная, приятная жизнь и что они этому способствовали. «Было бы все-таки гораздо лучше, если б она в кого-нибудь без памяти влюбилась, как когда-то я в Митю,— огорченно думала Татьяна Михайловна.— И если б в нее кто-нибудь влюбился, хотя бы и не без памяти. Чего-то ей не хватает». Выражение sex appeal еще не было выдумано, но она никогда его и мысленно к Нине не применила бы.

Когда Нина кончила курс, ее жизнь стала менее радостной. Многие из ее друзей разъехались, все куда-либо устраивались, стали встречаться реже. Нина давно все обсудила, свои вкусы, влеченья, силы, обсудила и практические вопросы и больше по методу исключения остановилась на архитектуре. Решила заняться ей очень серьезно и поступила на постройку. Теперь с увлечением говорила о Палладии и о Жолтовском.

Ласточкины присматривались к молодым людям, которые могли бы быть хорошими женихами, но зазывать их в дом не умели. «Все родители это делают для дочерей, и ничего плохого тут нет, а вот у нас с Таней не хватает на это уменья»,— огорченно думал Дмитрий Анатольевич. Он относился к сестре скорее как отец, чем как брат. Нина понимала, что ее родные беспокоятся о ней с каждым годом все больше, ценила это и недоумевала. «Во-первых, ничего они тут искать и устраивать не могут. Конечно, сама барышня может. Лена, например, ищет уже несколько лет, и я нисколько ее не осуждаю. От ее родителей я давно ушла бы, на ее месте я тоже «искала» бы и даже не скрывала б это: все равно скрыть нельзя. Но, во-первых, и Лена пока ничего не устроила, а во-вторых, мое положение другое: и нужды никакой нет, и я нежно люблю Таню и Митю». Часто от этих мыслей Нина прямо переходила к мыслям о своей работе. Она много читала: романы, стихи, книги об искусстве, делала выписки, старалась вдуматься, понять, запомнить. Мысли интересовали ее меньше, чем здания, картины, виды природы, гораздо меньше, чем люди; но любопытство у нее оставалось такое же, как в пятнадцать лет.

Вела она и дневник. «Говорят, люди записывают свои переживания неискренне и всей правды не высказывают?» — думала она с некоторым недоумением: сама записывала правду и не видела, что могла бы скрывать. «Разве только уж очень, очень немногое»...

VII

Из проекта биологического института ничего не вышло.

Тотчас после своего первого разговора с Морозовым Дмитрий Анатольевич, не заезжая домой, сгоряча послал своему двоюродному брату телеграмму, написанную по-русски французскими буквами: «Милый Аркаша спешу обрадовать точка имел сейчас беседу саввой тимофеевичем точка отнесся более чем сочувственно сказал может поднять дело один точка просит прислать записку смету письмо мечникова точка куй железо пока горячо пришли все поскорее точка надеюсь дело шляпе мы страшно рады сердечно поздравляем обоих обнимаем митя». Ласточкин любил подробные телеграммы. Но уже по дороге домой он немного пожалел, что написал слишком радостно: «Аркаша подумает, что все решено и что деньги есть!» Ему было также совестно, что написал «мы», тогда как Татьяна Михайловна даже еще и не знала об ответе Морозова. И в самом деле, когда он, вернувшись домой, сообщил о нем жене, она сказала:

— Ну, от этого до института еще очень далеко. Конечно, хорошо, что Савва Тимофеевич не ответил отказом. Он мог и сразу отказаться или обещать каких-нибудь десять — пятнадцать тысяч. Надеюсь, ты все-таки не слишком обнадежил Аркадия?

— Нет, не слишком, да он и сам поймет, что такие дела сразу не решаются,— нерешительно ответил Дмитрий Анатольевич. «Таня, как всегда, права»,— подумал он.

Татьяна Михайловна по смущенному виду мужа догадалась, что он в телеграмме сказал больше, чем следовало, но не хотела его огорчать вопросами.

От Рейхеля на следующий день пришла телеграмма: «Благодарю обнимаю». (Люда не согласилась на «обнимаем».) Затем долго ничего не приходило. «Верно, весь ушел в записку и смету. Но мог бы все-таки написать и письмо»,— думал Ласточкин. В конце месяца пришло страничек десять, написанных пером рукой Рейхеля. Это были одновременно и записка, и смета. Ласточкин прочел все с раздражением. «Записка малопонятна и неубедительна, а смета совершенно детская! Как же я мог бы исправить или дополнить, когда я ничего в этих делах не смыслю?» Он

добавил все же полстраницы о том, сколько должен стоить участок земли (об этом Аркадий Васильевич не написал ни слова), затем попросил секретаршу переписать на машинке в четырех экземплярах и послал Морозову лучший из них.

Ответа долго не было. Это могло считаться неблагоприятным симптомом. Через некоторое время Дмитрий Анатольевич справился по телефону и узнал, что дело передано на рассмотрение экспертов. Савва Тимофеевич высказался критически о смете и был несколько менее любезен, чем при первом разговоре об институте. Позднее, при случайной встрече, он добавил, что эксперты дали сдержанный отзыв: большой надобности нет в институте, который только конкурировал бы с уже существующими научными учреждениями.

— Неужто-с записку писал сам Мечников? Ох, уж эти ученые-с,— сказал он, и в его голосе послышалась как будто легкая насмешка.

«Верно, ему доложили, что я стараюсь для двоюродного брата»,— подумал Ласточкин, с очень неприятным чувством. Морозову в самом деле кто-то это сказал предположительно, и Савва Тимофеевич в сотый раз подумал, что совершенно бескорыстных людей почти не существует.

— Нет, записку писал не Мечников.

— Так-с. Помнится, вы говорили-с, будто он интересуется. Ну, что ж, надо повременить с институтом-с. Да и времена наступают в России трудные-с. Может, скоро все останемся без штанов-с.

— Я этого никак не думаю, но это уж скорее был бы довод, чтобы создать институт теперь, пока штаны есть,— ответил Дмитрий Анатольевич, принужденно улыбаясь. Морозов тоже улыбнулся и заговорил о другом.

«Разумеется, это чистый отказ!— подумал Ласточкин и еще раз пожалел о своей телеграмме.— Ну, что ж, я сделал все, что мог. И отчасти виноват, конечно, Аркаша. Очевидно, он даже не обратился к Мечникову!».

Он написал Рейхелю, немного все же смягчив ответ Морозова: сказал, что Савва Тимофеевич хочет подождать, что надежда не потеряна и что свет на нем клином не сошелся. На это письмо никакого ответа не последовало. В следующем же письме Аркадий Васильевич больше и не упомянул об институте, точно никогда никакого разговора не было. «Конечно, обиделся, но чем же я виноват!» — огорченно сказал себе Дмитрий Анатольевич

Остановились они в Москве у Ласточкиных, прожили с неделю, затем, несмотря на все протесты хозяев, переехали в «Княжий двор», где нашли дешевенькую комнату. Ни малейшей ссоры не было. Татьяна Михайловна проявляла к ним всяческое внимание. Она по природе не была так гостеприимна, как ее муж, и в душе огорчалась, что гостей у них бывает слишком много; ей было приятнее всего с мужем вдвоем, но она знала, что ему гости доставляют удовольствие, и исполняла все его желания, даже им не высказывавшиеся. У них часто обедали и пять и десять гостей, обедали нередко и люди, которые их на обеды почти никогда не звали; с этим они оба совершенно не считались. «Мите что, ему работать не надо,— думала она тоже благодушно,— он наивно, как все мужчины, думает, что если есть прислуга, то для хозяйки обед на десять человек никакого труда не составляет».

Люда, со своим нелюбезным характером, с не очень вежливой манерой разговора, была ей не совсем приятна, но Татьяна Михайловна это чувство в себе подавляла без большого усилия и просила ее остаться у них: «Вот Аркадий скоро получит место, тогда снимете квартиру и переедете, зачем «Княжий двор»?» — говорила она. Но они решительно отклонили приглашение.

Рейхели приехали почти без денег, и опять Дмитрий Анатольевич не без труда заставил своего двоюродного брата принять некоторую сумму: «Ведь ты мне отдашь со временем и это, мне просто стыдно говорить о таких пустяках!» Ласточкину и прежде было совестно, что он настолько богаче Аркадия Васильевича. Теперь из-за неудачи с институтом его смущение еще усилилось. Он пробовал об этом заговорить.

— Все-таки Савва Тимофеевич еще не сказал своего последнего слова, и я надеюсь, что...

— Если б этот толстосум, твой Савва Тимофеевич, хотел дать деньги, то он давно дал бы, — перебил его Рейхель. — Я завтра же начну искать должности в учебных заведениях.

— Я всячески тебе помогу, поговорю с разными знакомыми профессорами, — сказал Дмитрий Анатольевич. Он действительно побывал у двух профессоров. Сведения тоже оказались не очень утешительными. Рейхелю обещали должность штатного приват-доцента, и то лишь с начала нового учебного года. Должность была без жалованья, с необязательным курсом, и часовой гонорар, при небольшом числе слушателей, мог приносить лишь гроши. Место в лаборатории предоставили тотчас. Аркадий Васильевич осмотрел ее. Она была довольно убогая даже по сравнению с парижскими, тоже не слишком роскошными. Он немедленно начал работать.

Рейхель почти сожалел, что приехал в Москву. В Париже они, имея двести рублей в месяц, жили вполне сносно: их знакомые, молодые ученые, работавшие в Пастеровском институте, были в большинстве беднее их. В Москве они через Ласточкиных оказались в обществе состоятельных людей. С московским гостеприимством их все стали звать к себе, а они в свою меблированную комнату не могли приглашать никого. У Люды нерасположение к богатым людям еще усилилось.

Отношения с Ласточкиными у них оставались корректными. Бывали у них раза два-три в неделю. Если хозяев не было дома, Рейхель уходил в кабинет и читал «Фигаро»; просматривал даже литературный отдел, хотя знал о французских писателях и интересовался ими так мало, как если б они жили на Новой Гвинее. Люда тоже заглядывала в эту газету, внимательно изучала отдел мод, просматривала и светскую хронику, читала о приемах у разных маркиз — с презрением, но читала. Приходили они к Ласточкиным больше потому, что им вдвоем было уж слишком скучно. Иногда ездили с ними в оперу, в Художественный театр. Общество Ласточкиных им не очень нравилось: деловые люди, поэты, музыканты.

— Они музыкой угощают купчин, а тем лестно, потому антиллигенция, — говорила Люда Аркадию Васильевичу.

— Ты просто завидуешь их богатству, — ответил он.

— Ну, как же, еще бы! Неужели ты думаешь, что я поменялась бы с твоей Таней?

— Думаю, что поменялась бы.

— Я, впрочем, ни минуты не сомневалась, что ты это думаешь!

Стычки между ними еще участились. Единственное утешение Рейхель находил в лабораторной работе. Его диссертация не вызвала того шума, на который он надеялся. Но теперь у него была новая идея, и она должна была заинтересовать мир биологов.

VIII

В сентябре 1905 года статс-секретарь Сергей Юльевич Витте после заключенного им в Портсмуте мира с Японией выехал обратно в Европу на пароходе Гамбург — Америка.

Во всех странах заключенный им мир был признан успехом России и приписан его уму и дарованиям. Особенно популярен Витте стал в Соединенных Штатах, где общественное мнение сочувствовало японцам. В Нью-Йорке он охотно принимал всех, кто хотел его видеть, выражал большую радость по случаю приезда в Америку, давал интервью, позволял себя фотографировать не только репортерам, но и простым любителям, вообще вел себя чрезвычайно просто и этим немедленно всех к себе расположил: ждали приезда чопорного царского сановника в мундире и орденах, окруженного множеством явных и тайных полицейских агентов; приехал же простой человек в штатском платье, ездивший и гулявший по городу без спутников, крепко пожимавший руку машинистам и кучерам, обмеивавшийся рукопожатием с кем угодно (к вечеру у него от рукопожатий неизменно болела рука, и он смазывал ее опподельдоком).

От охраны он вообще отказался. В первый же день его из посольства предупредили, чтобы он не ездил в еврейские кварталы Нью-Йорка

во избежание враждебных демонстраций, а то и покушения. Он немедленно поехал на Ист-Бродвей, там останавливал прохожих, называл свое имя и по-русски или на дурном английском языке расспрашивал их, не из России ли они, давно ли и как устроились, хорошо ли им живется. Заводил разговоры и об еврейском вопросе, причем высказывал либеральные мысли. При этом говорил искренне или почти совсем искренне. У него было жадное любопытство и даже некоторое общее расположение к людям — за исключением государственных людей: их он в громадном большинстве терпеть не мог. В серьезных же дипломатических переговорах держался очень гордо. С первых же слов объявил, что в случае неуступчивости японцев Россия будет продолжать войну и одержит со временем победу, что ни о какой контрибуции с ее стороны не может быть и речи. Мысль о контрибуции приводила его в бешенство; патриотом был всегда неподдельным. «Никогда Россия никому контрибуций не платила и теперь не заплатит», — говорил он. «Но ведь другие страны платили». «Другие страны — не Россия! Не заплачу, и кончено!» Этот вопрос был самым главным. Японцы требовали 1200 миллионов иен. «Хорошо, тогда будем воевать дальше, увидим, чья возьмет». Его уверенный тон и напористость речи действовали на всех. Впрочем, русским приближенным он сам говорил, что война проиграна, что продолжать ее нельзя. «Но разбита не Россия, а наши порядки и мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы». Все думали, что переговоры кончены. Одна парижская газета обратилась к Рокфеллеру с просьбой: не заплатит ли он из своих средств японцам эти 1200 миллионов ради спасения мира? Рокфеллер не заплатил. Не заплатил и Витте.

С инструкциями из Петербурга он мало считался. Говорил, что не привык получать наставления. На одну телеграмму министра иностранных дел графа Ламсдорфа ответил «может быть, не совсем деликатно». Приближенным объяснял, что в России реакционеры теперь «дрожат за собственное пузо», а либералы «больны умственной чесоткой». Полагался только на себя, не очень считался с советами Теодора Рузвельта, так что президент предпочитал помимо него телеграфировать царю о необходимости уступок. Довел также до сведения президента, что если на общем завтраке с японцами будет предложен тост за микадо раньше, чем за царя, то он, Витте, «не отнесется к этому спокойно». Рузвельт произнес тост «за обоих монархов».

Газеты везде теперь писали о Витте больше, чем о каком-либо другом человеке на земле. Он становился мировой фигурой и с гордостью думал, что это очень давно не выпадало на долю русских государственных людей. Под конец своего пребывания в Соединенных Штатах Витте стал так популярен, что и политические симпатии от японцев перешли к России. На параде военной школы в его присутствии будущие американские офицеры, позабыв о присутствовавших японцах, прошли церемониальным маршем с пением русского гимна. А на богослужении при выходе из церкви огромная толпа неожиданно запела «Боже, царя храни», и люди совали в карманы Витте подарки на память, кто безделушки, а кто и драгоценные камни.

Измучен он был необычайно. Сказались его тяжелые болезни, он плохо спал, втирал в грудь кокаин и все это тщательно скрывал: должен был производить впечатление богатыря. Про себя он думал, что жить ему недолго, что лучше было бы уйти на покой. Но большие умственные силы в нем оставались. Ему казалось, что он один может спасти Россию от хаоса. Смутно считал, что к хаосу идет и западная Европа, несмотря на ее процветание и внешнее спокойствие: европейские правители тоже шутят с огнем и едва ли не ведут мир к гибели по своему легкомыслию, слепоте и внутренней несерьезности, сочетающейся с глубокомысленным видом.

Некоторые поклонники и даже враги считали Витте гением. Витте был воплощением здравого смысла; именно это и делало его среди его собратьев необыкновенным человеком. Он обо всем, даже об аксиомах общепринятой политической мудрости, судил здраво и попросту. Часто, впрочем, себе и противоречил, всегда с необыкновенной самоуверенностью. Кроме gros bon sens *, умерявшегося властолюбием, его отличали иеже-

---

* изрядного здравого смысла **(франц.)**

лание и неумение быть справедливым к другим: в неудачах неизменно бывали виноваты его враги. Как ни осыпали его лестью, он себя гением не считал и даже несколько сомневался в существовании гениев, — разве какой-нибудь Гаусс или Толстой? — да и тех он принимал больше на веру: свою университетскую математику давно забыл, а романов читал мало. Во всяком случае, уж среди государственных людей он был самый замечательный и часто недоумевал: как другие не видят того, что ему так ясно?

На обратном пути его нервное расстройство еще усилилось. Дела на пароходе было мало, репортеров не было, можно было стесняться гораздо меньше. Витте, как прежде Бисмарк, был не сдержан на язык. К нему подходили пассажиры, знакомились, приносили поздравления. Он со всеми разговаривал, теперь просто болтал, — впрочем, больше тогда, когда дело шло о предметах не слишком важных. Он старался (не очень) говорить всем приятное, но это не всегда удавалось. В беседах с американцами искренне хвалил Соединенные Штаты, но добавлял, что, по-видимому, среди американцев много настоящих грабителей: «В Нью-Йорке с меня за номер, правда, из шести комнат и в лучшей гостинице, брали по 380 рублей в сутки, везде в Европе было бы втрое дешевле. А за обед с человека, притом за дрянной обед, я платил по тридцать рублей с персоны!» «Но ведь вы, конечно, платили из государственных денег?» «А это еще как сказать! Мне казна отпустила двадцать тысяч рублей, и я уже доложил вдвое больше своих. Может, вернут, а может, и забудут». Немцам объявлял, что всю жизнь стоял и будет стоять за мир и добрые отношения с Германией, но это нелегко: немцы куда менее культурны. чем французы или англичане. Знакомясь с людьми семитического облика, хвалил евреев за деловитость и ругал русских министров-антисемитов: «Просто дурачье! Они же требуют войны и присоединения к нам Галиции и Позена. Очевидно, им нужно, чтобы в России было еще больше евреев, а по-моему, и так совершенно достаточно! — говорил он. — И немцев, и поляков тоже больше, чем нужно».

Во Франции, завтракая с президентом Лубэ, он сказал, что считает антиклерикальную внутреннюю политику французского правительства вредной и бессмысленной. С русским послом еле разговаривал. Беззастенчиво уверял и соотечественников, и даже иностранцев, что этот старик выжил из ума и защищает не русские, а французские интересы «под влиянием парижских красавиц». Еще беззастенчивее отзывался о русском после в Англии: этот просто получает деньги от англичан. Витте сплетням верил охотно, а дурным сплетням верил почти всегда, особенно когда речь шла о политических деятелях. Их он ругал просто по долгой привычке, не слишком заботясь о правде, совершенно не стесняясь в выражениях, не боясь наживать себе врагов. Злой язык и природная грубоватость больше всего вредили его карьере.

В Париже он немедленно побеседовал с журналистами. Тотчас повидал и богачей. Чужое богатство почитал еще больше, чем Вильгельм, — вышел из небогатой среды. Но и большинство богатых людей он считал дураками, ничего в политике не понимавшими и тоже совавшимися в государственные дела. От разговоров же с политическими деятелями, особенно о Танжере и о франко-германских отношениях, он пришел в ярость: играют с огнем, ведут свою страну к катастрофе, как вели к ней Россию разные Плеве, Алексеевы, Безобразовы.

Витте и сам был карьеристом; личные цели и интересы в политике были совершенно естественным и неизбежным явлением. Но они становились преступлением, когда сочетались с недомыслием, а то и попросту с глупостью. Все эти Танжеры были не только не нужны, но чрезвычайно вредны и опасны. Он был рад уходу Делькассе: этот министр, видимо, подготовлял французский реванш, — а потом начнут готовить немцы, у каждой державы есть за что реваншироваться, то есть отвечать одной бессмысленной и преступной войной на другую. Витте находил, что прежде всего необходимо прочное и полное примирение Франции и Германии. Рувье нравился ему больше. Этот министр, очень недурно устроивший свои личные денежные дела, знал толк и в государственных финансах (что Витте особенно ценил); но и Рувье, очевидно, не решался сказать, что надо навсегда прекратить и разговоры о каких бы то ни было войнах.

Особенно же раздражали Витте разговоры о дипломатическом триумфе германского канцлера. Газеты об этом писали почти как об его собственном триумфе. «Только я заключил мир, а Бюлов получил княжеский титул за совершенно бессмысленное дело, грозящее общей катастрофой!» Впрочем, он сам хотел стать графом — и тут, по его расчету, германский канцлер мог пригодиться.

Его ждали в Париже приглашения: побывать на обратном пути в Россию у английского короля и у германского императора. Эти приглашения он принял бы охотно: был настоящим убежденным монархистом и ко всем монархам чувствовал природное расположение, хотя и думал, что ни один из них ничего в политике не понимает. Ответил, что должен запросить разрешение царя. Знал, что, во всяком случае, царь, очень в ту пору раздраженный против Англии, не разрешит ему повидать Эдуарда VII: «А жаль. Удалось бы повлиять на англичан. Может быть, в Лондоне удалось бы повидать новое, новых людей. Верно, тоже незначительных. Повидать Вильгельма, впрочем, разрешат».

Он читал в Париже русские газеты, которых давно не видел. Почти все писали о нем так лестно, как никогда не писали прежде. Пробегал все, что относилось к внутреннему положению России. Оно было очень тревожно. Значительная часть сановников стояла за решительную суровую борьбу с начавшимся революционным движением. Намечалась отправка в места, где происходили беспорядки, особо уполномоченных генералов, известных твердым характером. «Как бы ни были сильны эксцессы, — читал он в либеральном издании, — мы никак не думаем, что целесообразна борьба с ними всеми средствами, per fas et nefas *. К тому же надо твердо помнить, что эксцессы происходят с обеих сторон. Устроители «патриотических» расправ, однако, взысканиям не подвергаются. Благосклонно кое-кем приветствуются и бессмысленные сказки о японских миллионах, которыми якобы подкуплены либералы. Можно ли после небывалого в нашей истории военного поражения серьезно думать, что нужна революционная или иноземная пропаганда для возбуждения общего недовольства страны! В Цусимском бою четыре могучих броненосца, «Император Николай», «Орел», «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», сданы неприятелю. Официально сообщается, что контр-адмирал Небогатов и командиры этих судов по возвращении из плена будут преданы суду по 279-й статье военно-морского устава о наказаниях, карающей людей, не исполнивших своих обязанностей по долгу присяги и согласно требованиям воинской чести. Но кто же назначил на важнейшие должности людей, очевидно, не обладающих элементарными военными и человеческими качествами? Кто отправил на гибель всю эскадру Рожественского? Теперь сама газета «Чего изволите», так настойчиво требовавшая отправления балтийской эскадры на Дальний Восток и так долго выражавшая полную уверенность в ее победе, с неслыханным цинизмом сообщает, что ей было хорошо известно, что эта эскадра победить не может. Оказывается, доблестно погибший в Цусимском сражении командир броненосца «Александр III» Бухвостов откровенно и определенно говорил редактору этой почтенной газеты, что эскадра обречена на гибель и что ни малейших шансов на победу у нее нет! Столь же продумана и новая затея правительства. Нет, не очень помогут в борьбе с охватившим всю страну волнением missi dominici ** с карательными отрядами».

Витте не очень верил в искренность пишущих людей, но либеральным публицистам верил несколько больше, чем реакционным, и признавал совершенно правильным многое в их утверждениях. Теперь ему вдобавок было по пути с умеренными либералами. Они явно возлагали на него большие надежды. «Главный деятель портсмутской конференции статс-секретарь С. Ю. Витте возвращается теперь в Россию триумфатором, — читал он. — Нисколько не умаляя — и не преувеличивая — личных заслуг и дарований нашего знаменитого статс-секретаря, показавшего себя в Портсмуте и выдающимся дипломатом-психологом, мы, однако, думаем, что его сейчас на Западе чествуют и восхваляют не столько за прошлую и настоящую его деятельность, сколько за его вероятную будущую роль, за его положение единственного серьезного кандидата на пост руководящего министра Российской империи». Слова «и не преувеличивая» его раздражили. «Еще хорошо, что сами пока не лезут в «руководящие министры»! Скоро, конечно, полезут. Они, правда, немного лучше, чем какие-то missi dominici, о каких они пишут на своем профессорском языке».

---

* дозволенными и недозволенными (лат.)

** гонцы Господни (лат.)

Он понимал, что в одном, во всяком случае, газеты правы: на Западе его в самом деле все считают будущим главой русского правительства. Так думал и он сам, но еще немного колебался, соглашаться ли. Не лучше ли отойти в сторону? В душе, однако, знал, что в сторону не отойдет. Занимать должность главы русского правительства в 1905 году было опасно, но он был смелым человеком. Видел, что в России неизбежен конец самодержавного правления, хотел себя связать с большим историческим делом и понимал, что очень скоро восстановит против себя всех, и правых, и левых. С либералами еще можно было поладить, хотя он их вождей во главе с Милюковым называл «свихнувшимися буржуазными революционерами». Но реакционеры с давних пор были с ним связаны злой взаимной ненавистью. «Скоро поднимут вой! Мир заключен, затеянная ими безумная война кончена, теперь можно будет во всем винить меня».

Кроме приглашений к Вильгельму и к Эдуарду, он получил в Париже телеграмму от германского канцлера: Бюлов тоже изъявлял желание повидать его и приглашал в Баден, где временно находился на отдыхе. Эта телеграмма разозлила Витте. Бюлова он все-таки ценил несколько выше, чем других государственных людей: называл его человеком не очень умным, но даровитым и, главное, образованным. Сам он свои познания заимствовал преимущественно из газет и разговоров с учеными людьми: но именно поэтому высоко ценил образование в других. С германским канцлером он часто беседовал, особенно прошлым летом в Нордернее. Бюлов в разговорах беспрестанно цитировал писателей, философов, поэтов (знал на память огромное количество стихов на разных языках). Это было в первые дни знакомства интересно; но скоро он потерял интерес к своему утомительно-блестящему собеседнику. Вдобавок он цитатами отвечать не мог, а разговор надо было вести на более высоком уровне, чем обычно. Образованна была и графиня. В Нордернее расспрашивала его о декабристах и восторгалась Львом Толстым. О Толстом Витте ей сказал, что романист он действительно гениальный (может быть, в самом деле, «Войну и мир» или «Анну Каренину» прочел), но философия его просто детская. А о декабристах разговора не поддержал, так как о них не знал почти ничего. Про себя считал их благородными дураками: «Это в России-то начала прошлого века затеяли либеральную революцию! Хороши были бы, если бы их восстание удалось! И финансы бы оказались замечательные!»

Приглашение Бюлова показалось ему и непринужденным по форме. «Если б не Цусима, не стал бы меня вызывать к себе в Баден». Но канцлер мог выхлопотать для него у Вильгельма цепь Красного Орла, высший германский орден. Это и само по себе было бы приятно, а главное, тогда государю пришлось бы пожаловать ему графское достоинство, — нельзя наградить меньше, чем немцы. Впрочем, таковы были у него не определенные мысли, а нечто среднее между мыслями и инстинктом. Немного поколебавшись, он принял среднее решение: любезно ответил, что был бы очень рад повидать Бюлова в Берлине, а приехать в Баден при всем желании не может: спешит с докладом к царю.

Канцлер действительно приехал в Берлин. Они вдвоем очень приятно пообедали в знаменитом ресторане Борхардта. Говорили друг с другом в шутливом тоне. Оказалось, что Вильгельм примет гостя в своем охотничьем замке Роминтен, недалеко от русской границы. Бюлов и Витте оба любили поговорить. Посплетничали обо всех, — кого только оба не знали? Несколько более сдержанно, но и не слишком почтительно высказались каждый о своем монархе. Витте вспомнил, что когда-то выхлопотал Вильгельму у царя чин адмирала русского флота. «Не скрою, это было не так легко. Ваш кайзер стороной дал мне понять, что был бы этому отличию очень рад. Он обожает разные мундиры, я просто никогда этого не мог понять. Другое дело — ордена: они даются за настоящие заслуги, как, например, ваш Красный Орел». Больше ничего не сказал, но канцлер про себя подумал: «A bon entendeur salut [*]. Отчего бы и нет?» Занес в память и об адмиральском мундире. Был верноподданически предан Вильгельму (вдобавок и всем ему обязан), но подобные факты запоминал и впоследствии, без чрезмерной преданности, к слову сообщил в своих воспоминаниях.

Действительно, приехав в Роминтен, Витте узнал, что император жалует ему цепь Красного Орла. Был очень доволен, этот орден жаловался обычно принцам крови. Собственно, и графский титул был самому Витте не так уж нужен. Ему нужны были власть и — в меньшей мере — деньги. Но он знал, что жене будет очень приятно стать графиней. И, главное, придут в бешенство другие сановники, его враги и конкуренты.

После великолепия русского двора Витте не могли поразить ни берлинский, ни потсдамский двор. Его удивила скромность Роминтенского охотничьего замка и уклада жизни в нем. Замок был обыкновенным двухэтажным деревенским домом с очень просто убранными чистенькими комнатами. Так же прост был завтрак. Император и немногочисленные гости были в охотничьих костюмах, вели себя как приятели. До перехода в столовую Вильгельм сидел на ручке кресла Эйленбурга, — Витте подумал, что это было бы невозможно при русском дворе; понимал, что на него хотят подействовать фамильярностью, простотой, даже скромностью, вообще Вильгельму никак не свойственной. За завтраком император рассказывал не очень смешные истории и анекдоты, обращался преимущественно к русскому гостю. Это тоже было приятно. Как у большинства людей, у Витте отношение к человеку почти всегда в значительной степени определялось тем, как этот человек относился к нему. Вильгельм был с ним чрезвычайно ласков и любезен. За это можно было забыть о многих его политических делах, даже о поездке в Танжер.

Все же он не мог упустить случая. Были важные государственные интересы; они шли впереди наград, вернее, тесно с ними переплетались; но ни за какие титулы, ордена, деньги Витте не стал бы вести политику, ставящую себе целью войну. Он решил поговорить с императором серьезно, без шуток и анекдотов, — так, как собирался вскоре поговорить с царем: думал, что от этих двух людей теперь больше всего зависят судьбы мира. В Роминтене он был в ударе, как на особенно важных заседаниях при переговорах с японцами. Там была откровенная борьба, здесь борьба скрытая, но, быть может, в историческом плане еще гораздо более важная. И он за завтраком от общего ничтожного разговора чувствовал все росшее нетерпение.

После завтрака Витте попросил у Вильгельма разрешения поговорить с ним наедине. Они беседовали больше двух часов. По словам Эйленбурга, голоса звучали «bald lebhafter, bald schwächer» [**]. Вероятно, слово «lebhafter» относилось преимущественно к русскому гостю. Записи беседы не осталось, но кое-что сохранилось в воспоминаниях разных лиц, очевидно, спрашивавших позднее императора.

Для начала Вильгельм осторожно заговорил о внутреннем положении России. Витте крепко ругнул «анархистов». Социалистические теории интересовали его еще меньше, чем другие, он в них не разбирался, да и не хотел разбираться, и называл анархистами всех революционеров вообще. Ругнул он и «свихнувшихся либералов», серьезно думающих, что за ними есть какая-то сила в народе, тогда как народ к ним совершенно равнодушен и сметет их в случае революции в первые же дни. Говорил и тут, как почти всегда, искренне: «анархистов» терпеть не мог; их тоже считал в лучшем случае благородными дураками, а в худшем — прохвостами.

Вильгельм слушал с сочувственной улыбкой. Ему говорили о радикализме этого русского государственного деятеля, а он недолюбливал радикалов, даже иностранных. Затем Витте стал еще более злобно ругать русское правительство, и улыбка стерлась с лица императора: правительства, даже иностранные, ругать не следовало; как и его дед, он всегда в душе завидовал самодержавной власти царей.

---

[*] имеющий уши да услышит (франц.)
[**] то оживленно, то тише (нем.)

— Затеяли, ваше величество, безобразную, никому не нужную, преступную войну. Правда, объявила ее Япония. В Токио, верно, тоже есть достаточно дураков и сумасшедших. Но главные виновники — это наши жулики-концессионеры, разные аферисты и проходимцы, а также политика Плеве, господина Вячеслава Плеве (он иронически подчеркнул имя убитого министра). Ваше величество, верно, не знаете, что Плеве родом из немцев и в ранние годы назывался Вильгельмом, затем их семья ополячилась, и он стал Вацлавом, потом семья обрусела, и он оказался Вячеславом, — говорил Витте, беспорядочно перескакивая с одного предмета на другой; в увлечении не подумал даже, что в беседе с германским императором не следовало бы неодобрительно отзываться о немецком происхождении Плеве. — Вы о нем спросите вашего канцлера, князь Бюлов биографию этого господина знает. Да я это только к слову говорю, — поправился он, — дело, разумеется, никак не в его происхождении. Ну, хорошо, затеяли войну. Командующим армией назначен Куропаткин, это ничего, недурной генерал, хоть воли у него никогда не было. Он не хотел войны с Японией и вяло, как они все, говорил это Плеве, а тот ему в ответ: «Вы не знаете внутреннего положения России. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Хорошо, а? Вот и удержал!

Император привык к тому, что сановники часто терпеть не могут друг друга; но они обычно это скрывали, по крайней мере от него. Этот же без стеснения говорил вещи поразительные. Бюлов изумленно рассказывал, что, случайно встретившись с ним в Тиргартене в день убийства Плеве, Витте еще издали ему радостно закричал: «Приятное известие! («Une bonne nouvelle!»). Только что убит Плеве!»

— Да, войну вели неудачно, — осторожно сказал император. Он желал победы России, но ее поражение не очень его огорчало. — Ваше командование оказалось не на должной высоте.

— Можно сказать, что не на должной высоте! Ну, хорошо, назначили Куропаткина, а над ним адмирал Алексеев! Этот уж совершенная находка: главнокомандующий и наместник Дальнего Востока. Так-с, значит, два командующих. Вы Алексеева знаете, ваше величество? Полное ничтожество! Он и на лошадь сесть не может! Я два года тому назад был в Порт-Артуре и, как шеф пограничной стражи, устроил ей смотр. Разумеется, сел на коня. Я, хоть и штатский человек, а верхом езжу недурно. Как же в мундире на смотру быть не на коне? Явился, естественно, и Алексеев, ведь главнокомандующий, правда? Только он пеший. Спрашиваю, в чем дело. Оказывается, он отроду не ездил верхом, приближенные так, с улыбочками, мне и объяснили: ездить не умеет, боится лошадей. Хорош главнокомандующий миллионной армией, а? Да и это еще бы куда ни шло! Только он и о военном деле не имел никакого понятия. Вот так, с двоевластием, и начали войну! Остальное вы знаете. Россия очень могущественная страна, не дай Господи никому с нами воевать, — на всякий случай добавил он, вспомнив, с кем говорит. — А только эту войну мы позорно проиграли. Слава Богу, слава Богу, что мне удалось выпутать Россию с потерей только половины Сахалина. Не очень он нам нужен, этот каторжный Сахалин, слава Богу, земель у нас достаточно...

— Ваша заслуга велика, — вставил слово Вильгельм, слушавший его с все увеличивавшимся любопытством. Но перебить Витте было нелегко даже императору.

— Я тоже думаю, что велика, это так. Я по ночам не спал, все боялся, что упрутся японцы. Вот и увидите, как меня в Петербурге отблагодарят, я наперед знаю. Так вот, что же теперь? Я, ваше величество, всю жизнь был сторонником самодержавия, не лежит у меня душа к конституциям. Да что же нам делать? Разве можно сохранить самодержавие без подходящего самодержца, при совершенно расшатанном государстве? Все страны перешли к конституционному правлению. По складу моей души, по моим семейным традициям, мне любо неограниченное самодержавие, да что в том, когда его больше в России никто не хочет, кроме горсти разных предводителей дворянства, придворных, полковников от котлет? Пусть это человеческое заблуждение, но надо понять, что таков

ход истории. Верно, это исторический закон, что в настоящее время должны править представители народа, хоть они ничего в государственных делах не смыслят. Эту линию я и буду вести, если меня сразу не выгонят: «Заключил мир, ну, и ступай ко всем чертям!»... Потом выкинут все равно. Им еще, правда, нужен большой внешний заем, а кому, кроме меня, в Европе дадут деньги? Поведу, поведу эту линию, Бог мне судья, — говорил Витте, точно убеждая себя самого. — Только где взять людей для этой самой конституции? Придется звать либералов, других нет, не Трепова же брать? Он честный человек, но в душе полицеймейстер. Из старых только один человек есть, Дурново, он умница и знает дело. Знает дело, знает дело, — повторял он, задумавшись.

Вильгельм заговорил о внешней политике, упомянул о свидании в Биоркэ с царем: там положено начало тесному сближению между Германией и Россией. Витте слушал его рассеянно. Давно прошло то время, когда его могло по существу интересовать мнение монархов да, собственно, и громадного большинства людей вообще.

— Тесное сближение — это очень хорошо, — сказал он, не дослушав. — Тесное сближение между всеми странами, а для начала между Россией, Германией и Францией. Главное — это, чтобы никому ни с кем больше не воевать! Это самое главное, ваше величество! Иначе все династии погибнут. А следовательно, надо прекратить и дурацкие вооружения. — Вильгельм взглянул на него очень холодно. — Именно они главным образом и мешают населению всех стран безбедно жить, а это только на руку анархистам. От вооруженного мира народы страдают не менее, нежели от войны. Разве европейские страны могут себе позволить такие дикие, непроизводительные, бессмысленные расходы? Европа, это я еще лет восемь тому назад говорил вашему величеству, когда вы изволили беседовать со мной в Петербурге, Европа — вообще дряхлеющая старушка: подурнела, пожелтела, морщины, выпадают зубы, еле дрыгает ногами, бывшая красавица. Да и прежде красавицей она была сомнительной. Об ее величии со временем будут вспоминать, как мы вспоминаем о величии древнего Рима. С той разницей, что римляне хоть знали, чего хотят. Ерунды хотели, мирового владычества, но знали, чего хотят, а мы и этого не знаем. А тут еще колониальные авантюры с подрыгиванием, тоже решительно никому не нужные, кроме генералов и спекулянтов. Вот мне в Париже уши прожужжали о Марокко, на вас жаловались, ваше величество, уж вы не гневайтесь. Очень жаловались на Германию и, быть может, не без основания, хоть и они сами ничем не лучше, демократические господа французы. Им Марокко так же нужно, как вам, — говорил он, не обращая внимания на то, что лицо у Вильгельма стало ледяным. Несмотря на свою привычку ко двору, Витте совершенно не был придворным человеком и с королями, даже с императором Николаем, даже с Александром III, разговаривал, не стесняясь в выражениях.

Он долго говорил, что необходимо прочное и вполне искреннее дружеское соглашение между мировыми державами. Но, взглянув на императора, подумал, что весь разговор был ни к чему: этот человек тоже в главном ничего не понимает. «Неврастеник!» Витте знал, что государственные деятели в большинстве неврастеники вследствие самих условий их жизни и работы. Вильгельм был одним из самых могущественных неврастеников в мире: «Может, очень может погубить себя, — это бы еще ничего, — но с собою и весь мир!» У него пропала охота к продолжению разговора. Голоса стали «schwächer» *.

Еще немного поговорили о предметах незначительных. Концом разговора Вильгельм остался доволен. «Es war grossartig» **, — говорил своим приближенным император. Перед обедом министр двора принес в комнату гостя цепь Красного Орла да еще портрет Вильгельма в золотой рамке с собственноручной надписью: «Portsmouth — Biorkö — Rominten. — Wilhelm Rex».

Теперь графский титул был почти обеспечен. Слово «Биоркэ» в надписи немного удивило Витте. Он в Биоркэ не был и текста договора не знал. В Петербурге узнал от графа Ламсдорфа и рассвирепел:

---

* тише (нем.)

** это было великолепно (нем.)

— Вот так штука! Мы до сих пор были обязаны защищать Францию от Германии, а теперь обязались защищать Германию от Франции! Хорошо, очень хорошо! Этот договор надо немедленно уничтожить! Я так прямо и скажу государю императору при следующем же свидании.

Но первым свиданием на яхте «Штандарт» он был растроган. Государь в самых милостивых выражениях благодарил его за успешное выполнение в Портсмуте данного ему тяжелого поручения, сказал, что получил от германского императора письмо, в котором тот восторженно о нем отзывается. Сообщил, что возводит его в графское достоинство. Витте растроганно благодарил и поцеловал царю руку.

На следующий же день его в реакционных кругах прозвали «графом Полусахалинским». Он сам любил забавные шутки, но был очень зол. Немного его утешили очевидная ярость врагов и то, что, узнав о пожалованном ему титуле, Муравьев заболел черной меланхолией.

IX

Семь духов. Владыки гор, ветров, земли и бездн морских,
Дух воздуха, дух тьмы и дух твоей судьбы,—
Все притекли к тебе, как верные рабы,—
Что повелишь ты им? Чего ты ждешь от них?
Манфред. Звбвения.
Первый дух. Чего — кого — зачем?
Манфред. Вы знаете. Того, что в сердце скрыто,—
Прочтите в нем — я сам сказать не в силах.
Дух. Мы можем дать лишь то, что в нашей власти:
Проси короны, подданных, господства
Хотя над целым миром,— пожелай
Повелевать стихиями, в которых
Мы безгранично царствуем,— все будет
Дано тебе.
Манфред. Забвенья — лишь забвенья.
Вы мне сулите многое: ужели
Не в силах дать лишь одного?
Дух. Не в силах.
Быть может, смерть...
Манфред. Но даст ли смерть забвенье?

На вечерах у Ласточкиных обычно собиралось человек двадцать пять или тридцать. Хозяева одинаково были рады всем, не считались с известностью гостя, всем говорили приятное, всех кормили и поили на славу. Татьяна Михайловна говорила Люде, что меняет состав гостей, так как всех одновременно принимать не может. «Надо было бы звать сто человек, если не больше, стулья еще можно бы взять напрокат, но не оказалось бы места в зале и особенно в столовой». «А вы купили бы особняк где-нибудь на Поварской»,— сказала Люда. «Ни за что! Митя так любит нашу квартиру, и я люблю»,— ответила Татьяна Михайловна, редко отвечавшая на колкости и совершенно не понимавшая, зачем люди их говорят. Она всегда в разговорах с Людой делала вид, будто колкостей не замечает.

Мелодекламация не вошла в моду в Москве. Настоящие музыканты ее не признавали. На вечерах Ласточкиных она устраивалась в первый раз: известный драматический артист читал «Манфреда» под шумановскую музыку. Среди гостей преобладали артисты, профессора, политические деятели. Писателей Татьяна Михайловна немного остерегалась: уж очень много пьют. «Ну, напиться может кто угодно, даже профессор»,— возражал Дмитрий Анатольевич.

Впрочем, и он писателей, особенно поэтов, звал к себе менее охотно, чем других. На вечере у одной из Морозовых слышал чтение молодого Андрея Белого, ничего не понял, был немного испуган и к себе его не позвал. Не очень понравились Ласточкину и вполне понятные стихи, как революционные в политическом и художественном отношении, так и необычайно удалые, народные, «кондовые». Ему казалось, что эти литераторы выбрали свою поэзию как самый легкий путь к скорому успеху и затем приобрели к ней профессиональный интерес. По его наблюдениям, главное у них заключалось в желании непременно изобрести что-то новое, еще никем не использованное. Один из них хвастал, что свое стихотворение написал небывалым размером (дал сложное название), который нигде в литературе до него не встречался. Дмитрий Анатольевич говорил жене, что именно вследствие этой погони за новизной они очень похожи один на другого. «Идет игра в лотерею известности. Многие выигрывают — очень ненадолго. Собственно, они все должны были бы ненавидеть друг друга. Но, кажется, этого нет: отношения скорее благодушные, каждому из них было бы без других очень скучно... Может, я и вообще несправедлив к ним. Что ж делать, я ни одному их чувству не верю, не верю искренности хотя бы одной их строчки... Ты, наверное, моих мыслей не одобряешь?»

Татьяна Михайловна в самом деле не одобряла. «Всякому делу надо учиться, а ты, Митенька, этому не учился. Если ты не знаешь, например, что такое пеон четвертый, то и судить по поэзии нельзя». «А по-моему, можно, хотя я не знал даже того, что они, проклятые, нумеруются!» «Ну, а уж насчет «искренности», то тут уж я просто не понимаю, как можно судить: искренен ли поэт или нет? Всякого человека надо считать искренним, пока не доказано обратное. А эти, что читали на вечере, уж, во всяком случае, поэты талантливые». «Способные — да, даровитые — может быть, а очень талантливые — не думаю. И, по-моему, настоящую литературу губят именно книги «так себе», никак не хорошие, но и никак не плохие»,— нерешительно возражал Дмитрий Анатольевич.

В Москве литературные салоны были в большей моде, чем музыкальные. Ласточкин у себя устроил музыкальный, понимая, что такой у него выйдет лучше. Музыку он любил всякую, но хоть умел отличать хорошую от плохой. Татьяна Михайловна вообще была против устройства «салона»; несмотря на свое общее расположение к людям, больших приемов не любила: почти всегда бывает скучновато, не то что когда соберутся пять или шесть друзей. Однако все их знакомые что-то у себя устраивали, надо было платить приглашениями за приглашения; она подчинилась желанью мужа и старалась, чтобы приглашенные скучали возможно меньше, хорошо ели, хорошо, но в меру пили. На их большие приемы в дополнение к их собственному повару приглашался еще клубный: Ласточкин находил, что если один повар готовит больше, чем на десять-двенадцать человек, то ужин не может быть хорошим. На этот раз клубный повар был новый, Татьяна Михайловна не была в нем уверена и немного беспокоилась, особенно за «бэф Строганов». С улыбкой вспоминала очень скромные ужины в Харькове у воспитывавшей ее небогатой, бережливой тетки. Родителей она потеряла в раннем детстве, тетка тоже давно умерла, и из родных у нее оставался только двоюродный брат, теперь петербургский помощник, присяжного поверенного. Ее муж очень его не любил, и они, бывая в столице, не всегда даже заезжали к нему с визитом.

Дмитрий Анатольевич волновался много больше, чем жена, но по другой причине. Этот вечер несколько отличался от их обычных: после ужина Ласточкин предполагал экспромтом устроить обмен политическими мнениями и сказать краткое вводное слово (о чем не предупредил жену). Надеялся, что артисты, поужинав, уйдут: у каждого из них обыкновенно бывало по несколько приглашений в день, и везде, несмотря на тревожное время, пили шампанское. Артисты, конечно, для политических бесед не годились: «могут только нести чушь». Но профессора и политические деятели очень годились, хотя бы второстепенные: первостепенные уехали в Петербург — «переговорить с графом Витте».

Всеобщая забастовка кончилась, прогремел на весь мир манифест 17-го октября, Витте стал главой правительства. Радость была необычайная. Правда, за манифестом последовали в провинции погромы евреев и интеллигенции, вызвавшие общее негодование. Все сходились на том, что это последние действия черной сотни: на прощание мстит за свое полное и окончательное крушение.

Поддался общему восторженному настроению и Дмитрий Анатольевич.

— Вот меня нередко попрекали чрезмерным оптимизмом,— говорил он; при всей своей искренности забыл, что его оптимизм ослабел в последние месяцы.— А вот вышло все-таки по-моему. Увидите, какой расцвет скоро настанет! После десяти лет свободного строя Россия станет первой страной в мире. Да, большой, очень большой человек Витте!

Татьяна Михайловна совершенно с ним соглашалась. Люда спорила. Вернее, начала спорить приблизительно через неделю после манифеста: московская партийная организация получила письмо от Ленина. Он говорил, что революция только началась, что он возвращается в Россию для ее углубления, называл Витте черносотенцем. Люда стала говорить то же самое, но из снисходительного отношения к взглядам Дмитрия Анатольевича смягчала отзыв о председателе совета министров.

— ...Дался вам этот Витте! И он, конечно, скоро уйдет или будет свергнут начавшейся революцией. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти, — говорила она, не зная, что эту популярную в истории русской публицистики шиллеровскую фразу повторял в Петербурге, приписывая ее Шекспиру, сам Витте в переговорах с либералами. Грозил им своей отставкой и предупреждал, что ему на смену очень скоро придут совершенно другие люди.

Рейхель не обрадовался ни манифесту, ни приходу к власти графа Витте и почти одинаково ругал правых и левых. Дмитрий Анатольевич только разводил руками: «Спорить можно с консерватором, но нельзя спорить с человеком, совершенно равнодушным к политической жизни. В сущности, ты нигилист, Аркаша!» — говорил он. «Уж я не знаю, кто я такой, только ничего хорошего не будет». «Почему не будет? На предельный пессимизм тоже отвечать нечего. Разумеется, мы все умрем, а может быть, через миллион лет кончится и наша планета, хотя нет никаких причин это утверждать. Но жить надо так, точно мы будем существовать вечно!» «Не вижу ни малейших оснований», — говорил Аркадий Васильевич.

Поэма Рейхелю не нравилась. «Говорят, «верх гениальности»! Вздор. Любой из наших доморощенных сочинит не хуже... Там, в первом ряду справа, расселись толстосумы, всех перевешать. И морды какие самодовольные. Они готовы осчастливить Россию, но царь по своей отсталости не предлагает им портфелей. А за их пятипудовыми дочерьми увиваются идейные присяжные поверенные; идейность — это хорошо, но идейность с миллионным приданым еще лучше. Люда с кем-то «высоко держит знамя». Разумеется, социал-демократическое, хотя она так же охотно и так же случайно могла стать социал-революционеркой... Нина делает вид, будто слушает Тонышева. Только вчера его сюда затащила Люда, и вот он уже у них на вечере!»

Тонышев накануне обедал у Ласточкиных и всем, кроме Рейхеля, очень понравился. После его ухода Дмитрий Анатольевич расспрашивал о нем Люду, а вечером говорил о нем наедине с женой:

— Очень милый человек. Кажется, он нравится Нине?

Татьяна Михайловна засмеялась.

— Я, как толстовский Алпатыч, на три аршина под тобой вижу. Да, и мне показалось, что он Нине понравился. В самом деле, он был бы для нее отличной партией.

Дмитрий Анатольевич смущенно улыбнулся.

Нина внимательно слушала. Стихи и музыка казались ей прекрасными. Она любила музыкальные вечера в доме брата. Политические же разговоры слушала плохо. Накануне за обедом Люда резко отозвалась о царе. Тонышев тотчас замолчал.

— Я с вами не согласна, — сказала Нина. — У царя прекрасные, истинно человеческие глаза. Таких я у революционеров не видела.

— А где, собственно, вы революционеров видели, Нина?

— Видала. Они иногда к Мите заходят.

— Значит, вы судите о политике в зависимости от глаз?

— Да, сужу и в зависимости от глаз. Человек с такими глазами не может быть злым. А это и в политике главное.

— Я с вами согласен, Нина Анатольевна, — с жаром сказал Тонышев.

Люда рассмеялась. Татьяна Михайловна тотчас перевела разговор.

Манфред. ...Но все равно, — душа таить устала
Свою тоску. От самых юных лет
Ни в чем с людьми я сердцем не сходился
И не смотрел на землю их очами,
Их цели жизни я не разделял.
Их жажды честолюбия не ведал.
Мои печали, радости и страсти
Им были непонятны...

«Да, да и это тоже обо мне сказано, быть может, еще больше, чем монологи Росмера», — думал Морозов. Он не читал «Манфреда» и еще не понимал смысла поэмы. «Или он скрывает какое-либо преступленье?.. Что же ему дает эту власть над людьми? Мне — Никольская мануфактура, а ему будто бы духи и наука? Какие духи? А о науке он и сам говорит, что это «обмен одних незнаний на другие». Все равно, власть есть, но в самом деле «что пользы в том?»

Манфред. Мы все — игрушки времени и страха.
Жизнь — краткий миг, и все же мы живем,
Клянем судьбу, но умереть боимся.
Жизнь нас гнетет, как иго, как ярмо.
Как бремя ненавистное, и сердце
Под тяжестью его изнемогает.
В прошедшем и грядущем (настоящим
Мы не живем) безмерно мало дней,
Когда оно не жаждет втайне смерти,
И все же смерть ему внушает трепет,
Как ледяной поток...

«Да, все так, все так! Но какие же темные силы так грозно над ним тяготеют? Я не знаю и того, какие тяготеют надо мной. Разве Департамент полиции?» Ему в последнее время казалось, что полиция следит за ним все внимательнее. «Разумеется, я в точности не знаю, что с моими деньгами делают все эти Красины. Говорят, они готовят восстание?.. Связи связями, власть властью, а могут предать суду, засадить в тюрьму. Не все ли равно?»

Нервы у него совершенно расшатались за последний год. Он теперь постоянно ждал больших несчастий. Боялся своих рабочих, боялся революции, разорения, большевиков, Департамента полиции. Никаких радостей больше не оставалось. Вино надоело, театр надоел, любовница ушла, другую искать не хотелось. «Манфред, верно, покончит с собой. Но никакой теории самоубийства я у него не вижу. Если человек кончает с собой по какой-либо определенной причине, то тут ничего удивительного нет. Другое дело, если он убивает себя без причины... Зачем еще появился в поэме этот аббат? Конечно, у аббатов есть на все ответ. Жаль, очень жаль, что у меня нет веры предков, но если нет, то и нет. Я не понимал никогда и теперь не понимаю, как вера есть у большинства людей, а когда-то была у всего человечества? Жизнь в ту пору была гораздо более страшна, чем наша. Творились в мире неслыханные зверства, людей пытали, четвертовали, сажали на кол. Вспомнить только войны семнадцатого века, хотя бы у нас: что творили казаки, поляки, татары, великороссы, просто читать нельзя. Теперь нет всего этого и, конечно, больше не будет. Но стали ли мы счастливее? Все же в ту пору бывали и периоды мира или хотя бы затишья, и уж в эти периоды люди были неизмеримо счастливее нас. Была вера, твердая, непоколебимая вера, в которой не сомневался, не мог сомневаться никто, кроме разве отдельных смельчаков, отчаянных в природном самоволии людей... У всех других было вечное, твердое утешение. Быть может, оно мелькало даже в потухающем сознании тех, которые доживали последние минуты на колу: «Еще час — и кончится мука, начнется вечная, счастливая жизнь!» И, может быть, человечество когда-нибудь проклянет людей, ставших полтораста лет тому назад эту веру расшатывать. Но они свое дело сделали, и для нас это кончено. Откуда я возьму веру предков? И что же меня попрекать ее отсутствием? Уж если попрекать, то каких-нибудь Вольтеров, Дидро или Шопенгауэров, да и тех бессмысленно. Они тоже искали того, что называли правдой, и даже какую-то правдишку предложили. А еще какой-нибудь другой правдишкой живет, например, Красин. Впрочем, у него она так, для больших оказий, для разговоров, когда не о чем другом говорить. Всерьез же он занят революционной карьерой и еще больше составлением собственного капитальца. И Горький занят тем же, его «творчеству» грош цена, как только я этого не видел прежде? Он сам мелодекламатор. Всю жизнь обманывал других, да немного, гораздо меньше, и самого себя... И я тоже достаточно мелодекламировал, больше невмоготу, всего с меня достаточно, пора уходить... Как могут жить старики восьмидесяти — девяноста лет, зная, что каждый день считан и что впереди только предсмертные мучения? Мне тоже решительно нечего ждать. Надо, чтобы мысль о смерти стала привычной, ежедневной, автоматической. И для этого полезно всегда носить с собой револьвер, как я и сейчас ношу. Отвыкнуть от любви к жизни трудно, но я отвыкаю, и чем больше ее бояться, тем лучше.

Тогда легче умирать. Самое самоубийство может быть автоматическим действием, иначе труднее покончить с собой».

Он оглянулся и встретился взглядом с Людой, оба тотчас отвели глаза. «Это еще кто? Красива. Быть может, и она готова была бы отдаться мне? То есть не мне, а Никольской мануфактуре. Совершенно бескорыстно мне никто не отдавался, все с оглядкой на Никольскую мануфактуру», — думал он с все росшим отвращением от людей и от жизни.

Аббат. Увы, ты страшен — губы посинели —
Лицо покрыла мертвенная бледность —
В гортани хрип. — Хоть мысленно покайся!
Молись — не умирай без покаянья!
Манфред. Все кончено — глаза застлал туман —
Земля плывет — колышется. Дай руку —
Прости навек.
Аббат. Как холодна рука!
О, вымолви хоть слово покаянья!
Манфред. Старик! Поверь, смерть вовсе не страшна.
(Умирает.)

Аббат. Он отошел — куда? — страшусь подумать —
Но от земли он отошел навеки.

«Да, замечательная поэма, — думал Морозов. — Сегодня же дома прочту все. Кажется, Байрон в одном из шкафов должен быть... Можно бы, собственно, уехать и до ужина, да они не отпустят. Скажут: надо обменяться впечатлениями. На всех таких вечерах обмениваются впечатлениями, если за ужином не выпьют столько, что уж не до впечатлений». Он не видел в зале ни одного человека, с которым ему хотелось бы поговорить о «Манфреде». «Да, если смерть не будет страшна, то, конечно, уж в жизни ничто не может быть страшно».

Он прежде не бывал у Ласточкиных и, собственно, не знал, почему принял приглашение на этот раз. Дмитрий Анатольевич пригласил его накануне, при случайной встрече. Его, как всех, поразил вид Саввы Тимофеевича. «Просто узнать нельзя! Глаза совершенно мертвые! Может, у нас немного развлечется?»

— Не приедете ли, Савва Тимофеевич? У нас будет сеанс мелодекламации...

Морозов вспомнил, что недавно отказал Ласточкину в пожертвовании на институт, и принял приглашенье. «Постараюсь уехать возможно раньше». Но, как только началось чтение, поэма его захватила.

«Не понимаю, просто не понимаю, — с недоумением думал Ласточкин. — Почему это его тяготит жизнь, «как бремя ненавистное»? Он был еще бо́льшим баловнем судьбы, чем Морозов... И именно эти баловни судьбы ее клянут! Я, пожалуй, тоже баловень, но, во всяком случае, гораздо меньший, и я всегда обожал жизнь, и никогда у меня и мысль о самоубийстве не могла бы возникнуть... Не привирал ли все-таки и этот гениальный поэт? Откуда бы у молодого лорда, не очень давно выпущенного из английской школы, любившего выпить и поухаживать за дамами, могли быть такие демонические чувства?» Впрочем, Дмитрий Анатольевич слушал рассеянно: все больше волновался перед своим вступительным словом к беседе.

Люда тоже не очень слушала. Вначале старалась заметить и запомнить какой-либо отдельный стих, который мог бы пригодиться. Потом ей надоело: она не любила долго слушать, даже когда читались важные политические доклады; прения уж были много интереснее, особенно если выступали язвительные ораторы. Устало от поэмы и большинство слушателей; почти все подумывали, что хорошо было бы перейти в столовую. «Слава Богу, кажется, сейчас умрет Манфред, — думал Аркадий Васильевич. — И совсем не так умирают люди. Никто в агонии не говорит: «Глаза застлал туман, земля плывет, колышется»... «Но от земли он отошел навеки»! Разумеется, если человек умирает, то отходит навеки, — не очень оригинальную мысль высказал аббат... Кажется, Морозов поглядывает на дверь, едва ли Таня его отпустит... Вот теперь явно конец, и Митя поблагодарит за доставленное нам всем высокое наслаждение»...

У Ласточкиных на больших обедах не раскладывали перед приборами карточек: Татьяна Михайловна знала, что гостям приятнее садиться где угодно и что они обычно сами не садятся там, где им не полагалось бы. Все же артиста она пригласила сесть рядом с собой. «Ну, что ж, это правильно: ведь могла бы посадить на почетное место толстосума», — подумал Рейхель. Сам он сел с аккомпаниаторшей и еле поддерживал с ней разговор. Поглядывал на других гостей; познакомился в доме двоюродного брата почти со всеми. «Купчих немного: сестры Шмидт, да еще одна Саввовна и одна Саввишна, в их династиях это отчество различается, чтобы не спутать. А Люда села к обер-Савве. И уже болтает с ним так, точно они с детства знакомы! Кто еще? Тот, кажется, тенор? Брюнетка виолончелистка... Остальные — «цвет интеллигенции», длинные седые бороды, лбы мыслителей, все как полагается. Воображаю, как мыслители весь вечер старались подавлять зевки. Ничего, теперь отдохнут, шампанское будет литься рекою, и «дружеская беседа затянется далеко за полночь». А кто те два молодых субъекта рядом с Шмидтихами? Довольно противные физиономии». От скуки и злости он мысленно подсчитал, сколько мог стоить Мите прием: «Верно, рублей триста, недурной микроскоп можно было бы купить».

— Да, отличная рыба, — сказал он аккомпаниаторше. Она была недовольна угрюмым соседом и делала тщетные попытки заговорить.

— Пожалуйста, подлейте мне немного шабли. Превосходное вино. Но вас, верно, винами не удивишь: вы ведь, кажется, с женой долго жили во Франции?

— Мы там пили «ординер» в тридцать сантимов бутылка, — мрачно ответил Аркадий Васильевич. Он опять подумал, что в Париже жил приятнее, чем в Москве. «И общество было интереснее». Его общество составляли во Франции молодые биологи: политических эмигрантов Люда к себе не звала, зная, что он был бы с ними нелюбезен и совершенно для их разговоров не подходил.

Люда сидела рядом с Морозовым. Это вышло случайно, но она была довольна: «Никитич говорит, что он умница. Посмотрим». Язык у нее от водки быстро развязался.

— Я знаю, кто вы такой, — говорила она. — Знаю, что вас зовут Саввой. А как ваше отчество?

— Тимофеевич, — ответил Морозов, вероятно, впервые слышавший такой вопрос.

— Меня зовут Людмила Ивановна. Вы, верно, себя спрашиваете, кто я такая? Мой муж Рейхель — двоюродный брат хозяина дома. Он сидит с той дамой в темно-зеленом платье, которая сегодня аккомпанировала... Впрочем, он не совсем мой муж, у нас гражданский брак. Это вас не слишком шокирует?

— Помилуйте-с, нисколько.

— Вы не удивляйтесь, я всегда всем это говорю при первом знакомстве. Мне о вас рассказывал ваш друг Красин. Ведь он ваш друг?

— Нет-с, но мы хорошо знакомы. Выдающийся человек, что и говорить-с, — сказал он и подумал, что и эта, верно, сейчас попросит денег.

Люда выпила еще рюмку.

— Я давно дала себе слово, что не буду в жизни считаться ни с чем условным, ни с какими предрассудками, особенно с буржуазными. Знаю, что и вы такой же... Вы читали Коллонтай?

— Не читал-с. Это, кажется, о свободной любви-с?

— Да, и о свободной любви-с, — весело сказала Люда. — Она замечательная женщина и очень красива. Хотя и не такая красавица, как о ней говорят... Вы, конечно, удивляетесь, что у Дмитрия Анатольевича и особенно у Татьяны Михайловны такая свойственница? Они ведь оба воплощение буржуазности, благовоспитанности и всего такого. Я и сама этому удивляюсь.

— А ваш муж тоже такой?

— Такой, как они, или такой, как я? Ни то, ни другое. Мой муж ни благовоспитанный, ни неблаговоспитанный, он просто вне этого. Рейхель, говорят, замечательный ученый.

— Вот как? Не биолог ли?

— Почему вы знаете? Ах, да, я и забыла, ведь он вам подавал какую-то записку о биологическом институте. Вы денег не дали, но вы, верно, такие записки получаете каждый день. Знаю, что вы много жертвуете.

Жертвуете и на революционные дела. Слышала. Сорока на хвосте принесла... Это любимая поговорка Ильича.

— Какого Ильича-с?

— Ленина. Не делайте вида, будто о нем не знаете. Вы давали деньги нашей партии.

«Так и есть, теперь попросит,— подумал он.— Странная дама».

— Такого не помню-с.

— Не помню-с,— передразнила его Люда.— Не конспирируйте, я в охранку не донесу, я сама социал-демократка. Помогать нашей партии — обязанность каждого порядочного человека. Но вы не бойтесь, я у вас денег не попрошу. По крайней мере здесь, а то с Татьяной Михайловной, верно, случился бы удар.

Она расхохоталась так, что на нее с некоторой тревогой оглянулись и Рейхель и хозяева дома. «Впрочем, мне совершенно все равно, что она ему говорит»,— подумал Аркадий Васильевич.

— Не давал-с,—угрюмо повторил Морозов. Он стал нелюбезен и еле отвечал Люде. В последнее время вообще не только не старался нравиться людям, но старался не нравиться. «Покончить с собой хорошо уж и для того, чтобы не ходить на обеды и не разговаривать вот с такими вульгарными особами. Да и все тут хороши, начиная с меня».

Он обвел взглядом комнату, и ему показалось, что за столом сидят скелеты, одни скелеты, плохо прикрытые одеждой. «Скоро ими и будем... Все же это начало галлюцинаций. Да, либо дом умалишенных, либо то».

— Вам понравилась мелодекламация? — спросила Нина своего соседа Тонышева.

— Сказать искренно? Байрон понравился меньше, чем Шуман. Я знал когда-то Байрона чуть не наизусть... Впрочем, это преувеличение: не наизусть, но знал хорошо. И мне всегда казалось, что он... Как сказать? Что он уж очень сгущает краски.

— Кого же из поэтов вы любите?

— Больше всего Шиллера. Это смешно?

— Почему смешно?

— Потому, что отдает пушкинским Ленским, а где уж у меня «кудри черные до плеч»? Моя молодость прошла, Нина Анатольевна. Мне больше тридцати лет. Ведь вам это кажется старостью, правда?

— Нисколько,—ответила Нина чуть смущенно и перевела разговор.—Я тоже люблю Шиллера, но все-таки люди у него не живые.

— Разве это важно? Я отлично знаю, что маркиз Поза — не живой человек. Однако главное—это задумать прекрасный образ, который остался бы навсегда в памяти людей, а как он выполнен, менее важно. Поэты по-настоящему живых людей не создают.

— Некоторые создают. Пушкин, например.

— Вы правы! — не сразу, точно вдумавшись, сказал Тонышев.— Я солгал, говоря, будто больше всего люблю Шиллера. По-настоящему, как русский человек, всем предпочитаю Пушкина.

— И я.

— Вы что у него предпочитаете, уж если мы заговорили о поэзии? По-моему, говорить о ней—это лучший способ понять человека, а мне так хочется вас понять... И мы ведь все пронизаны литературой, хотим ли мы этого или нет.

— Все у Пушкина прекрасно, но лучше всего, по-моему, последняя песня «Евгения Онегина» и «Капитанская дочка».

— Я так рад, что мы с вами и тут сходимся! («А в чем еще?» — подумала Нина).—Я ответил бы то же самое! Но «Капитанскую дочку» я особенно люблю до Пугачевского бунта. Конечно, это, если хотите, примитив: «Слышь ты, Василиса Егоровна»... «Ты, дядюшка, вор и самозванец»... Толстой подал бы людей не так. Но какой изумительный, какой новый в русской литературе примитив!

— Да ведь примитивы итальянской живописи—гениальные шедевры,— сказала Нина. «Уж очень он литературно говорит. Но милый,— подумала она. Ей впервые пришло в голову, что этот дипломат мог бы стать ее мужем.— Странно. Совсем не нашего круга. Пошла бы я? Надо было бы подумать. Впрочем, ерунда, он в мыслях меня не имеет».

— Разумеется. И «Капитанская дочка»—тоже шедевр. Но, начиная с бунта, в ней появляется авантюрный роман, вдобавок чуть слащавый и приспособленный к цензурным требованиям... А знаете, кого я еще из поэтов люблю? Алексея Толстого. Вы, верно, видите в этом признак плохого вкуса?

— Нисколько, хотя мне не очень нравятся его стихи.

— Он был, если хотите, самый находчивый, самый изобретательный из русских поэтов, перепробовал все жанры, все ритмы, все напевы. А главное, я уж очень люблю его как человека... Мне когда-то хотелось быть на него похожим!

— Да вы и в самом деле, кажется, на него похожи. Я помню его биографию.

— К сожалению, только во взглядах... Кое-чем, впрочем, и в жизни. Вы помните, что он был однолюб, всю жизнь любил только свою жену,— быстро вставил Тонышев и тотчас вернулся к прежнему разговору.— Может быть, мрачный тон Манфреда—признак возвышенной души, но мне он вполне чужд. Я обо всем этаком, манфредовском, никогда и не думаю. А вы?

— Я тоже нет.

— И слава Богу! Я уверен, что и сам Байрон в Миссолонги страстно мечтал выздороветь и зажить обыкновенной человеческой жизнью. В ней ведь так много радостей, и больших, и малых.

— Это всегда говорит мой брат.

— Правда? Какой милый ваш брат! И его жена тоже! Я так благодарен Людмиле Ивановне, что она ввела меня в ваш гостеприимный дом. Вы ведь очень близки с ней?

— С Людой? Да, мы в хороших отношениях.

— Она на вас непохожа. Я потому и позволил себе спросить.

— По-моему, она слишком резка. Люда, по существу, добра, но у нее злой язык.

— Если вы это говорите, то и я позволю себе сказать то же самое... Конечно, вы и ваш брат совершенно правы: очень много радостей в жизни, и я за них всегда благодарю Бога. Разве не большая радость—вот то, что мы здесь сидим с вами?.. В вашем милом доме, в обществе умных, хороших людей. Я так рад нашему знакомству! — говорил Тонышев, глядя на нее уже почти с восторгом.

Нина ничего особенно умного и интересного не сказала, но с первого знакомства понравилась ему чрезвычайно. Ему давно хотелось жениться; он даже сам над собой иногда посмеивался: «При встрече с любой красивой барышней присматриваюсь как к возможной невесте!» При этом мало интересовался состоянием или родством барышни. Денег и связей у него у самого было достаточно. Были только полусознательные пределы, из которых он не мог бы выйти: на революционерке вроде Люды не мог жениться почти так, как не женился бы на горничной. Но Нина из его пределов не выходила: об этом свидетельствовали и разговоры, и уклад жизни в семье Ласточкиных. Он плохо знал ту среду, которая называлась «буржуазной». «Это, во всяком случае, приятные и культурные люди».

— Господа, кофе будем пить в гостиной,—сказала, вставая, Татьяна Михайловна.

Некоторые гости сочли возможным проститься тотчас после ужина. Все были очень довольны приемом. Простился и артист, он должен был выступать еще где-то, мог это делать и два, и три раза за ночь.

— Спасибо, от души вас благодарим, вы нам доставили такое большое удовольствие. Не решаюсь вас просить продлить его: в самом деле, что же еще можно читать после «Манфреда»?—ласково говорила хозяйка. «Теперь осталась только тяжелая артиллерия, ну, да это ничего»,—подумала она. Дмитрий Анатольевич проводил уезжавших, в передней пошутил сколько было нужно и вернулся в гостиную, еще больше волнуясь. «Главное—это начать. Сейчас ли? Жаль, что я не предупредил Таню. Она еще огорчится... А может, гостям теперь не до серьезных разговоров: удобно устроились с чашками кофе, а тут «политическая беседа». Ну, да что ж делать?»

В гостиной разговор шел о мелодекламации.

— ...Артист он, конечно, изрядный, но эта ваша мелодекламация есть вещь гибридная, — сказал Никита Федорович Травников, пожилой профессор истории права. Он был добрейший, любезиейший человек, всем оказывал услуги, но вечно кипятился, возмущался и непременно хотел считаться «злым языком». Называл себя «потомственным почетным москвичом» по аналогии с потомственными почетными гражданами и в самом деле принадлежал к старому, хотя и не знатному, московскому дворянству. Он и говорил так, как говорили в старой дворянской Москве, без купеческого или народного аканья. Любил вставлять в свою речь старинные, даже церковно-славянские слова, а то французские или чаще латинские. По политическим взглядам с той поры, как и в его кругу стало обязательно иметь политические взгляды, причислял себя к «либеральным консерваторам». Был душой обедов и банкетов, шутливые тосты произносил отлично, знал толк в винах, но ни разу в жизни не был пьян. Брил бороду в ту пору, когда ее все носили, и говорил, что ее брили его духовные предки, римляне, первый народ в мире, создавший науку права; но отпустил бороду, когда она вышла из моды: русскому человеку бриться не надо. Знал он решительно всех, почти со всеми был дружен; но уверял, что на «ты» был в жизни только с одним человеком, и тот оказался провокатором. Студенты его обожали, он нх всех знал в лицо, на экзаменах никого не проваливал и никому не ставил высшей отметки: «пять поставил бы только Савиньи, и с досадой, потому немец». Ласточкины очень его любили, и он их очень любил, хотя Татьяну Михайловну благодушно корил еврейским происхождением, а Дмитрия Анатольевича называл перебежчиком: переметнулся от буржуазии к интеллигенции.

— Опера — тоже гибридный жанр, — возразила Люда.

Ласточкин тревожно на нее взглянул. «Ох, она навеселе! Что ж, если начинать, то сейчас. Но не стучать же ложечкой по стакану!»

— Так оно и есть, барынька, — сказал Травников. — Но я в опере слов никогда и не слушаю.

— А в «Манфреде» слова чудесные. Это вам не Андрей Белый, — сказал профессор-литературовед.

— Почему, кстати, сей юный поэт Боря Бугаев именует тебя Андреем да еще Белым? Отчего не Голубым?

— Да, ведь, разумеется, он сын нашего почтеннейшего математика Николая Васильевича? — спросил Скоблин, один из первых хирургов Москвы, известный, в частности, своим необыкновенным хладнокровием. Он после обедов с водкой и винами уезжал в клинику и там очень искусно производил сложнейшие операции.

— Яблоко от яблони недалеко падает.

Никита Федорович рассказал последний анекдот о профессоре Бугаеве, который будто бы изругал извозчика за то, что тот на козлах сидел к нему спиною. Все смеялись.

— Все же превосходство новых революционных поэтов над старыми не подлежит сомнению, — сказала Люда еще громче. — Я уверена, что они все проштудировали Маркса.

— Барынька, да какие же они революционеры? Я слышал, что за винным зельем они поругивают «жидов».

— Это неправда!

Дмитрий Анатольевич воспользовался случаем:

— Не знаю, штудируют ли Маркса поэты, но в рабочих кругах его влияние все растет, и это...

— И это в высшей степени отрадно, — перебила его Люда.

Ласточкин бросил на нее умоляющий взгляд — «помолчи хоть немного!» — и заговорил. К некоторому удивлению Татьяны Михайловны и гостей, заговорил не в обычном тоне, а так, как люди начинают речь; это было видно по его интонации и по чуть поднятому голосу. Впрочем, он шутливо попросил гостей не пугаться:

— Я не намерен занимать долго ваше внимание, а лишь хотел бы положить начало некоторому обмену мнениями с людьми, гораздо более компетентными в политических делах, чем я. Положение, как всем известно, достаточно серьезно. Что ж, du choc des opinions jaillit la vérité,[*] — сказал Дмитрий Анатольевич.

— А, ну, ну, посмотрим, какая такая истина, — заметил Рейхель саркастически. Все взглянули на него с недоумением: он обычно не принимал участия в разговорах.

Ласточкин повторил, что считает положение очень тревожным, и не только в России, но и во всем мире. Недавняя вызывающая поездка Вильгельма II в Танжер показала, что мы были на волосок от европейской войны. Кайзер, очевидно, хотел использовать момент русской слабости. Об этом поговорили, а теперь забыли или забывают. Везде гораздо меньше интересуются общим мировым положением, чем небольшими текущими делами каждой данной страны. О внешней политике и вообще говорят больше разве только на парадных конгрессах. Японская война, сравнительно небольшая, привела Россию чуть не к революции и, во всяком случае, к 9-му января. Что же будет с Европой, если так же случайно, из-за каких-либо европейских Безобразовых, начнется всеобщая война?

Дмитрий Анатольевич, на деловых собраниях говоривший очень гладко и хорошо, теперь от непривычной темы, от удивленных взглядов гостей запинался и не мог справиться с мыслями. Пытался было вернуться к шутливому тону, но и это не вышло.

— Один мой знакомый, — сказал он, — сообщил мне, что Витте в разговоре с Вильгельмом назвал Европу престарелой, увядающей красавицей, медленно идущей к гибели. Можно быть разного мнения о Витте, но нельзя ведь отрицать, что он очень умный человек.

— Это отрицать можно-с, — перебил его сердито Морозов. Он недавно разговаривал с главой правительства, и этот разговор оставил у него очень неприятное впечатление: Витте «дружески» посоветовал ему заниматься промышленностью и бросить политику: «Вы в ней, Савва Тимофеевич, ничего не понимаете. Сльшал, вы даете миллионы на революцию. Не советую, очень не советую», — многозначительно сказал он.

— Я был с делегацией у Витте, — сообщил старый земец. — И он ничего об опасности европейской войны не говорил.

— Разумеется, — подтвердил Скоблин.

— В самом деле на Витте ссылаться незачем, Дмитрий Анатольевич, — сказал видный сотрудник «Русских ведомостей». — Дело не в его уме, но он уже наглядно доказал, что у него очень ограниченный кругозор. Ведь он считает Александра III великим монархом и лучшей формой правления признает самодержавие с хорошим царем. В сущности, его политика, сдается мне, в значительной мере определяется его личной ненавистью к «ныне благополучно царствующему монарху» и еще...

— Это было бы не так плохо, — вставила, смеясь, Люда.

— И еще личным честолюбием.

«Точно ты личного честолюбия совершенно лишен. Или я», — с недоумением подумал Тонышев, хотя ему хотелось находить прекрасным все в доме Ласточкиных.

— Вы говорите, барынька, о марксизме и поэзии, — отечески, но неодобрительно сказал Травников. — Наш почтенный коллега князь Трубецкой говорит, однако, о мещанах марксизма. Считает, что нет более мещанской интеллигенции, чем наша: у нас будто бы есть мещане марксизма, мещане позитивизма и даже мещане идеализма.

— Верно, ваш почтенный коллега выжил из ума.

— Разумеется, — подтвердил хирург. Он постоянно пользовался этим словом, иногда совершенно некстати. Слушал не интересовавший его разговор очень рассеянно. Смотрел на бородавку на щеке у земца и думал, что было бы очень просто и легко ее удалить, заняло бы две минуты.

— Он умнейший человек, я его очень люблю и почитаю, — обиженно возразил сотрудник «Русских ведомостей», — но о мещанстве нашей интеллигенции он говорит зря. Достаточно привести в пример его самого, а уж он интеллигент из интеллигентов.

— Это верно, хотя его июньское соло во дворце оставляло желать лучшего, — сказал Травников. — Но об европейской войне, Дмитрий Анатольевич, невозможно говорить. Если б Вильгельм хотел войны, то он объявил бы ее полгода тому назад, когда вся наша армия завязла на Дальнем Востоке. Тогда он взял бы нас голыми руками.

---

[*] в споре рождается истина (франц.)

Старый земец с этим не согласился:

— Это бабушка надвое сказала. Не вся наша армия завязла, и у нас есть союзница Франция, и в случае войны с Германией наш народ встал бы как один человек! — с силой сказал он.

— И взял бы власть в свои руки.

— Ну, еще как будет править наша богоспасаемая деревня: Дырявино, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка тож, — сказал земец. Он в юности был народником и даже, как Кравчинский, рыл в далеком глухом имении глубокое подземелье для устройства тайной типографии и печатанья поэмы «Стенька Разин». Но на старости лет немного разочаровался в народе и вспоминал о подземелье с грустным умилением.

— Отлично будет править. И, во всяком случае, мировой пролетариат никогда не допустит европейской войны, — сказала Люда.

— По моему бабьему суждению, Вильгельм поскакал в Танжер больше для того, чтобы лишний раз увидеть свои портреты во всех журналах мира, — сказала, смеясь, Татьяна Михайловна. Она видела, что неожиданное выступление мужа не удалось, была огорчена и хотела замять дело. — Господа, кто хочет чаю? У нас «богдыханский», как уверяют в магазине.

— С удовольствием выпью чайку, барынька, — сказал Травников. — А насчет войны, Дмитрий Анатольевич, вы будьте совершенно спокойны. Симпатии к нам на западе все растут. Вот Кнут Гамсун так обожает Россию и все русское, что у нас в Москве клал в щи икру.

Все смеялись.

— Он ненавидит Соединенные Штаты еще больше, чем любит нас.

— Рад, что любит Россию, и жалею, что ненавидит Соединенные Штаты, — сказал, улыбаясь, Ласточкин. Он тоже видел, что из обмена мнениями ничего не вышло, и потерял охоту к разговору: не мог отвечать сразу и о Витте, о Трубецком, и о мировом пролетариате, и о Неелове-Неурожайке тож, и о щах с икрой Кнута Гамсуна. Сделал вид, что не очень хотел начинать политическую беседу, и приятно улыбался, чтобы гости не подумали, будто он обиделся.

— Уж какая там европейская война, — сказал Травников. — А вот конституция у нас будет и очень скоро. Мы должны твердо сказать Витте «do ut des»! *

— Да что же мы-то «do»? Налоги, что ли? Немного.

— Ну, так «facio ut des».** Авторитет в народе у нас, слава богу, есть. И у государя нет другого выхода. Вот что мне вчера рассказывали...

Разговор пошел обычный, о петербургских и петергофских новостях. «Прекрасные они все люди, цвет нашей интеллигенции, таких, быть может, на западе мало, но чего-то им не хватает», — грустно думал Ласточкин. Татьяна Михайловна поглядывала на мужа ободрительно: не беда.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Не устроившись как следует в Москве, Рейхель решил попытать счастья в Петербурге. Люда всячески его в этом поддерживала. Революционное движение не только не прекратилось после манифеста 17-го октября, но еще усилилось. Шел глухой слух, будто в столице ожидается вооруженное восстание. «Во всяком случае, Москва — провинция. Центром будет Питер», — говорила Люда социал-демократам из московского комитета. Сама она в комитет не входила, была этим обижена и огорчена. Товарищи отвечали ей уклончиво. «Без Ильича я и вообще никуда не попаду!» — думала Люда. Ленин же, по слухам, находился в Петербурге. Ей очень

---

* даю, чтобы дал **(лат.)**
** делаю так, чтобы дал **(лат.)**

хотелось принять участие в восстании. Об опасности и не думала, как не думают о ней гимназисты, отправляющиеся добровольцами на войну.

Жизнь в Москве ей надоела. Было у нее еще и другое основание желать скорейшего отъезда, хотя о нем она старалась не вспоминать. Тонышев теперь чуть не ежедневно бывал у Ласточкиных и явно ухаживал за Ниной. С ней же при встречах был вежливо-холоден и называл ее по имени-отчеству. «Верно, Нина сообщила ему, что я «гражданская». Стоило вводить его в их дом!» Она нисколько не была влюблена в Тонышева, любила Нину, но постоянно встречать их в доме Дмитрия Анатольевича было ей неприятно. «Пусть женятся, совет да любовь, мне совершенно все равно, а танцевать на их помолвке я не желаю. Очень влюбчив господин эстет».

Рейхелю она, конечно, иначе представляла необходимость переезда.

— Посуди сам, Аркаша, — говорила она миролюбивым, почти ласковым тоном. — Здесь тебе только обещают в лучшем случае штатную доцентуру. Часового гонорара для жизни не хватит, придется и дальше брать деньги у Мити. Ведь надо же этому положить когда-нибудь конец!

— Конечно, надо. Мне это нестерпимо тяжело. Но именно для переезда придется у него взять денег, и какая же гарантия в том, что в Петербурге мне что-нибудь предложат? Разве у нас умеют ценить людей?

«Других умеют», — подумала Люда. Она считала его выдающимся ученым: «Хоть это же у него есть!» Но неудачи Рейхеля еще усилили в ней раздражение против него. Сама этого стыдилась: «При чем тут удачи и неудачи? Что они доказывают? Во всяком случае, он настоящий ученый и труженик. Просто ему не везет. И Митя все-таки его несколько подвел. Он не виноват, что институт не создался, но зачем обещал золотые горы?» — думала она. «В Петербурге, если место найдется, Аркадий будет совершенно счастлив. Ведь ему почти ничего не нужно. Ему нужно спокойно работать и непременно в своей лаборатории, чтобы быть совершенно независимым. По той же причине ему необходимо, чтобы у него не было никаких долгов. То, что он берет деньги у Мити, у него настоящий пункт умопомешательства. Роскоши, денег он даже не любит, он один из самых бескорыстных людей, каких я когда-либо знала. — Старалась думать о нем справедливо. — И еще ему нужна женщина, да и то не очень нужна»...

— Гарантии, конечно, нет, но там возможностей, верно, больше.

— Что ты об этом знаешь?

— Штатную доцентуру можно получить и там. Хуже в этом отношении, чем здесь, в Питере, наверное, не будет. Там и я найду, наконец, платную работу.

— Не знаю, почему ты ее найдешь именно там. У тебя нет никакой квалификации, — угрюмо ответил Рейхель. Он и не хотел, чтобы Люда вносила свои деньги в хозяйство; сказал это больше потому, что теперь им обоим было трудно разговаривать без колкостей. Тотчас раздражилась и она.

— Пока и тебе не слишком помогла твоя «квалификация»... Хочешь, я сама поговорю с Митей? Татьяна Михайловна будет очень рада нашему отъезду, а он особенно спорить не будет. Предупреждаю, он потребует, чтобы ты взял много денег. Я возьму.

— Ни в каком случае!

— Тогда говори сам. Всем известно, что ты джентльмен и что он джентльмен, ты преимущественно снаружи, а он и внутри. Вообще вся ваша порода состоит из джентльменов. Нина — тоже воплощение благородства, хотя страстно хочет выйти замуж за Тонышева, он ведь богат и делает блестящую карьеру.

— Я, конечно, не такой замечательный психолог, как ты, и не берусь делать характеристику твоей сложной натуры. По-моему, твоя трагедия в том, что ты считаешь себя чрезвычайно умной, тогда как на самом деле ты дура, — сказал Рейхель, совершенно разозлившись из-за «ты преимущественно снаружи». Он сам тотчас почувствовал, что для «колкости» это уж несколько сильно. Таково, впрочем, было в последнее время его искреннее убеждение.

Они поссорились. С Ласточкиным Аркадий Васильевич поговорил на следующий же день.

— ...Что ж делать, я должен искать платной работы. Не могу без конца быть тебе в тягость,— сказал он.

— Ну, что ж, попробуй,— сказал Дмитрий Анатольевич.— Мне так жаль, что...

— Надеюсь, я там найду работу,— перебил его Рейхель. Он имел привычку недослушивать собеседников и даже не подозревал, что это может их раздражать.

В поезде он с Людой почти не разговаривал. Как только они в Петербурге устроились в «Пале Рояле», Рейхель отдал ей половину денег, полученных от двоюродного брата.

— Митя заставил меня принять тысячу рублей,— сердито сказал он.

— Но зачем ты мне даешь половину?

— Так вернее. Если я потеряю, останутся твои. Если потеряешь ты, останутся мои.

— Да ни ты, ни я никогда денег не теряли. Впрочем, как хочешь. Я спрячу четыреста в свой чемодан.

— И я спрячу четыреста в чемодан.

— Только твой не запирается на замок,— сказала Люда с некоторым недоумением: «Тогда какое же «если потеряешь»?»

Оба целый день бегали по Петербургу. Рейхель посещал профессоров. Оказалось то же, что в Москве: предлагали место в лаборатории и обещали должность штатного приват-доцента. Все же обещания были несколько определеннее, и одна из лабораторий оказалась хорошей. Он встречался с Людой лишь за обедом, да и то не всегда. На беду у него разболелись зубы. Надо было ходить ежедневно к дантисту, ждать долго очереди в приемной, проделывать мучительное лечение. Настроение у Аркадия Васильевича становилось все хуже. Люде было его жалко. «Все равно скоро конец»,— думала она. Рейхель думал то же самое. Полусознательно он именно для этого отдал ей половину денег.

Она повеселела, оказавшись в родном городе. Тотчас побывала в партийном комитете, но адреса Ленина не узнала. Ей отвечали, что не знают сами: Ильич скрывается и постоянно меняет комнату, живет отдельно от жены и даже отдельно от нее приехал из-за границы.

— Да, я понимаю, что шпики теперь ищут усиленно,— сказала Люда многозначительно: давала понять, что ей известно о предстоящем восстании.— Да ведь у нас теперь есть своя газета. В какие часы Ильич бывает в редакции?

— В самые неопределенные. Туда тоже могут нагрянуть. Он уже замечал, что за ним ходит «гороховое пальто».

— Пойду в газету. Я с Лондона Ильича не видела,— сказала Люда обиженно.

— Правда, ведь вы тогда были с ним на съезде,— сказал один из членов комитета, Дмитрий, грубовато-веселый и добродушный человек.— Значит, своими глазами видели, как от мартовцев остались рожки да ножки? Ильич и теперь их по головке не гладит. Вот что, завтра в газете состоится редакционное собрание. Назначено на пять часов, значит, начнется в шесть. Приходите пораньше, может, его и поймаете. Приглашены все литераторы, с декадентами включительно. Ох, народ!

— Неужто Ильич пригласил и декадентов?

— С проклятьями, но пригласил. Как же теперь без них? Надо же, чтобы газету читали. Да и пенензы* достала жена Горького, а она сама чуть ли не декадентка... Вы там Морозова не видели?

— Видела-с. Говорила-с,— сказала она. Член Комитета засмеялся.

— Побольше бы таких, как он, болванов-буржуев. Так вот, повидайте Ильича и захаживайте к нам. Люди очень нужны, работаем с раннего утра до поздней ночи.

— Вся вложусь в дело! — обрадовавшись, сказала Люда.

II

Она отправилась в редакцию в указанное ей время. Подходя к дому, с восторгом увидела, что через улицу, оглядываясь по сторонам, бежит Ленин, в пальто с поднятым каракулевым воротником. Они столкнулись у входа. Он еще раз оглянулся и, поспешно войдя в дверь, поздоровался с Людой приветливо, но так, точно видел ее накануне. На этот раз в ее отчестве не ошибся.

— Ильич, сколько лет, сколько зим!.. Я так рада! Мне нужно о многом с вами поговорить. Где и когда можно?

Он, поднимаясь по лестнице, только показал рукой на шею.

— Почтеннейшая, сейчас не могу. Разве после заседания, если у вас что-либо важное?

«Почтеннейшая»,— подумала Люда.

— Не знаю, как для вас, Ильич, а для меня очень важное. Разумеется, в партийном отношении. Ведь заседание очень затянется? Где же мне вас ждать?

— А вы пройдите в редакционную, послушаете.

— Вы меня в сотрудницы не звали.

Он взглянул на нее изумленно. «Хороша ты была бы сотрудница!.. Впрочем, и другие не лучше»,— подумал он.

— Где же мне было вас искать? Милости просим. Это тут, прямо. Если вас спросят, скажите, что я вас пригласил.— ответил он и, улыбнувшись, исчез за боковой дверью.

Заседание еще не началось. Люда только заглянула в комнату. Там стояло много стульев, ни один не был занят. «Нет, что же сидеть одной?» Но и в передней стоять одной было неловко. «Вернусь минут через десять, когда соберется народ». Она вышла и увидела, что по лестнице, шагая через две ступеньки, поднимается Джамбул. Обрадовалась ему еще больше, чем Ильичу. Он тоже улыбнулся очень радостно, совсем не так, как Ленин.

— Люда, какими судьбами?

— Вы-то, Джамбул, какими судьбами? Вот и думать не думала, что вы в Петербурге!

— И я не думал,— сказал он, отворяя перед ней дверь. В передней расстегнул шубу и оглянулся. Вешалки не было. Не было и зеркала. «Еще элегантней, чем был прежде!» — подумала Люда.— Как это, дорогая моя, вы здесь очутились?

— Пришла на редакционное совещание. Я ведь сотрудница. Вы тоже?

— Как же, как же. Буду писать баллады и рождественские рассказы. Надеюсь, вы никуда сейчас не убегаете?

— Не убегаю. Я просто в восторге, что встретилась с вами! Всегда мы встречаемся в разных партийных учреждениях. Так было и в Брюсселе. Сколько воды с тех пор утекло!

— Да, немало. Где вы живете?

— В «Пале Рояле». Я только пять дней тому назад приехала из Москвы.

— С мужем?

— С Рейхелем, но я вам давно говорила, что он не мой муж. А где и с какими гуриями живете вы?

— Так легкомысленно нельзя говорить у социал-демократов. Это «трефное».

— Да я ничего легкомысленного не хотела сказать, это у вас такое воображение. Давайте сядем здесь в углу. Или вы хотите уже идти на заседание?

— Отнюдь не хочу. Верно, там уже собрались вице-Бебели, надо будет вести умные разговоры, а я не умею. Где вы сегодня ужинаете? Хотите, поужинаем вместе?

— С великой радостью. Но Ильич обещал поговорить со мной после заседания.

— Неужели вы верите его обещаниям? Мне он тоже обещал и давным-давно забыл.

— Зачем же вы пришли?

— Послушать умных людей.

— Все-таки вы не настоящий большевик.

— Разумеется, не настоящий! Подделка самой грубой работы.

---

* деньги (польск.)

— Кто же вы?

— Я склоняюсь к мистическим анархистам. Они ваши «друзья слева», как кадеты называют вас.

— Вы не изменились, вечные шутки!

Отрываясь от болтовни, Джамбул негромко называл ей проходивших людей. Некоторых она сама узнавала по фотографиям из «Нивы». Это были очень известные писатели.

— Видите, какие вдохновенные лица, — говорил он вполголоса. — У них мировая скорбь!

— «Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое»...

— Ничего, они и с «роковым» все доживут до восьмидесяти лет и умрут от простаты или от болезни печени. Сколько Савва Морозов платит за «роковое» построчно?

— Какой гадкий вздор! И очень хорошо, что доживут!

— Нет, не очень хорошо. Человек не должен умирать развалиной, и вообще не надо жить долго.

— Да, знаю, вы Полиоркет! Во всяком случае, вы видите, что за Ильичем идет весь цвет русской литературы.

— Сейчас, верно, прискачет из Ясной Поляны и Лев Толстой. Надеюсь, ему послали приглашение срочной телеграммой? — спросил Джамбул. — Ну, пойдем все-таки слушать внце-Бебелей.

На улице Джамбул расхохотался.

— Ох, ловкий человек Ленин... Дока!.. Кажется, так говорят: дока? — сказал он. Когда редакционное заседание кончилось, они минут десять ждали в передней. Затем справились, им ответили, что товарищ Ленин давно ушел.

— Верно, Ильич забыл, что назначил мне свидание, — смущенно сказала Люда.

— Разумеется, забыл! Просто забыл! — весело говорил Джамбул.

К приятному удивлению Люды, он назвал извозчику очень дорогой ресторан. «Значит, отец прислал много денег», — подумала она. По дороге он обнял ее за талию, что удивило ее еще больше. Болтал со смехом о заседании и очень хвалил Ленина.

— Ему министром быть бы! И как хорошо он председательствовал! Вы заметили, как он ловко говорил с этим поэтом, как его? Красавцу очень хотелось написать политическую статью, а Ленин «отсоветовал» так учтиво и почтительно: «Зачем вам разбрасываться? Арабскому коню воду возить! Вы пишете такие изумительные стихи!» Разумеется, он его и человеком не считает, а в его стихи отроду и не заглядывал: должно быть, никогда в жизни никаких стихов не читал.

— Неправда! Ильич обожает Пушкина. Да он и сам пишет стихи, правда, шуточные.

— Неужели? Может, и «станцы» пишет? Ужасно люблю слово «станцы», хотя не знаю, что оно, собственно, значит. Как надо говорить: станец или станца? По-моему, станцем называется сарафан, но, вероятно, поэты лучше знают. У Пушкина есть станцы, по форме чудесные, а по содержанию довольно гадкие: «В надежде славы и добра»... Это он от Николая-то ожидал добра!

— У Пушкина «стансы», а не «станцы»!

— Это один черт. Впрочем, мне все равно. Вы сегодня необыкновенно хороши собой! — говорил он. Люда смотрела на него с некоторой тревогой, но ее радость от встречи с ним все увеличивалась.

В передней ресторана он с минуту поправлял перед зеркалом шелковый галстух, который, впрочем, и до того был в полном порядке. Люда смотрела на него с насмешливой улыбкой.

Он потребовал, чтобы им дали отдельный кабинет.

— Помилуйте, Джамбул, зачем нам отдельный кабинет? Это совершенно не нужно!

— Совершенно необходимо. В общей зале могут быть шпионы, — ответил он шепотом, наклонившись над ней и глядя на нее блестящими глазами. — Вас тотчас узнают, схватят и повесят, а я не хочу, чтобы вас

вешали, у вас такая удивительная шейка. Просто как у Дианы! Кажется, это у Дианы была знаменитая шея?

— Это вас надо бы повесить, — сказала Люда, еще больше озадаченная «шейкой».

— Для начала мы с вами выпьем водочки. Очень холодно, правда?

— Совсем не холодно, еще и не зима, — ответила она, стараясь говорить сухо. — Вы надели шубу, верно, чтобы щегольнуть бобровым воротником.

— Я южанин, мне в Петербурге и в ноябре холодно... Вы любите шашлык?

— Нет. Не люблю лука.

— Тогда не буду есть и я.

Обед он заказал так, точно всю жизнь обедал в дорогих ресторанах. «Еще подучится и станет не хуже, чем Алексей Алексеевич, — подумала Люда, вспоминая о Тонышеве уже без неприятного чувства. — Ну, и пусть женится на Нине, мне-то какое дело!»

— Какое шампанское вы больше любите?

— Все равно. Клико... Не слишком ли много вы пьете? — спросила она, когда лакей отошел.

— Это не ваше дело.

— Вы грубиян... Но симпатичный грубиян.

— И, пожалуйста, не говорите хоть за обедом об Эрфуртской программе.

— Да я никогда о ней не говорю, что вы выдумываете! А об Ильиче говорить можно?

— Я видел его в Женеве и раз у него обедал. Надежда Константиновна была со мной очень любезна. Даже пива дала. Она милая женщина и неглупая. Именно такая жена и нужна Ленину, хотя она несколько злоупотребляет несомненным правом каждой женщины быть некрасивой.

— И даже очень злоупотребляет. Но меня Крупская не интересует. Расскажите об Ильиче подробнее. Вы имели с ним тот разговор?

— Нет, еще не имел.

— Ось лыхо! Да что же вы, наконец, хотели ему сказать?

— В двух словах не объяснишь. Впрочем, песню помните? — спросил он и вполголоса пропел с тотчас усилившимся кавказским акцентом:

Нам не так бы, др-рузья
Пр-равадить н-наши дни!
Вместо д-дела у н-нас
Р-разга-воры адни!

— Это у Ильича-то «р-разгаворы адни»!.. Хорошо, что же он там делал?

— Пописывал, пописывал. Я был у него и в «Сосиете де лектюр», где он целый день работает. Есть же такие чудаки, которые целый день работают в библиотеках. Я отроду в них не был! В первый раз и побывал, когда за ним зашел. Он должен был меня познакомить за городом с Гапоном.

— Не может быть!

— Разве вы не слышали, что Владимир Ильич связался с этим господином? Гапон вошел в большую моду на западе. «Ле поп руж» загребает деньги от поклонников и от газет. Верно, Ленин у него попользовался для партии. Они затеяли какое-то дело со шхуной «Графтон», которая должна была доставить оружие, кажется, в Кронштадт. Разумеется, села на мель. Дело в принципе глупым не было, во всяком случае, получше, чем журнальчики. Но не вышло. Ох, эти теоретики! Я зашел в библиотеку, вижу, он ходит по комнате и что-то про себя бормочет, видно, обдумывал гениальную статью. Библиотекарь смотрел на него, как на сумасшедшего. А Гапон приехал на наше свидание верхом! Он в Женеве учился стрелять из револьвера и ездить верхом! Хорошо ездил! — Джамбул расхохотался.

— Что же за человек Гапон?

— Разумеется, прохвост.

— Почему вы так думаете?

— Как почему? Во-первых, вокруг Владимира Ильича почти все прохвосты, он их обожает. А во-вторых, если священник связался с Лениным, то он прохвост уже наверное.

— Да вы сами, Джамбул, чуть ли не верующий!

— Но не мулла. Когда стану муллой, брошу революцию. Аллах революции не любит. Однако повторяю, я нынче не желаю говорить о политике.

— А о чем же вы хотите говорить?

— О любви.

— О-о! С песенками и стишками, Полиоркет?

— Нет, без стишков. Впрочем, отчего же без них или без поэтической прозы? Вы читали «Викторию»?

— Я аб-бажаю Кнута Гамсуна! Вы тоже?

— Да. Я пробовал перевести на наш язык «Лабиринт любви», он ведь, кажется, теперь во всех антологиях мира. Не перевел, но по-русски главное помню чуть не наизусть. А вы помните? Хотите, прочту?

«Это, кажется, длинно», — подумала Люда. Ей после вина хотелось, чтобы он ничего чужого не говорил, чтобы он был лесным дикарем, как Алан, а она как иомфру Эдварда. Но Джамбул любил декламировать.

— «Да, что такое любовь? — говорил он, глядя на Люду блестящими глазами. — Ветерок, шелестящий в розах. Нет, золотая искра в крови. Любовь — это музыка ада, от нее танцуют и сердца стариков. Она может поднять человека и может заклеймить его позором. Она непостоянна, она и вечна, может пылать неугасимо до самого смертного часа. Любовь — это летняя ночь с звездным небом, с благоухающей землей. Но отчего же из-за нее юноша идет крадучись и одиноко страдает старик? Она превращает сердце в запущенный сад, где растут ядовитые грибы. Не из-за нее ли монах пробирается ночью, заглядывая в окна спален? Не из-за нее ли сходят с ума монахини и король, валяясь на земле, шепчет бесстыдные слова? Вот что такое любовь. О, нет, она совершенно иное. Была на земле весенняя ночь, и юноша встретил два глаза. Два глаза!» — читал Джамбул, придвигая к ее лицу свое.

— Да, удивительно! — прошептала Люда.

— «Точно два света встретились в его сердце, солнце сверкнуло навстречу звезде. Любовь — первое произнесенное Богом слово, первая осенившая Его мысль. Он произнес «Да будет свет!» — и явилась любовь. И все, что сотворил Он, было так прекрасно, и ничего не пожелал Он переделать. И стала любовь владычицей мира. Но все пути ее покрыты цветами и кровью. Цветами и кровью».

— Удивительно!

Он выпил еще бокал шампанского и тем же волнующим голосом, почти не изменив декламационной интонации, заговорил о своей любви к ней. Его лицо еще побледнело. Люда слушала его с упоением. «Что ему ответить?.. Да, у человека только одна жизнь... Я ведь и не жила!.. Я слишком много пью»...

Еще слабо попыталась обратить все в шутку:

— Уточним, как на партийном съезде. Вы, следовательно, предлагаете мне «вечные нерушимые узы»? Проще говоря, предлагаете мне уйти к вам от Рейхеля?

— Не предлагаю, а молю вас об этом! Вы никогда его не любили!

— Откуда вам сие известно? «О «вечных нерушимых узах» промолчал», — подумала она.

— Бросьте шутить! — сказал он с угрозой в голосе.

— Да это вы вечно шутите...

— Бросьте шутить, говорю вам! Вы не можете любить такого человека, как он! И я им не интересуюсь!

— Но я им интересуюсь... Что я ему сказала бы?

— Что хотите. Правду, — ответил он и обнял ее.

Они вышли из ресторана поздно ночью. У входа стоял лихач.

— Эх, хороша лошадь! Орловский великан! Гнедой, моя любимая масть! — сказал с восхищением Джамбул.

Люда взглянула на него с укором. «Кажется, сейчас опять заплачу»...

К удивлению извозчика, они всю дорогу молчали. У «Пале Рояля» Джамбул поцеловал ей руку. Люда страстно его обняла.

— Я завтра, милая, позвоню тебе по телефону. В котором часу его не будет дома?

Она ничего не ответила.

Рейхель еще не спал. Читал, лежа в кровати. Зубы болели все сильнее. Нерв в дупле умерщвлялся медленно. Злоба у него все росла.

— Здравствуй, Аркаша. Я тебя разбудила? Пожалуйста, извини меня, — сказала она смущенно и подумала: «Теперь глупо называть его Аркашей и еще глупее просить извинения в том, что разбудила».

Он что-то буркнул и отвернулся. На кровати Люды проснулась кошка и радостно соскочила.

Люда умылась по возможности бесшумно и легла. Пусси, совершенно удовлетворенный, устроился у ее плеча. Рейхель продолжал молчать. Она хотела начать разговор и решила, что лучше отложить до утра. Хотела еще подумать, но чувствовала, что и думать не может.

— Потушить? — робко спросила она.

Он быстро приподнялся, приложив руку к щеке.

— Где ты была?

— На редакционном заседании нашей газеты... Там встретила Джамбула...

— Какого Джамбула?

— Это тот революционер, с которым я тебя как-то познакомила на Лионском вокзале.

— Редакционное заседание кончилось в два часа ночи?

— Нет, оно кончилось раньше. Потом я с Джамбулом ужинала в ресторане.

— Вдвоем?

— Да, вдвоем.

— Если он посмеет опять тебя звать, то я вышвырну его вон! — закричал Рейхель. Ей стало смешно, что он «вышвырнет» Джамбула.

— Поговорим спокойно, — сказала она, стараясь осторожно отделаться от Пусси. — Я давно хотела тебе сказать, и то же самое, верно, ты хотел сказать мне. Нам обоим с некоторых пор ясно, что мы больше жить вместе не можем. Я предлагаю тебе сделать вывод. Пожили — и будет. Расстанемся друзьями. Для чего тебе жить с дурой?.. А может быть, ты и прав, — искренно сказала Люда, — я, если и не дура, то сумасшедшая!

Он хотел ответить грубостью, но не ответил. «Ведь в самом деле она предлагает то, чего я хотел, о чем только что думал».

Ничего больше не сказал и потушил лампу.

«Вот все и кончилось очень просто. Завтра же куда-нибудь перееду. К нему и перееду», — думала она с восторгом.

Вернувшись домой, Джамбул расстегнул воротник и сел в кресло. На столе стояла бутылка коньяку. Он выпил большой глоток прямо из горлышка.

«Она прелестна, но попал я в переделку! И так скоропалительно. Еще сегодня утром думал о ней как о прошлогоднем снеге»...

«Переделок», и обычно «скоропалительных», у него в жизни бывало много, и он драматически к ним не относился. «Верно, она поехала бы со мной и на Кавказ. Никогда я не введу ее в такие опасные дела. И что у нее с Кавказом общего? Об этом и речи быть не может!»

Он бросил на столик рубль, загадав, выйдет ли все хорошо с Людой. Вышло, что все будет отлично. Счел остававшиеся у него деньги. Было всего пятьдесят семь рублей. «Не беда, пошлю отцу телеграмму. Будет старик ворчать, пусть ворчит», — думал он.

(Продолжение следует.)

●

Вольное русское слово

Журнал представляет новую рубрику «Вольное русское слово». В этом разделе мы будем рассказывать о поэтах, творчество которых долгие годы было недоступно широкому читателю и известно лишь по машинописным страницам самиздата или зарубежным альманахам и журналам.

На пороге двойного бытия

Перед вами стихи двух поэтов, чье творчество разделено двумя десятилетиями. Они принадлежат к разным поколениям и представляют различные поэтические школы: Станислав Красовицкий — московский неоавангард 50-х годов, Александр Миронов — ленинградский постмодерн 70—80-х. Оба автора до сих пор в СССР не публиковались, но имена их хорошо известны любителям поэзии по сам- и тамиздату.

Несмотря на все различия, этих поэтов объединяет напряженный и рискованный интерес к мучительной для культуры XX века теме — к теме единства мистико-религиозного и эротико-биологического начал в человеке, обреченном на существование в истории.

Исторический рывок послеоктябрьской России, завораживавший не только миллионы наших соотечественников, но и значительную часть западной интеллигенции, предстает в этих безжалостных и почти кощунственных стихах как нечто бессмысленное, противочеловеческое, преступное. Однако в отличие от социально ориентированных критиков режима (а таких сейчас большинство), поэты, прозревающие—как всегда — много раньше своих очарованных современников, обнаруживают корень гражданской вины не во внешних условиях и обстоятельствах, не в злой воле нескольких преступных правителей, не в наборе необъяснимых роковых случайностей, но во внутренней логике личности, в душе каждого из нас—непроясненной, греховной, разрушаемой изнутри приятием ложных ценностей мира, который «лежит во зле».

И Красовицкий, и Миронов обнаружили себя в мире, где был утрачен язык различения добра и зла, и отсюда—то косноязычие, переходящее в немоту, что постоянно ощущается в их стихах. И подобно евангельскому зерну, которое умирает, чтобы жить, каждый из этих поэтов словно бы умер для мира и языка обыденности — в надежде обрести Мир и Слово подлинное.

Тому, кто однажды осознал себя поэтом, невозможно отказаться от своего открытия. Заживо из литературы не уходят, и поэтому волевой акт литературного самоубийства — всегда событие, поражающее современников куда острее, нежели «естественная» вещь,— рождение нового таланта.

Писатель, который в расцвете сил уходит из литературы, хлопнув на прощанье дверью (вспомним судьбу Артюра Рембо, или русского символиста Александра Добролюбова, или драматическую историю нескольких толстовских — правда, не осуществленных до конца — попыток покинуть большую литературу), такой писатель оставляет нас, читателей, на пороге молчания, перед лицом тайны. Тайны более существенной и притягательной, чем все так называемые «тайны писательского ремесла».

Станислав Красовицкий *— наш современник. Сейчас он живет под Москвой, но его нынешняя жизнь никак несоотносима с той «загадкой Красовицкого», которая — как неразрешимый вопрос—встала три десятилетия назад для целого поколения поэтов, усвоивших его открытия и застигнутых врасплох его внезапным решением: прекратить писание стихов, оставить престижную работу и поселиться в деревне.*

Уход Красовицкого был чем-то совершенно противоположным повальному бегству интеллигенции из сферы официоза на свободу лесничеств, котельных и дворницких. Если наиболее бескомпромиссные художники, музыканты и литераторы, опускаясь на социальное дно, «выходя из игры», искали прежде всего условий для свободного творчества, то Красовицкий радикально отказался от самой идеи художественного творчества, оборвав свой путь в литературе именно в тот момент, когда его дар окрепл и, может быть, достиг высшей степени развития. Он ушел задолго до конца «хрущевской оттепели», прожив, пожалуй, самую краткую в истории нашей словесности жизнь. (Опубликованные недавно в парижской газете «Русская мысль» религиозные стихотворения Красовицкого 60—70-х гг. написаны словно другим человеком и поэтом.)

Стихи Станислава Красовицкого до сих пор в СССР не публиковались, однако их знали и любили, а среди поклонников его поэзии были читатели самой высшей пробы — Анна Ахматова, Н. Я. Мандельштам, В. Б. Шкловский, Иосиф Бродский... Имя Красовицкого известно на Западе. Вот что пишет о нем К. Кузьминский, составитель девятитомной антологии русской поэзии «У Голубой Лагуны» (США, Ньютонвилл, 1980): «Станислав Красовицкий активно проработал в поэзии около 5 лет (1955—1960 гг.). Однако влияние его — опосредованно — продолжается и теперь. Красовицкому обязаны: Бродский и Еремин, Хвостенко и Волохонский, Аронзон, многие москвичи... Это был гений... Знают его многие, почти все, и о нем никто ничего не знает». Единственная биографическая справка о С. Красовицком — в парижском журнале «Ковчег» (1977, № 2): «Станислав Красовицкий родился в 1935 году в Москве. Окончил Институт иностранных языков (английское отделение). Один перевод из С. Гэй-Льюиса был опубликован в сборнике институтского литобъединения «Наше творчество» (№ 2, 1958). Несколько стихотворений вошли в «Феникс» (1966)... Поэма «Выставка» опубликована в «Аполлоне-77» (Париж). В начале 60-х гг. Красовицкий отказался от поэтического творчества».

Творческое развитие Красовицкого было столь же стремительным, сколь кратким. Он—не без влияния А. Крученых, с которым был знаком лично,—пережил период увлечения футуристическим корнесловием, усвоил опыт заумного языка, прошел через поиски «самовитого слова», чтобы в последних своих текстах вернуться к внешне традиционным формам. В его ранних стихах есть элементы дадаизма, черты поэтики абсурда, более поздние — тяготеют к нарративным формам, где сюжетная динамика важнее, чем внутренняя жизнь языка.

Красовицкий стал первым послевоенным советским поэтом, рискнувшим актуализировать опыт новейшей поэзии и философии Запада. Он — один из родоначальников советского неоавангардизма, который, опираясь на формальные достижения футуристов, отрицал, по сути дела, идейное ядро футуризма — утопический проект будущего. Современный поэт ощутил себя наследником именно того будущего, которое мечтали приблизить будетляне. Он оказался обитателем неосуществленного хлебниковского Ладомира, где вместо тотального расцвета «поросли мировой»

Забор покосился, прорвался родник,
Утопленник всплыл нераздетый...

Задолго до нынешней экологической вакханалии Красовицкий обнаружил себя в запущенном, разоренном и смертельно усталом мире. Здесь-то и начался для него поиск той фундаментальной неправды, которая коверкает не только природу, но отдельные человеческие судьбы и судьбу народа в целом.

В поисках источника этой лжи, обратившись — впервые в истории русской поэзии — к психоанализу как к инструменту обнаружения скрытых мотивов человеческого бытия, Красовицкий видит связь, роковое родство социально-палаческих вивисекций, извративших ход отечественной истории, и темной стихией садо-мазохистского эротизма, которая на досознательном уровне движет отдельным человеком. В его трудных и трагических стихах как бы прощупываются болезненные социально-эротические узлы.

Мы до сих пор не отдаем себе отчета, насколько наше историческое бытие глубоко укоренено в тех детских эротико-садистических комплексах, которые были подавлены и, казалось бы, бесследно вытеснены пуристической муштрой и ханжеским воспитанием сталинской школы. Тайная жажда истязать и быть истязаемым движет, по Красовицкому, историей страны и историей личности, начиная со «Слова о полку Игореве» («Белоснежный сад»). Истязаемая женщина и истязаемая страна предстают явлениями тождественными, и, «начиная с учительницы», мир строится по закону эротического насилия и любовного взаимоунижения. В 50-е годы такая точка зрения казалась чудовищной, и даже самые проницательные умы сохраняли искреннюю уверенность, что случайные ошибки отцов можно легко исправить, развенчав тирана и вернувшись к первосоветским нормам общежития.

Только сейчас мы может оценить (и то, может быть, не во всей полноте) глубину прозрений поэта, чья творческая доминанта определялась словом «стыд». Стыдно писать и стыдно жить — и только в осознании этого надежда на спасение.

Станислав КРАСОВИЦКИЙ

Начиная с учительницы

Ленивое тело, нагое бедро бегемотихи,
У груди волчицы, кормящей Ромула и Рема,
Собрались морщины тетрадок, а мягкие ботики
Еще оттеняют уставшее за ночь колено.
Проклятие здесь. Оно нависает над городом.
Еще астронавты пленяют нас скорым скольжением,
Но, как палачи, они стали отращивать бороды

И каждую вещь наделяют заплечным движением.
Когда ученик в пионерском ли галстуке, девочка
Ложатся со стоном смертельного сладкого плена,
Вы скажете: вирус какой-нибудь снова там, мелочи,
Атомная тяга в коленях — болезни колена?
Я знаю: быть может, молчат доктора на безлюдьи,
Стоят в кабинетах шкафы, застекленные твердью,
В них жала ракет серебристых, орудий,
Самою землей напоенные логикой смерти.
Кто — кто там стучится, мукою дурного помола
Засыпав сады, города, деревянные вети?
А женщины бледные ждут рокового укола.
Эмалированный таз. На коленях белесые плети.

⁂

В свет луны рассыпаны негустые волосы.
По дивану белому кровавые полосы,
Бездыханный маленький тенек над губой —
Что я в мыслях сделал, милая, с тобой?

А на утро тихо отворится дверь,
Ты войдешь. А голос шепчет: «Ей не верь».
Ты войдешь и снова ляжешь на кровать,
И я ту же казнь повторю опять.

⁂

Кто не хочет блеснуть:
высоко подымается дым.
Глядя на это летчиками
хочется молодым,
но я стараюсь шагать
такой теневой стороной,
чтоб в сумерках богом стать
с длинной, как дым, рукой.

Из дерева щели в небе
ловя необычных крыс,
бледной личинкой летчика,
выхватив, бросить вниз,
а девкам задрать пространство
с голых колен на грудь —
Боже, как сладко радостно
второй головой блеснуть.

Шведский тупик

Парад не виден в Шведском тупике.
А то, что видно — все необычайно.
То человек повешен на крюке,
Овеянный какой-то смелой тайной.

То забивая бесконечный гол
В ворота, что стоят на перекрестке,
По вечерам играют здесь в футбол
Какие-то огромные подростки.

Зимой же залит маленький каток.
И каждый может наблюдать бесплатно,
Как тусклый лед
Виденья женских ног
Ломает непристойно,
Многократно.

Снежинки же здесь больше раза в два
Людей обычных,
И больших и малых,
И кажется, что ваша голова
Так тяжела среди домов усталых,

Что хочется взглянуть в последний раз
На небо в нише, белое, немое.
Как хорошо, что уж не режет глаз
Ненужное вам небо голубое.

Белоснежный сад

А летят по небу гуси да кричат:
в красном небе гуси дикие кричат,
сами розовые, красные до пят.
А одна гусыня —
белоснежный сад.

А внизу, сшибая гоп на галоп,
бьется Игорева рать прямо в лоб.
Сами розовые, красные до пят
бьются Игоревы войски да кричат:
«У татраков оторвать да поймать.
Тртачки розовые, красные до пят.
Тртацких девок целиком полонять.
А тртацкая царица —
белоснежный сад».

Дорогой ты мой Ивашка-дурачок,
я еще с ума не спятил, но молчок.
Я сижу порой на выставке один.
С древнерусския пишу стихи картин.
А в окошке от Москвы до Костромы
Все меняется, меняемся и мы.
Все краснеет, кровавеет все подряд.
Но в душе еще белеет белоснежный сад.

Цех

Забор покосился.
Прорвался родник.
Утопленник всплыл нераздетый.
Туристов ведет на погост проводник.
И мерно бряцают кассеты.

В прозрачном салоне поэты не спят.
А там
За горою за дальней
Песочные земли над миром сипят,
Тряся канареечной пальмой.

Там щурит ресницы оранжевый кот.
Преступник берется за дело.
Готовит художник к началу работ
Натурщицы белое тело.

И мелки шаги оркестранта в углу.
Меня, пассажира простого,
Он встретит, сквозь губы продевши иглу,
Улыбкою мастерового.

А время прибавит фитиль звездочета
И все начинает сначала —
Кладутся на клавиши рыжие ноты,
Бледнеет в углу одеяло.

На плечи — с фанерами наперевес —
Задернута желтая, желтая штора.
И скрипки горит поперечный надрез
Фигурою гипнотизера.

И тихую зыбку подправив в ведре
Брусничными комарами,
Усатые листья на толстом ковре
Всю ночь набухают шарами.

И дела нам нет до оставленных стен
И ветра обугленных ниток.
Солдат поумнее сдается в плен.
И больше не пишет открыток.

Любовница палача

Он работает где-то в Москве.
Он работает где-то в столице.
Он работает в МВД.
Он похож на хрупкую птицу.

Меня мама спрашивает часто.
Ничего не скажу о нем.
Он похож на воспитателя в яслях.
Он работает палачом.

О, какая страшная читка
Срамных знаний в его очах.
О, какая сладкая пытка
Быть любовницей палача.

Вот вокруг меня застыли фигуры.
На одной из московских дач,
Словно воздух на венском стуле
Задремал-загрустил палач.

Быстрый ветер развеял тучи
Огневых золотых портьер.
Он сидит. Он как бог. Только лучше.
Он воздушен как солитер.

Я тела его не ощущаю.
Поцелуй как соленый грибок.
Одному ему разрешаю.
Только он завладеть мной мог.

Я лежу в постели крича.
Он секёт. Я раздета до нитки.
О, какая сладкая пытка
Быть любовницей палача...

Александр Миронов—*блистательный ленинградский поэт, все еще, на шестом году перестройки, работает кочегаром газовой котельной,— как и тогда, в глухие, подвальные 70-е годы, когда именно там, на самом нижнем горизонте городского коммунального хозяйства, концентрировалась независимая интеллектуальная и художественная жизнь бывшей литературной столицы России. На те годы пришелся творческий пик и расцвет целой плеяды поэтов, к которой принадлежит и Миронов. Но если о «шестидесятниках», даже не публиковавшихся в свое время, читатели уже получили хоть какое-то представление из многочисленных журнальных или альманашных подборок, то эстетика независимой поэзии семидесятых до сих пор — terra incognita для широкой читающей публики, не знакомой с литературным самиздатом пятнадцати—десятилетней давности.*

Не считая сборника «Круг» (Л., Сов. пис., 1985), куда два стихотворения Миронова удалось включить лишь благодаря героическим усилиям составителей и вопреки единодушному сопротивлению редакторов и цензуры,— перед читателем первая публикация поэта на родине. Правда, его стихи печатались за границей, в парижских журналах «Эхо» и «Беседа», в нью-йоркском «Гнозисе», в девятитомной антологии «У Голубой Лагуны» (единственном более-менее полном собрании русской вольной поэзии последних десятилетий). Однако основным источником распространения стихов Миронова были самиздатские журналы «37», «Северная почта», «Часы», «Обводный канал». На эти стихи обратил внимание такой строгий и тонкий ценитель литературы, как М. М. Бахтин. Известно скептическое отношение Бахтина к современной русской словесности. Среди того немногого, что он признавал достойным самого пристального интереса,— поэма «Москва—Петушки» Венедикта Ерофеева и поэзия Миронова.

Вероятно, исследователя творчества Достоевского и Рабле привлекло в этих стихах органическое слияние двух начал—трагического и смехового, а также странное взрывчатое (в романах Достоевского такой взрыв претворяется обычно в скандал) соединение самого верха и самого низа человеческого существования. Мне думается, что Бахтин не мог не почувствовать, насколько идеологичны стихи Миронова. Идеологичны в наиболее глубинном и уже утраченном значении этого понятия — в том же смысле, в каком идеологичны персонажи Достоевского или гротескные фигуры Рабле, проживающие свою идею всей кожей, всем телом, всем своим существом. Подобное понимание слова «идея» гораздо ближе к Дионисию Ареопагиту, чем к Марксу, и вне религиозного опыта невозможно. И стихи эти, действительно, нельзя понять адекватно вне современного философского и богословского контекста. Слово в поэзии Миронова и предельно-идеологично, и грубо телесно в одно и то же время.

Такие стихи могут провоцировать противоречивую реакцию, одновременно отталкивая и притягивая читателя. Изысканная — при внешней традиционности и некоторой ритмической монотонности — стиховая ткань, ажурное и, как бы выразился М. Кузмин, «истинно александрийское» строение языка и стиля, столь редкая для нашего времени композиционно-мелодическая изощренность — эти свойства соседствуют с нарочито огрубленными, на грани омерзения и святотатства, пассажами, святоотеческими цитатами, брошенными в бездну «совкового» языка, провокативно-циническими признаниями. Так создается «взрывчатая смесь», разрушающая наше читательское благополучие, подобно тому, как сочинения В. Розанова разваливали благодушные интеллигентские мифы начала века. Не случайно сам Розанов становится персонажем стихов А. Миронова, который тоже ощущает себя «последним писателем». Его литературное существование — это жизнь после смерти литературы, когда любое собственное высказывание есть не что иное, как лишь новая артикуляция слов, уже произнесенных другими. И природа всякой литературы греховна и смертна, поскольку любое письмо—это только человеческая и тавтологичная имитация Божественного акта творения.

Александр МИРОНОВ

Жалоба

Не убиваем мы, но пишем — Боже мой! —
а кто-то убивает, словно пишет,
и Божий Дух над странною страной
не знаю где, не знаю как, но дышит,
кружит и причитает надо мной.

Век-паучок сплетает суету,
и мировая кружится могила,
Но Моисей уходит в темноту
и вновь выходит, осиянный силой
спасительной, а мне невмоготу

на этом свете. Если бы на том —
оставить века призрачную мету!
В постылый век, в пустынный темный дом
я приношу свою паучью лепту —
сии слова в молчаньи о святом.

Из цикла «Therapea»

Здесь Ангел разделил Пасхальный звон
На пестрое собранье птичьих трелей.
Здесь каждый видел светлый круг времен —
Сенопнсанье Льва — иллюзион
Солнцеподобной акварели.

Как хочешь разменяй, развремени,
Распространи усвоенное кровью,
Лишь простоте соблазна не вмени.
Ужели мне раскрасить эти дни
И возвратиться к предисловью.

Так пища жестока, так прост пример
И Агнца-Первенца, и Друга очевидца.

Но Лев вращает колесо химер,
И радужный отец, игумен мертвых сфер,
Сияет, ищет разрешиться.

* * *

> — Что вы хотите этим сказать? — спросил он.— Думай, не думай — все равно?
>
> О. САВИЧ «Воображаемый собеседник»

Не то, чтобы страшно, а как-то темно,
как будто мне выбили глаз —
ну, словно меня пристрелили в кино,
а я позабыл и воскрес.

И зритель слепой на последнем ряду
соседку глухую трясет:
«Что там приключилось, мадам Какаду?»
Она ему: «Кажется, ад».

Случайное слово душа приплела.
Уместней ли будет здесь «лёд»?
Метафоры суть безнадежно гола.
К чему же ей желтый билет?

Ночь ночи она и бездонное дно,
безвластья гнетущая власть,
как будто убийца и жертва в одной
дыре, как младенцы, сошлись.

Их семя смешалось. Их общая мать —
субботняя божья постель.
Премудрый Сирах всё учил различать.
Не проще ли выпить коктейль?

Песенка

Грехи наши — от юности, вина — от безначалия,
Все прочее — от тесноты, от жуткой тесноты.
Все обезьяньи зеркала, все страсти и так далее...
Все войны, все дела, все страхи, все кресты.

Когда же ты вернешься вспять, осатанев от ребуса,
Услышишь голос Судии в зеркальной тишине:
«Ты помнишь, грешная душа, соборный дух троллейбуса?
Ты помнишь, Я тебя давил, и Ты ответил мне».

Тут время хитрость применить, как бы канавку сточную,
Улику для отвода глаз, чтобы задобрить суд.
Скажи ему, ну, например... как был ты под Опочкою,
Как встретил камень-девочку, и отдал ей салют.

Она винилась пред тобой, смыкалась-размыкалася,
Просила камень разомкнуть, но ты ее не спас,
Когда кортеж твой в Псков летел на поклоненье Фаллосу —
Хорошая такая есть традиция у нас.

Вот так, штришок один, другой... — Глядишь, он и развеется.
«Все, — скажет, — Все. Я позабыл. Не помню ни шиша».
Похерится твоя вина в летучих волнах мелоса,
Вплетется в общий лейтмотив певучая душа.

Завоет, зашарашится, запрыскает, запорскает.
(Cogito — это, кажется, французская болезнь?)
Грехи наши — вчерашний день, вина — змея заморская.
От преизбытка благости тучнеет наша песнь.

Глубинка

Помолчи, дружок, о скором спасеньи:
Тень Жены сквозит в растворе осеннем.
Ей судьба искать свою половинку,
Вдовьей лестницей спускаясь в глубинку.

Легче вынянчить урода в пробирке —
Только темь теней да справные бирки:
Здесь прошелся кол потравы столичной
И оставил след беды чечевичной.

Тут и старец, словно юноша, зелен.
Чуть шумок — шуршит по черствым постелям,
А иной хохмач — не то, что другие, —
На груди своей справлял Литургию.

Был он чуден, сед и в странной порфире,
А его сосед, помешан на Лире,
Шепелявил, пел — а толку-то, толку? —
Он забыл, что в сене прячут иголку.

Херувимское простое моленье
И орфическое темное пенье,
Боковое, пьяное — с лозой и тимпаном —
Это блажь о Том, Кто умер за Станом.

А печаль Жены — не та ли водица?
Или бисер мечет Первая Жница?
Перед кем, о Господи, — теми, кто в хлеве
Не забыл о Хлебе, Девке и Деве?

Я забуду все, и мне не приснится
Эта девица-кукушка-вдовица,
Но кропит меня, сквозит раньше срока
Жестяная, злая, рабья морока.

Темные строфы

Век девятнадцатый, железный...
А. БЛОК

Знаешь что, я думал, что больнее
Увидать пустыми тайны слов...
ИН. АННЕНСКИЙ

Или забыты, забиты, за... кто там
Так научился стучать?
А. АХМАТОВА

1.

Есть вечная жажда. И дело не в том,
Что нет ни бадьи, ни колодца,
Что ясность, как птица с лучистым крылом,
Нам в руки опять не дается,
Что вечеря запахов, пасха теней —
Единая наша отрада.
Как видно, о тьме и поется темней,
Бессвязней и горше, чем надо.

2.

Повсюду зима, чертогон, и опять
Мы храм посещаем, как рынок.
Но слишком легка и пьяна благодать,
Бегущая, слезных тропинок.
Ты помнишь истории нашей конец? —
Отмкнулись могильные плиты,
Господь прослезился, и ожил мертвец,
Как век пеленами увитый.

3.

Но я не к тому помянул этот дом
Болезни, забвенья и страха,
Чтоб мы, словно дети, в железе больном
Бряцали в церквах и на плахах;
Чтоб в жесткой коре изнывала, бьясь,
Кликуша, вдова или дева,
Вопила, молилась и падала в грязь
Под сень византийского древа.

4.

А времени ход был безумен и крив,
Как бред безнадежно больного.
Сравнить ли мне чары леонтьевских слив
С эйфорией Vita Nuova?
Блудницы и взрывчатых блюд повара,
Оракулы, орфики, пташки,
Философы, дел половых мастера
Сплелись в сумасшедшей упряжке.

5.

Я их не сужу, поминаю добром,
И словно со мною то было.
Блажен, кто пропел свой последний псалом,
Иному привиделось Рыло...
А третьему — Боже, за каждым углом
Какая забавная пытка! —
Мерещился желтый облупленный дом
И реяла красная свитка...

6.

Пусть страшно сверять теневые счета
Живых и забытых, забитых,
Пусть в Царстве Господнем земная тщета —
Словесная ткань не защита, —
Возьми черный мел, наклонись и пиши
В зеркальной ночи беспредельной:
Создатель, мы — дети Словесной Души,
Рассеянной в бездне метельной.

Изобретение христа

И. Кабакову

В поту неправого терпенья
Художник лист перевернет —
На нем христос изобретенья,
Как праздник серости, цветет.
Так бессловесное мученье
Строитель музыкальных сот —

Синильных косточек свеченье —
На нотный стан переведет.
Так в комнате, глухой и темной,
Свободный от свобод и прав,
Строчит христос изобретенный,
В паху вселенную зажав.

И словно девка ученица,
Ему отдавшаяся в рост,
Душа его над ним глумится:
Сойди с креста, спаси, Христос!

Спаси, Христос, простой народец,
И сотвори для дольних нужд
Из шлюх — словесных богородиц,
Эрато — из глухих кликуш.

Из полутьмы и заиканья
На всякий лад, на всякий вкус
Устрой веселое комканье[1] —
Поющий, свальный ком искусств.

Чтоб сами заплясали ноги,
Чтоб песенка сорвалась в крик:
Христос в Москве,
Христос в остроге,
Христос на Западе возник!

И кто, опомнясь, молвит снова:
«О, где ты, грешная земля?» —
Крутясь на палубе больного
Расхристанного корабля?

Возле русской идеи[2]

Восемь надписей на литературной могиле В. В. Розанова

1.

Богоневеста, ложéсна разверзла Россия:
тихая Руфь, она ждет своего жениха —
мужа Европы — чтобы, обняв, обезглавить.

2.

Помню, одна меня лизнула такая
в самую точку, словно я Апис всесильный,
в самое сердце, и в душу, и в мать, и в лицо.

3.

Дети природы, выйдем из лунного круга!
Лифчики сбросим в церкви, станем как дети
Мельхиседека и Айседоры Дункан!

4.

Не в алтаре, конечно, но где-то возле
нужно устроить первый альков новобрачных —
пусть себе стонут в лад песнопениям стройным.

5.

Рыло, о, рыло России с красной свиткой,
якобы голубь белый с веткой масличной...
Нет, борзописец беглый, черт лапидарный!

6.

Что Он принес на землю? — Скорби и раны,
смерть да бесплодье, вонь загробной жизни,
час неделимый между собакой и волком.

7.

Чем отдарил я Его? — Своею смертью,
чуть показав лицо Ему и миру —
самую каплю, самый смертельный кончик.

8.

Дети, о, дети, милые сердцу Иова,
вот и вернулись вы, дети. И вправду ль дети? —
Дети-то дети, но хари какие, рыла...

---

[1] «Комкáнье» — др. русск. просторечие от лат. «communicatio».
[2] Название статьи В. В. Розанова.

---

* * *

слегка тронулось спуская пар время
бормочет газетное черное семя
назначая самому богу свиданья
и торчит торчит паллиативная клизма —
образец либерального буквализма —
покаяние покаяние

о как просто по-детски широко и открыто
рита ела маму мама мыла риту
вот и откровенья экономических сутр
а рядом с ними как на иконе
морда священника в законе
благословляющая скотский хутор

Вступление и составление
Виктора Кривулина

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
«ЗВЕЗДА ВОСТОКА»
в 1991 году

Публикует:

— жемчужины духовной сокровищницы Востока, повествующие о Тимуре и Чингисхане, о неукротимом Махмуде Тараби и благородном Исмаиле Самани, о мусульманских подвижниках и святых Бахауддине и Ходже Ахраре;
— исследования и фрагменты из книг Арминия Вамбери, Чарльза Уоррена Остлера, Уильяма Фирмана и других знаменитых отечественных и европейских востоковедов;
— выдающийся памятник культуры, священную книгу мусульман — Коран;
— сочинения выдающихся философов Востока;
— оригинальные и переводные произведения известных писателей;
— публицистические статьи по наиболее острым проблемам региона;
— шедевры зарубежной и отечественной приключенческой литературы — романы Дешила ХЕММЕТТА, Агаты КРИСТИ, Жоржа СИМЕНОНА, ГАРДНЕРА, ЧЕЙЗА, УЭСТЛЕЙКА;

Готовится выпуск приложения «Библиотека «Звезды Востока», составленного из лучших зарубежных детективных и научно-фантастических произведений. Подписчики журнала получат преимущественное право его приобретения.

Подписаться на журнал «Звезда Востока» можно с любого месяца в отделениях «Союзпечати» на всей территории СССР.

Цена одного номера — 2 рубля. Индекс — 75273.

Работа А. И. Солженицына «Как нам обустроить Россию?» с разных точек зрения

Наум КОРЖАВИН: ОРИЕНТАЦИЯ НА СПАСЕНИЕ

Будет очень жаль, если «посильные соображения» Александра Исаевича Солженицына о том, «Как нам обустроить Россию?» будут услышаны и поняты недостаточным количеством людей. Работа эта в отличие от некоторых других публицистических работ Солженицына, иногда при этом тоже очень ценных, почти полностью лишена полемичности. Даже подспудно. Он предлагает своим собеседникам не решения, а только «посильные соображения», опыт размышлений в надежде вместе с такими же (тоже посильными — абсолютные в сегодняшней ситуации, по-видимому, по отдельности никому не по силам) соображениями других людей способствовать спасению и возрождению родины. Судя по откликам, многие читатели это почувствовали. Но не все.

Но просто полемической реакции на свою работу Солженицыну избежать не удалось. Имеются в виду не возражения или несогласия, что естественно, а именно полемическое восприятие — такое существует. Только таким прочтением текста, только вырванными из контекста словами можно объяснить, например, дошедшее до меня высказывание, что Солженицын хочет отделить нас от Запада. На Западе он видит много такого, что необходимо перенять. Выступает он только против механического и бездумного, карикатурного подражательства — как в политической области, так и в культурной. Причем подражания не лучшему на Западе, а его болезням.

Столь же основательно Солженицына обвиняют в приверженности к империи и монархии, хотя он прямо выступает против имперского дурмана и прямо заявляет, что наиболее подходящим для современной России считает демократический образ правления. Но на все подобного рода обвинения дал, на мой взгляд, исчерпывающий аналитический ответ политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Афанасьев. Я могу к нему только присоединиться. Повторяться не имеет смысла.

Перейду к самой работе Солженицына. Для меня ее главная ценность даже не в рекомендациях, хотя со многими из них я согласен. С некоторыми — нет. Например, даже если выборы станут у нас многоступенчатыми, как предлагает Солженицын (а основания для такого предложения он приводит серьезные), то я все же не думаю, что центральные представительства должны формироваться из местных — последовательно ступень за ступенью. На каком-то уровне это должно обрываться. Ибо в Центральные органы надо выбирать отдельно — для решения общегосударственных дел нужны иные качества, чем для решения местных. Конечно, дореволюционные русские земства могли выделять любых деятелей из своей среды, могли бы даже повести страну, но это были совершенно особые учреждения — прежде всего по составу. Быть уверенными, что это повторится, пока нет оснований. Но это все и по Солженицыну — «дела грядущих дней», до них еще обществу дожить надо. Не согласен я и с тем, что от какой-либо республики можно отсоединиться и против ее воли. Разумеется, если там не собираются резать уроженцев других республик. Что же касается вообще советских республик, то я вполне согласен с Солженицыным, что никого не надо и не стоит удерживать силой. Кроме того, что это вообще нехорошо, это еще обременительно и даже опасно. Бушуют страсти, и хорошо, если «развод» их успокоит. Но это бывает не всегда. «Развод» (даже когда он касается одной семьи) — дело совсем не простое, он связан с имущественными конфликтами, способными только усилить их ярость. Все эти конфликты и многие другие возможны и при «разводе» республик.

Степень накала страстей можно понять и по импровизированному обсуждению брошюры в Верховном Совете. Дошло до того, что два писателя, члена парламента, Б. Олейник и Ю. Щербак, на парламентском заседании вступили с Солженицыным в спор на... исторические темы. Предмет спора — население Киевской Руси — украинским оно было или русским. Спор это старый, вовсе не решенный, ученые придерживаются по этому вопросу противоположных мнений, и не парламенту этот спор разрешить. Свое несогласие с историческими представлениями Солженицына оба литератора могли высказать в другом месте. Поразительно, что имеющих гораздо больше отношения к этому форуму политических аспектов предложений Солженицына, касающихся Украины (вовсе не так жестко детерминированных историко-идеологическим обоснованием) оба оратора почти и не касались. И конечно, на фоне такого накала страстей почти неактуальным выглядело прозвучавшее на том же заседании предложение в случае чего разделить «по справедливости» не только золотой запас, но и... атомные бомбы, тем более что критерии этой «справедливости» не могут не оказаться вполне производными и потому взрывоопасными. Тут уж вопреки всем увещеваниям Солженицына с одного страху можно стать защитником империи! Так что и при «разводе» вполне может получиться, что вместо того, чтобы выбираться из ямы, все примутся старательно и успешно друг друга поглубже в нее закапывать.

Все может быть. Проблемы, которые стоят перед страной, слишком застарелы, запутанны и остры, чтобы один человек, даже такой, как Солженицын, мог их все самостоятельно решить. Как видно из текста, Солженицын на это и не претендует. Не говоря уже о том, что он вовсе и не предлагает рубить экономические и иные связи в спешном порядке. Он вообще осторожен. Он просто ставит вопросы и предлагает о них подумать, отнюдь не настаивая на буквальном исполнении своих предложений. Как уже сказано выше, не этими предложениями, какими бы ценными они ни были, ценна эта работа, а системой ценностей...

Тут, вероятно, возможны недоразумения, гораздо более крупные, чем при разговоре о конкретных предложениях. Ибо тут автор самым незаметным образом вторгается в то, что многим дороже всего,— в мир фетишей, отнюдь не официозных, но все же фетишей, в Царство Вдохновительных Слов.

Нет, он отнюдь не выступает против этих слов — таких, как демократия, самоопределение наций и т. п., отнюдь не подменяет их смысл. Он их употребляет в точном значении, даже настаивает на внедрении в жизнь того, что они обозначают. Но традиционное политико-романтическое сознание чем-то подсознательно не удовлетворено. Оно как бы подозревает подвох, но не может понять, в чем он. Вот и цепляется к словам, находит то, чего в них нет — монархизм, проповедь империи, попытку оторвать от Запада. И неизменно попадает пальцем в небо. Между тем Солженицын просто ставит эти сакральные слова на их естественное земное место, освобождая их от привычных романтически-идеологических подсветок (отнюдь не только марксистских и социалистических), связанных с особым восприятием — с тем «политическим мистицизмом русской интеллигенции» (а сегодня только ли интеллигенции?), о котором писали еще «Вехи» и от которого многие не освободились и поныне. Этот мистический идеологизм, фанатический антимонархизм любой ценой обернулся слепотой в февральские дни и позже и, как известно, очень дорого обошелся всей стране и самой интеллигенции.

Честно говоря, я думал, что с этим кончено. Живя в «годы застоя» за границей, я даже испытывал патриотическую гордость от сознания, что в отличие от многих западных протестантов по любому поводу, «мы», несмотря на свое неприятие происходившего у нас, понимаем, что хотя изменения необходимы, но управлять страной непросто. И политикой следует заниматься осторожно, ибо она влияет на судьбы миллионов людей, из которых не все близки политическим «творцам», но имеют такое же право на жизнь, счастье и защиту своих интересов, что и они. Короче, что политика существует не для чьей-то «идейности», не для того, чтобы наполнять чью-то жизнь смыслом. К сожалению, потом, когда все смогли проявиться, оказалось, что я в этой своей гордости был прав только отчасти.

Ведь и сегодня русский интеллигент многозначительно и с полным пониманием смысла произнося, например, слова «рыночные отношения», тем не менее подсознательно имеет при этом в виду нечто вроде Царства Небесного на земле и ждет чуда. Но чуда не будет. А переход к рынку из нашего состояния тем более не рай.

Перед самым объединением Германии я видел по телевидению состояние директора завода в ГДР, на котором работает 3000 человек, после того, как ему объяснили, что если он хочет выдержать конкуренцию, ему надо оставить из них только 850.— А куда мне деть остальных? — растерянно спросил он. И получив ответ, что надо обучить их другим профессиям, резонно возразил: — Да, но ведь мы не знаем, каким именно, какие профессии будут нужны... Можно обозвать его номенклатурщиком, но сказал он правду: не знает. И никто до конца не знает этого — слишком велика ломка, которую переживает его страна. Ломается весь уклад, искусственный, но как бы сложившийся, который люди не любили, но к которому привыкли. Потом будет лучше, чем сейчас и чем в прошлом (хотя рая и потом не будет — его на земле не бывает), но сейчас — трудно, сейчас — ломка. Это в Германии трудно — при том, что ситуация в ГДР всегда была легче, чем наша, при ее общем богатстве, при том, что на одного восточного немца приходится трое западных, которые хоть чертыхаются, но раскошеливаются во имя единства своей страны. Нам этот переход к рынку обойдется гораздо дороже.

Да не запишут меня за эти слова во враги рынка. Рынок — необходим, без него — худо. Это единственно естественные экономические отношения. Переход к рынку потребует от всей страны поначалу терпения, жертв, дисциплины. Потом будет легче. Но и потом не следует ждать наступления Царствия Небесного. Просто потому, что по своему естеству мы сами отнюдь не ангелы. Конечно, экономические отношения — не единственные человеческие отношения, но сейчас речь о них. Поразительно, но ради утопических целей люди легче соглашаются на жертвы, чем ради реального, но ограниченного улучшения жизни. У нас выбора нет. Но обрекать людей на жертвы сегодня надо очень осторожно и в крайнем случае — еще и поэтому. Солженицын всю тяжесть ситуации понимает очень хорошо и чуда не ждет. Сегодня его даже не очень занимает торжество над коммунизмом, часы которого пробили. Он вообще не торжествует, он опасается — «как бы нас вместо освобождения не расплющило под развалинами» его пока еще не рухнувших бетонных построек. И думает о том, как бы создать порядок, начисто исключающий в будущем возникновение чего-либо подобного пережитому нами. Просто потому, что подобные системы губят людей, отрывают их от самих себя, от собственного образа — губят жизнь, а не потому, что у него есть в запасе другая система, которая и должна оказаться венцом творенья. Дорожит он не политическими системами, а жизнью. Было бы в ней побольше порядка и порядочности, честности и трудолюбия, духовности и культуры, а остальное должно только обеспечивать существование всего этого, защищать это, как можно меньше напоминая о себе. Другими словами быть наиболее удобным для данного общества. Разумеется, речь не о сегодняшней острой ситуации, но и в ней надо не забывать — пусть видя их в отдалении — те же негромкие цели. Политическое творчество само по себе не пользуется особым уважением Солженицына. Политика — это как бы сфера обслуживания, а главное — и экономическая, и духовная, и культурная жизнь — происходит вне политики.

И поэтому в его устах все громкие слова утрачивают свою громкость, а для многих — и привлекательность. Демократия оказывается не прекрасной дамой, а образом правления, наиболее подходящим для нас сегодня. В других условиях наиболее подходящей может оказаться монархия. Она тоже не черт с рогами, а образ правления. Желательно, чтобы формы и того, и другого приспособились к местным условиям. Так что он за демократию, но демократия для него не цель, а средство. Главное же, чем он руководствуется,— это то, о чем когда-то говорил «ко благу и отечеству любовь». Ко благу — и духовному, и материальному, но реальному. И к отечеству — тоже реальному, которое должно быть реально спасено.

Все его предложения—с которыми читатели согласны и не согласны — нацелены не на торжество тех или иных конструктивных идей и принципов, а на спасение страны и жизни. И если у кого-либо есть возражения ему, то они должны исходить из этих же соображений, из той же системы ценностей, а не из дорогих принципов. Страна-то ведь и вправду — «на последнем докате».

Леонид БАТКИН: КАК НЕ ПОВРЕДИТЬ ОБУСТРОЙСТВУ РОССИИ *

1

Вы можете спорить с кем угодно, от Чаадаева до Сахарова, не начиная с неловких оговорок, с первого же слова входя в существо дела и не тревожась, что это будет сочтено кощунством.

С кем угодно — но не с Александром Исаевичем Солженицыным.

Иов, впрочем, пробовал возражать Господу, но все помнят, чем это кончилось. «Руку мою полагаю на уста мои»! Иова можно понять. Господь говорил с ним «из тучи»! «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». То есть, восстав, он повел себя в конце концов со своим господином так же, как ранее вели себя с ним те, что ниже его: «Когда я выходил к воротам города, и на площади ставил седалище свое,— юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли». Главное же: «После слов моих уже не рассуждали»...

Солженицын, возможно, заслужил, чтобы мы при его появлении вставали.

Но рассуждать далее — очень даже приходится.

Подзаголовок «Посильные соображения» и скромность заключительной главки «Давайте искать» («Моя задача была лишь — предложить некоторые отдельные соображения, не претендующие ни на какую окончательность» и пр.) — дань этикетным риторическим правилам. Интонация текста с этим, разумеется, решительно не сообразуется. А. И. пишет аподиктически, то есть указуя, а не доказывая — в полном сознании своего уникального права разговаривать не просто с отдельными собеседниками, а с народами. Это жанр послания «городу и миру», настоящая энциклика Солженицына! Вермонтский отшельник вразумляет, требует, гремит из тучи.

Уже тон и жанр обращения Александра Исаевича — неприемлемы. Причем не сами по себе: Солженицын, конечно, должен писать так, как ему любо и привычно. Но — из-за нас, ввиду нашей собственной давней привычки припадать к Высшим Авторитетам, от этих обыкновений, если мы хотим стать современной страной, надо бы избавиться.

Мы сегодня только-только поднимаемся с колен.

Мы только начинаем осваиваться с достоинством каждого индивидуального мнения.

Было бы ужасно, если бы мы склонились не перед логикой и фактами, а просто из-за понятного почтения к легендарному автору «Архипелага ГУЛАГа», боясь поплыть против некоего нынешнего общественного течения. Уже незатруднительно — и даже легче, наоборот, неужто дожили? — отвергать ложь КПСС или жестко оспаривать ее генсека. Ну, а отклонить идеи самого Солженицына? Не только (что не в пример проще) глазуновых да куняевых?

Увы, иные россияне, включая известных политиков-демократов и литераторов — среди коих и некоторые мои друзья,— что бы они ни думали по поводу недавней брошюры Солженицына, поспешили публично подчеркнуть ее искреннюю боль и нравственное величие: впрочем, не особенно вдаваясь в разбор. Полемизировать с конкретными наставлениями А. И. кажется не с руки, пусть следовать им и не собираются. Видно, некое общее ритуальное согласие в данном случае именно то, что требуется...

Попробуем, однако, исходить из того, что, хоть не всякий, но многие, вступающие в дискуссию и размышляющие о судьбе России, всей душой, как и Солженицын, болеют за нее и радеют о ней. Теперь — лишь после того как А. И., бросивший вызов страшному режиму, стал в своей стране едва ли не самым печатаемым автором и признан всеми, включая высшие власти,— мы можем спорить с ним, не заикаясь и не повторяя на каждом шагу, что памятуем его громадные заслуги перед Отечеством. Ибо последнее и без того ясно.

Я считаю, что послание А. И. Солженицына способно осязаемо повредить обновлению России. В нем, как всегда, много верных и гневных замечаний о зле агонизирующего партийного «социализма», но они невольно звучат уже лишь отголосками общеизвестного, и автор это сознает. В нем есть отдельные точные мысли и предложения, их тоже немало — например, о связи между «независимым гражданином» и частной собственностью или, особенно, о немыслимости демократического строя без сильно развитого местного самоуправления. Но и это известно. Зато все верное и справедливое вставлено в ретроградный каркас. Довольно явные попытки что-то уравновесить оговорками, немного сгладить, обойти — не исправляют мечтаний объехать по кривой всемирную историю, но лишь придают тексту, как подмечалось и сочувственными читателями, некоторую вялость.

Вред брошюры Солженицына, пожалуй, смягчается тем замечательным и радующим всех нас обстоятельством, что его взгляды не утаены от публики, а немедленно обнародованы 25-миллионным тиражом. Каждый, кто сумеет, дочитает этот текст до конца и обдумает его неспешно. Возможно, поскольку автор мало считается с нынешними политическими реальностями, его послание, отшумев, будет отодвинуто ходом нарастающих событий. И все-таки обязательно найдутся — да уже нашлись! — люди, полагающие не без оснований, что позиции Солженицына существенно близки к их националистическим позициям, и желающие воспользоваться его действительно глубокой убежденностью и влиянием, которыми они сами не обладают.

Как ни огорчительно, но промолчать невозможно. Потому что идеи Солженицына имеют почву в некоторых исторических и не изжитых еще особенностях российской и советской общественной жизни и сознания.

2

Со странным чувством, в котором смешиваются, может быть, горечь, но и — готовность принять неизбежный порядок вещей, но и — едва ли не удовлетворение, автор пишет: «так устроен человек», что готов сносить любое бесправие, нищету и погибель, однако, «если затронуть нашу нацию», «тут мы... хватаем камни, палки, пики, ружья и кидаемся на соседей поджигать их дома и убивать».

Все-таки в Канаде или Бельгии никто «пики» как будто не хватает и убивать соседей не кидается. Да и в странах Прибалтики тоже... Не станем допытываться у Солженицына: неужто межнациональное озлобление не обусловлено определенными политическими и экономическими условиями и обстоятельствами и нечеловеческие зверства Сумгаита, Ферганы и Оша не следует ли объяснить конкретностью местной советско-азиатской почвы, а не тем, что якобы «таков человек» изначально, всюду и всегда. Но: как следует, во всяком случае, человеку культуры, современному человеку, с опы-

---

* Статья впервые была опубликована в журнале «Страна и мир» (Мюнхен. 1990. № 5).

том на сей счет XX века, относиться к любому, даже и безобидно-мирному, «только» идеологическому, благонамеренно-сентиментальному национализму? Ко всякому перевесу коллективного (в том числе национального) над самостоянием личности? Как нужно бы, в частности, смотреть на узкое «устройство» людей с точки зрения христианского персонализма? Короче, каков принципиальный взгляд Александра Исаевича?

Насчет этого мы получим кое-что несколько ниже. А пока — отложив на потом цитату из Владимира Соловьева: «Люби все другие народы, как свой собственный»,— А. И. констатирует: «национальный извод заслоняет нам остальную жизнь», от этого «сегодня мало кто в нашей стране свободен» — то есть мало людей с демократическим сознанием или просто здравомыслящих? Спорная констатация! Для большинства населения СССР и прежде всего для русских, от шахтеров Воркуты и Кузбасса до Москвы и Питера, пока еще, к счастью, несправедливая. Не проанализировав и не отвергнув национальную одержимость, особенно опасную для стосорокамиллионного народа, автор торопится к «Ближайшему», говоря так: «мы (кто это — «мы»?) вынуждены начинать не со вверлящих язв... но с ответа: ...в каких географических границах мы будем лечиться или умирать?»

Однако, если начинать прямо-таки с вопроса о границах России,— то до лечения дело никогда не дойдет. Это смертельно опасная, безответственная акцентировка.

Солженицын открывает обсуждение с требования: поскольку СССР... «все равно» развалится (и в этом он прав) — «безотложно, громко, четко объявить»: ОДИННАДЦАТЬ республик «непременно и бесповоротно будут отделены».

Каково? Не имеют право отделиться, а обязаны, будут принуждены к тому. Ибо, ежели «какие-то из них заколеблются, отделяться ли им»,— с той же «твердостью» и «несомненностью» «вынуждены объявить о нашем отделении от них — мы, оставшиеся». «Вместе нам не жить»! «Не тянуть взаимное обременение»! Словом: уходите, а не то мы сами уйдем... Те, кто полагал, что на первом Съезде народных депутатов В. Распутин неудачно пошутил, теперь видят: какие уж тут шутки.

Почему же «мы» (то есть те россияне, которые согласятся с Распутиным и Солженицыям) желаем принудительного разрыва? Потому что «надо теперь жестко выбрать: между Империей, губящей прежде всего нас самих»,— и спасением русских. Да, но, может быть, не исключен иной выбор: между Империей и не-Империей, и конфедерацией или какой-либо еще удобной формой тесного содружества действительно суверенных и демократических стран на месте СССР?

Казалось бы, три общеизвестных причины — экономическая связь, потенциальный общий рынок, за пределы которого никто пока не в силах уйти; демографическая чересполосица (60 миллионов — прежде всего русских — вне республиканских границ); наконец, человеческие личные связи, смешанные браки и русский язык, играющий на этой части суши международную роль английского,—«просто» разойтись странам, входящим в СССР, не дадут. В интересах всех искать взаимоприемлемый способ ликвидации империи при сохранении общего экономического, культурного и геополитического пространства. Только дальнейшая искусственная задержка СССР усиливает центробежные тенденции; с победой республиканских демократий мы еще, думаю, станем свидетелями оживления (в радикально преобразованном виде) тенденций центростремительных, конечно, с большими различиями и вариациями в статусах советских стран, включая и статус частично ассоциированных членов. И лучше бы так.

Но Солженицын, находя сильные слова против претензий иных русофилов на «пространнодержавную» мощь, против имперской гордыни, требует отказаться от былых царских и сталинских территориальных приобретений ради материального и духовного укрепления России, пусть в более скромных географических пределах. Ибо: «Зачем этот разнопестрый сплав? — чтобы русским потерять свое неповторимое лицо?» — тем паче, что «все равно», «нет у нас сил на окраины», «нет у нас сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч...»

Практичное и милое отношение к «окраинам»...

А если были бы силы?

Итак, выбор Солженицыну, возглашающему от имени якобы «самих русских», видится только такой: «держать великую Империю» или сбросить балласт «окраин». Что выгодней для России? По давнишней заветной мысли Александра Исаевича — выгодней создать «отстойник русской нации». Правда, «и после всех отделений наше государство все равно неизбежно останется многонародным, хотя мы и не гонимся за тем». Каково это «наше» для слуха прочих, «даже и крупных», наций в РСФСР? Ведь если «мы» (то есть русские) «не гонимся за тем», значит, нерусские не включены в смысловой состав вырывающегося из уст великодержавного «мы». За ними «не гонятся»! И то хорошо, раз уж вместе жить «неизбежно». Что до «малых окраинных народов» Северного Кавказа и др.— «мы» «не нуждаемся в их примыкании», «они нуждаются в том больше. И — исполать им, если хотят с нами». Так-то.

Через все послание «мы», «наше» — и «они», пусть сотни лет живущие у нас, но не наши; одних — «не держать», принудительно отделить; другим — «выбора нет», вокруг — Россия; третьи, «пред революцией столь отличавшиеся в верности российскому трону, вероятно, еще поразмыслят, есть ли расчет им отделяться»; как хотят, мы хоть и не больно нуждаемся — исполать им.

Вот такое антиимперское мышление: как продолжение наизнанку того же, имперского.

Почему речь сперва только об одиннадцати республиках? Потому что дозволить «раздутому Казахстану» суверенность Александр Исаевич готов только в пределах «южной дуги областей», где казахи составляют коренное большинство. Ссылаясь на то, что границы Казахской ССР были нарезаны при Сталине, отдавать большую часть его огромных просторов Солженицын не согласен. И точно так же — в случае отделения Украины — велит особо проводить референдумы в Донбассе и других областях, где так много русского населения.

В цивилизованном мире, давшем приют изгнаннику Солженицыну, считается запретным ставить под вопрос проведенные после 1945 года и вообще наличные границы. Иначе не обраться беды. Во всем мире в кое-каких областях кое-каких государств численно преобладают нацменьшинства — от Испании до Румынии, от Индии до, кажется, Финляндии с ее шведами. Во всем мире привыкают не придавать границам излишней важности. Но А. И-чу не хочется расставаться с распаханной Голодной степью, и вот уже в Алма-Ате закипела демонстрация против требований... Вермонта. Только этого нам недоставало. Успокойтесь, граждане казахи. Ни русский народ, ни его нынешнее правительство, конечно, не станут следовать наставлениям Александра Исаевича; зачем придуманные заботы, если и подлинных навалом?

Расстелив на полу географическую карту, Солженицын решает, где быть государственным границам. И, будто дитя, бросает зажженные спички.

Выталкивает молдаван в Румынию: по его мнению, их туда «больше тянет».

Объявляет Украине и Белоруссии, что их народы — ветви того же ствола, что и русские, собственно, разновидность тех же русских: малороссы, карпатороссы, белорусы. Так что отделяться им никак не годится. Разве что украинский народ «действительно пожелал» бы: конечно, «никто не посмеет удерживать его силой». Это хорошо... Но, если желательно удержать лаской, лучше бы не разоблачать украинских националистов, даже если они исторически неправы, ведя счет с IX века (не было тогда украинцев... как, однако же, и русских), лучше не называть Галицию «Карпатороссией»... и не считать ее говор «искаженным украинским ненародным языком», и дополнительно не оскорблять Униатов насчет «окатоличенья», и не настаивать опять-таки в случае отделения на перекройке границ.

Ах ты, Господи!

Отчего бы русским не жить на независимой (но скорей всего союзной, да только не с имперской Москвой) Украине? В независимых (но скорей всего союзных) Казахстане, Грузии и др.? В независимых и богатеющих государствах Балтии? Но... «Перед миллионами людей встанет тяжелый вопрос: оставаться, где они живут, или уезжать?.. И не только для русских окраин (выделено мной, выражение запомним.— Л. Б.), но и окраинных уроженцев, живущих ныне в России».

А вот это нетерпеливое пророчествование — вовсе страшное. Не дай Бог. Тотальное переселение бегущих навстречу друг другу (от погромов?) людей было бы довершающей катастрофой. Сейчас беженцев около 700 тысяч, из них примерно половина — русские; и уже невыносимо. Появление десятков миллионов беженцев сделало бы невозможным какое бы то ни было «обустройство» России и всех стран бывшего СССР — на десятилетия вперед. От этого необходимо уберечься во что бы то ни стало.

Однако Солженицын, хотя и пишет, что «национальный вопрос» «так натер шею нам теперь, что перекосил все чувства и всю действительность», но никакой альтернативы гигантскому, невиданному в истории исходу не видит, не предлагает. «И ко всему теперь вот — готовить переселение соотечественникам, теряющим жительство? Да, неизбежно»! Перечисляет (давно обсуждаемые в газетах и даже отчасти вошедшие в правительственные республиканские программы) всякие резонные способы сократить расходы и «набрать средств» (между прочим, почему-то не раскладывая получившуюся бы экономию среди всех республик, а записывая прибыль только за Россией) — и предлагает тут же и израсходовать все эти средства на... переселение беженцев...

Не говоря уже о моральной и политической стороне дела — чудна эта решительная солженицынская политэкономия! Не только все ушло бы на беженцев, но, собственно, не получив ни «деревянного» рубля на модернизацию хозяйства и пр., оставшись нищей и голодной, наша Россия и беженцам помочь не сумела бы. Никакие «500 дней» или 5000 дней этого, разумеется, не выдержали бы.

Что же еще у Александра Исаевича по «национальному вопросу»?

А еще объявляет он «справедливой нынешнюю иерархию» союзных республик, автономий, областей и округов. Хотя против такой иерархии уже выступили и объявили себя союзными семь ававтономий.

А еще разъясняет он, используя известный довод Сталина, что суверенных государств без внешней границы в России быть не может. Что, хладнокровно отнеслись в Казани и Уфе к укороту из Вермонта? И то слава Богу.

А еще вскользь повторяет он любимый тезис наших националистов о том, что «Россия эти десятилетия отдавала свои жизненные соки республикам» (мудро оговаривая: «если верно» сие).

А еще, дав добрые советы насчет «наималейших народностей», как-то запамятовал полтора миллиона евреев, два миллиона немцев, бегущих из родной земли, в которой 200—400 лет покоятся их предки. Видно, «не гонимся» за тем, чтоб сберечь их головы и руки для России? Это — не национальная трагедия помимо самих немцев и евреев, именно для русских? Все упомнил и рассудил Александр Исаевич, от уменьшения учебной нагрузки для классных воспитателей до открытия в Академии, по Столыпину, «факультетов по профилю министерств». Да чего-то и не упомнишь...

Зато посреди всех опустошительных наставлений и неумолимых требований — выписка из Владимира Соловьева: «Люби все другие народы, как свой собственный». Хорошая выписка. Как белый гриб в середине вытоптанной поляны.

Распорядившись судьбой всех республик, исправив границы и там, где проблем с ними пока нет, переселив всех русских в Россию из «русских окраин» (не императорских, не советских только — а все-таки еще и русских? «Эту «Россию» уже затрепали-затрепали, всякий ее проклинает ни к ляду, ни к месту»), Солженицын на седьмой день политического творения предлагает отдохнуть. «И вот тут-то, с этого порога — можно и надо проявить нам всем великую мудрость и доброту, *только от этого момента* можно и надо приложить все силы разумности и сердечности» (выделено мной.— **Л. Б.**).

А до этого момента? До этого порога? Неужто никак нельзя быть сердечными? Не нужна разумность?

Грустно.

3

«Выграбить», «неподымный», «запущь», «мирней и открытей», «поколеситься», «невдавне», «окаянщина», «устояние», «беспорядье», «в обокрад», «заманный», «захлебчивый», «подводье», «воскресительный», «увершаемый», «избранец», «разнотолковщина», «двутретный», «людожорский», «распропащать», «сочетанный»... и так далее. Таков язык, на котором автор «узлов» «Красного колеса» решил обсудить со своими согражданами, как превратить Россию в процветающую современную страну.

Или... не в современную? А в ту, где (в XVIII веке? или — лучше — в XVII-м?) вещи переходили от прадедов к правнукам, не зная износу; цены стояли неизменными при жизни трех поколений («по веку»); женщины сидели дома и растили детей; молодежь не «дурила от сытости» железным роком и брейком, а разве что «выдуривалась» при умеренном достатке кулачными боями стенка на стенку, деревенской частушкой и, на самый худой конец, городской кадрилью; телевидение днем не работало, пропускало и целый день в неделю, как в Исландии, и вообще даже не работало; не было «иавозной жижи» масс-культуры, «вульгарнейших мод», рекламы, «пухлых газет». Был же: спокойный феодализм, тихое крепостное право или, это еще терпимо, самый-самый ранний капитализм. Была царица Елизавета, был Петр Иванович Шувалов с удивительным, хотя, разумеется, неосуществленным своим «Проектом сбережения народа» (ох, и тогда, значит, приходилось думать об его сбережении?). Вот Россия! — Шувалов, Столыпин, совещательная Дума от новых «сословий», земство, принесшее некогда действительно столько пользы — и, конечно, все полезное из века нынешнего, многое даже из западных порядков, лишь без их проблем и изъянов, одно хорошее...

Вот обустроенная будущая Россия, которая снится Александру Исаевичу.

Это, наверное, прекрасный сон. Цветной сон, в котором можно летать.

Пожалуй, не случайно именно сорок культурно-экономических «жизненных и световых центров» видятся Солженицыну в этой необыкновенной России, «сорок городов» во главе русских краев — и сразу вспоминаются «сорок сороков» московских церквей: фольклорное, сказочное число.

Ох, как славно бы.

А просыпается Александр Исаевич в конце XX века и замечает — все не так. Все надобно иначе.

И ставит Александр Исаевич на площади седалище свое, и гремит из тучи поистине великий зэк, неустрашимый обличитель коммунистического тоталитаризма, однако же заодно попадает чуть-чуть ли не всем подряд.

Достается от мощной десницы Солженицына, не говоря уже о «материализме XIX века, обезглавившем человечество», и западной демократии как «суррогате веры для интеллектуала, лишенного религии»,— без называния имен, конечно.

Гавриилу Попову за «обходливую осторожность» введенного им понятия «административно-командной системы» и за «нечувствительность по отношению к родине, питающей столицу» (это уже и Моссовету за торговлю по паспортам);

Юрию Афанасьеву или, не помню уж, кому-то другому за несколько преждевременную фразу на митинге 4 февраля о «новой Февральской революции»;

самой Февральской революции 1917 года с ее «балаганными одеждами»;

Михаилу Горбачеву за «внутрицекашные перестановки» (вот впрямь удачное словесное новшество!) и жалкую «перестройку»;

Андрею Сахарову за поиски «удобнейшей формы государственного строя», ибо кто же, как не Сахаров,— тот, кто «скороспешно сочинил замечательную конституцию, параграф первый, параграф сорок пятый», как раз 45 статей было в первом варианте сахаровской конституции, и действительно очень торопился с этим до последнего своего дня Андрей Дмитриевич (сам Солженицын не совсем последовательно добрую половину брошюры отвел для того, чтобы изобрести русский государственный строй и даже расписать его в малейших деталях);

Полозкову за позорную РКП — и молодым симпатичным московским «анархосиндикалистам»;

«прозябающей ООН» — так, подзатыльник мимоходом;

с оговорками — правозащитникам, посредством критики «модных», но не наисущественных «прав человека»;

профессиональным политикам, получающим оплату за свой труд, и засилию в парламентах правоведов и адвокатов, «юрократии»;

и новому руководству России, Б. Ельцину, с его надеждой на свободные экономические зоны и иностранные инвестиции («не заманивать к нам западный капитал» — Господи, да как его заманить-то?! — де, «только приидите и володейте нами... обратимся в колонию», «опаснейшая идея» — чья? где вычитал такое А. И.? эти страхи о западном капиталистическом Змее Горыныче мы, впрочем, то и дело слышим от невежественных «патриотов», не знающих, как функционирует экономика любой открытой и цивилизованной страны);

достается и новым партиям: зачем в стране возникают партии, ежели возникать им не след, отжили в мире партии свое, и будто мало мы нахлебались от одной КПСС (тоже знакомые доводы);

и «Мемориалу», и представительному парламентаризму, и Троцкому, и народным фронтам — к чему еще народные фронты?

И кому-то еще.

Вот такая вселенская смазь!

А в союзники себе Солженицын набирает выписки из довольно разных авторов, часто даже без прослоек собственных рассуждений, просто подряд как в календаре: Ив. Ильин, С. Крыжановский, Тит Ливий, Д. Шипов, В. Соловьев, О. Шпенглер, П. Новгородцев, Аристотель, М. Драгоманов, Достоевский, Рональд Рейган, Иоанн-Павел II, Карл Поппер, Г. Федотов, М. Катков, Л. Тихомиров, Монтескье, П. Милюков, В. Маклаков, Д. Милль, С. Франк, Б. Чичерин, Ганс Штауб, В. Розанов, Токвиль, С. Левицкий, Ветхий Завет... Щедро уснащает Александр Исаевич свою брошюру полюбившимися цитатами, порой никак не согласующимися между собой, заимствованными из космически далеких друг другу или даже враждебных духовных контекстов, но зато подтверждающими всякий раз правоту автора. Это интеллектуальное оснащение производит, по правде говоря, фантастическое впечатление на тех читателей, которые предпочитают аналитическую работу с чужой мыслью — требнику или «зерцалу».

Но подбираемые к тому или иному месту *авторитетные свидетельства* превосходно зато соответствуют избранному автором жанру и языку *наставления*, по-своему органичны.

У меня нет сейчас под рукой словаря В. Даля — того компоста, на котором Александр Исаевич взрастил свой удивительный стиль — чтобы проверить, какие из приведенных выше диковинных сегодня слов были в ходу 100—150 лет тому назад, а какие А. И. придумал, стилизовал под русскую старинность и простонародность. Да и нет по поводу этой брошюры необходимости пускаться в глубокомысленные лингвистическо-эстетические соображения. Ведь перед нами сугубо актуальный политический документ.

Эрудированный комментатор «Свободы» Б. Парамонов высказал примерно такое мнение: перед нами писатель, а не политик, и его нарочито-областнический, густо архаизированный язык — инструмент, понадобившийся для создания своего особого художественного мира — бесподобного «мифа Солженицына». Зря, конечно, замечает Парамонов, взялся писатель не за свое дело; и вышло нескладно; но возражать неуместно, ибо корень промахов и ретроградности автора — глубоко эстетический, а в этом качестве все приобретает оригинальный, уже неотъемлемый от современной культуры, по-своему замечательный смысл.

Э, нет. Изящный, что и говорить, поворот дела, но не получится из него ничего, кроме оскорбительной и для Солженицына и для читателей, всерьез воспринявших его замысел, бестактности.

С подобным поворотом не согласится сам автор, не откажется от своей гражданской, своей учительской миссии, как он ее понимает. Что до художественного и словотворческого уровня солженицынской архаизации, прямого идеологического пафоса особенно последних романов — разговор это отдельный.

И, с другой стороны, вряд ли много сейчас найдется в России людей, разделяющих или не разделяющих взгляды Солженицына, которые захотели бы и смогли столь утонченно истолковать послание из Вермонта. Как «игровое»?! Но не затевают игры на пожаре; да А. И. и не затевал никаких эстетических игр, не помышлял не о чем ином, как затушить пожар, отстроить погорелище, вылечить Россию.

Правила разбора заданы, повторяю, целью брошюры. Независимо от необычайного колорита, это — послание, оглашенное десятками миллионов сограждан, исстрадавшихся, озлобленных, нуждающихся, страшащихся и желающих сравнительно скорого благополучного выхода, облегчения общей и каждой личной судьбы. Ответ может быть дан только в том же — политическом и практическом — ключе, который столь настоятельно предложен Солженицыным. Культурологический десерт к сему отведаем когда-нибудь потом — пируя на российском новоселье.

Поэтому и язык Солженицына в данном случае не просто выражение лексической свободы художника, меры его вкуса и культурного такта. Здесь важно другое. Если Александр Исаевич стремится разговаривать со всеми русскими да и со всеми, для кого русский язык родной или хотя бы понятный, то надо сказать, что его читатели (интеллигентные ли, малограмотные тем более) изъясняются иначе. Страна говорит на другом языке, не солженицынском. О, много хуже, если вам так угодно. Но иначе. Следовательно, для автора важней обыкновенной доступности оказалось намерение найти опору вне современной реальности, найти должное, кажущуюся ему единственно достойной точку отсчета над реальностью, короче, предложить современникам для преодоления насущных нужд идеальную конструкцию на всех уровнях текста, от концептуального до стилистического. И поэтому развеваются, как знамена, как хоругви: «ЗАПУЩЬ», «В ОБОКРАД», «СОЧЕТАННЫЙ», «РАСПРОПАЩАТЬ»!

4

Жанр политического рассуждения плох тем, что, если в романе что-либо окажется бросающим вызов фактам, это называется полетом воображения, эстетическим «мифом» и так далее; а ежели такое в «слове к народам» — придется назвать иначе, не так упоительно. И если в романе автор себе противоречит, то называется это художественным или даже высокохудожественным приемом; а в рассуждении — это уже алогизм (проще сказать — нелепица).

Вот лишь несколько примеров.

а) До Октября 1917 г., утверждает Солженицын, в России было «почти достигнуто» — хотя и с «прискорбным исключением» — «спокойное сожитие» и даже «дремотное неразличение наций». Но... автор упоминает «необдуманное завоевание Александра II», «давящий (до сих пор? — Л. Б.) груз» «среднеазиатского подбрюшья». Средняя Азия — русское «подбрюшье»? Славный взгляд на географическую карту... И «позорные указы» того же царя против украинского языка, и «единонеделимцы» 1914 г. Но еще автор сочувственно цитирует С. Крыжановского, который «в начале века» предостерегал, что «коренной России» недостает сил для «ассимиляции всех окраин»! Вот как, значит, посреди дремоты царская администрация добивалась ассимиляции как условия «неразличения»? Значит, советское «неразличение» не так уж ново?

Может быть, не упомянутые автором запреты Столыпина уже в 1910 позднем году против украинской культуры, понятие «инородцев», черная сотня, и «дремотные» еврейские погромы, и процесс Бейлиса — как раз печальное исключение, не заслужившее упоминания. Как и и упорное разбегание народов из «единой и неделимой» в 1917—1921 гг. — с чего бы?

б) Если не императорской и коммунистической России досталось быть метрополией, носительницей тяжкой государственности, ею же на особый манер придавленной и обездоленной, если не русским людям было назначено «партией» стать становым хребтом и одновременно жертвой несвободы, «чудища СССР», то зачем же Александр Исаевич называет 12 республик «русскими окраинами» и пишет, что «нет у нас сил на Империю», а сбросим «окраины» — и «только экономия физических сил»?

Чего-то мне не дано во всем этом понять.

в) Если есть все-таки — не с IX, конечно, но с XIII—XIV веков — «особый украинский народ с особым нерусским языком», то почему же при признании его права на свою культуру и даже права «действительно отделиться» ему предназначена непременно только автономия внутри неделимого «Российского союза»? «Несмесимо и неразделимо». Если «несмесимо», то в каком смысле «неразделимо»? Или «неразделимо», или полный разрыв? А третьего, то есть конфедерации, или общего рынка и валюты — ни Украине, ни Белоруссии не светит?

г) Если «ничего дельного мы не достигнем, пока коммунистическая ленинская партия не... полностью устранится от всякого влияния на экономическую и государственную жизнь», пока не исчезнут «номенклатурная бюрократия», политическая полиция и пр. (верно, разумеется) — как же нашему будущему правовому государству «неизбежно быть плавнопреемственным»? То есть — по неизбежной логике и практике — преемственным от партийного авторитаризма, от этой самой номенклатуры и пр. А если не так, если давно назрел демократический прорыв, нужна немедленная приватизация собственности, нужны свободные выборы, деполитизация (точнее, освобождение от власти КПСС, от всякого внедемократического, внегосударственного механизма власти и влияния) армии, милиции, судов, прокуратуры, дипломатии; если нужна замена нынешних, пожалованных в виде уступки, искусственных и послушных мнимо-парламентских структур, — то откуда этот вполне созвучный официальной позиции акцент на постепенности? — «что-то в нынешнем государственном строе приходится пока принять просто потому, что оно уже существует». Что ж, в общем виде это неоспоримо. Но что именно принять, и, главное, что означает «пока»? Все в одночасье, само собой, не поменять. Но мы ощутимо ввергаемся в экономический и национально-государственный хаос, а «нынешний государственный строй», похоже, обнаружил неспособность к дальнейшей

быстрой эволюции, бессилие и... цепкость.

Так как же без крутого поворота, без бескровной революции, как в люто ненавидимом почему-то Солженицыным Феврале? Как в Польше или Чехословакии?

Опять не умею увидеть, где концы тут сходятся с концами.

д) Еще к тому же. Если «не все дело в государственном строе» (разумеется, не все, но, как показывает самоновейший опыт блокирования экономической реформы и нового союзного договора, — едва ли не ключевое), если с политическими изменениями при неотложных хозяйственных бедах не следует торопиться, то кто и как расхлебает именно экономическую разруху? События как раз в те дни, когда стране было предложено читать увлеченные земские проекты Александра Исаевича, показали, что при нынешней всесоюзной структуре власти РСФСР почти бессильна, четвертьдемократический Верховный Совет СССР ни шагу в экономике сделать не в состоянии, чрезвычайные президентские указы походят на знаменитые китайские «серьезные предупреждения» Америке (хотя счет до тысячи еще не дошел). Остается только раскладывать пасьянс из трех экономистов-академиков, но выходят казенный дом на Старой площади и неясно-дальняя дорога, и вдруг в последний момент взволнованный Президент, как обычно, смешивает карты.

Так все-таки: ежели «невозможно нам сразу браться решать вместе с землей... собственностью, финансами, армией — еще и государственное устройство тут же», — а какое, нынешнее, что ли, устройство сумеет преобразовать армию, финансы, собственность, поземельные отношения?..

е) И, чтобы прервать пока перечень возникающих (возможно, не только у меня) недоумений. Если ответственны мы в том, чтобы «упредить беды» — и «раскол только тот, который действительно неизбежен», что же А. И. так жестко и опрометчиво накликает беды, не дожидаясь народных волеизъявлений, отбрасывая одних, рассекая других, задевая третьих, не замечая массового исхода четвертых, пренебрегая торжественными декларациями пятых? Ведь нельзя сомневаться, что русским он желает только добра, да и прочим зла не желает. Но — где же элементарная деликатность и осторожность в «упреждении бед»?

Действительно, досадно и грустно.

Но в этой лихорадочной путанице есть логика, есть внутренние идейные основания.

5

Можно выделить четыре таких неразрывных основания.

а) Антидемократизм Солженицына

О, на словах автор, конечно, скрепя сердце соглашается на демократию для России. Что поделать! — «нельзя сказать, чтоб у нас был широкий выбор: по всему потоку современности мы изберем несомненно демократию». Или демократия, или тоталитарная тирания. Это автор вынужден признать. Монархию Александр Исаевич нам, таким образом, не предлагает. Как вздохнули с облегчением, как обрадовались по этому поводу некоторые либералы! «Вот видите? А ведь иные говаривали, что приверженность Солженицына к авторитаризму с с налетом патриархальности скрывает за собой тоску по царю-батюшке. Ничуть не бывало». Поздравьте друг друга, господа. Не монархию велит ставить Александр Исаевич, а все-таки демократию.

Но... Во-первых, и это главное, должна быть демократия без прямого избирательного права. И без равного — с цензом оседлости не только для местных выборов (что нормально), но ввиду четырехступенчатого избрания каждого высшего «земства» низшим, вплоть до «Всеземского собрания», — ценз этот эхом отдался бы до самого государственного верха. Кроме того, лучше бы отстранить от «решения народной судьбы» молодежь, пусть избирают с 20 или более лет (то есть, скажем, студенты сидят при этом дома, а солдаты в казармах); а смогут быть избранными — с 30 лет. Или — раздумчиво колеблется А. И. — с 28-ми? Ибо молодые люди у нас плохо воспитаны, поверхностно образованы и «порой шатки к самым безответственным влияниям» (чего не скажешь, надо полагать, о тех, кто постарше, и о пенсионерах). Так что и возрастной ценз. Нет, вообще нечего давать перевес «бессодержательному количеству над содержательным качеством». Нужно выяснить при голосовании «Волю Народа», а не просто интересы всего населения, состоящего из «рассыпанных единиц». Иначе не получится отбора в Думу самых нравственных, мудрых и многоопытных — лучше всего было бы вообще не проводить «общего голосования», а — «опрос мудрых», как некогда «у горцев Кавказа». «Но — никак не видно несомненного отбора таких людей» на современном всесоюзном уровне, российских аксакалов, так сказать. Все же «известным знаменителем» могла бы стать «верховная моральная инстанция с совещательным голосом», от «профессий и отраслей приложения труда», ареопаг «знающих», верхушка новых «сословий». (Все это — без тени улыбки.) Не получится при всеобщем голосовании и необходимая сильная власть Главы Государства. Так что нет, не «сползем» в России к «нелепому» всеобщему избирательному праву, как «с 1918 сползла» Англия.

Монархия вверху и самоуправление вроде сельского «мира», земства, казачьей сходки, веча, совета мудрейших и т. п. внизу? Нет, нельзя. Потребна все же какая-то другая комбинация авторитаризма и старинной общинности. Не тот строй, который был до Февраля. А только «в управлении неизбежна примесь аристократического или даже монархического элемента» (см. Аристотель и ландсман Брогер в кантоне Аппенцель в Швейцарии). Не монархия, но — «примесь элемента» ее. «Сочетанная система»... Так что радуйтесь, господа прогрессисты.

Да, не упустить еще: тайного голосования тоже не нужно, «тоже не украшение». Нечего бояться давления и запугивания голосующих, «облегчать душевную непрямоту»; голосуй открыто, смело тяни руку! «На земле и сегодня есть места, где голосуют открыто». Есть, есть. Да хотя бы и СССР разве не был по сути таким местом, где избиратели не заходили в кабины под взглядами кагэбэшников, а — прямо к урне, с душевной прямотой? Что до ступенчатой системы голосования, от низших органов к высшим, то и эта система хорошо опробована в КПСС. В «первичках» — делегатов на районную партийную думу, с районной — на городскую и так далее, вплоть до думского Пленума и Политбюро мудрейших и знающих, «с примесью аристократического элемента».

Итак, демократия, да! — но без всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании. Без гнилого парламентаризма. Без партий и без партийных списков на выборах. Обойдемся! Сбережем «устои страны», с ее царской и большевистской историей. Вернемся к тому, что французы порушили «в революцию 1848», англичане же в год победы у нас большевизма. Эх, хорошо было до 1848 года!

Во-вторых. Должна быть демократия без разделения властей. Ведь надо сообразоваться с «традицией народа», «данного народа». А данный народ власти не хочет, управлять собой не привык. Не власти он хочет, не без основания (но, может быть, по уже несколько устаревшим сведениям) полагает Солженицын, а хочет ПОРЯДКА. Для порядка нужна «сильная власть», собственно, не исполнительная, а лучше всего, если бы она «не зависела от совета законодателей и отчитывалась перед ним лишь после достаточного срока» (см. Г. Федотов) «Это, пожалуй, уже и слишком»,— со вздохом замечает в скобках Александр Исаевич.

В-третьих. Должна быть не только непосредственная демократия доверху, никак не представительная; но, следовательно, и профессиональные политики не нужны, вот эта «самая «юрократия».

Солженицын прав, напоминая, что демократия — не идеальный государственный строй, что у нее постоянно возникают проблемы, и противоречия, и пр. Автор тщательно подбирает все известные аргументы против западной демократии, от наблюдений Токвиля в прошлом веке до советского пропагандистского тезиса о том, что «при всеобщем юридическом равенстве остается фактическое неравенство богатых и бедных», «власть денежного мешка». Нет здесь возможности вступать в длинный и довольно скучный спор. Да, «несправедливости творятся и при демократии, и мошенники умеют ускользать от ответственности». Что и говорить. Но только при демократии, при величественном формальном праве (одном из лучших изобретений западного общества) — у мошенника это получается трудней и реже. Не хочется в очередной раз цитировать афоризм Черчилля. Лучше спросить у Александра Исаевича: почему ни одного аргумента против предлагаемой им авторитарно сословной, «сочетанной», организованной по вертикали системы у автора не нашлось? Интеллектуально ответственный автор обязан бы указать возможные слабости и опасности также своей конструкции.

Кроме ее — очевидной и для смущенных поклонников идеологии Солженицына — кабинетной придуманности, заметим только одно: проголосовав на мирской сходке или на городской площади за местных земцев, гражданин впредь передоверяет решения сложной «земской» пирамиде; ему уже никак не уследить, кто кого там выше избирает, и во Всесоюзной Думе будут лица, которых он не выбирал, не знает и повлиять на них не в силах. Это мы уже хо-о-рошенько испытали.

Без «поравнения», без «избирательной публичности», без «плюрализма идей», но с их «абсолютностью»... Знаем.

Итак, традиция, полюбовность, даже «мнение без голосования», «сквозь все века русский деревенский мир», и «казачий сход», и новое земство при жестко ограниченном избирательном праве, без юридического формализма, без «нелепых» изобретений демократии XIX и XX веков — вот что такое солженицынское «ПОДАЛЬШЕ ВПЕРЕД».

«Подальше вперед»? Или подальше назад?

На основе традиций императорской пореформенной — и советской, между прочим, в существенных штрихах,— так или иначе выпадающей из современного мира России? К утопическому, ретроградному и, по счастью, неосуществимому идеалу.

б) Изоляционизм Солженицына

В этом пункте А. И. заметно осторожней, чем в публицистике, речах, интервью первых лет своего насильственного изгнания. Автор не изобличает и не поучает западное общество. Если не считать демократии, которая была изначально якобы «напоена чувством христианской ответственности», а сейчас «пригибается диктатурой пошлости, моды и групповых интересов». И «умеет лишить силы протесты простых людей, не дать им звучного выхода». И при ней «деньги обеспечивают реальную власть», так что, как мы уже слышали, формальное право прикрывает засилье «денежной аристократии». «Мы входим в демократию не в лучшую ее пору» (то есть она была развитей и привлекательней в прошлом веке, но еще лучше — в древних Афинах). Ну, и опять же парламентское политиканство, лоббисты, «господство посредственности», пустая борьба партий, «навозная жижа» поп-музыки, все, что «заманчиво исчужа» для нашей молодежи и т. д. Спорить не станем. Кое-что из всего этого, разумеется, верно, хотя и поразительно банально; можно бы даже добавить к сему: нигде не звучит такая страстная критика больных сторон и проблем западной жизни, как на Западе; потому что Запад живет уже четыре века через кризис; кризис для него постоянная и нормальная форма исторического движения, безостановочного самоформирования. А иные поверхностные замечания Солженицына к тому же неверны. И, возможно, мы входим в демократию — если входим — как раз в пору начавшейся ее зрелости и удивительных достижений.

Однако Солженицын произносит одобрительные слова о Германии — не покойной «ГДР», конечно, но Западной: ее «наполнило облако раскаяния», а вслед «наступил экономический расцвет». И о высокой трудовой морали японцев. И даже о полезных деталях американского государственного устройства. Напоминает о несопоставимо с нами высоком уровне жизни. Считает, что «из высказанных выше критических замечаний о современной демократии вовсе не следует, что будущему Российскому Союзу демократия не нужна. Очень нужна». А от швейцарского муниципального управления автор даже в восторге, ибо, как мы уже знаем, ему дорога прежде всего непосредственная демократия, «демократия малых пространств».

Так что никакого анафемствования в адрес западной цивилизации, во многих случаях традиционного для российских почвенников с прошлого века, у Солженицына нет. И этому можно было бы порадоваться, не придавая значения пропорциям в критических и примирительных высказываниях, интонациях и пр. Хотя не обойти того, какая «демократия» Александру Исаевичу кажется «очень нужна» и подходяща для России, без «состязательной публичности», яичко без желтка.

Доберемся, однако же, до корня.

Проблема модернизации нашей экономики. Солженицын требует «умеренной частной собственности», прежде всего для крестьян, а также и в «здоровой, умной, честной торговле»; поддержки мелких предприятий; антимонопольных законов, которые делали бы невозможной «безудержную концентрацию капитала». Но никакая современная страна не может быть страной только мелких хозяев (плюс крупная государственная собственность), какая, по-видимому, мечтается Солженицыну, тоже в дымке старины — или в виде «Муравии» у героя поэмы Твардовского. Пусть будут, готов А. И., и банки, но без кредитных ставок («ростовщических наростов»). Пусть будут фирмы, но без выбрасывания на рынок все новых видов товаров, улучшенных моделей, без «прямого разврата» конкуренции, борьбы за потребительские предпочтения. Пусть будет частная торговля, но без «напора корысти»! И частная собственность, но тоже «нельзя допустить напор собственности». Так что Россия сумеет, по соображениям А. И., добиться «качественного выравнивания с развитыми странами» не только без их демократии, но и без их капитализма, во всяком случае — без чего-либо и почему-либо морально непривлекательного...

Важный момент этой патриархальной утопии: не допускать «иностранного капитала» к приобретению у нас недвижимости, земли, рудников и скважин, «особенно лесов». Хотя, между прочим, леса тогда не изводились бы, древесина перерабатывалась бы в три раза эффективней, почти полностью; не горели бы газовые факелы, нефть не выбиралась бы хищнически, без разработки скважин до конца и т. д.

А миллионы запущенных и захламленных гектаров давали бы прокорм не кому-либо, а в первый черед России. Незачем, разумеется, возражать против «твердого русла» законов, которое регулировало бы деятельность иностранного капитала, от чего не отказывается ни одна западная страна; но «вносимого им экономического оживления» смешно было бы ожидать, одновременно лишив его «высокой прибыльности».

Солженицыну хотелось бы зажарить яичницу, не разбив яиц.

Реальность когда-нибудь окажется все же такой, что мы — тоже хочется помечтать — станем одной из «западных» стран, как Япония или хотя бы Бразилия... Предпочтем нынешним бедам — новые проблемы, без которых ни одно общество не обойдется. И равновесие: «уносимых прибылей» (отчего же вместе с тем не способствовать, чтобы они вкладывались снова в наше же хозяйство?) и куда более эффективного использования «нашей природной среды». То есть равновесие выгод не на минимальном уровне (без всяких прибылей им и без настоящего «оживления» для нас), а на уровне динамическом и максимальном (дабы и «они», и мы жировали).

Как это делается, известно хоть в Сеуле, хоть в Бангкоке, хоть и в самих Штатах, чья экономика немыслима без японских, европейских и т. д. инвестиций. Нового тут, пожалуй, не придумаешь. Глядишь, при внуках наших и мы начнем покупать рудники в Южной Америке, или леса в Канаде, или земельные участки в Вермонте. Нормальное дело.

Тут-то, от споров о демократии и о собственности, о государственном строе и беспорочных нравах, которыми хотелось бы блеснуть перед остальным человечеством, приходим мы к традиционному: особый путь для России? А во многом и сходный? И если особый, то какова мера и где пути к этой особости?

Что возразить Горбачеву, который говорит: «не перенимать механически чужой опыт»? Что возразить Солженицыну, который говорит: «но и перенимать бездумным перехватом чужой тип экономики, складывавшийся там веками и по стадиям,— тоже разрушительно»?

Подобные формулировки построены внутренне тавтологически, сами погашают свой смысл. Кто же скажет, что надо «механически», «бездумным перехватом»? Ответ на столь общие, риторические слова будет неизбежно не более содержательным... Ну, не бездумно, а с умом, не механически, а осмотрительно. Тут нужна исключительно практическая конкретность.

В общем же виде достаточно двух простых и каждому посильных соображений. Во-первых, современная экономика выработала такие международные приемы, инфраструктуры, финансовые, организационные (менеджерские), технологические, которые, работая на мировом и только на мировом, а не замкнуто-провинциальном, автаркическом рынке, от страны к стране, от одних местных условий к другим могут лишь (и весьма гибко) варьироваться, в главной основе оставаясь общим достоянием человечества. Эту всемирность и — с точки зрения технологически-экономической — нивелирующую роль капитала заметили еще Маркс и Энгельс в «Манифесте» (не такие уж ограниченные и дикие были они люди, как теперь модно доказывать, а глубокие наблюдатели и критики современной им цивилизации).

Во-вторых, Солженицын, кажется, хотел бы строить новую Россию, ее экономику и политику? Но экономику не строят, она складывается. Да и политика — во многом. Демократам достаточно добиться социального простора, открытости, «формальных» (нейтральных) ко всем видам собственности, ко всякой честной предприимчивости законоположений. А там... Экономика пойдет и пойдет. И по стимулам оптимальной эффективности и заинтересованности окажется такой-то и такой-то. «Построением» идеального строя мы занимались уже достаточно. Никакая версия авторитарного построения по некоему социальному проекту, в том числе и версия реставраторская, архаическая,— не реальна.

Александр Исаевич настойчиво возводит свою мечту по всем направлениям: экономическому, политическому, морально-эстетическому; и это мечта об «особом пути» для России. Но любой особый путь выведет нас только при условии быстрейшей модернизации, что означает тем самым наше возвращение на большак мировой цивилизации. В мире же есть лишь одна универсальная цивилизация: именно та, из глубины которой мы услышали ностальгические призывы Солженицына. Или вместе с «Западом» (который ныне на всех материках), или... да нет никакого «или», кроме того, чем мы досыта нахлебались.

А все-таки, а все-таки... Разве у России — не особые условия? И разве не продиктуют они ей особый путь... свой путь к свободной экономике и либерально-правовому государству? Свой путь на Запад? Несомненно, именно так. Россия окажется «западной» как-то иначе, чем любая страна; иначе, кстати, и чем Армения или со временем Узбекистан. Причем Сибирь тоже отчасти иначе, чем, допустим, Питер и Северо-Запад. Это устроится. В конкуренции разных хозяйственных форм и начинаний. В самодвижении общества. Каким конкретным образом? Не знаю, и пока никто не знает.

И, как всегда, особой будет прежде всего культура и даже, в сущности, по-настоящему только культура, хотя и коренящаяся в повседневных пластах жизни. Всякая культура, как известно, есть торжество особенного. Но она не старается быть особенной. С ней это тоже получается. Она своей особенностью не «гордится», ей не до таких националистических ухищрений и глупостей. Как мужчине не надо говорить и думать, чтобы быть мужчиной, а то, гляди, и не получится. Русская культура всегда была и будет своеобразной, русской; грузинская — грузинской и т. д. Какими же еще доступно им стать?

в) Коллективизм Солженицына

Это можно, конечно, назвать и как-то иначе. Например, общинностью или соборностью.

Позиция Солженицына в этом компромиссна. С одной стороны, автор часто заговаривает о «здоровой частной инициативе», о частной собственности, скромной, «не подавляющей других», но дающей «устояние личности», о необходимости «частных платных школ, обгоняющих общий подъем всей школы». Приветствует «все хорошее, что есть на Западе: гражданскую нестесненность, уважение к личности, разнообразие личной деятельности». Что ж, можно только согласиться бы со столь очевидными соображениями, но...

В тексте все время витает нечто более важное, чем личность, и ее все-таки обуздывающее, ограничивающее.

«Модные» права человека — это хорошо, но «как бы нам самим следить, чтобы наши права не поширялись за счет других». Двести лет уже известно, что свобода каждого имеет предел лишь в себе же, то есть в свободе каждого другого. Следить самим — реально в социальном масштабе лишь тогда, когда за этим также следит правовое государство и этому, собственно, служит. Отзываться иронически и с некоторым пренебрежением о правах человека — в нашем отечестве явно рановато. Но Солженицын заранее озабочен, как бы «права человека» (в кавычках!) не означали «свободу хватать и насыщаться». Не снизили нас до уровня животных.

Похоже, что Солженицын и правозащитники говорят на разных языках. При чем тут «свобода хватать»? При чем «все правящие классы и группы истории»? Будто речь не о каждом человеке, а о «правящих классах». Это отдает критикой капитализма (правового равенства вместе с неизбежным имущественным неравенством), традиционной от славянофилов до ленинцев. И вот рядом с «уважением к личности» у Солженицына выпады против «столичной интеллигенции», которой дороги свобода слова, собраний, печати и эмиграции, но которая якобы готова была бы запретить «права», как их «понимает чернонародье», и сохранить «прописку»... Будто все это не в одном пакете и правозащитники не требовали свободы передвижения за пределы страны и внутри нее. Но подозрителен (как и большинство Съезда народных депутатов) Солженицын к «московской имеющей голос публике», которая — будучи развращена особым снабжением столицы — «десятилетиями не выражала истинных болей страны». Ну, а сейчас-то — выражает?

Что за этими оговорками и опасениями?

«Однако и права личности не должны быть вознесены так высоко, чтобы заслонить права общества».

Вон оно что. Мы это слышали 70 лет и видели, что «права общества» в противопоставлении индивидуализму — это обман, что обязательно кто-нибудь берется говорить от имени «общества», «народа» или «нации», подавляя под этим звучным предлогом личность; что, если речь шла бы об экологической или военной опасности, то это всего лишь общая забота каждой личности, тот случай, когда интересы всех и каждого должны совпасть. И что говорят «общество», а разумеют — государство, то есть интересы правителей. И ежели действительно общество, то почему же А. И. Солженицын против «поравнения» гражданских индивидов, против всеобщего и равного избирательного права; и если общество в целом, то откуда — при нелюбви к «интеллектуальной псевдоэлите» — корпоративизм, «примесь монархического и аристократического элемента», деление на мудрых и достойных и на... «чернонародье», что ли?

Колеблется Александр Исаевич. Перед умственным взором его — столыпинский, свободный и от «мира», зажиточный крестьянин. Но и сельский «мир» был прекрасен. Личность, да — но и собрание лучших, но и порядок, а еще: справедливость выше права, обязанности должны иметь над правами перевес, нужны сильное государство, самоограничение без плюрализма идей и поступков, подчиненность личности обществу и «абсолютности понятий Добра и Зла».

Нет, нет, не большевистского подчинения права пролетарской справедливости, не абсолютности единственно верного ленинского учения, знающего за отдельную личность, где Добро и где Зло, не партийного собрания лучших, не вбиваемого с детского садика в голову перевеса обязанностей, не «самодисциплины», требуемой от коммуниста («сознательной дисциплины»), не недоверия партократической черни к интеллектуалам, словом, не этого «коллективизма» хочет Солженицын. Упаси Бог. Этот — смертельно ненавидит и послужил его скорому теперь уже уничтожению.

Но совсем другого коллективизма ему хотелось бы, христианско-патриархального, традиционалистского, мирно-иерархического.

Той, старой, веками длившейся русской традиции, которая была сломана, но послужила в значительной мере исторической почвой для этой...

г) Моральный дидактизм Солженицына

«Таков человек» в преобладании национального самолюбия над иными человеческими интересами — и огорчается, но не сопротивляется Александр Исаевич; что же, впрямь идти поперек природе человека? Логично. «Человек националистичен. Кай — человек, следовательно, и он националистичен», как пишут в учебниках со времен Аристотеля.

А еще: «Людям свойственно всегда преследовать свои интересы». Вот уж правда. Но на сей раз Солженицын смириться не желает. Пусть таков человек... А должен все-таки стать другим.

Как? Все дело в самосовершенствовании. «Если в самих людях нет справедливости и честности — то это проявится при любом строе». Конечно! Но, казалось бы, из этого, еще одного неотразимого соображения следует не то, что хороший человек и при тоталитаризме хороший, ой ли? Не меняется ли сама мера порядочности? А плохой человек и при западной демократии плохой (с той оговоркой, что нет «несунов» на «каппредприятиях», а при социализме «несуны» — неплохие люди, ибо весь народ — «несун»).

Казалось бы, надо оставить каждого человека наедине с его совестливостью, а позаботиться — в политическом обращении к обществу, во всяком случае, обсудить, при каком государственном строе и при каких социально-правовых и экономических отношениях человеку меньше мешают заниматься самосовершенствованием.

Чем, собственно, и занята в основном брошюра Солженицына.

Но — вдруг — «государственное устройство — второстепенней самого воздуха человеческих отношений. При людском благородстве — допустим любой добропорядочный строй, при людском озлоблении и шкурничестве — невыносима и самая разливистая демократия».

Оговорка? А. И. не хотел ли сказать «допустим любой недобропорядочный строй»? Да, да, в самом деле, а если — недобропорядочный? Иначе выходит логика уже не аристотелевская, а как в шутливой поговорке: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным, *но* больным».

У Солженицына еще в том же роде значится: «Чистота общественных отношений — основней, чем уровень изобилия». «Устойчивое общество может быть достигнуто не на равенстве сопротивлений (то есть не на системе разделения властей и конституционных противовесов.— **Л. Б.**) — но на сознательном самоограничении: на том, что мы всегда обязаны уступать нравственной справедливости». И так далее.

Моральные, благонамеренные соображения. Только... «людям свойственно всегда» одно, а обязаны они — к другому? К тому же «справедливость» (в отличие от строя и закона) у каждого может быть своя, по-своему понятая. Или — земское собрание решит? Но как заставить или как добиться, чтобы все самосовершенствовались? Чтобы народился в России новый человек и соблюдался моральный кодекс строителей земства?

Ах, этот вечный камушек преткновения для дидактов и проповедников...

А. И. Солженицын понимает дело так: право — самый минимум нравственности, низший ее разряд или слой. «Нравственное начало должно стоять выше, чем юридическое. Справедливость — это соответствие с нравственным правом прежде, чем с юридическим». Поразительно! Я могу, следовательно, не соблюдать закона, если он не согласуется с моим внутренним ощущением справедливости. Выше права — революционное, благолепное ли «самосознание».

Так издавна повелось на Руси, где закон был, что дышло, всегда чужой, враждебный, навязываемый, малопонятный; где раб хитрил и изворачивался ради прокорма малых детишек. Не обманешь — не продашь. Но хотя бы понятно, что это (обмануть при продаже) несправедливо, не по совести. А открутить для грузила гайку с железной дороги — в знаменитом чеховском рассказе,— что ж тут несправедливого? Невдомек мужичку.

И на Руси Советской тоже — одни давили во имя *классовой* справедливости, другие изворачивались, как умели, от постороннего для них «права», ради *своей* справедливости.

Вот уж «русское» (то есть навязанное историей россиянам), вот уж, если угодно, советское — устройство сознания Солженицына!

Да и у многих ли из нас — иное?

Мы, предположим, честные, мы, допустим, благородные, приучены и знаем: на «прописку» — в ответ фиктивный брак, и справедливо ведь! В ответ на «санитарную норму жилплощади» или невозможность для родителей оставить квартиру детям — фиктивная прописка; в ответ на запрет «совместительства» — «левый» заработок, в ответ на дурацкие «спущенные сверху» планы — приписки в отчетах. И т. д. Не было правовой *свободы* в России — бежали на *волю*. В казаки. В Сибирь. Уходили в разбойнички. Всегда была и есть уймища начальников на душу населения, что ж, объегорить кого из них — это милое дело. А правами мы не пользовались — права мы «качали». И все это, ей-богу, совершенно справедливо, единственное спасение!

Я перечитываю брошюру Солженицына и думаю: почему в сплошных алогизмах — последовательность и цельность взгляда? Почему общие места высказаны с запалом? Почему слабый, в общем-то, текст — несет на себе отсвет чего-то сильного?

Потому что это отсвет достаточно массового сознания. Все мы немножечко Солженицыны, хотя без его талантливости...

Александр Солженицын как зеркало русской эволюции. Точней: царской и советской.

Остается в связи с этим повторить, что все четыре основания идеологии Солженицына надежно сплетены между собой.

Солженицын характерно не различает мораль — справедливость — право — нравственность, ставя их в один смысловой ряд: или делая синонимами, или в том же ряду — противопоставляя.

Однако:

право, регулирующее внешний и вещный мир человеческих отношений, не есть низшая, минимальная «справедливость», это просто иное и обращенное к иному: не к личности, а к индивиду-гражданину; право бессмысленно, если оно не формально; и оно, разумеется, «несправедливо» по сути, прилагая равную мерку к заведомо непохожим людям;

«*справедливость*» можно понимать как внутреннюю меру морально или нравственно должного, мера эта ощущается общественным мнением или индивидом, чаще всего это справедливость с позиций определенной социальной группы или системы ценностей, она зависит от координат отсчета;

мораль — общепринятые (часто тоже в пределах данной группы, народности и т. п., всегда — исторически конкретные) правила поведения в более или менее стандартных ситуациях; или — в предельных ситуациях, когда необходимость запрета очевидна: это прежде всего система запретов;

наконец, *нравственность* — понятие, которое стоило бы приберечь для глубин внутреннего и индивидуального мира личности, стоящей перед неоднозначным, порой мучительным выбором.

Можно и нужно разработать и парламентским путем фиксировать право, защищающее свободы гражданина, ограниченные таковыми же свободами и потребностями другого гражданина; можно вырабатывать сообща и прилагать к отдельным случаям ощущение справедливости; можно наставлять морали, частью которой, очевидно, является справедливость; но невозможно устанавливать извне нравственность, весь смысл и вся ценность которой в том, что она всецело — дело вот этой личности, ее сердцевина, ее свободный выбор, за который она полностью ответственна сама и перед собой. (Для верующего — это разговор наедине с Богом.)

Таково мое мнение, отнюдь не оригинальное.

Остается решить, чему естественное место в социальной брошюре об обустройстве России и что следовало бы оставить для морального наставления, обращенного не ко всем, а отдельно к каждому. А что, наконец, счесть личной проблемой индивидуальности с полной неуместностью прописей.

6

Возвращаясь от отвлеченных материй к злобе дня, можно только дивиться, как проницательно и, главное, своевременно, с притиркой до недели, были обнародованы соображения Солженицына...

Только сказал он, что татарам надо позволить, конечно, возвращаться в Крым, но «требовать владения» Крымом «стотысячный (?) татарский народ не может» (будто они требуют себе всего Крыма) — и тотчас же понадобилось посылать в Ялту и другие места, где избивают татар, милицию. И фраза А. И. уже не может показаться безобидной.

Только высказался он за избрание Президента на Съезде (то бишь на Всеземском Собрании) с наделением его «сильной властью», может быть, «не зависящей от совета законодателей»,— и тут же Верховный Совет, впрочем, уже утративший законные полномочия[*], послушно наделил Президента «дополнительными» возможностями вмешиваться в экономику. Опять не безобидно и не отвлеченно выглядит посильное соображение А. И.

Только презрительно отозвался о «никчемности» ООН, как эта замечательная организация явила беспримерную эффективность, давая отпор «арабскому Гитлеру», хитросумасшедшему Саддаму Хусейну.

Только заявил, что иностранцам никак нельзя дозволять покупать недвижимость, как Чехословакия (видно, у нее земли побольше) отменила прежние социалистические стеснения на сей счет, заставляя задуматься и нас.

Только обратился к украинцам, убеждая их, что они часть, наряду с русскими и белорусами, одного, в сущности, народа и надо им оставаться в Российском Союзе — как полыхнула в октябре Украина требованиями суверенитета.

Только отверг возникновение партий в качестве не нашей выдумки, «затмевающей национальный интерес» и «искажающей народную волю», более того, «самим своим существованием отрицающей единство нации и само понятие отечества» (даже страшно становится за весь мир, кроме Северной Кореи, Ирака, Ирана и других, где отечество пока вне опасности... Да, но разве не пишет А. И., что «общество живо именно своей дифференциацией», «организацией в социальных группах»? Правда, строго по профессиональным «сословиям»),— и тут же начались учредительные съезды российских партий, и до боли очевидно, как недостает как раз в России «движения» или «фронта», который объединил бы демократов и имел бы силы бросить вызов райкомам и обкомам КПСС и РКП по всей стране.

Незачем и толковать о поджигательских,— при любых добрых намерениях Александра Исаевича,— заявленных в отношении Казахстана и Молдавии.

Однако не смешно ли принимать слишком всерьез и практически соображения, скромно представленные на предварительное обсуждение всего лишь писателем, частным лицом, изгнанником, а не правительством или ЦК КПСС? Совершенно не смешно, если этот писатель — Солженицын, чей голос у нас теперь имеет гораздо больший авторитет и влияние на умы, чем у правительства (кто же сейчас прислушивается к правительству, кто интересуется пленумами ЦК?). Если общественный вес этого частного лица потяжелее, чем когда-то Толстого, Достоевского и Некрасова, вместе взятых. И если его соображения публикуются газетами в таком объеме, какой до сих пор бывал даден только докладам и резолюциям этого самого ЦК.

Публикация, по преимуществу восторженно встреченная в СССР и «справа», и «слева»,— идеологическое событие, к которому, хочешь не хочешь, необходимо отнестись и практически, и всерьез.

Пять лет с загадочной значительностью молчал вермонтский затворник, предоставляя своим сторонникам и оппонентам спорить о том, каковы его истинные взгляды на происходящее в России. И вот — высказался, сочтя момент подходящим. И споры вспыхнули с новой силой...

Одни умиляются тем, что не забыл о России Александр Исаевич, все страдает за нее душой, все причисляет себя к русскому «мы» русский писатель. А как, собственно, иначе? По мне, это умиление оскорбительно для Солженицына. Да и для всякого политического эмигранта или изгнанника, для любого думающего и пишущего по-русски — нелепо и оскорбительно.

---

[*] Согласно Конституции СССР Верховный Совет СССР должен ежегодно обновляться на ⅕ своего состава (принцип ротации). Нынешний состав был избран 16 месяцев назад, но ротация проведена не была. Это означает, что с июля 1990 г. Верховный совет СССР стал неправомочен.

Другие находят повод для удовлетворения в том, что Солженицын вновь обрушился на КГБ, или, скажем, указал на вредоносность колхозно-совхозной системы, или брезгливо отнесся к партии Полозкова. А как, собственно, иначе? Тут даже повторенное самим Солженицыным не придаст больше веры бесспорному: тут более знаменательны и интересны выступления против КГБ нескольких его офицеров и против колхозов — некоторых их председателей...

Третьи довольны, что Солженицын (поклонник-то Столыпина!) призвал к восстановлению частной крестьянской собственности, что вовсе не считает он нужной для России монархию, что зовет в прошлое не без оглядки на настоящее, что признал полезность права и демократии, правда, выставив наисущественные ограничения и введя в патриархальный, недемократический и надправовой контекст. Вытаскивают «хорошие», либеральные, подходящие фразы; а фразы не либеральные, безапелляционные, резкие, слегка поежившись, называют неудачными и огорчительными отходами Солженицына от верных позиций. Не взять ли, однако, текст в целом... и не рассматривать ли его систематически?

Не поможет и то, что сам Солженицын постарался сгладить иные углы,— изобразить текст близким либеральной интеллигенции, проявить тактическую осторожность. Перед нами очень, что бы там ни было, солженицынский, единый по колориту, размашистый, эмоциональный документ.

В полемику с ним нужно пуститься всерьез, без виляний, без оглядки, если мы сами претендуем быть политически ответственными людьми.

Потому что это — Солженицын!

Печально спорить с человеком, чья фигура после кончины Андрея Дмитриевича Сахарова не имеет сопоставимых в советском диссидентстве, в русском общественном мнении.

Неистов был всегда Солженицын в отталкивании от всего ненавистно-советского, велик был в отрицании автор «Архипелага». Жадно и с сочувствием внимали мы речам, чей темперамент и стиль наводили на память переписку князя Курбского и грозного Ивана.

Но ретроградность положительных взглядов Солженицына огорчала многих из нас и тогда. Теперь, когда от слова открылась прямая дорога к делу,— это в соединении с авторитетом Солженицына делает его брошюру в общем замысле, идеалах, важных частностях — скорее вредной для дела русской свободы.

Мы сейчас на дне глубокой ямы — как Иосиф Прекрасный.

На что употребить силы Иосифу, очутившись там, перед лицом предельной ситуации? Я думаю, только две цели стоят того.

Или: помышлять о высоком, трудиться ради непреходящего и людям культуры — предаваться своему прямому назначению. Ибо культура русская была и пребудет. А с нею и Россия. Достойно, как это делали люди культуры и в 1918-м, и в последовавших затем годах, заботиться о создании новых ценностей. Но тогда— чтобы некий текст жил и в будущем — он должен быть многозначным, трудноисчерпаемым по смыслу, богатым переливами мыслительных оттенков, чутко постигающим бездонность переживаемого момента.

Уместное занятие для Иосифа.

Или: думать, как выбраться из ямы, окликать караван проходящих мимо купцов...

В нашем нынешнем жалком положении, в агонии режима, нужна культура, потому что она нужна всегда.

И нужна политика, самая что ни на есть практическая, ищущая не лозунгов, общих рассуждений, смелых протестов,— их уже было довольно,— а технологию новой власти и новой экономики.

Нам нужны честные и компетентные деятели, менеджеры, финансисты, политики, фермеры, предприниматели, инженеры, врачи, нам нужны философы, нам нужны поэты.

Вот два необходимых полюса: культура и социальная прагматика, высокое мышление и будничное дело.

На иное, сидя в яме, нет уже ни времени, ни сил, ни права.

А чем, вообще-то говоря, заполнено пространство между этими двумя создающими энергетическое силовое поле полюсами?

Оно заполняется идеологией. И она — непосильная роскошь и затрата последних наших интеллектуальных сил и воли.

Какая идеология? А по мне — любая. Коммунистическая, националистическая, старозаветная, изобретаемая заново — любая идеология, любая, пусть самая искренняя риторика и мечтательность. Не хотелось бы, чтобы одни иллюзии сменялись противоположными, чтобы родная страна кружилась на месте и все повторялось, как в дурном сне. Но думаю — все равно ничего из этого не выйдет, не осуществится.

А если что-то осуществится — как же иначе? Как мы допустим иначе? Как вообще может остановиться история? Как может не БЫТЬ? То грядет (когда? и какими путями?) своеобразная Россия, которая окажется отличающейся от других: не больше, но и никак не меньше, чем США от Японии, Италия от Швеции, Канада от Сингапура.

Только ни на минуту не отчаиваться. Не опускать руки.

Октябрь 1990 г.

Александр ЦИПКО: ПРОРОК ТРЕТЬЕЙ СИЛЫ

Теперь, спустя без малого год после опубликования брошюры А. Солженицына «Как нам обустроить Россию?», открылся, наконец, ее политический смысл. Изгнанный писатель, наверное, сам того не желая, прочертил мысленно то пространство, которое должна занять дремавшая тогда у нас третья политическая сила. Он подсказал, как можно мирно разрешить спор между демократами и патриотами, между теми, кто поклоняется Свободе, и теми, кто поклоняется Державе. И именно потому, что он в своей работе прислал нам сюда новый, неожиданный взгляд на будущее страны, подорвал идейные опоры противостоящих сил, брошюру Солженицына постарались у нас замолчать.

На чем держится наша нынешняя «демократическая» враждебность к любому проявлению патриотизма? Конечно же, на укоренившемся стереотипе что российский патриот всегда и во всех случаях является сторонником единой и неделимой России, этаким Держимордой, готовым душить угнетенные народы советской империи. Если патриот, так обязательно Иван Полозков или Юрий Бондарев. Не случайно даже Анатолий Стреляный, литератор с развитым политическим воображением, в своей статье «Песни западных славян» ставит под сомнение возможность органического сочетания в России любви к свободе со стремлением сохранить свою Родину — Союз: «Россия сейчас единственная и, может быть, последняя страна, где в умах людей с вузовскими дипломами и учеными степенями уживается сознательное великодержавие с сознательным «свободолюбием» («Литературная газета», 8.08.90) По этой демократической логике каждый, кто любит свободу, обязан желать быстрейшего крушения, распада государства. «Без насилия,—пишет А. Стреляный,— Россия не сможет нести никакой исторической ответственности ни за кого, об этом можно говорить как о непреложном историческом законе» (там же).

На чем держится ненависть патриотов к демократам? Ответить на этот второй вопрос еще проще. Патриоты, как и демократы, убеждены, что свобода наций и Россия несовместимы, а потому во имя сохранения в своей душе любви к Отечеству выжигают в своем сознании саму мысль о демократии и свободе. По этой уже державной логике патриот обязан быть сторонником единой и неделимой, настаивать на сохранении целостности и единства советской империи. По этой логике в России дорога к свободе и демократии всегда оказывается дорогой в хаос, в гражданскую войну.

Достоинство, интеллектуальная и моральная позиции Солженицына состоят в том, что он разрушил, по крайней мере, дал аргументы для разрушения сложившихся идейных стереотипов, стимулирующих нашу нынешнюю политическую борьбу.

Нет, не обязательно русский интеллигент, любящий Россию, ставящий ее превыше всего, должен защищать ее имперское прошлое, быть противником свободы. Напротив, с точки зрения Солженицына, именно патриот обязан бороться с имперским мышлением и имперским наследием, помогать тем народам России, которые стремятся приобрести свободу, собственную государственность. Надо быть мужественным человеком, чтобы, находясь внутри русской партии, будучи ее авторитетом, сказать «нет» лозунгу «единая и неделимая» и призвать всех патриотов к честному и серьезному размышлению о судьбах российского государства. Солженицын как самый последовательный демократ выступил задолго до январских событий в Вильнюсе против возможного применения насилия к тем, кто хочет уйти. «Сегодня,— писал Солженицын,—видится так, что мирней и открытей для будущего. кому надо бы разойтись на отдельную жизнь, так и разойтись... Уже во многих окраинных республиках центробежные силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови — да и не надо удерживать такой ценой!». «И так я вижу,— заявляет решительно Солженицын,— надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать— да! — **непременно и бесповоротно будут отделены**».

Можно упрекнуть Солженицына в том, что он слишком категоричен в своем «да», тем самым противоречит сам себе, своей мысли о том, что надо идти только на тот раскол, «который уже действительно неизбежен». До сих пор ни одна из среднеазиатских республик, насколько мне известно, не заявила о своем стремлении выйти из СССР. В этих условиях, наверное, нельзя проявлять насилие над волею других народов, выгонять из общего дома, какой бы он ни был, тех, кто в нем все-таки прижился. Наверное, надо считаться с тем, что в некоторых случаях искусственная, навязанная история становится настоящей историей, которую нельзя так просто отбросить.

Прибалты, прожившие все эти сорок пять лет внутри себя, внутри своих тревог о спасении своих наций, своих надежд о возрождении своего государства, так и не вошли в соприкосновение с советской историей. Их судьба очень напоминает судьбу немцев ГДР, живших телом в истории первого социалистического государства на немецкой земле, а душой — за берлинской стеной; поэтому прибалты при первой же возможнои для всякого политического эмигранта или изгнанника, для любого думающего и пишущего по-русски — нелепо и оскорбительно.

Другие находят повод для удовлетворения в том, что Солженицын вновь обрушился на КГБ, или, скажем, указал на вредоносность колхозно-совхозной системы, или брезгливо отнесся к партии Полозкова. А как, собственно, иначе? Тут даже повторенное самим Солженицыным не придаст больше веры бесспорному: тут более знаменательны и интересны выступления против КГБ нескольких его офицеров и против колхозов — некоторых их председателей...

Третьи довольны, что Солженицын (поклонник-то Столыпина!) призвал к восстановлению частной крестьянской собственности, что вовсе не считает он нужной для России монархию, что зовет в прошлое не без оглядки на настоящее, что признал полезность права и демократии, правда, выставив наисущественные ограничения и введя в патриархальный, недемократический и надправовой контекст. Вытаскивают «хорошие», либеральные, подходящие фразы; а фразы не либеральные, безапелляционные, резкие, слегка поежившись, называют неудачными и огорчительными отходами Солженицына от верных позиций. Не взять ли, однако, текст в целом... и не рассматривать ли его систематически?

Не поможет и то, что сам Солженицын постарался сгладить иные углы,— изобразить текст близким либеральной интеллигенции, проявить тактическую осторожность. Перед нами очень, что бы там ни было, солженицынский, единый по колориту, размашистый, эмоциональный документ.

В полемику с ним нужно пуститься всерьез, без виляний, без оглядки, если мы сами претендуем быть политически ответственными людьми.

Потому что это — Солженицын!

Печально спорить с человеком, чья фигура после кончины Андрея Дмитриевича Сахарова не имеет сопоставимых в советском диссидентстве, в русском общественном мнении.

Неистов был всегда Солженицын в отталкивании от всего ненавистно-советского, велик был в отрицании автор «Архипелага». Жадно и с сочувствием внимали мы речам, чей темперамент и стиль наводили на память переписку князя Курбского и грозного Ивана.

Но ретроградность положительных взглядов Солженицына огорчала многих из нас и тогда. Теперь, когда от слова открылась прямая дорога к делу,— это в соединении с авторитетом Солженицына делает его брошюру в общем замысле, идеалах, важных частностях — скорее вредной для дела русской свободы.

Мы сейчас на дне глубокой ямы — как Иосиф Прекрасный.

На что употребить силы Иосифу, очутившись там, перед лицом предельной ситуации? Я думаю, только две цели стоят того.

Или: помышлять о высоком, трудиться ради непреходящего и людям культуры — предаваться своему прямому назначению. Ибо культура русская была и пребудет. А с нею и Россия. Достойно, как это делали люди культуры и в 1918-м, и в последовавших затем годах, заботиться о создании новых ценностей. Но тогда— чтобы некий текст жил и в будущем — он должен быть многозначным, трудноисчерпаемым по смыслу, богатым переливами мыслительных оттенков, чутко постигающим бездонность переживаемого момента.

Уместное занятие для Иосифа.

Или: думать, как выбраться из ямы, окликать караван проходящих мимо купцов...

В нашем нынешнем жалком положении, в агонии режима, нужна культура, потому что она нужна всегда.

И нужна политика, самая что ни на есть практическая, ищущая не лозунгов, общих рассуждений, смелых протестов,— их уже было довольно,— а технологию новой власти и новой экономики.

Нам нужны честные и компетентные деятели, менеджеры, финансисты, политики, фермеры, предприниматели, инженеры, врачи, нам нужны философы, нам нужны поэты.

Вот два необходимых полюса: культура и социальная прагматика, высокое мышление и будничное дело.

На иное, сидя в яме, нет уже ни времени, ни сил, ни права.

А чем, вообще-то говоря, заполнено пространство между этими двумя создающими энергетическое силовое поле полюсами?

Оно заполняется идеологией. И она — непосильная роскошь и затрата последних наших интеллектуальных сил и воли. Какая идеология? А по мне — любая. Коммунистическая, националистическая, старозаветная, изобретаемая заново — любая идеология, любая, пусть самая искренняя риторика и мечтательность. Не хотелось бы, чтобы одни иллюзии сменялись противоположными, чтобы родная страна кружилась на месте и все повторялось, как в дурном сне. Но думаю — все равно ничего из этого не выйдет, не осуществится.

А если что-то осуществится — как же иначе? Как мы допустим иначе? Как вообще может остановиться история? Как может не БЫТЬ? То грядет (когда? и какими путями?) своеобразная Россия, которая окажется отличающейся от других: не больше, но и никак не меньше, чем США от Японии, Италия от Швеции, Канада от Сингапура.

Только ни на минуту не отчаиваться. Не опускать руки.

Октябрь 1990 г.

Александр ЦИПКО: ПРОРОК ТРЕТЬЕЙ СИЛЫ

Теперь, спустя без малого год после опубликования брошюры А. Солженицына «Как нам обустроить Россию?», открылся, наконец, ее политический смысл. Изгнанный писатель, наверное, сам того не желая, прочертил мысленно то пространство, которое должна занять дремавшая тогда у нас третья политическая сила. Он подсказал, как можно мирно разрешить спор между демократами и патриотами, между теми, кто поклоняется Свободе, и теми, кто поклоняется Державе. И именно потому, что он в своей работе прислал нам сюда новый, неожиданный взгляд на будущее страны, подорвал идейные опоры противостоящих сил, брошюру Солженицына постарались у нас замолчать.

На чем держится наша нынешняя «демократическая» враждебность к любому проявлению патриотизма? Конечно же, на укоренившемся стереотипе что российский патриот всегда и во всех случаях является сторонником единой и неделимой России, этаким Держимордой, готовым душить угнетенные народы советской империи. Если патриот, так обязательно Иван Полозков или Юрий Бондарев. Не случайно даже Анатолий Стреляный, литератор с развитым политическим воображением, в своей статье «Песни западных славян» ставит под сомнение возможность органического сочетания в России любви к свободе со стремлением сохранить свою Родину — Союз: «Россия сейчас единственная и, может быть, последняя страна, где в умах людей с вузовскими дипломами и учеными степенями уживается сознательное великодержавие с сознательным «свободолюбием» («Литературная газета», 8.08.90) По этой демократической логике каждый, кто любит свободу, обязан желать быстрейшего крушения, распада государства. «Без насилия,—пишет А. Стреляный,— Россия не сможет нести никакой исторической ответственности ни за кого, об этом можно говорить как о непреложном историческом законе» (там же).

На чем держится ненависть патриотов к демократам? Ответить на этот второй вопрос еще проще. Патриоты, как и демократы, убеждены, что свобода наций и Россия несовместимы, а потому во имя сохранения в своей душе любви к Отечеству выжигают в своем сознании саму мысль о демократии и свободе. По этой уже державной логике патриот обязан быть сторонником единой и неделимой, настаивать на сохранении целостности и единства советской империи. По этой логике в России дорога к свободе и демократии всегда оказывается дорогой в хаос, в гражданскую войну.

Достоинство, интеллектуальная и моральная позиция Солженицына состоят в том, что он разрушил, по крайней мере, дал аргументы для разрушения сложившихся идейных стереотипов, стимулирующих нашу нынешнюю политическую борьбу.

Нет, не обязательно русский интеллигент, любящий Россию, ставящий ее превыше всего, должен защищать ее имперское прошлое, быть противником свободы. Напротив, с точки зрения Солженицына, именно патриот обязан бороться с имперским мышлением и имперским наследием, помогать тем народам России, которые стремятся приобрести свободу, собственную государственность. Надо быть мужественным человеком, чтобы, находясь внутри русской партии, будучи ее авторитетом, сказать «нет» лозунгу «единая и неделимая» и призвать всех патриотов к честному и серьезному размышлению о судьбах российского государства. Солженицын как самый последовательный демократ выступил задолго до январских событий в Вильнюсе против возможного применения насилия к тем, кто хочет уйти. «Сегодня,— писал Солженицын,—видится так, что мирней и открытей для будущего: кому надо бы разойтись на отдельную жизнь, так и разойтись... Уже во многих окраинных республиках центробежные силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови — да и не надо удерживать такой ценой!». «И так я вижу,— заявляет решительно Солженицын,— надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать— да! — **непременно и бесповоротно будут отделены**».

Можно упрекнуть Солженицына в том, что он слишком категоричен в своем «да», тем самым противоречит сам себе, своей мысли о том, что надо идти только на тот раскол, «который уже действительно неизбежен». До сих пор ни одна из среднеазиатских республик, насколько мне известно, не заявила о своем стремлении выйти из СССР. В этих условиях, наверное, нельзя проявлять насилие над волею других народов, выгонять из общего дома, какой бы он ни был, тех, кто в нем все-таки прижился. Наверное, надо считаться с тем, что в некоторых случаях искусственная, навязанная история становится настоящей историей, которую нельзя так просто отбросить.

Прибалты, прожившие все эти сорок пять лет внутри себя, внутри своих тревог о спасении своих наций, своих надежд о возрождении своего государства, так и не вошли в соприкосновение с советской историей. Их судьба очень напоминает судьбу немцев ГДР, живших телом в истории первого социалистического государства на немецкой земле, а душой — за берлинской стеной; поэтому прибалты при первой же возможности начали воплощать в жизнь то, что у них всегда было на душе, начали бежать из этого государства, которое принесло им столько страданий.

В своем стремлении освободить тех, кто хочет уйти, кто устал от советского социалистического государства, патриот Солженицын намного больше демократ, чем самые радикальные демократы.

Я ни в коем случае не хочу обвинять радикальных демократов в недостатке патриотизма, а тем более в недостатке демократизма. В конце концов любить наше российское, а тем более советское государство с его передовым общественным строем очень трудно. Я только хочу показать, что патриот Солженицын, может быть, куда радикальнее в своих демократических порывах, чем радикальные демократы, изобретающие чудесную форму сохранения единства народов СССР.

На примере А. И. Солженицына видно, что нет никакого противоречия между патриотизмом, любовью к старой России и ненавистью к насилию, к тому, что принес в нашу страну коммунизм. Патриотическая в массе интеллигенция Польши куда больше противостояла левому соблазну, чем космополитическая в массе интеллигенция дореволюционной России. Интеллигент, не чувствующий себя частицей народной жизни, а тем более атеист, ненавидящий и свою страну, и свою историю, и свои традиции, не имеет прививки против бесовства революционного насилия.

Впрочем, и в этом случае позиция Солженицына является укором не только демократам, но и тем, кто клянется в своей верности Отчизне и одновременно в верности социалистическому выбору и коммунистической перспективе.

Статья Солженицына «Как нам обустроить Россию» является одновременно и вызовом нашему нынешнему национал-большевизму, который представлен в РКП. Неясно, как можно сочетать в себе любовь к Родине, нормальное естественное чувство привязанности к традициям своих предков, с любовью к большевикам и к их партии, которые тем только и занимались, что уничтожали все российское, все, что напоминало о дореволюционном прошлом. Как может патриот поклоняться Ленину, который сознательно уничтожал казачество, дворянство, духовенство? Именно потому, что Солженицын является естественным органичным патриотом, он категорически отвергает все, что связано с большевизмом и с Октябрем, отвергает и коммунизм, и нынешнюю РКП. «Нет,— пишет он,— не откроется народного пути даже к самому неотложному, и ничего дельного мы не достигнем, пока коммунистическая ленинская партия не просто уступит пункт конституции — но полностью устранится от всякого влияния на экономическую и государственную жизнь, полностью уйдет от управления нами, даже какой-то отраслью нашей жизни или местностью. Хотелось бы, чтоб это произошло не силовым выжиманием и вышибанием ее — но ее собственным публичным раскаянием: что цепью преступлений, жестокостей и бессмыслия она завела страну в пропасть и не знает путей выхода. Вот чему пора, а не состраивать теперь для позорной преемственности новую РКП, принимать всю кровь и грязь на русское имя и волочиться против хода истории».

И еще об одной особенности российского патриотизма А. И. Солженицына, о российской любви к Отечеству. Он, как и Бердяев, не ищет виновных на стороне, не сваливает ответственность за российскую катастрофу на «чужих», инородцев или «малые нации». Он первый среди нынешних российских патриотов сказал, что прежде всего российский крестьянин и российский интеллигент виновны в Октябре, в первом российском Чернобыле. «Наши деды и отцы,— пишет он,— «втыкая штык в землю» во время смертной войны, дезертируя, чтобы пограбить соседей у себя дома,— уже тогда сделали выбор за нас — пока на одно столетие, а то, смотри, и на два».

Солженицын оказался в роли проповедника третьей силы только потому, что противостоящие сегодня друг другу основные политические силы: и консервативная КПСС, и «Демократическая Россия» — в конечном счете, исходят из одной и той же коммунистической легитимности нашего государства, говорят на одном и том же марксистско-ленинском языке. В отличие от них Солженицын исходит из исторической легитимности нынешнего государства. Если для коммунистов и «Демократической России» нынешнее государство — это «Союз», объединение советских социалистических республик, то для Солженицына оно является тем, чем оно является на самом деле, наследником и правопреемником царской России, которую удалось покорить большевикам. Солженицын понимает то, что никак не могут понять наши демократы: союза никогда не было и при этой насильственной власти быть не могло. Солженицын, живущий в Америке, куда более точен в своих прогнозах потому, что он знает историю, мыслит исторично. Солженицын призывает отказаться от имперского мышления и имперской модели развития. Но он, в отличие от многих идеологов «распада империи», имеет точное историческое ощущение, из чего складывалась эта страна и как ее части развивались.

В демократической критике СССР как империи есть что-то мертвое, рассудочное, предельно тенденциозное и одностороннее. Наша страна видится только как насильственное соединение различных народов. При этом игнорируется, что история России одновременно является и историей взаимодействия, взаимовлияния, к примеру, русского и грузинского культурного начал, что империя не только подавляла нации, но и спасала их от геноцида, обеспечивала им условия для выживания. Очевидно, что если бы удалось в конце концов подвигнуть Центр на деидеологизацию экономики, действительно избавиться, в конце концов, от ленинско-сталинского наследства, то национальный вопрос в нашей стране все же смягчился бы. «Парад суверенитетов», особенно в автономных республиках, был вызван не столько желанием приобрести государственную независимость в строгом смысле этого слова, сколько желанием оградиться от хищного Центра. Беда всех наших демократов и прежде всего демократов России в том, что в их сознании слились три понятия, а вместе с тем и три взаимосвязанные проблемы. Речь идет, во-первых, об обретении утраченной или нереализованной государственности, во-вторых, о подлинной независимости, праве на национальное развитие и самовыражение отдельных народов и в-третьих, о праве народов, людей на результаты своего труда.

Можно ли превратить все нынешние, так называемые «советские социалистические республики» в независимые, полноценные государства, наподобие тех, которые образуют европейское сообщество? Вот главный вопрос. Беда и демократов, и консерваторов в том, что они мыслят только понятиями нашей Конституции, не считаясь с реальной, то есть исторической подоплекой проблемы.

Совет федерации, способный заменить Президента, содружество суверенных независимых государств — все это новые мифы. Никто не представляет себе, как будет осуществляться новая власть, что будет скреплять это новое содружество. Никто не принимает всерьез геополитические реалии. Никто не хочет видеть, что государство не сможет существовать ни в каком виде, если нынешняя РСФСР начнет превращаться в независимое образование.

Обе противоборствующие политические силы объединяет исторический нигилизм, нежелание или неспособность осмыслить свои поступки и программы в рамках того исторического потока, который задан тысячелетней российской историей и в рамках которого все мы до сих пор движемся. И консерваторы, и радикальные демократы идут в политику не от древа нашей российской жизни, а от абстрактных принципов. Первые — от понятий «социализм», «новый общественный строй», вторые — от демократической идеи культурного и исторического равенства всех народов, независимо от их численности.

Мне думается, совсем не случайно и крайне правые и крайне левые отрицают возможность того, к чему призывает Солженицын, то есть возможность возвращения к исторической легитимности нынешнего государства, Союза, рассмотрение и его самого, и всех его проблем в контексте российской истории, того движения, которое оборвал Октябрь. Консерваторы мертвой хваткой держатся за коммунистическую легитимность нашего государства. Радикальные демократы предлагают строить историю нового содружества на пустом месте, как в свое время создавались американские Соединенные штаты. Речь в данном случае идет не столько о возрождении России, о которой скорбит Солженицын, сколько о сохранении государственного наследства советской истории, путем доведения до конца ленинской национальной политики. Они мечтают нынешние полугосударства, советские республики, превратить в настоящие государства. Солженицын мыслит о стране как простой здравый русский человек, как мыслили о ней наши бабушки и дедушки. И в этом его преимущество. И как это ни странно, демократы-интеллигенты в этом случае являются куда более жесткими ортодоксами-коммунистами, чем эти простые люди, от имени которых говорит Солженицын.

Идеи распада или роспуска Союза порождены мифами сталинской истории КПСС, сталинско-брежневской Конституции, мифом о том, что якобы самостоятельные советские социалистические республики в декабре 1922 года добровольно объединились. За идеей распада кроется убеждение, что наш Союз состоит из органичных, структурированных частей, которые способны к самостоятельному государственному существованию.

Но простые люди, к счастью, никогда всерьез историю КПСС не изучали, Конституцию СССР никогда в глаза не видели. Они живут нормальной исторической памятью народа, которая учит, что никакой это не Союз свободных республик, а все та же Россия, где живут украинцы, казахи, белорусы, грузины, и где на место царской власти пришли в 1917 году коммунисты.

Я лично по зрелом размышлении пришел к выводу, что в этой ситуации каждый здравомыслящий политик, действительно желающий добра своей стране, обязан согласиться с Солженицыным, связывать свои надежды с его, третьим, путем.

Он прав, когда призывает немедленно вернуться в историю и мыслить о нашем государстве прежде всего как о России, как о наследии тысячелетней истории. Он прав, отрицая возможность обновления нынешнего общественного строя и призывая к умной и постепенной реставрации всего, что можно возродить, вызвать к новой жизни. Он прав, призывая нас уйти от коммунистического языка и мифов, мешающих нам понять, кто мы есть, где живем и что мы должны делать.

Это второй, «весенний», выход нашей новой рубрики, которую три месяца назад открыл своей статьей «Будем читать Плутарха?» Станислав Рассадин. По-своему решает задачу литературного обзора известный ленинградский критик Михаил Золотоносов: он рассматривает не столько книги, конкретные художественные явления, сколько творческие «системы», из которых складывается цельный и вместе с тем бесконечно противоречивый облик современной отечественной литературы. Думается, что такое решение вполне отвечает духу задуманной нами рубрики, умножает возможности традиционного литературного обозрения.

Михаил ЗОЛОТОНОСОВ

Отдыхающий фонтан

МАЛЕНЬКАЯ МОНОГРАФИЯ О ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ

> Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану.
>
> Козьма Прутков

I

«Ох уж мне литература, энтропия, сучья вошь, волчье вымя, рыбья шкура, деревянный макинтош»... Что конкретно имел в виду Т. Кибиров, автор новейшей «энциклопедии русской жизни» и нарушитель спокойствия языка?

25 сентября 1990 года газета «Вечерний Ленинград» сообщила: «С 15 сентября в Ленинграде должны были проходить триумфальные (по всем прогнозам театралов) гастроли всемирно признанного Театра молодежи Литвы — театра Некрошюса. Любой европеец в эти дни мог бы позавидовать ленинградцам... Самый изысканный театральный вкус мог быть удовлетворен. Но — зрителей не было. По вполне достоверным слухам, режиссер Некрошюс, приехавший в город на пятый день, увидев полупустой зал ДК Ленсовета на спектакле «Дядя Ваня», принял решение прервать гастроли. Литовский Театр молодежи заплатил неустойку администрации Дворца культуры и уехал восвояси».

Вынужденным существовать в условиях бытового апокалипсиса и необъявленной войны (гражданской? отечественной?) горожанам не до искусства. Не исключено, что и «толстые» журналы, в обилии выписанные, остаются непрочитанными. Социологи объясняют все доминированием политики. Думаю, дело в ином — в ощущении некоего конца.

Во втором коробе «Опавших листьев» (1915) В. В. Розанова есть запись, сделанная во время войны, в очереди в гимназическую исповедальню: «...иногда кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого **существа** ее. ...Больше что же еще выражать? Паутины, вздохи, **последнее уловимое**. О, фантазировать, творить еще можно: но ведь суть литературы не в **вымысле** же, а в потребности **сказать сердце**... И у меня мелькает странное чувство, что я **последний** писатель, с которым литература вообще прекратится, кроме хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станут просто **жить**, считая смешным, и ненужным, и отвратительным литераторствовать».

Похоже, люди сейчас начинают «просто **жить**, считая смешным...»; литература же, с людьми не сговариваясь, перешла в режим отдыха: журналы в основном кормятся и поятся накоплениями прошлых лет (как правило, сделанными в борьбе с государством и официальными литературными доктринами), в литературе идут процессы, среди которых преобладают разрушительные тенденции. Адепты социологического литературоведения (если таковые еще есть среди нас) могут обрадоваться: как никогда четко прослеживается тесная связь между формированием литературного организма и воздухом социума. Литература, действительно, повторяет процессы крушения тоталитаризма, идущие в социокультурной среде. Высказывается мнение, что это хаотический процесс разрушения культуры соцреализма. Мне же в том, что происходит, как раз видится железная логика, порядок, который я и хочу попытаться проанализировать. Не исключено, впрочем, что предметом анализа явится не сама ЛИТЕРАТУРА, а ее журнальный отбор, но это неизбежно, когда аналитик находится внутри незавершенного процесса. Хорошо хоть, что появилась возможность отличать эволюцию журнальной литературы от эволюции цензуры.

Идейно разгромленные у нас американские социологи (Д. Белл, Г. Кан, З. Бжезинский, О. Тофлер) выдвинули в семидесятые годы (когда мы еще упорно сидели на дереве марксизма-ленинизма) концепцию постиндустриального общества. Его главные признаки — сверхвысокий уровень развития техники производства и ведущая роль науки, образования и — соответственно — ученых и профессиональных специалистов.

В нашей стране в период «постсоциализма» также возникает постиндустриальное общество, однако возникает в специфической форме, неизвестной посрамленным американским футурологам,— как общество со сверхнизким (стремящимся к нулю) уровнем развития техники, производства и экономики в целом (в буквальном смысле, «общество **после** индустрии»). При этом ученые и профессионалы также выходят на первый план, также стремятся войти в состав правящей элиты общества, но — по закону перевертыша, мира и антимира — выступают в неспецифическом качестве — как политики-неофиты. При этом о социальном примирении, ослаблении напряженности в отношениях между группами общества (социальными, национальными, профессиональными, половозрастными), как планировали недалекие американцы, нет и речи: все отношения становятся все более и более напряженными.

Начинается лихорадочный и абсурдный поиск новой социальной мифологии. В рамках марксовой диады идет борьба между сторонниками социализма и капитализма — на большее, как правило, фантазии не хватает. Впрочем, есть голоса и в поддержку монархии, однако их отношение к экономическому феодализму остается пока неясным.

Естественно, каждой формации соответствует и своя идеология. Однако постсоциалистическое - постиндустриальное общество грозит стать **еще и постидеологическим**, ибо — позволю себе сослаться на Алена Безансона — «идеология есть прежде всего некоторое состояние ума и души. Это состояние души, потерявшей религиозную веру, но не потерявшей желания спастись». Наше же измученное общество, желая спастись, но не слишком-то надеясь на то, что выбор между капитализмом и социализмом позволит это сделать, увлечено выбором религии («Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю»,— И. Бродский), и это увлечение, для атеизированных масс и обезбоженного руководства весьма экзотичное, обещает в скором времени второе крещение Руси. Причина — в необратимом крушении традиционной коммунистической идеологии и в невозможности существовать в отсутствие **основополагающего мифа**[1].

Кстати, сегодняшний день с его повторным выбором православия предлагает нам ту же парадигму, которая возникла тысячу лет назад и разрешилась погружением в днепровские воды: ХРИСТИАНСТВО — ИСЛАМ — ИУДАИЗМ. Правда, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, и потому отличия есть: ислам заявляет о себе сам («Народный фронт Азербайджана рассматривает СССР как дуалистическое государство: мусульмано-христианское, или, точнее, тюркско-славянское»,— заявил в конце 1989 года один из идеологов тюркского движения Г. Херищи); иудаизм, привлеченный для полноты сходства, на скорую руку заменен «жидомасонским заговором», который, естественно, не могут образовать те остатки евреев, которые еще не эмигрировали из страны. Между прочим, размышления о возможной ошибочности христианского пути для России, возвращение на два тысячелетия назад с целью проверки «правильности начала» — все это было еще в айтматовской «Плахе», явившейся в самом начале демонтажа тоталитарного социализма и в суматохе недопрочитанной.

Идеологический хаос усилен декларированным как официальная доктрина плюрализмом. Конечно, это не более, чем дымовая завеса, под прикрытием которой идет перетягивание каната, и даже оскандалившаяся вконец коммунистическая идея еще надеется справить свои именины сердца. На самом деле плюрализм у нас привел лишь к признанию того, что существует множество независимых и несводимых друг к другу оснований знания и истин. Практически это очень удобно, ибо каждый

---

[1] Это понимает и нынешнее руководство, поощряющее «тензацию». Однако точно заметил А. Солженицын: «Большевики настолько беззастенчиво приспосабливаются к моменту, что понадобься нынче провести еще одно повальное крещение Руси — они бы тут же откопали соответствующее указание у Маркса, увязали бы и с атеизмом, и с интернационализмом» (Солженицын А. И. В круге первом «Новый мир», 1990, № 4, с. 101).

теперь может «на научной основе» наплевать на всех и поступать так, как ему выгодно: якобы, правы все и каждый, а более всех — самый сильный или хитрый. Вспоминается замечание биофизика А. Сент-Дьерди: «Мозг есть не орган мышления, а орган выживания, как клыки или когти. Он устроен таким образом, чтобы заставить нас воспринимать как истину то, что является только преимуществом...»

Представим себе трехмерную систему координат. Ось абсцисс — это ось технического развития; ось ординат — ось идеологии; ось аппликат — ось религиозного выбора. Мы сейчас практически находимся в начале системы координат, в точке «тройного нуля». Понимать это очень важно, ибо искусство (литература, в частности) может находиться в двух состояниях: оно может быть или «фонтаном», или «губкой».

«Современные течения,— писал в 1919 году В. Пастернак, в экстремальной ситуации, похожей на нашу,— вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно губка. Они решили, что искусство должно быть, тогда как оно должно всасывать и насыщаться».

Сегодня литература всасывает «тройной нуль» и насыщается им, обнаруживая готовность к вариациям на тему, обозначенную И. Бродским: «Эх, Цусима-Хиросима! Жить совсем невыносимо». Разрушение тоталитаризма разрушает и порожденную им литературу, опиравшуюся на мифологию социализма, государственный атеизм и идеологию тотального запретов. Причем эта опора была необходима и тем частям литературной системы, которые всему противостояли. Лишившись объекта противостояния, они лишились и своей опоры.

В рассказе «Типичный представитель» («Звезда», 1990, № 1) А. Житинский показал, как ирония заменяет мировоззрение. С исчезновением объекта иронического отношения для многих стала реальной угроза исчезновения заменителя мировоззрения. Впрочем, это предельный случай, но литература не случайно проявила к нему особый интерес, к лету 1990 года показав, что человека нет, что остается «слабый контур с незаштрихованной сердцевиной». И это относится не только к «человеку просто», но и к писателю, лишившемуся народности-классовости-партийности то ли как поддержки, то ли как мишени, то ли как оков.

2

Попытаемся рассмотреть процесс более детально. Должен предупредить: главным предметом анализа является именно процесс, а не отдельные произведения.

Прежде всего, гораздо более отчетливо, чем раньше, литература, СОВЕТСКИЙ МОНОЛИТ, разложилась на ряд сублитератур, ряд «автокефальных» областей, в каждой из которых своя эстетика, мораль, свои взаимоотношения с начальством, свои идеалы и свой читатель, объективно причастный или только к «своей» субкультуре, или к некоторым. По существу, мы имеем дело с множеством субкультур внутри одной культуры. В стиле «китайской классификации» (то есть как угодно), упомянутой Борхесом, можно выделить, например:

— литературу ВПЗРов — Великих Писателей Земли Русской (Г. Марков, П. Проскурин, Ан. Иванов, А. Чаковский), авторов многотомных эпопей, написанных в строгом соответствии с канонами соцреализма, увенчанных многочисленными премиями и утверждавших «историческую правильность избранного пути»;

— литературу, ориентированную не на «социалистический», а на «простой» реализм и общечеловеческие ценности (В. Гроссман, Ю. Домбровский, Ф. Искандер, А. Битов);

— литературу, возвращенную из запасников и тюрем (от Е. Замятина до Б. Пастернака);

— литературу эмиграции (со сложными подразделениями по идеологическим, эстетическим и хронологическим признакам);

— литературу, мифологизирующую патриархальную деревню и общинное устройство крестьянской жизни (В. Распутин, В. Белов, С. Алексеев, Н. Астраханцев);

— массовую литературу, транслирующую на язык общепонятных сюжетов и образов демократические (в первую очередь антисталинские) идеи (А. Рыбаков, В. Дудинцев, Е. Евтушенко, М. Шатров);

— литературу антидемократической направленности, воспевавшую государство и армию (А. Проханов), Сталина (В. Успенский), монархию;

— литературу авангарда, эксперимента и эстетического эпатажа (Д. Пригов, В. Кривулин, Л. Рубинштейн);

— ...

Список может быть продолжен (хотя и не до бесконечности), но и так ясно, что сублитератур множество, а культура не монолитна, внутренне дифференцирована, разделена перегородками таким образом, что как объединительное начало в социуме не работает. Общество не спаяно единым языком, единой системой критериев и ценностей, добровольно признаваемых всеми, системой, которая и не могла выработаться под гнетом тоталитаризма. Наоборот, в культуре существует первобытная (даже не феодальная) раздробленность. Причем это тоже не результат естественного процесса, а следствие режима, десятилетия мешавшего выработке единой системы за счет искусственной стимуляции одних сублитератур и подавления других. Разнообразие, в других условиях возможное как благо, стало злом из-за отсутствия единой, всеми признаваемой ценностной

иерархии. Это привело к отсутствию в культуре горизонтальных связей и наличию лишь вертикальных: низ — верх. Не случайно всем до недавнего времени руководил сакральный центр, так специально и названный — Центральный Комитет. Именно через него происходило общение всех субкультур: доносы, жалобы, превентивные сигналы стекались сюда и, обретя форму управляющих воздействий, скатывались вниз в соответствующее место. Для Ю. Бондарева, например, было естественным апеллировать к ЦК после появления статьи И. Дедкова: самого критика как бы нет, есть лишь текст, по таинственной причине санкционированный Центром. Сюда же, к Повелителю мух, понесли свои слезы и обиды А. Шилов и И. Глазунов после выхода «Имитатора» С. Есина... Есть основания полагать, что такое «вертикальное» общение в основном закончило существование.

Однако образование горизонтальных связей протекает крайне медленно (если вообще то, что происходит, есть образование горизонтальных связей). Сублитературы разошлись настолько далеко, что первой формой непосредственного и самостоятельного — помимо ЦК — общения стала **ВОЙНА** (кстати, если вспомнить «Наследников» У. Голдинга, то можно понять, что именно война была первой формой контактов разрозненных первобытных племен).

Многих сегодняшняя война почему-то удивила, однако надо учитывать, что большевики сменили культурные регуляторы поведения человека в обществе (религиозные, моральные) на докультурные (страх, зависть, идолопоклонничество, голод), после чего руководство Центра стало не только возможным, но и жизненно необходимым в условиях неизбежной войны отдельных групп общества, изначально направленных одна на другую. С одной стороны, републикация повести Ю. Даниэля «Говорит Москва» (1961)[2], с другой стороны, републикация таких произведений наших соотечественников, ныне живущих за рубежом, как «Споры о Достоевском» Ф. Горенштейна («Театр», 1990, № 2) или «Разногласия и борьба» А. Кустарева («Аврора», 1990, № 3—4), показывает, что в скрытой форме война происходила всегда, и лишь Центр, непрерывно вмешиваясь, не давал ей ни затухнуть, ни принять форму открытых столкновений. Но не случайно пьеса Ф. Горенштейна «Споры о Достоевском», написанная в 1973 году, предсказывает погром в ЦДЛ в январе 1990-го.

Известно определение немецкого военного теоретика: война — «...не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами» (Клаузевиц). Но разве нельзя без ущерба для смысла и истинности суждения слово «война» заменить выражением «советская литература»? Очевидно, в возможности подобной замены скрыта сущность феномена «советская литература». Не случайно же дефиниция К. фон Клаузевица, примененная к условиям конца 1980-х годов, сразу объяснит и роль литературы в обществе социализма и постсоциализма, и место литераторов в социальной парадигме.

Если никто не сделал этого до меня, то я беру на себя смелость первым обратить внимание на сугубый интерес, например, В. Пьецуха (одного из моих любимых писателей) к войне. В рассказе под символическим названием «Центрально-Ермолаевская война» писатель очень точно подметил имманентную укорененность войны в менталитете: «...российская околопустыня периодически вгоняет человека в то бесовское состояние духа, когда одновременно хочется и заплакать, и засмеяться, и выкинуть что-либо необыкновенное, огневое. Короче говоря, нет ничего неожиданного в том, что в июле 1981 года молодежь деревни Ермолаево и поселка Центральный ни с того ни с сего затеяла между собой форменную войну». Тема продолжилась и развилась в рассказе «Анамнез и Эпикриз» («Новый мир», 1990, № 4) в целый ряд блестящих рассуждений, вполне намеренно провоцирующих обвинения в русофобии: «Даже ворон ворону глаз не выклюет, а русский русского не упустит при случае наказать. Я думаю, такая недружественность имеет свою историческую подоплеку: в силу некоторых особенностей нашего прошлого мы зарвались в своем развитии, мы до того доразвивались за последние двести лет, что у нас вывелись десятки подвидов русских...»

Используя вывод Пьецуха, можно сказать, что различные сублитературы продуцируются и потребляются именно различными человеческими подвидами — как русских людей, так и других жителей нашей необъятной Азиопы.

Но вернемся к условно принятой параллели «война — литература». Попробуем воспользоваться известной классификацией, согласно которой войны делятся на справедливые и несправедливые. Поставим в определения, взятые из школьных учебников, вместо слова «война» слово «литература» и получим:

Справедливая литература — это литература угнетенных классов, наций и отдельных людей за свое социальное и национальное освобождение, а также литература, вызванная необходимостью отразить агрессию (например, «Иванькиада» В. Войновича или многочисленные статьи типа: Ерофеев Вик. Десять лет спустя.— «Огонек», 1990, № 37).

Нетрудно сообразить, что к справедливой литературе относятся «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Погружение во тьму» О. Волкова, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, да и вообще вся «репрессированная» литература.

---

[2] См.: Цена метафоры или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., 1989.

Несправедливая литература — это литература, которая «ведется», как правило, в интересах эксплуататорских классов и их отдельных представителей за получение тех или иных экономических или политических выгод (захват рабов и колоний, изменение границ, торговые преимущества). Часто театром таких военных действий становятся пленумы (народная этимология и производит «пленум» от слова «плен»).

Несправедливая литература представлена, прежде всего, продукцией ВПЗРов, а также «секретарской» литературой — всеми этими опусами о шахтерских династиях или нефтехимиках Сибири, созданных теми, для кого желание быть писателем — это претензия на определенный статус в обществе, а не бытийная устремленность. Иные из таких романов отчаянно смелые авторы переиздают и сегодня[3]. Ибо сегодня цель их авторов — сохранить (а в прежние времена завоевать) экономические и политические выгоды, сохранить прежнее государственно-политическое устройство, которое позволяло им длительное время удерживать ключевые позиции. Именно они в период перестройки всецело поглощены (см. определение выше) захватом **рабов** (сторонников своих идей и методов) и **колоний** (печатных изданий: «В мире книг», ставший «Словом»; были попытки захватить журналы «Октябрь», «Ленинград»; захвачена «Кубань», открыт форпост в виде газеты «Московский строитель»), изменением **границ** (для этого, например, создана областная писательская организация в Ленинграде по инициативе Ю. Бондарева и С. Михалкова и при поддержке ленинградского персека), обеспечением **торговых преимуществ** (борьба за тиражи, переиздания, многотомники и бумагу).

Итак, первое следствие распада тоталитарного режима — война между сублитературами.

Второе связано с новой ролью, которую в картине мира начала играть **случайность бытия**, идея хаотичности жизни.

Массовая философия в последние два-три года динамично развивалась, оставив позади привычные модели, одобренные в агитпропе. Жизнь предстала **бессмысленной** и **случайной**, справедливая плата за верно прожитую в новой модели отсутствует, праведнику не воздается, грешник не наказан. Это понимание жизни, которому философы учили давно, неожиданно широко разлилось, внедрилось, как я думаю, именно в массовое сознание[4]. Толчком же послужили два обстоятельства: **правда об истории**, которой до этого старательно приучали просто гордиться, и **философия ГУЛАГА** («мир как большой ГУЛАГ»).

Разрушив христианский Космос, христианскую идеологию и нравственную философию, обосновывавшие праведность и воздаяние как причину и следствие, большевистские идеологи воздвигли на освобожденном от обломков месте новый Космос — назовем его условно сталинским. Это была мифология, утверждавшая счастье как законное право, причитающееся советскому человеку, рабочему и крестьянину, беззаветно преданному власти и выполняющему все предписания социального распорядка несмотря на немыслимые трудности[5]. Счастье стало долгом, справедливо выплачиваемым по векселю. Исполнив многотрудные обязанности перед государством, вдоволь настрадавшись, прожив тяжелую жизнь, человек ожидал законной мзды. Почти никому она не доставалась, но само ожидание, само сознание «права на», существование в качестве человека, которому должны, имело определенную ценность. Декларация Хрущева о поколении советских людей, которое будет жить при коммунизме, была совершенно естественной для незыблемого сталинского миропорядка.

И вдруг все это в один миг рушится («оттепель» сталинский Космос даже не поколебала), «дом опрокидывается» (трифоновская метафора), из истории, оказалось, совсем нечего брать в будущее и нечем гордиться в прошлом, связь времен распадается, Космос сменяется Хаосом, а «чувство полного удовлетворения» — шоком, ничего не дающим для жизни. «Архипелаг ГУЛАГ» показал и доказал, что жизнь случайна и бессмысленна, что «счастье нельзя получить по векселю, счастье получают только в подарок. Его незаслуженность и неожиданность — непременные свойства; его могло бы не быть, нас самих могло бы не быть»[6].

Это сверхидея «Архипелага»[7], но те же мысли неминуемо возникли и в «Прогулках с Пушкиным» Абрама Терца, написанных в Дубровлаге: «Случайность знаменовала свободу — рока, утратой логики обращенного в произвол, и растерзанной, как пропойца, человеческой необеспеченности. То была пустота, чреватая катастрофами, сулящая приключения, учащая жить на фуфу, рискуя...»

Фраза Абрама Терца слишком длинна, чтобы цитировать ее до конца, но ясно и так, что дело вовсе не в Пушкине, а в психологии зэка зрелого социализма.

Из этой философии вытекает множество следствий. Естественно, сразу терпит крах литература ВПЗРов и ей подобная, расчетливо придуманный мир положительных красавцев и уродливых негодяев разваливается, реализм избавляется от искажающих его прилагательных и оказывается, что ближе к изображению реальной жизни подошли не Г. Марков, П. Проскурин, Ю. Бондарев или, скажем, Вильям Козлов, а такие писатели, как Ю. Трифонов, Ю. Домбровский, Г. Владимов, Л. Петрушевская.

Другое важное следствие заключено в том, что заметно ослаб интерес к **смыслу жизни**: кажется, мы-таки начинаем, уже начали любить жизнь больше, чем смысл ее, и есть писатели, которые немало сделали для разрушения иной, прежде доминировавшей, точки зрения.

Наконец, со всем этим связано лишение литературы права на дидактику, на **идеологическое внушение**, которое ассоциировано с культурой тоталитарного общества.

Напомню мысль В. Шаламова: «В новой прозе — после Хиросимы, после самообслуживания в Освенциме и Серпантинной на Колыме, после войн и революций — все дидактическое отвергается. Искусство лишено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить. Искусство не облагораживает, не улучшает людей. Искусство — способ жить, но не способ познания жизни...»

Между прочим, на таком отказе построена проза Т. Толстой, она не пытается учить своих героев как жить, а говорит: «Живите, как хотите». Жестоко? Но это ощущается только в том случае, если приступать к литературному делу с заранее сформулированной программой направленного в мире «учительного слова». Может быть, вопрос писателю, художнику: «как жить?» и есть результат «двухвековой благородной привычки», но нет ли за ней еще более долгой привычки к духовному опекунству, тяги к всеобъясняющей проповеди, приходящей со стороны?

Нынче в эту проповедь не особенно верят, ибо литература внесла солидную лепту в грандиозную мистификацию под названием СОЦИАЛИЗМ — КОММУНИЗМ. «Высочайший манифест» А. Солженицына, написанный в июле 1990 года и присланный в СССР в сентябре, вызвал по большей части лишь недоумение. По существу, Солженицын обращается в нем к стране, какой она была, когда он ее покинул, к стране двадцатилетней давности...

В докладе «Искусство эпохи безвременья»[8] Г. Белая очень точно заметила, что «сегодня даже «толстовский» роман, будь то «Жизнь и судьба» В. Гроссмана или «Красное колесо» А. Солженицына, многим «молодым» кажется наследием авторитарного искусства». Действительно, если анализировать, скажем, «Красное колесо», то нельзя не заметить в нем существенной черты соцреализма как метода: навязывание читателю **единственной** — авторской — точки идеологического зрения. Характернейший пример — главы 60—64 «Августа четырнадцатого» (см.: «Звезда», 1990, № 8), мотивировка убийства Столыпина Григорием Богровым.

Само убийство описано в конце 64-й главы, объяснение же начинается с 60-й, причем, читатель получает объяснение вместе с юной и несведущей племянницей Вероникой, которой ее тети народницы старательно внушают, как надо понимать выстрел, как надо понимать фигуру Богрова. Главы 63—64, где место на кафедре прочно занимает автор,— это продолжение **внушения** (только более интенсивное): заинтригованный всякого рода умолчаниями, читатель воспринимает непрерывное, логически связное описание без каких-либо сомнений. То есть **некритически** усваивает авторскую точку зрения на событие, подлинные причины которого на самом деле неизвестны.

---

[3] Втолкнем в обойму новый патрон, назовем новое секретарское имя: Геннадий Петров, секретарь Правления ленинградской писательской организации. На крепком сибирском материале изготовил роман «Любовь», выпустив его в «Неве» (1985, № 11—12), а в 1986 г. отдельным изданием. Это образцовое собрание самых примитивных литературных штампов позднего застоя, включающее даже конфликт первого (консерватора) и второго (новатора) секретарей мифического Приобского обкома. Крайне низкую оценку роману по публикации в «Неве» сразу же выставил А. Андрианов («Литературная газета», 1986, 9 апр. — «вязнущий в банальностях сюжет»), на что неунывающий романист отреагировал организацией двух положительных откликов на периферии — читателя В. Пронькина в кустанайской газете «Ленинский путь» (1936, 25 ноябр.) и Г. Арабескина в «Сибирских огнях» (1987, № 11). Очевидно благодаря этой мощной критической поддержке ленинградское отделение «Советского писателя» и наметило бессмертную петровскую «Любовь» ко 2-му изданию в 1991 году (тираж 100 000)! Трудно даже вообразить, как будут восприниматься сегодня, в 1991 г., «отражение руководящей роли» и глубокомысленные рассуждения об «отставании от жизни» «Первого» и т. п.

[4] Впрочем, в слабом рассказе В. Ганичева «Темрянь... Темрянь» («Наш современник», 1990, № 7) сын некоего профессора филологии доказывает, что воздает не Бог. По его мнению, «группы, организации, лица, ... совершившие губительные для общества деформации, впоследствии подверглись разгрому, угнетению или даже уничтожению» (с. 51). Это касается: русской интеллигенции начала XX века, крестьянства; партийных доктринеров, евреев. Таким образом, течение жизни предстает глубоко осмысленным. Это напомнило мне статью Я. Эльсберга «Дезинформация «по-джентльменски», или лицемерные воздыхания Макса Хэйуорда» («Литер. газета», 1972, 4 окт.) Ветерана ленинского литературоведения сильно возмутила мысль англичанина о том, что В. Быков изображает войну «как невозместимую по человеческому счету трагедию». Идея «невозместимости» разрушала столь дорогой для Эльсберга стереотип неслучайности любого убийства, освященного государством во имя собственной мощи.

[5] Мифологемы «Справедливость» и «Право на счастье» (счастье в обмен на временную бедность и праведность) вошли в самую основу советского менталитета. Две вехи — фильмы «Кирпичики» (1925) и «Москва слезам не верит».

[6] Аверинцев С. С. Гилберт Кит Честертон, или неожиданность здравомыслия. — В кн.: Честертон Г. К. Писатель в газете. М., 1984. С. 338. «Человек и впрямь склонен расценивать счастье как причитающееся ему право, как должок, которого ему все никак не удосужатся выплатить Целая жизнь может быть загублена попыткой взыскать счастье с людей и судьбы...» (там же).

[7] В самом начале четвертой части «Душа и колючая проволока» (пространственно — это центр трехтомного «Архипелага») Солженицын поместил рассуждение: «В нашем почти поголовном сознании невиновности росло главное отличие нас — от каторжников Достоевского, от каторжников П. Якубовича. Там — сознание заклятого отщепенства, у нас — уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и меня; что колючая проволока разделила нас условно» (Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1989. Т. 2. С. 554).

[8] Доклад был представлен на конференцию Международной рабочей группы по исследованию современной совкультуры (Москва, июнь 1990).

Опытный Солженицын так строит текст, так окружает читателя с флангов и с тыла, что не возникает даже и мысли о возможной неединственности объяснения. К слову сказать, идея Солженицына заключается в том, что Богров был одиночкой, что двигал им «тысячелетний тонкий уверенный зов», иначе говоря, имманентное разрушительное начало, гнездящееся в сатанинском еврейском характере. Но дело даже не в привкусе этой мысли как таковой, дело в авторитаризме авторской позиции, невозможной, говоря словами Шаламова, после Освенцима и Серпантинной.

Из этой «невозможности» растут иные тексты:

«Она стала стрелой — она вошла под ребро.

Каждое утро начинается на рынке культуры криком: «Вот новый! Вот авторитет!» И все подслеповатое и безногое задается вопросом: «Не видно ни зги — куда он завел нас?»

Плакали ваши паруса...» (Марсович Р. Летать и плавать.— «Родник», Рига, 1990, № 7).

Эта проза уже никуда не ведет и ничего не навязывает. В пределе она становится чистым самовыражением и интересна лишь самому автору.

Обрушившаяся на нас лагерная проза принесла еще одну беду: она содрала слой литературной условности, разрушила конвенцию, которая обеспечивала безбедное существование сочинениям типа «Кавалер Золотой Звезды». И это третье следствие распада тоталитаризма для культуры. Можно взять для примера сравнительно недавние крупные публикации «Невы» — «Пригород» Н. Коняева и «Заключительный период» В. Тублина. Читать их или всерьез обсуждать на страницах печати уже практически невозможно.

Вот репрезентативный образец из «Пригорода»: «Перед обедом Леночка снова вспомнила о вчерашней ссоре с женихом, и лицо ее чуть омрачилось, но она тут же догадалась, что надо позвонить редактору газеты и попросить, чтобы прислали корреспондента. Корреспондент напишет, как хорошо прошло собрание, и ее жених, милый Броня — Бонапарт Яковлевич работал ответственным секретарем в газете — узнает, как хорошо работает его невеста, и... все будет замечательно. Улыбаясь, Леночка набрала номер редактора. Все можно было организовать. Все. В том числе любовь» («Нева», 1989, № 10, с. 16).

В этом выдуманном мире, где еще надо «хорошо работать», чтобы удачно выйти замуж, от героев и героинь на пятьдесят метров пахнет чернилами, и дело не меняет тот факт, что в реальной жизни женить на себе энергичные девицы продолжают и теперь. Ибо цитированные строки «Нева» опубликовала в октябре 1989 года, когда «Новый мир» сдирал слой литературной условности, публикуя главы «Архипелага». Контраст был слишком велик[9].

Естественно, выдержать соревнование с натурализмом могут только произведения гипернатуралистические, эпатажные, и не случайно проза самого «Нового мира» пошла вразнос: от документального повествования о Чернобыле (с антилитературными описаниями рельефных схем) до повести-гиньоль Л. Габышева.

Другой вариант конкуренции с натурализмом — нарочитый отказ от всего художественного, скромность, антилитературная незамысловатость сюжета, сдобренная «народной» речью. Именно на этом приеме построил, например, свой рассказ А. Сегень: «А кляп их знаеть. Им что май, что не май — шире разевай. Молока-то налить ишшо?» — «Дак они же ж усё у себя утянывають» (Сегень А. Петров и Топтыгин.— «Наш современник», 1990, № 7, с. 19).

Интересная ситуация: с одной стороны, «митьки» с их пародийно-дебильным «дык», с другой стороны, проза типа сегеневской с вполне серьезным «дак». Это еще раз напоминает о замкнутости сублитератур и их полной независимости (ценностной, языковой и пр.) друг от друга: видно, что речь может идти именно о «разных породах русских»...

Нужно время, чтобы старая конвенция о беллетристике восстановилась. И именно это определяет литературную ситуацию, в которой, скажем, традиционная повесть Д. Гранина «Неизвестный человек» («Дружба народов», 1990, № 1) выглядит анахронизмом. Характерный для Гранина «производственный конфликт», борьба новатора и консерватора, надежно скрывавшая пороки Системы в целом (за счет вымышленных героев), здесь, в этой повести соединилась с модной ныне идеализацией прошлого, дворянских предков и т. п. Однако дело даже не в модных клише, неспособных «вытянуть» устаревший производственный конфликт; дело в сюжетных мотивировках, слабость которых стала невыносимой именно в момент разрушения старой литературной конвенции *.

---

[9] Заботы картонной Леночки ср. с мемуарами Елены Глинки «Трюм», где, в частности, есть и такой абзац: «Насиловали всех: молодых и старых, матерей и дочерей, политических и блатных... становились в очередь, взбирались на этажи, расползались по нарам и осатанело бросались насиловать уже изнасилованных, а тех, кто сопротивлялся, здесь же казнили: у многих урок были припрятаны финки, бритвы, самодельные ножи-«пики», время от времени под свист, улюлюканье и изощренный мат сбрасывали с этажей замученных, зарезанных, изнасилованных. И если где-то в преисподней и существует ад, то здесь наяву было его подобие» («Ленинградский литератор», 1990, № 7 /12/).

Кстати, нарушилась своя система условностей и в бывшей «неофициальной» культуре, также испытывающей трудности. «Буквально еще вчера,— констатирует Д. Пригов,— домашняя беседа была больше, чем беседа, она была культурным событием. Интонация домашней доверительности, значимость внутрикруговых происшествий, апелляция к узкому кругу принявших на себя эту судьбу становились со временем чертами поэтики.. Теперь же как будто рушится одна из стенок, являя сидящих в почти незащищенном нагише... При выходе на люди теряются априорные права непризнанных и гонимых...» (Пригов Д. Где наши руки, в которых находится наше будущее? — «Вестник новой литературы» 1990. № 2, с. 214).

«Априорные права», которые разбаловали в равной мере и гонимых и преуспевших, теряют все: идет «черный передел» на рынке культтоваров.

Четвертое следствие разрушения тоталитарной культуры — внезапное исчезновение такого важного источника вдохновения, как **противостояние Системе.** Сама Система еще остается целой и почти невредимой и готова к ренессансу, однако ее идеологическое обоснование ликвидировано, пафос борьбы с ней исчез. Иными словами, сопротивление среды не может стать, как раньше, конструктивным фактором художественного произведения. Не случайно эмигрант Г. Владимов, выступая весной в Ленинграде, заметил, что на Западе «исчезают какие-то раздражители» из-за изобилия свободы («Литератор», (Ленинград), 1990, № 24 (29), с. 6). А «внутренний эмигрант» В. Кривулин в стихотворении «Почва наша» прямо признался: «Начали давить и не пущать — и дыханье новое открылось! Наглой власти крепостная благодать — почва наша...» («Вестник новой литературы», 1990, № 1).

Известному джазмену А. Козлову интервьюер задает вопрос: почему Вы не уехали? — «Но дело все в том,— отвечает музыкант,— что я не представляю уже себя без борьбы с социумом. Без игры с этими чиновниками, бюрократами, с этими приспособленцами, которые зарабатывали на том, что меня зажимали. Без этой борьбы мне неинтересно жить» («Огонек», 1990, № 29, с. 23).

Противостояние стало одновременно синдромом и содержанием произведений, мировоззрением целой когорты «шестидесятников», и вряд ли такие феномены, как Ю. Трифонов, В. Высоцкий или Андрей Тарковский, могли бы легко переместиться в наши нынешние условия, когда уже отсутствует сопротивление среды, которое они умели превращать в тему. По зарубежному творчеству А. Тарковского это особенно хорошо заметно: фильмы «расплылись», лишились нерва, тайны и формы.

Между прочим, даже писатели, тяготевшие к «вечным темам» и экзистенциальным проблемам,— Ю. Трифонов, А. Битов, Ф. Искандер — глубоко «социальны» в специфическом советском смысле, ибо человек был (и есть) — как ни страшно это сознавать — целиком сделан государством и целиком для государства. Человека как такового, помимо его социальной детерминированности, выделить почти невозможно: ОСТАТКА НЕТ, что и показала «жестокая бытописательница» Л. Петрушевская.

По-своему это пытается показать и проза «Нашего современника». Характерна **некросуггестия** июльского номера «Нашего современника» за 1990 год (цитаты взяты из произведений трех авторов, которые читаются как единый текст):

с. 17: «В октябре умерла бабушка Катя...»

с. 19: «Через полгода егерь Петров умер»

с. 20: «В моей родне умели помирать...»

с. 23: «Помираешь? — Помираю...»

с. 25: «Андрей Иванович Шахов умирал...»

с. 33: «Он знал, что, когда они оба умрут...»

с. 35: «Умерла она внезапно на трамвайной остановке»

с. 38: «...и когда его нашли, опознали, то на деньги Николь положили в цинковый гроб...»

с. 39: «Отец умер рано...»

с. 40: «Его схоронили на деревенском кладбище».

Процесс разрушения тоталитарного государства отзывается целой **«эпидемией смерти»**, и уже не удивляет, что в бесконечно далеком от «Нашего современника» рижском «Роднике» в том же июле 1990 года варьируется все тот же сюжет умираний (см.: Могилев Л. «По последней», «Тот свет»). Человек умирает вместе с породившим его миром.

3

Итак, начавшееся разрушение Системы и как следствие — резкая девальвация ее образа привели к реакциям во всех сублитературах.

Оловянная литература ВПЗРов кончила существовать сразу, ибо лишилась в лице Системы не просто «родника вдохновения», а прикрытия, источника финансирования и идеологического обоснования. Развенчанные явно пребывают в состоянии растерянности, ибо приход «Котлована» и «Жизни и судьбы» на смену «Поднятой целине» и «Щиту и мечу» означает, что разрушено все прежнее мировоззрение, прежняя модель литературного мира.

---

* Другая, прямо противоположная точка зрения на повесть Д. Гранина выражена в рецензии Н. Ажгихиной (см. «Октябрь», 1990 № 5) — ред.

Но в режим отдыха на довольно длительный период перешли и такие писатели, как А. Битов, Ф. Искандер, В. Маканин. Они или публикуют старое, давно написанное, или держат пока паузу. «Из пасти льва струя не журчит и не слышно рыка»,— писал в стихотворении «Фонтан» (1967) Иосиф Бродский, имея в виду отключенного «Самсона». Не видно и новой прозы Т. Толстой, хотя рык доносится регулярно...

Нет, я никого не обвиняю и не уличаю, ни от кого ничего не требую; я лишь пытаюсь понять, что произошло и происходит с литературой и писателями. Почему сейчас, когда **все можно**, в журналах толкутся бездарности, с легкостью побеждает написанное давным-давно или за тридевять земель?

Ведь что характерно: огромные трудности испытывают не только А. Чаковский, Г. Марков и П. Проскурин, но даже та литература, которая в условиях стабильного тоталитаризма дышала «ворованным воздухом» и пыталась изобразить «человеческое лицо».

ГЕРЦЕН: «...Помнится, я упоминал об ответе Томаса Карлейля мне, когда я ему говорил о строгостях парижской цензуры.

— Да что вы так на нее сердитесь?— заметил он.— Заставляя французов молчать, Наполеон сделал им величайшее одолжение: **им нечего сказать**, а говорить хочется... Наполеон дал им внешнее оправдание...» («Былое и думы», ч. 8, гл. 2).

Разве не сделал наш «Наполеон» величайшего одолжения повести «От мира сего» Ю. Крелина, «Бессоннице» А. Крона, «Альтисту Данилову» В. Орлова (чуть ли не наследником Булгакова называли!), «Имитатору» С. Есина... В известной степени то же можно сказать о многих сочинениях и Ч. Айтматова, и В. Быкова, и Д. Гранина, и С. Залыгина, и В. Катаева, и Ю. Нагибина, и даже Ю. Трифонова, братьев Стругацких и Б. Окуджавы («историческая» проза).

Возможности доказательного анализа я, понятное дело, лишен, да и жанр у меня другой, но, думаю, ясно, что речь идет о писательской тактике, которая устраивала власти самоцензурой, умением намекнуть, но не коснуться самого главного умеренностью и аккуратностью, не исключавшими талантливой неостроты, которая не нацеливалась в «сердце тьмы» советского мира, а уводила от нее в противоположную сторону. Но подобная тактика устраивала и многих писателей: когда, по трифоновскому выражению, «шумела несъедобной ботвой кочетовская псевдолитература», легко было «отписаться» чем-то, по гамбургскому счету, весьма средним.

Если бы не скандал вокруг «Нового мира» и изгнание оттуда бедного Твардовского,— никогда бы не «выплыл» в центр литературного течения камерный и художественно скромный «Белый пароход» Ч. Айтматова. Вряд ли «Дом» Ф. Абрамова (весьма средний по художественному качеству роман) был бы воспринят как острая публицистика, если бы непосредственно перед ним тот же «Новый мир» в течение всего 1978 года (февраль — май — ноябрь) не тянул брежневскую «трилогию». Нельзя, безнравственно забывать, что и лучшие из публиковавшихся в абсолютном большинстве случаев лишь заполняли в литературе место тех, кого вытравили по подозрению в уникальности: Бродского, Солженицына, Гроссмана, Владимова, Войновича, Горенштейна и других. А в «других», кстати,— Замятин, Платонов, Набоков, Пастернак...

Прежде **новой литературы** возникли суррогатные формы ее замещения, основанные на поиске новых врагов взамен старой, враждебной людям системы. Во-первых, в образе Сталина и сталинщины (А. Рыбакова), скоро — если не уже — в образе Ленина и ленинщины (что не позволяла цензура, опиравшаяся на постановление ЦК КПСС «О порядке издании произведений о В. И. Ленине» от 11 октября 1956 г.). Во-вторых — в виде подставных врагов в виде жидо-масонов и интеллигентов, продающих и спаивающих Россию («Все впереди» В. Белова, «Одолень-трава» С. Шуртакова, журналы «Наш современник» и «Молодая гвардия», взятые как единый текст). Когда веры в идеальный «лад» не осталось, защищать оказалось нечего и художественный мир, основанный на мнимостях, распался сам собой — тогда и был немедленно водружен этот старый макет жидо-масона, еврея-сатаниста, покорившего весь мир [10].

Отреагировала на изменения в социуме и субкультура, не обслуживающая политические идеологии, а занятая экспериментом. Однако аполитизм здесь мнимый: атака на литературу и язык тоталитаризма явно приняла политический характер. Вследствие этого, например, Д. Пригов стал чем-то вроде травестированного «Евтушенко восьмидесятых годов», что особенно отчетливо видно по подборке стихов «День рыбака» («Огонек», 1990, № 29, с. 27). В «Дне рыбака» спародирован даже обычный для Евтушенко злободневный отклик с прямым и настойчивым обращением к читателю-слушателю (ср. у Пригова: помните ли гады // Как я в матросочке нарядной // Скакал?! ведь было же! ведь правда! // Не помнят). Изначально по существу это творчество протеста — против языка, того, который «возникает и распространяется под защитой власти» (см.: Барт Р. Удовольствие от текста.— В кн.: Барт Р. Избр. работы. М., 1989. С. 495) и как следствие — против самой власти. Отсюда приговский Милицанер, разрушающий мифологию дяди Степы, отсюда кривулинский «Шмон» («Вестник новой литературы», 1990, № 2), написанный без членения на предложения, без прописных букв у имен собственных, которых Кривулин не признает за собственные. Он не ставит и точек, ибо «время наступило не то что тяжелое — бесконечное какое-то...».

Литература, о которой зашла речь, именуется то «третьей» (Ровнер А., Андреева В. Третья литература.— «Родник», Рига. 1990, № 4, с. 72—80), то «второй» (так ее называет В. Кривулин и весь круг «Вестника новой литературы»). Эта «вторая» («третья») литература, прежде вытесненная Кочетовыми — Сартаковыми на периферию, ныне активно перемещается в «ядро» — в художественный и смысловой центр, где размещаются произведения, признаваемые эталонными с точки зрения художественного уровня и воплощенной в них системы ценностей (немалое значение имеет и доступность). В связи с этим и возникает очень важная проблема: она связана с тем, что «ядро» в русской культурной парадигме может быть образовано лишь крупными прозаическими произведениями, не чуждыми литературных экспериментов, но не на них концентрирующими основное читательское внимание, произведениями, охватывающими большие промежутки времени и реалистически описывающими жизнь семейств и родов на протяжении нескольких поколений. А таких произведений во «второй» («третьей») литературе нет: там доминирует совершенно другая установка. И делу не помогает наличие в литературе романов В. Гроссмана или Ф. Горенштейна: это уже **история**, «ядро» должно строиться каждым поколением, без этого нет современной литературы.

Чисто литературный аспект проблемы состоит в том, что процесс обмена местами принял чересчур личный характер: в ядро, освобожденное от прежних насельников, опять впускают не по художественным мотивам, а по соображениям справедливости. Мне не жалко отлученных от журнальных страниц (они материально обеспечили себя на несколько жизней, да и книги их, к сожалению, продолжают выходить), однако новое не всегда годится для ядра, будучи периферийным по своим идейно-художественным особенностям. Грубо говоря, нового Гроссмана нет, а проза Е. Попова и Вик. Ерофеева не обладает способностью всестороннего отражения Мира. Не было этого и раньше, «секретарская» литература лишь имитировала это свойство в полном отрыве от правды жизни и всякой художественности. Теперь же значительная часть «ядерной» литературы мельчает в жанрах и формах, тяготея к реплике, пародии, отрицанию каких-то канонов и штампов, что имело смысл только при наличии канонов и штампов в ядре. Остается надеяться, что все-таки, каким-то неведомым образом, из нашего сегодняшнего хаоса возникнет «большой роман», который будет пытаться гармонизировать современную мешанину. Во всяком случае, без реалистической прозы литература существовать не может. Главное, что должно быть в этой прозе,— оценка прошлого с позиции сегодняшнего (т. е. завтрашнего) дня, причем оценка бескомпромиссная, основанная, с одной стороны, на способности к самым радикальным выводам относительно чего бы то ни было, а с другой стороны, на философском осмыслении истории и современности. Но для этого жизнь должна немного «успокоиться», принять какие-то формы, которые можно понять.

В сложной ситуации, когда многое стало ненужным, когда читатель устал и начал «просто жить», в борьбе за его внимание побеждает, как мне кажется, художественная проза трех видов.

Во-первых, давно написанная, «репрессансная» литература. Во-вторых, шокинг-проза с установкой на натурализм и брутальность (Д. Бакин, С. Каледин, а из патриархов Л. Петрушевская и В. Астафьев). В-третьих, литература, насыщенная иронией и сознательно разрушающая традиционную конвенцию о беллетристике, имеющая дело не непосредственно с реальностью, а с текстами прошлых времен, то есть ЛИТЕРАТУРОЙ И ЦИТАТАМИ. То, что для «шестидесятников» является серьезной проблемой, для носителей этого литературного сознания (Е. Попов, Д. Пригов) стало предметом игры и очень часто веселой, но изощренной насмешки. Придя и застав одни обломки, они выучились ничего не воспринимать всерьез и именно из этих обломков, как из деталей детского конструктора, строить свой мир.

Особое — как бы промежуточное — место занимает проза В. Пьецуха. Для себя я определил его как создателя метатекстов: сочинения Пьецуха — это именно иллюстрации теоретических тезисов, объясняющих логику развития современной культуры. Поэтому текстами Пьецуха можно украсить или проиллюстрировать любое положение теоретической статьи, посвященной современной литературной ситуации.

Возвращение «репрессированной литературы» интерпретируется как совершающаяся справедливость, интерес к ней — это естественный интерес к тому, что находилось под таинственным запретом. Примерно так же дело обстоит с натурализмом, замешанном на сексе и брутальности. Закономерно, что «Сад пыток» Октава Мирбо до недавнего времени находился там же, где стояли тома Л. Троцкого и где до сих пор лежит книга В. В. Розанова «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (Спб., 1914),— в спецхране. Теперь же тексты типа: «Когда подходит ее срок, девушку «срезают» выстрелом в затылок... и помещают... в специальный сусальный хрустальный прозрачный сосуд-гробик, голую, и используют для украшения стола при сервировке... Надо только, чтобы девушки были действительно очень юны. Больше всего ценятся молоденькие, лет по пятнадцать»,— публикуются в массовых газетах [11], ибо на месте прежних образцов соцреализма образовались зияния, требующие, чтобы их немедленно заполнили.

---

[10] Корни этой мифологии уходят в средние века: не менее актуален основанный на средневековом материале идеологически оформленный антисемитизм конца XIX—начала XX века. Характерно замечание В. Астафьева в известном письме Н. Эйдельману от 14 сент. 1986 г.: «У всякого национального возрождения, тем более у русского, **должны быть** противники и враги» («Даугава», 1990. № 6. С. 65; подчеркнуто мною.— М. З.).

Воспользовавшись термином московского критика А. Киселева, я рискну назвать «литературу обломков» — «литературой восьмидерастов» (в отличие от «шестидесятников»). Один из ее крупнейших представителей поэт Тимур Кибиров. Его «Послание Л. С. Рубинштейну» уже успело стать «современной классикой», и потому я делаю исключение и в разговоре о прозе перехожу на это поэтическое произведение: оно отлично демонстрирует черты всей литературы «восьмидерастов».

«Послание» — это энциклопедия русской жизни, построенная из обломков отшумевших лозунгов, до смерти надоевшей коммунистической риторики и псевдонародных речений: «Это все мое, родное, это все х...— мое! То разгулье удалое, то колючее жнивье, то березка, то рябина, то река, а то ЦК, то зэка, то хер с полтиной, то сердечная тоска!» [12]

В двадцати четырех главах поэмы Кибирова компактно уложено множество слов и фраз из «фундаментального лексикона». Но А. Зорин сильно ошибся, когда решил, что кибировские тексты «имеют тенденцию к распространению», что «по своему построению они вообще могут быть бесконечными...» (Зорин А. Муза языка и семеро поэтов.— «Дружба народов». 1990, № 4, с. 245). «Строчечный фронт» строго исчислен, стихов в поэме ровно 667 = 666 + 1. То есть это «число зверя» из Апокалипсиса плюс единица, иными словами, следующее за Зверем «число Хаоса», того самого «тройного нуля», неопределенности, и закономерно, что Энтропия, случайность, оказывается главной героиней поэмы:

> Все приходит. Все не вечно.
> Энтропия, друг ты мой!
> Как чахотка, скоротечно
> и смешно, как геморрой,
>
> и как СПИД... Ты слышишь, Лева?
> Слушай, Лева, не вертись!
> Все равно, и все фигово.
> Что нам делать? Как спастись?

По законам этой эстетики может создаваться и проза, например, роман Ф. Эрскина (М. Берга) «Рос и я» (имеется в виду Россия), напечатанный в «Вестнике новой литературы» (1990, № 1). И «Послание» Кибирова, и роман Берга демонстрируют важнейшую особенность литературы «восьмидерастов», отсутствующую в более ранних сочинениях их предшественников: вовсю оперируя цитатами, размещаясь и замыкаясь в литературном пространстве, эта литература тем не менее не хочет быть безразличной к читателю, который волен равнодушно бросить книгу; не хочет быть «литературой-для-себя», «Сашей-для-Соколова». Наоборот, ее стихия — умело спланированная провокация, любой ценой полученная реакция. Объект ее противостояния и борьбы — читатель, созданный Системой, а не сама Система. Отсюда — постоянное нарушение литературного этикета, кощунство как эстетический прием, обсценная (ненормативная) лексика, умышленные «русофобские» высказывания. Кажется, что «восьмидерастов» точит, не дает покоя мысль о том, что вода тускло светится через стекло графина, меж тем как могла бы быть потоком, фонтаном, морем, градом, волной, бурей...

4

Сегодня литература на том месте, где раньше располагался «образ строителя коммунизма», «положительный герой» и т. п., оставляет «слабый контур с незаштрихованной сердцевиной» (выражение С. Васильевой из предисловия к ее пьесе «...Среди цветов и продуктов», опубликованной в майском номере «Родника» за 1990 г.). Раньше это категорически запрещало начальство, теперь запрет снят, а условия литературной игры допускают такую возможность. Использовать же ее заставляет доминирующее сегодня ощущение **исчезновения человека** вместе с породившим его тоталитарным социумом. Впрочем, совсем не исключено, что многие таким способом скрывают свое неумение человека понять и сделать понятным читателю.

Когда-то М. Бахтин писал о двух возможностях: человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности. В условиях тоталитаризма, когда кокон был до предела узок, реализовывался первый вариант.

Сейчас, когда на всех пала какая-то тоска, мы оказались в ситуации второго варианта: возможностей слишком много, а человека «без свойств» (ср. с образом Р. Музиля, отразившего распад Австро-Венгерской империи) на них не хватает, не хватает, чтобы заполнить пустое пространство потенциальных возможностей, разрешенных в социуме. И человек в этом пространстве теряется и исчезает, а попытки человека изобразить как ни в чем не бывало, выглядят неудачными имитациями, пусть и выполненными с наилучшими намерениями. Поэтому возникает натурализм как способ не просто описания, но отношения к миру и человеку: нужна экстремальная ситуация, она сужает возможности и что-то выявляет в человеке, вроде бы обнаруживая, чем заполнена сердцевина контура. Интересно с этой точки зрения сопоставить «Пробег — про бег» В. Нарбиковой («Знамя», 1990, № 5) и подборку из трех рассказов Л. Петрушевской («Огонек», 1990, № 28).

В рассказе Нарбиковой человека как привычной литературной целостности и психологической «оплотненности» уже нет. Ибо одна из сквозных тем рассказа, стилистически построенного на игре слов,— непознаваемость мира и человека, их *неописываемость*: мир — сам по себе, слова — сами по себе.

Женщина с возбуждающим именем Петя, ее женихи — Борис и Глеб Ил. И. остаются бледными знаками, поводами для письма, не более чем точками концентрации литературно-исторических обломков. Но когда в рассказе возникают Пушкин («Сверчок») и Гумилев, то они оказываются куда «плотнее» и реальнее, чем Петя и ее окружение: «мы так разложились, что, может быть, нас так уже и не сложить». Разложение овеществлено в фактуре прозы: разломаны логика и сюжет, разрушен стиль, в изобилии — грамматические неправильности (непереходные глаголы становятся переходными и т. п.).

Петрушевская — контрпример: в трех коротких рассказах она предельно собранна, стиль отточен и режет деталями, возможностей для свободы у героев никаких, и «сердцевина» обнаруживается сразу. В рассказе «Гигиена» обнаружение происходит в момент смертельной опасности (ставшей обычным испытанием для несчастных персонажей Петрушевской): в городе вспыхивает эпидемия, слабые гибнут, мужчины убивают женщин, чтобы по праву сильных завладеть продуктами и прожить чуть дольше, из глаз умирающих идет кровь... Из целого семейства, выбранного для описания, в живых остается лишь девочка с облысевшим за время болезни черепом.

Но из описаний гиньоль закономерно перетекает в «натуралистическую» концепцию личности: как в ГУЛАГе, человек испытывает лишь страх, зависть, голод, половое чувство и страстное желание мочеиспускания и дефекации (о которых поэтично писал в одном из рассказов В. Шаламов). По Петрушевской, именно из такого человека постиндустриального, постсоциалистического, постидеологического общества может возникнуть новая человеческая разновидность, нечто биологически и социально продуктивное: «Молодой человек... вошел в комнату, усеянную стеклом, сором, экскрементами, вырванными из книг страницами, безголовыми мышами, бутылками и веревками. На кроватке лежала девочка с лысым черепом ярко-красного цвета, точно таким же, как у молодого человека, только краснее. Девочка смотрела на молодого человека, а на подушке ее сидела кошка и тоже пристально смотрела».

Раньше это означало: они поженились и жили долго и счастливо. От Петрушевской такого не дождешься: по существу, перед нами символическое изображение ситуации «тройного нуля», а комната, усеянная стеклом, сором, экскрементами и вырванными из книг страницами,— наш уютный, обжитой мир постсоциализма с отдыхающим фонтаном литературы на центральной площади.

В рассказах Л. Петрушевской заметна «воля к экзистенциализму», ностальгия по «внесоциальному человеку». Повесть В. Маканина «Один и одна» была произведением переходным — от театра социальных ролей к социальной пустоте, в которой человек остается голым, неприкаянным и не умеющим распорядиться своей свободой, о которой столько читал. Этот смысл маканинской повести обнаруживается именно сейчас: домечтавшийся до воплощения мечты, человек не имеет сил уже ни на что.

Поспешный поиск экзистенциального измерения ведет к показу человека эротического. В свое время жестоко подавленные идеологической машиной (см. например, установочную статью: Майзель М. Г. Порнография и патология в современной литературе.— В кн.: Голоса против. Л., 1928. С. 115—173), эротика, секс вновь выходят на авансцену. Одним из адептов этого течения является Вик. Ерофеев. Симптоматично, что для него «эротика — это игра с человеческим подсознанием»: в романе «Русская красавица» Ерофеев, по его словам, «пытался отразить какие-то свои размышления о мире, ...поскольку... пора говорить об экзистенциальном измерении жизни, а не только о социальном» (Виктор Ерофеев: Эротической литературы не существует.— «Искусство кино». 1990, № 6, с. 141). Ерофееву нужен человек, «плохо владеющий собой», человек расслабленный, лишенный социальных масок и ролей, которого остается лишь подкараулить и описать.

«Любопытная вещь,— подумал Богаткин, сморкаясь.— С виду Лидия Ивановна такая интеллигентная, такая деликатная женщина, а в ж... у нее растут густые черные волосы...»

«Парадокс,— прошептал Богаткин. Он был простужен и меланхоличен» (Ерофеев Вик. Роман: Рассказ в восьми главах.— «Вестник новой литературы», 1990, № 2. С. 128).

Пока затруднительно сказать, достигнуто ли уже здесь «экзистенциальное измерение жизни» или мы имеем дело с попыткой противопоставления внешнего образа человека «для-других» и его внутренней сущности «для-себя» или «в-себе» (произведение написано еще в период застоя — во время июльской жары 1978 года). Скорее всего, в этом сочинении перед писателем стояла скромная задача: создать инвентарь табуированных предметов, среди которых главное место тут же занял член подполковника Сайтанова, напоминавший дирижабль.

---

[11] Шарапов И. Мертвые девушки.— «Вечерний Ленинград». 1990. 22 сент. В 1988 г. такое было возможно прочесть лишь в «Роднике» (№ 9). Дело не в «прогрессе», но в «омассовлении» андеграунда.

[12] «Синтаксис». Париж. 1989. № 26, с. 116. Републиковано: «Час пик».— (Ленинград). 1990. № 17. сент. № 30. О поэме см.: Тоддес Е. «Энтропии вопреки».— «Родник», Рига, 1990, № 4, с. 67—71.

Сейчас ситуация иная, и хорошо видно, какие героические усилия предпринимает тот же Ерофеев, чтобы преодолеть «себя прежнего» и из «тяжести недоброй» создать что-либо прекрасное. Говорят, что его роман «Русская красавица» переведен не то на 15, не то на 17 языков... Радуясь за благополучие коллеги, подозреваю, что по крайней мере в некоторых странах к творчеству Вик. Ерофеева испытывают интерес особого рода, сходный с нашим любопытством, допустим, к литературе бушменов или ндембу, если таковая у них самозародилась. Надо пройти путь, которого не мог пройти тот же Вик. Ерофеев, чтобы стать свободным в художественном изображении, чтобы преодолеть искушения неофита употреблять запретные слова.

Среди отменяемых табу важное место занимает ненорМАТивная лексика (уже практически используемая), но еще больше — **жестокость**, шокирующие читателя подробности. Однако полное отсутствие культуры, умения эстетизировать даже изуверское возбуждение палача и беспомощное томление жертвы не позволяют считать соответствующие произведения, так сказать, конкурентоспособными. «Попугайчик» того же Вик. Ерофеева («Огонек», 1988, № 49) сильно проигрывает при сравнении с классикой, скажем, с «Садом пыток» Октава Мирбо или даже с лаконическим финалом «Епифанских шлюзов» А. Платонова. Отчасти эту лакуну заполняет «Архипелаг ГУЛАГ», но у него совсем другие звдачи и потому полноценного замещения нет. Вообще во всем, что в этом духе сегодня пишется, слишком много непосредственности бушменов, слаб эстетический фильтр, необходимый для того, чтобы нарушение табу сделалось художественным и перестало отдавать несвежей «невзоровщиной».

КОРТАСАР: «...кровь сочилась струйками из двух медальонов на груди — глубоко вырезанных сосков (операция была проделана между вторым и третьим кадром), но на седьмой фотографии как раз видна была ножевая рана: линия ног, чуть раздвинутых, слегка изменилась, однако стоило приблизить фотографию к лицу, как становилось ясно, что изменилась не линия ног, а линия паха; вместо неясного пятна, различимого на первом кадре, теперь видна была кровоточащая ямка, и струйки крови текли по ногам» («Игра в классики», № 14). Впрочем, обвинять или стыдить кого бы то ни было, за то, что тот не пишет так, как Кортасар, — жестоко. И я беру цитату назад.

Правда, у меня есть подозрение, что садо-мазохистская линия у нас провалится, но не вследствие того, что ее отторгнет гуманистическая традиция русской культуры, а по причине куда более существенной — иного, чем в других культурах, количества ужасного и безобразного в самой реальной жизни.. (Да и страшно примерять хотя бы на миг маску палача на советского человека, в ГУЛАГе доказавшего, что эта маска может прирасти к мясу). Если где-то «ужас» выполняет компенсаторную функцию и оказывается комплементарным к сытой и благополучной жизни, то у нас комплементарной — исходя из качества нашей жизни — должна была бы быть отлакированная картина соцреализма. Что мы и имели до определенного времени и что, по логике вещей, должны иметь и сейчас.

Я бы обратил внимание на три сочинения, показывающих «человека экзистенциального», то есть демонстративно погруженного в частную жизнь и демонстративно же ощущающего не силу Государства-Молоха, а гораздо более мелкие в сравнении с этими космическими маштабами давления и давленьица: окружающих людей, собственных комплексов, системы «можно» и «нельзя», материальных обстоятельств...

Первое сочинение — повесть Михаила Кураева «Маленькая домашняя тайна» («Новый мир» 1990, № 3), посвященная странным отношениям двух героев — Владимира Петровича и Марии Адольфовны. Отношения протекают на фоне советской жизни 1930-х и всех последующих годов, Марию Адольфовну как польку даже высылают из Ленинграда в уральский Кунгур в 1942 году. Но: никакие социальные катастрофы не затрагивают внутреннего существа героев, не столько ухитряющихся жить «заодно с правопорядком», сколько не замечающих социальной жизни вовсе. Она для них — та же природа, в которой «нет безобразья», органика, и в самом этом тезисе, конечно, заключен явный авторский вызов.

Второе сочинение — повесть талантливой, еще-не-известной читателю Беллы Улановской «Путешествие в Кашгар». Напечатано это произведение в далеком городе Париже («Синтаксис», 1990, № 28), но скоро должно появиться в «Неве». Жизнеописание некой Татьяны Левиной (в стиле и духе которого нельзя не обнаружить влияние Борхеса), также наложено на катастрофический исторический фон, и тоже вполне демонстративно вынесено в некую «бытийную стратосферу», объединяющую угол Короленко и Некрасова («перекресток русского богатства и несжатой полосы») и китайские плавни, где гибнет лейтенант Левина, переводчик из советского карательного отряда.

И, наконец, третье сочинение, — роман Юрия Карабчиевского «Жизнь Александра Зильбера» («Дружба народов», 1990, № 6—7); написанный от первого лица рассказ еврейского мальчика, обживающего трудный послевоенный советский мир, еще не оформившийся для него в систему социальных фантомов, страх перед которыми входит в привычку и взрослыми людьми просто не замечается.

Произведения, о которых я упомянул, не открыли чего-то принципиально нового. Это, скорее, своевременные напоминания, симптомы начавшегося процесса **возвращения**. К чему?

Макс Шелер, крупнейший немецкий философ, на вопрос: «если животному присущ интеллект, то отличается ли вообще человек от животного более, чем только по степени?», — отвечал так. Отличия есть, и заключены они в экзистенциальной независимости человека от органического, в свободе, отрешенности от принуждения и давления, от «жизни» и всего, что относится к «жизни».

Полагаю, что основной поиск «экзистенциальных измерений» и пойдет по путям, не сбивающим читателя с толку шоком и вожделением. Во-первых, это будет анализ религиозного сознания, не слишком удачно начатый в «Плахе»; во-вторых, анализ национального сознания. Впрочем, последнее станет возможным лишь после того, как «национальность» из «пятого пункта» и социальной роли, каковой она является сейчас, станет внутренним фактором самосознания человека, аспектом его «для-себя-бытия». Пока же этого нет и в помине, пока мы находимся в точке «тройного нуля», и любая рефлексия на национальные темы звучит как зов боевой трубы, провоцирующей социальное беспокойство во всех лагерях.

Пока что, к сожалению, проснувшийся в обществе интерес к деидеологизированному существованию тут же заполнился астрологическими штудиями: покинутый Богом и партией, человек ищет верховную управляющую волю в звездах.

Впрочем, не следует забывать, что от нас никто не отнял наши значительные литературные накопления, и долгое время мы сможем обходиться исключительно ими, рассасывая их, как жир. С одной стороны, русская жизнь так мало изменилась за последние 120 лет, что все созданное в этот период (начиная с «Бесов»), вполне удовлетворительно описывает нашу реальность.

С другой стороны, не исчерпала своих потенций литература эпохи советского тоталитаризма, актуальность которой обеспечивается нашим возвратно-поступательным движением. На случай возврата цензуры у нас уже есть Е. Шварц.

...«Генрих. Ваше превосходительство, господин президент вольного города! За время моего дежурства никаких происшествий не случилось! Налицо десять человек. Из них безумно счастливы все...

...Бургомистр. ...Еще чего пишут?

Тюремщик. Стыдно сказать. Президент — скотина. Его сын — мошенник.. Президент (*хихикает басом*)... не смею повторить, как они выражаются. Однако больше всего пишут букву «Л».

Будущего нет: оно давно описано.

Ленинград.

Из архивов русского зарубежья

Владислав ХОДАСЕВИЧ

Имя Владислава Ходасевича — из числа тех, которые мы сегодня называем «возвращенными». Сначала мы их привыкали произносить — после многолетнего неупоминания. Потом пошли публикации в периодике, за ними — отдельные издания. Ходасевич как поэт уже издан у нас с небывалой ранее полнотой *. Как мемуарист и критик — пока что незначительно. Однако продолжающиеся перепечатки, делаемые в основном из единственной прижизненной книги воспоминаний «Некрополь» и из посмертных зарубежных изданий, уже не могут удовлетворить. Очень многое продолжает оставаться и по сей день на страницах старых газет, прежде всего парижского «Возрождения», с которым Ходасевич был связан регулярным сотрудничеством двенадцать лет (1927—1939).

Писатель в газете — для эмиграции это особая тема. Тема жизненная, ибо для многих не было другого средства к существованию. Предстояло найти себя на газетной полосе, выработать свой жанр. История овладения им — важная часть литературной истории русского зарубежья. Ходасевич был одним из первых, кто поднял газетный очерк на уровень писательского мастерства и подлинной культуры.

Его «Парижский альбом», печатавшийся с 30 мая по 25 июля 1926 года в парижской газете «Дни»,— свидетельство того времени, когда Ходасевич еще искал. Свою литературную форму, свою газету... Обстоятельства этих поисков возвращают нас к самому началу литературной эмиграции, которой мы успели заинтересоваться, осознать ее важность для русской культуры и которую только-только узнаем.

«...Материальные обстоятельства никак не дают ему возможности избавиться от писания в газетах»,— с сожалением сказал Ходасевич о своем гимназическом приятеле — поэте Викторе Гофмане. Сказанное мог бы повторить и о себе. Ходасевич почти всегда был вынужден совмещать творчество с газетной работой. Названия периодических изданий, в которых он сотрудничал в России, растянулись бы в несколько строк. И если этот ряд менее внушителен для периода эмиграции, то совсем не потому, что сотрудничество было менее интенсивным. В эмиграции круг возможностей — гораздо более узок, число изданий ограничено, и почти каждое претендует на политическую позицию. Выбор приходилось делать осмотрительно, более прочно связывая себя с тем или иным печатным органом, тем более, что только прочная и постоянная связь давала достаточные средства к существованию.

Одна из первых попыток такого рода сотрудничества была сделана в газете «Дни». Ходасевич приехал из России в Берлин 30 июня 1922 года; первый номер «Дней» вышел там же 29 октября, они были заявлены как «ежедневная газета под редакцией А. Ф. Керенского». В уведомлении на первой полосе сообщалось: «Газета «Дни» основана группой лиц, не связанных в деле ее издания никакими обязательствами ни с одной из существующих в России или за границей политических партий и организаций и объединенных исключительно независимостью демократической мысли, сознанием необходимости борьбы за возрождение свободной России и верой в ее светлое будущее». Это должна была быть «новая Россия, выкованная из расплавленного полноценного металла Революции, родившейся в светлые февральские дни». Не обошлось и без самокритики: «В том, что творится сейчас в России, есть и наша вина».

Хотя газета заявлена как внепартийная, но даже в стиле политической лексики ее программного обращения, в ее революционности, в словах о «светлом будущем», в неслучайном признании собственной вины угадывается определенное направление мысли. «Дни» издавались людьми, связанными с партией эсеров.

Ходасевич выступил в первом же номере, напечатав два стихотворения под общим заглавием «Стансы»: «Бывало, думал: ради мига...» и «Гляжу на грубые ремесла...» Первое из них заканчивается знаменитым самоопределением:

Теперь себя я не обижу:
Старею, горблюсь,— но коплю
Все, что так нежно ненавижу
И так язвительно люблю.

Время от времени появляется Ходасевич и в последующих номерах. 12 ноября, можно сказать,— его бенефис: опубликовано стихотворение «Автомобиль», рецензия на книгу О. Мандельштама «Tristia» и отзыв о сборнике переводов самого Ходасевича «Из еврейских поэтов», где — за подписью Самарий — сказано в частности, что «автор уловил и воспроизвел дух языка». Через неделю — 19 ноября — В. Лурье, говоря о журнале «Эпопея», особо отмечает «Балладу» Ходасевича («Сижу освещаемый сверху...»): «Простые слова, но как они расставлены, с какой простотой, силой и строгостью».

И все-таки удачно начавшийся роман писателя с газетой долгое время серьезного продолжения не имеет. Дело тут в самом Ходасевиче, который, не сделав окончательного выбора — остаться в эмиграции или вернуться,— первые три года своего пребывания за границей избегает печататься в эмигрантской периодике. В этот период планы связаны с горьковской «Беседой», которая, как обещают, вот-вот будет допущена в Россию. Однако номер за номером «Беседа» складируется мертвым грузом, пока в начале 1925 года Ходасевич окончательно не понимает, что участвует в безнадежном предприятии, что Горького, а вместе с ним и его самого, попросту водят за нос. Уже нельзя оставаться здесь и участвовать в жизни там: ведь недаром еще в феврале советское постпредство в Риме отказало ему в продлении визы. Там или здесь? — вопрос стоит так. И Ходасевич решается — делает окончательный выбор. Он переходит на правовое положение эмигранта.

Первое издание, с которым он ищет отношений — парижские «Современные записки». Самый солидный журнал эмиграции (нам еще предстоит понять и изучить его огромную роль в сохранении русской культуры). Как и переехавшие к этому моменту в Париж «Дни», он издается левым крылом эмиграции — «вашими эсерами», иронически замечает Ходасевичу Екатерина Павловна Пешкова. Иронически, но все-таки не враждебно. Даже на фоне общей непримиримости к эмигрантским изданиям в СССР о «Днях» могли снисходительно отозваться: «Неплохая газета...», — поясняя: «Партийные наглазники у сотрудников много меньше, чем у других специфически эмигрантских газет». Так писал журналист И. М. Василевский (Не — Буква), вернувшийся в СССР. Именно в «Днях» советовал Горький Алексею Толстому заявить о своем разрыве со «сменовеховством», фактически —с эмиграцией.

Однако если Ходасевич весной 1925 года осмотрителен в выборе издания, то высказывается он вполне свободно, не претендуя на то, чтобы кому-то понравиться или кого-то не задеть. Первый же его мемуарный очерк в «Днях» — «Господин Родов» (22 февраля 1925), посвященный одному из тогдашних вождей Пролеткульта, которого по 1917 году Ходасевич помнил как убежденного противника большевиков, становится поводом для гонений: «...мои «отношения» с Кремлем испортились вдребезги,— пишет Ходасевич 5 марта одному из редакторов «Современных записок», Марку Вишняку.— Я уже получаю из России шифрованные просьбы не подписывать на конвертах своего имени, писать письма под псевдонимом и проч. Статья о Родове в «Днях» подлила масла в огонь, статья о Брюсове в «Совзапах», как Вы изволите выражаться, подольет еще».

Насчет отношений, испорченных «вдребезги», Ходасевич не заблуждался. Он просто знал, что это так — по упомянутому уже отказу в продлении визы, потому, что его перестали печатать в России.

Он дорожит сотрудничеством в «Современных записках». Упоминаемая им «статья о Брюсове» — это воспоминания о нем, хронологически первый мемуарный очерк, который впоследствии войдет в «Некрополь». Там же печатаются и другие: о Есенине, Сологубе, Гершензоне, много позже — о Горьком. С журналом Ходасевич связан до конца жизни. По случаю его пятидесятого номера он напечатает в газете «Возрождение» (29 ноября 1932) статью, подводящую итоги: «Говоря откровенно, мы, сотрудники и читатели журнала, отчасти будем чествовать самих себя: «Современные записки» представляют собою, разумеется, плод наших общих усилий <...> следует радоваться, что, разделяемые внутренними разногласиями, даже раздорами, идейными, политическими, а нередко и личными, все же мы можем порою сойтись за одним столом и признать со спокойной гордостью, что поверх всех разногласий мы прочно связаны общим культурным деланием».

Это для культуры и для души. А для поддержания бренной плоти? «Журнальная работа и впроголодь не кормит,— жалуется он тому же Вишняку.— Писатели вынуждены идти в газеты. Из всех писателей я — самый голодный, ибо не получаю помощи ниоткуда...» (8 декабря 1927).

В газете Ходасевич ищет не возможности разового выступления, а постоянного сотрудничества, и в этих поисках он не может обойти вниманием «Последние новости». Самая тиражная и богатая эмигрантская газета начала выходить в Париже 27 апреля 1920 года «под редакцией присяжного поверенного М. Л. Гольдштейна», как значилось в течение первого года существования (он покончил с собой в 1932 году). Фактически почти с основания до последнего номера (13 июня 1940) ее редактором был П. Н. Милюков. С начала мая по середину июня 1925 года Ходасевич напечатал в «Последних новостях» несколько мемуарно-автобиографических очерков и рецензий. Среди них — «Белфаст», «Как я «культурно-просвещал», на основании которых он будет окончательно зачислен в число врагов СССР, поскольку им, как писали в советских газетах, «печатаются в эмигрантской прессе очерки, в которых он доказывает невозможность куль-

---

* См. Вл. Ходасевич. Стихотворения. Л.: 1969. (Б-ка поэта. Большая серия).

турной работы в Советской России».

Газета была важна для Ходасевича, но он оказался ей не нужным. «Он в «Последних новостях» не устроился, потому что Милюков,— редактор «Последних новостей» — важный такой господин, Ходасевич был, верно, раза в два моложе него — сказал ему так вежливо: «Вы газете совершенно не нужны»,— рассказывает Н. Берберова (в те годы — жена Ходасевича) в интервью «Литературному обозрению» (1990, № 1). Рассказывает о том же, о чем еще раньше написала в воспоминаниях «Курсив мой» и о чем сам Ходасевич умолчал. Умолчал не так, как забывают о незначительном, но как предпочитают не касаться слишком болезненного. Догадка, подтверждаемая воспоминаниями М. Вишняка:

«Это было осенью 1925 года, в воскресный день. У меня собралось несколько друзей. Неожиданно, без приглашения, пришел Ходасевич, взволнованный и мрачный. С трагической подчеркнутостью он заявил, что у него неотложное ко мне дело. Мы удалились в спальню, и Ходасевич сообщил, что, не будучи больше в силах существовать, он решил покончить с собой!.. Сейчас, задним числом, я не склонен думать, что свое решение он принял обдуманно. Но тогда я отнесся к его словам со всей серьезностью и тревогой, которой они заслуживали. Я упросил Ходасевича отложить свое решение во всяком случае на два-три дня, пока я не попытаюсь приискать ему постоянный заработок в «Днях», перекочевавших тогда из Берлина в Париж. Я встретил полную готовность со стороны редактора «Дней» А. Ф. Керенского и заведовавшего литературным отделом газеты М. А. Алданова. Ходасевич на время — очень недолгое — был устроен: он сделался помощником Алданова и стал ведать стихотворным отделом».

Действительно, ненадолго — приблизительно на год: финансовое положение газеты было слишком неустойчивым. Но это был важный год — овладения жанром, вершиной которого в это время и стал «Парижский альбом».

Статья? Очерк? Воспоминания? Большинство написанных Ходасевичем материалов сопротивляется жесткой рубрикации: и то, и другое, и третье... Легче всего сказать: эссе. И это будет верно по сути, особенно если смотреть на Ходасевича отсюда — туда, лицом к Западу. В традиции западноевропейской литературы, безусловно,— эссе. Но в традиции русской этот жанр слабо привился, неизменно сопровождаемый не только ассоциацией с полной авторской свободой, но еще и с изыском, вплоть до изящной нарочитости. Это уже совсем к Ходасевичу отношения не имеет.

Для его жанра в газете есть более удачное русское литературное наименование: **дневник писателя.** Им, пожалуй, точнее всего охватывается и все сделанное — за полтора десятка лет и прежде всего «Парижский альбом». В свете этого определения и каждый материал проясняется, ибо у каждого, более или менее выявленная в тексте, но непременно — автобиографическая, личная основа. Так что мемуарный оттенок лежит на большинстве из них.

Именно в «Днях» В. Ходасевич нашел и утвердил свою манеру. Разговор, который он ведет,— продолжающийся, не между чужими людьми, а потому может быть возобновлен легко, с реплики, с полунамека и воспоминания, интимность подчеркнута и названием рубрики — «Парижский альбом».

Альбомный выбор темы — о чем хочешь, что считаешь важным. Нередко проговаривается мысль, которую предстоит додумать, развить; набрасывается первый эскиз будущих очерков и мемуаров, требующих более глубокой разработки. Первая страница «Парижского альбома» — о Есенине, еще один отклик на его недавнюю смерть. Статья для «Современных записок» уже написана и напечатана. Там — размышление над есенинскими стихами, собственные воспоминания о нем. Но и в обнаженности газетной мысли — свое достоинство, именно здесь лаконично формулируется главное, как, например, в завершающей фразе: «... перед смертью он душевно «эмигрировал к Пушкину».

Эмиграция — как вынужденное бегство, ради спасения. Не личного выживания, спасения культуры. И ее единственно спасительное, в глазах Ходасевича, направление — к Пушкину.

Этот критерий Ходасевич со всей определенностью сформулировал еще в феврале 1921 года, когда в промерзшем, голодном Петрограде, выступая на пушкинских встречах вместе с Блоком, он произносил свою речь — «Колеблемый треножник»: «...это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке». Тогда уже Ходасевич не предугадывал, а по опыту свидетельствовал помрачение культуры, наступление царства воинствующего невежества, глупости, изъясняющейся, в том числе и в поэзии, «заумным и недоумным языком».

Оценивая современное состояние культуры, Ходасевич постоянно повторял это слово — «глупость». Но разве не напрашивается в ответ пушкинское же: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата»? Об этих пушкинских словах Ходасевич пишет отдельную статью, год спустя после «Парижского альбома» появившуюся в «Современных записках». Но задумывается и пишется эта статья одновременно с альбомом, о чем со всей несомненностью свидетельствует сообщение в газете «Последние новости» 3 июня 1926 года под рубрикой «Календарь писателя»:

«Владислав Ходасевич работает над статьей «О глуповатости поэзии» (по поводу пушкинской формулы: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата»)».

Не так уж часто в газете сообщается о работе над небольшой статьей. Статья, по видимости, должна быть очень важной для пишущего, программной. Такой она и была. Ходасевич не с чужих слов знал, что́ совершается под лозунгом пролетарской культуры, ибо успел поработать в Пролеткульте, вначале, видимо, не без просветительских иллюзий, от которых быстро избавился. Все это — предмет подробного рассказа и анализа в статье «Пролетарские поэты» (Современные записки, 1925, № 2), а также в упоминавшихся выше очерках: «Господин Родов», «Как я «культурно-просвещал». Он не хочет соучаствовать в унижении культуры, когда необразованность, элементарная неграмотность, прикрывающаяся правильностью социального происхождения, выдаются за обновленную культуру, за ее молодые силы, призванные до основанья разрушить и смести старый хлам.

Это все очень далеко от той «глуповатости», которую предписывал поэзии Пушкин. Ходасевич восстанавливает контекст пушкинской фразы, сказанной в письме к Вяземскому по поводу его стихов, слишком правильных, рассудочных и утративших ту простодушную мудрость, свойственную поэзии, которой более сродни — внешность простака, маска «глуповатости». Однако не более чем маска, предупреждает Ходасевич, ибо *«поэзия должна быть глуповата, но поэту надлежит ум»*.

Ходасевич согласен с Пушкиным (с ним и только с ним Ходасевич кажется всегда и во всем согласным): «...должна быть глуповата...» Как будто бы именно из-за несоответствия этой формуле он и не приемлет современной сложной поэзии с ее метафорической затемненностью смысла — у Пастернака, у Вагинова. Однако, если вдуматься, упрек Ходасевича поэзии такого рода не в том, что она забыла казаться глуповатой и явилась глубокомысленной; скорее напротив — Ходасевич полагает, что сложная поэзия страдает не от избытка смысла, а от избытка внешних ухищрений, скрывающих его недостаток.

С Ходасевичем можно не согласиться, но нельзя отказать ему в последовательности концепции современной культуры, самым разным явлениям которой он ставит общий диагноз. Он видит ее стремительно уходящей от своего прошлого и в этой поспешности разрыва не успевающей, не умеющей обеспечить себя ни памятью, ни пониманием. Порок общий — катастрофическое поглупение культуры.

Никто его не может избежать. Наиболее талантливые чувствуют и трагически переживают совершившийся разрыв; они гипнотизируют себя и читателя мастерством, говорят темно, чтобы со всей непреложной ясностью не осознать той пустоты, в которую погружаются. Другие возводят варварство в достоинство какой-то новой мифической культуры. Третьи сокрушаются по поводу варварства вторых, не замечая, что и сами перестают понимать и слышать, что и они, выступающие в роли хранителей наследия, давно не перечитывали Пушкина и в дни юбилея не могут процитировать классических строк без ошибок, свидетельствующих об их глухоте.

Одно и то же: вверху и внизу, там и здесь... **Там** — для Ходасевича означает в СССР. **Здесь** — в эмиграции. Об этом им уже в 1925 году (Дни, 18 сентября) написана статья: «Там или здесь?». Альтернатива, предполагающая ответ — где можно ждать возрождения русской культуры, где она выживет? «Литература русская рассечена надвое. Обеим половинам больно, и обе страдают, только здешняя иногда не хочет стонать из гордости (может быть, ложной). А тамошней и стонать не велено. И бахвалиться им друг перед другом нечем. И высчитывать, которая задохнется скорее,— не надо, нехорошо, Бог даст — обе выживут».

Ходасевич с нетерпением ожидает первых признаков того, что русская культура очнется от духовного обморока. Возлагает надежды на молодых: Оцуп, Терапиано... Однако не хочет и обмануться: следить за новым поколением будет внимательно, но очень придирчиво, не снижая для них критерия, отчего отношения складываются далеко не идиллические.

Ходасевич, впрочем, никогда и ни в чем к идиллии не стремился, вменив себе в нравственную и художественную обязанность полную прямоту. Он следовал ей в поэзии, критике и в мемуарах, над которыми именно теперь начинает интенсивно работать: «Нет ничего безнравственнее, чем лгать у свежей могилы»,— так начинает он очерк об Андрее Соболе.

Именно в это время Ходасевич пишет первые мемуары, составившие впоследствии единственную прижизненную книгу воспоминаний — «Некрополь». Заглавие тоже уже было найдено. Из «Парижского альбома» в нее ничего не войдет, но зато в «альбоме» очень ясно видно, как складываются другие мемуарные циклы: «младенчество», «из петербургских воспоминаний», «из советских воспоминаний»... К последним относится слово о Дзержинском.

К тому времени, когда оно прозвучало, эмиграция уже широко и с полным единодушием отозвалась на смерть создателя и председателя ВЧК. Едва ли не единственный соболезнующий отклик был от Горького. Он вызвал возмущение,— коллективные протесты, подписанные едва ли не всеми литераторами зарубежья, один за другим публиковались газетами: по поводу чьей смерти соболезнуете? Имя Дзержинского было символом террора, и даже те, кто хотели в другом оставаться объективными, кто, подобно Ходасевичу, протестовали против неразборчивого «большевикоедства», были согласны здесь с общим мнением. Так, М. Цветаева в статье, которой она отвечает газете «Возрождение», органу правой, консервативной эмиграции, во всем готовому видеть пропаганду большевизма, настаивает на получении информации о том, что происходит **там**, потому что хочет знать правду и потому что «ненависть и страсть требуют достоверности. Дзержинский — олицетворение моей ненависти, хочу видеть ее лицо».

Статья М. Цветаевой была опубликована в «Днях» (1925, 16 октября) и называлась — «Возрожденщина». Слово, видимо, уже имело хождение, с презрительным оттенком образованное от названия газеты «Возрождение», органа «либерального консерватизма». С нею-то и предстоит скоро начать сотрудничество Ходасевичу, сотрудничество, длившееся до самой его смерти.

Летом 1926 года в «Днях» ему как будто бы сопутствовал успех. Очередных выпусков «Парижского альбома» уже ожидали, как сообщала в письме Ходасевичу с юга Франции З. Гиппиус. Но сами «Дни» оказались недолговечным предприятием. Обычные эмигрантские сложности: денег нет у автора, денег нет у газеты, которая, по воспоминаниям Н. Берберовой, прекращает свое существование так и не расплатившись до конца с Ходасевичем. Здесь, вероятно, не все точно, поскольку «Дни» продолжали издаваться еще два года после того, как имя Ходасевича исчезло с их страниц. В феврале 1927 года он уже в «Возрождении».

Решение далось не без сомнений, ибо, по крайней мере внешне, предполагало значительное изменение позиции: с крайне левого крыла переход на умеренно правое. Однако Ходасевич перешел, оставаясь самим собой, оставаясь вне непосредственной политики. Это облегчалось тем, что в программе «Возрождения» была очень широко заявленная культурная часть: «Возродить Россию <...> в духе любовного и самоотверженного созидания», уроки которого предлагалось брать от Сергия Радонежского до Пушкина (Возрождение, 1925, 3 июня).

Спасительное имя — Пушкин. Ему Ходасевич всегда был готов присягать, в остальном и по отношению к остальному оставаясь совершенно свободным. Д. Мережковский в отклике на смерть Ходасевича приводит выдержку из его письма, едва ли не последнего: «Живется мне плохо: свалился от непосильной работы. **Двенадцать лет без единой недели** отдыха <...> Но есть у меня утешение: худо ли, хорошо ли я пишу — дело особое; но во всей эмигрантской критике едва ли не я один пишу, что хочу и о чем хочу, не насилуя совести, не подхалимствуя, не выполняя социального заказа, который здесь, может быть, хуже тамошнего...» (Возрождение, 1939, 16 июня).

То, что ему удалось осуществить на страницах газеты «Возрождение», начиналось в «Днях», в отдельно печатаемых там рецензиях, статьях и очерках, но прежде всего — в «Парижском альбоме», ставшем для Ходасевича первым наброском его «дневника писателя». В данной публикации он впервые воспроизводится как единое целое. Своего рода дополнением к нему являются две статьи того же периода, развивающие те же темы,— «Там или здесь?» (Дни, 1925, 18 сентября) и «Глуповатость поэзии» (Современные записки, 1927. Кн. XXX).

Парижский альбом

I

30 мая

Сам Есенин, незадолго до смерти, говорил кому-то, что его поэзию невозможно делить ни на какие периоды, что она постепенно и планомерно, без резких переходов, развертывалась с начала до конца[1].

Однако, это неверно. Конечно, не было такого случая, чтоб Есенин лег спать человеком одной поэтической школы, а, проснувшись,— уже принадлежал к другой. Но так и вообще никогда с настоящими поэтами не бывает. Поэтическому ничтожеству, какому-нибудь вечному подражателю («голодному», по выражению Пушкина) — легко сегодня писать «под Бальмонта», а завтра — «под Маяковского». Он только меняет маски. Поэт подлинный связан со своим стилем органически, перемены в нем совершаются постепенно, как постепенно меняются ткани в живом организме. Внезапное перерождение невозможно. Оно должно сопровождаться таким внутренним потрясением, которое тотчас скажется полным психическим распадом: безумием.

Все же, хоть и не сразу, перемены совершаются. Иногда развитие несколько ускоряется. Настают, наконец, такие моменты, когда изменение настолько продвигается вперед, что сличение настоящего даже с недавним прошлым обнаруживает совершившийся процесс вполне явственно. Вот около таких моментов, с известною приблизительностью, мы и можем проводить те условные линии, которыми ограничиваются периоды единого поэтического творчества.

В отношении приемов письма творчество Есенина можно разделить основным образом на три периода. Из них первый характеризуется тяготением к народно-песенному стилю, воспринятому отчасти через литературные обработки таких поэтов, как Кольцов, Некрасов, Суриков, Никитин. Второй период — футуристско-имажинистский. В третьем наметился поворот к русской классической поэзии. Особенно примечательно то, что чисто стихотворческие тенденции Есенина изменяются параллельно и одновременно с изменениями в его воззрениях. Его душевная драма тотчас отражается в приемах письма. Стиль Есенина оказывается верным барометром душевной жизни. Его стрелка колеблется не над случайными влияниями литературных мод, но под давлением внутренней необходимости. Явление глубоко поучительное и объективно обнаруживающее в Есенине ту правдивость, ту честность перед самим собой, без которой нет подлинного художника.

Сказанному вовсе не противоречит то обстоятельство, что Есенин никогда не искал совершенно личных, лишь ему свойственных, обособленных путей в поэзии. Его литературная честность вовсе не толкала к тому, чтобы быть стилистически вовсе ни на кого не похожим. Есенин (опять-таки, как всякий подлинный художник) прежде всего не был и не стремился быть революционером в искусстве. Сохраняя свою творческую личность, он в то же время весьма и весьма пользовался приемами и навыками, отнюдь не им созданными. Может быть, он даже слишком мало, почти ничего «своего» не внес в чисто формальную историю русской поэзии. Но, всегда лишь «примыкая» к другим, он был правдив и последователен именно в выборе того, к чему примыкал.

Начинающий Есенин простодушен. Он является в Петербург с запасом еще полуотроческих деревенских дум, впечатлений. И соответственно этому в его поэзии, как основной тон, звучит народная песня. Она несколько «олитературена» — под влиянием познаний, вынесенных из церковно-учительской школы и университета Шанявского. Как я уже отмечал, ранняя поэзия Есенина по основным приемам близка к Кольцову, Некрасову, Сурикову. Она еще сохраняет народно-песенное тяготение к хореям, трехдольникам, малостопным ямбам (преимущественно тройным); наряду с этим она стремится к подчинению книжному канону, что особенно сказывается в планомерной строфичности, в преобладании более или менее точных рифм.

В этих пределах Есенин оставался до тех пор, пока не ощутил себя поэтом революции. И как революционные идеи были привиты этому крестьянскому поэту в городе, так именно город подсказывает (может быть, даже подсовывает) ему новые стилистические и стихотворные формы для его новых чаяний. Начиная с «Февраля» песенные трехдольники, хореи и трехстопные ямбы начинают перемежаться паузниками, построенными не по былинно-песенной, но по типичной книжно-футуристической мелодии. Точные рифмы все приметнее отступают перед ассонансами. Ко времени «Инонии» процесс этот завершается, и с песенным ладом Есенин порывает окончательно. Мечты о преображении Руси в Инонию совпадают с эпохой полного разрыва с теми стихотворными традициями, которым раньше Есенин следовал. Поиски новой правды толкают его на поиски новых поэтических приемов. Кажется, не случайно, что как в стремлении к тому, что «больше революции», Есенин блокируется с большевиками, так в поисках нового способа выражения своих новых дум он присоединяется к имажинистам. Имажинизм, это упадочное детище футуризма (дегенерация дегенерации), соблазняет Есенина своей кажущейся литературной революционностью. По существу он так же реакционен поэтически, как политически реакционен большевизм. Он так же безыдеен, беспринципен и так же состоит из «отступлений» и «лавирований».

Постепенно разочарование в большевистской революции и болезненный разрыв с деревенским прошлым приводят Есенина в кабак. Он надрывно пьянствует в жизни и надрывно сквернословит в стихах. Чудовищный метафоризм его пьяных стихов соответствует алкоголическому туману в его биографии.

Наконец, все яснее проступают в Есенине признаки разочарования. Он видит, что с большевистскою революцией ему не по пути. С «мужицкой Россией» у него все порвано, как с песенным ладом ранних стихов. Правда Инонии так же не воплотилась в СССР, как литературная революция — в имажинизме. В советской республике Есенин становится бесконечно одинок — и так же одинок его новый поэтический путь. Отстав от кабацкой компании, он живет лицом к лицу лишь с самим собой, со своей строгой совестью. И в соответствии с этими правдивыми раздумиями — начинает в его стихах звучать новое для Есенина, но бесконечно родное нам: «В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину»,— признается он в 1925 году. В его стихах появляются снова ямбы, на сей раз — пяти- и шестистопные ямбы, порой смешанные с четырехстопными. Это — ямбы пушкинских элегий, «19 октября», «Воспоминания»: звуки строжайших, суровейших раздумий. Есенин, хоть это ему не вполне удается, стремится вернуться к точной рифмовке и строгой строфике. Перед правдивостью его новых стихов — с них сползает наносная метафорическая муть. Внутренно порвав с советской Россией, Есенин порвал и с литературными формами, в ней господствующими. Можно бы сказать, что перед смертью он душевно «эмигрировал к Пушкину».

II

13 июня

Книги, изданные в России, залетают сюда случайно. Случайно попалась мне в одном магазике книжечка стихов молодого поэта Константина Вагинова[2]. Это — его первый сборник[3], недавно отпечатанный в Петербурге.

Я встречал Вагинова в 1921—1922 годах среди петербургской литературной молодежи. (Пожалуй, надо бы сказать — детворы: иным было лет по шестнадцати.) Он производил впечатление несомненно одаренного человека. Книг тогда почти не печатали, литература была изустной. Стихи, которые Вагинов читал в кружке «Звучащей раковины» и на «наппельбаумовских понедельниках»[4], были довольно несуразны, до последней степени метафоричны, и до смысла в них трудно было добраться. Но в самой несвязице вагиновских стихов было что-то «свое», она была как-то своеобразно окрашена. Наконец, звучала в них подлинная ритмичность, они были к тому же хорошо инструментованы. Словом, казалось, что из Вагинова может получиться некоторый толк. Темную несвязицу его стихов хотелось простить, не заметить, отбросить: во-первых, она, быть может, уж и не так велика: ведь мы воспринимали вагиновские стихи с голоса; во-вторых, можно было надеяться, что увлечение полубессмыслицей у юного автора схлынет, а дарование останется. Так смотрели на стихи Вагинова многие, в том числе покойный Гумилев, человек зоркого и тонкого понимания во всем, что касалось *формальной* стороны в поэзии.

Но вот миновало пять лет, и в книжке Вагинова читаю:

Не человек: все отошло и ясно,
Что жизнь проста. И снова тишина.
Далекий серп богатых Гималаев,
Среди равнин равнина я
Неотделимая. То соберется комом,
То лесом взойдет, то прошумит травой.
Не человек: ни взмахи волн, ни стоны,
Ни грохот воли и отраженья волн.
И до утра скрипели скрипки!—
Был ярок пир в потухшей стороне.
Казалось мне, привстал я человеком,
Но ты склонилась облаком ко мне.

Хороший ямб, хороший словарь. Но смысла не улавливаю. Начинаю вчитываться очень медленно, перечитываю несколько раз, мысленно развертываю каждое слово и во всевозможных его значениях — и кое-какой, очень смутный, где-то вдали маячащий камек иа смысл обретаю. Не могу поручиться, но кажется, Вагинов хочет сказать, что под влиянием какой-то «ее» (существа может быть одушевленного, а может быть — абстрактного) он утратил вкус ко всякой сложности. Мысль не сложная, не большая; и мне становится жаль времени, потраченного на расшифровку.

Недавно один критик негодовал на тех, кому досадна невнятность пастернаковской лирики[5]. Критик отчасти в исходном пункте был прав: поэзия *требует* от воспринимающего известных усилий. Он должен уметь соучаствовать в творчестве поэта: уметь со-чувствовать: иначе никакое поэтическое произведение до него не дойдет. Но одно дело — со-чувствовать, сосуществовать с поэтом, другое — решать крестословицы, чтобы убедиться, после трудной работы, что время и усилия потрачены даром, что короткий и бедный смысл не вознаграждает нас за ненужную возню с расшифровыванием. Кому охота колоть твердые, но пустые орехи? Расколов пяток, мы с легким сердцем выбрасываем все прочие за окно. Однажды мы с Андреем Белым часа три трудились над Пастернаком. Но мы были в благодушном настроении и лишь весело смеялись, когда после многих усилий вскрывали под бесчисленными капустными одежками пастернаковских метафор и метонимий — крошечную кочерыжку смысла.

«Есть два рода бессмыслицы,— говорит Пушкин.— Одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения»[6].

Позволительно думать, что мы умеем разбираться в этих «родах бессмыслицы» и отличать первый род от второго. Мы с радостью трудимся над бессмыслицей, проистекающей от недостатка слов для выражения чувств и мыслей. В этом случае труд наш вознагражден. Но когда убеждаемся, что бессмыслица оказалась *первого* рода, мы с полным правом откладываем книгу в сторону.

Скажу больше того: даже из «хороших» бессмыслиц творчество поэта не должно состоять все целиком и сплошь. Дело поэта—именно находить слова для выражения самых сложных и тонких вещей. Мы охотно прощаем ему те отдельные случаи, когда он бессилен выйти победителем в «бореньях с трудностью»[7]. Но поэт, который *всегда и сплошь* оказывается побежден, который *никогда* не находит нужных и подходящих слов,— явно берется не за свое дело. К нему можно применить знаменитую остроту Тютчева: это — Ахиллес, у которого всюду — пятка[8].

III

20 июня

Нет ничего безнравственнее, чем лгать у свежей могилы. Слишком много неправды налипает на человека при жизни. Он лжет, ему лгут, о нем лгут.— «Смерть — шаг великий».— Не будем лгать о покойном Андрее Соболе[9].

Он не был выдающимся человеком, ни в политике, ни в литературе. Это не мешало ему быть просто хорошим человеком (может быть, даже помогало). В юности, желая добра человечеству, он пошел в революцию. Много выстрадал, отбыл тяжелую каторгу. Должно в нем уважать эту стойкость, эту готовность жертвовать собой ради ближнего. Но почему он избрал путь революционера, а не другой какой-нибудь? Просто — такая была эпоха. Постепенно он сделался честным рядовым революции. «Генералом» в ней быть не хотел и не мог. Ни самостоятельной политической идеи, ни даже сильного темперамента у него не было. Он не был из тех, что «ведет за собой». Он был сам «ведомый».

Очутившись в эмиграции (в первой), он, как сам говорил, «случайно» занялся литературой. Случайно — то есть от избытка свободного времени. У каждого человека есть «чувства» и «переживания». В бездействии голос их яснее слышен. Соболь в эмиграции бросился с головой в так называемую личную жизнь — и стал записывать свои переживания, наблюдения. Но, опять-таки, ни идеи, ни таланта литературного у него не было. Идею он заменил «искренностью», талант — подражанием: обычный и роковой путь людей, в литературе случайных. В литературе, как и в политике, больших целей он себе не ставил. Но ведь даже и подражание — нечто вроде единоборства с тем, кому подражаешь. Соболь, в инстинктивном сознании своих слабых сил, подражал малым, а не великанам: Пшибышевскому, Альтенбергу, в последнее время Пильняку, даже бедным Серапионовым братьям.

Соболя я знал лет десять, но не коротко. Ближе я с ним познакомился лишь в начале 1925 года, когда он внезапно приехал в Сорренто и поселился в пансионе «Минерва», всего лишь через дорогу от меня. Иногда мы переговаривались со своих балконов. Из Сорренто Соболь уехал прямо в Москву. Из эмигрантов я, вероятно, был последним, видавшим Соболя.

Могу засвидетельствовать, что большевики в его гибели решительно не повинны. Соболь явился в Сорренто в начале февраля. Месяца, кажется, за два до этого он покушался на самоубийство: отравился морфием. В то же время перенес воспаление легких — и приехал в Италию ради отдыха и поправки. О причинах самоубийства рассказывал он подробно, многократно и правдиво: они были вполне «личного» свойства. Ни тени политики или общественности в них не было.

Соболь производил впечатление человека, одержимого самой предельной неврастенией. Был очень худ, сер лицом, говорил еле слышным голосом. По-видимому, в Сорренто он скучал нестерпимо. На его беду почти все время дул сирокко. Соболь сидел у себя в комнате, на всклокоченной постели, перед пишущей машинкой, которая с каждым днем все больше покрывалась пылью. Папиросы, окурки и пустые бутылки из-под красного вина валялись по всей комнате. Иногда вино проливалось, текло со стола на ковер, стояло лужами. Сейчас передо мной две записки Соболя. Одна — от 19 февраля, обращенная ко мне и еще к двум лицам:

«Как будто переписка из двух углов[10].— Если не собираетесь спать — приходите сейчас ко мне в гости: мне очень тоскливо сейчас, я побеседую с вами, угощу вас всех вином. Анд. Соболь. 2 ч. 15 мин. дня».

Другая записка — без даты — относится к середине марта:

«Если можно — загляните ко мне сейчас на минутку. А. Соболь».

Внизу он приписал еще что-то, но оторвал.

Он много рассказывал о СССР, но, казалось, не имел и не хотел иметь твердого мнения. Рассказывал о большевиках, о верхах большевистских, о кремлевских придворных гнусностях. В оценках и выражениях не стеснялся. И в то же время чувствовалось, что общаться с этими людьми ему не противно: свыкся, сжился, засосало. Рассказывал чудовищные истории о воровстве, произволе, глупости — но самая чудовищность, самый размах,— все это явно ему нравилось. О быте московском говорил с увлечением. Воры, налетчики, хулиганы, притонодержатели, проститутки, чекисты, торговцы кокаином,— вот были герои его рассказов. Кабаки, трущобы, «пивнушки», какие-то подвалы, где подвизаются убийцы, агенты уголовного розыска и комиссары,— местом их действия, воровской жаргон вкрапливался в язык. На вопрос — «Как же вам не противно все это?» — растерянно отвечал: «Голубчик, да ведь это подлинная Россия! Ведь мы этим дышим! А главное — сколько сюжетов, сколько сюжетов!..» Один из таких рассказов он обработал, снабдил моралью о пользе недреманного начальнического ока и прочитал. Вышло плохо, под Николая Никитина.

Он рассказывал убийственные вещи о московских литературных нравах: о повальном прислужничестве, о наушничаньи, жаловался на доносы. Говорил, что от этого жизнь становится нестерпима. По его просьбе я записал и тогда же напечатал в «Днях» все, что знал об одном из главных доносчиков — Семене Родове. Соболь взял у меня два экземпляра газеты, чтобы отвезти в Москву. Но в то же время было очевидно, что он погряз душою в московских литературно-административных дрязгах. Он ничего не мог сообщить о настоящих писателях, оставшихся в России. Но он знал всю подноготную о разных Бриках, кто на кого донес и кто кого прохватил. Я дал ему прочитать «Митину любовь», первую половину, только что напечатанную в «Современных записках». Прочитав, он сказал: «Ах, как это хорошо, как это прекрасно!» — И прибавил: «Но странно: ведь это написано так, как будто бы Пильняка не было!»

В том же пансионе, где Соболь, жил какой-то шведский коммунист, высланный из Швеции. Каждый день, глядя, как упитанный коммунист — со своими упитанными детками, наряженными в шелково-кружевные платьица, покуривает на веранде, поглядывая на море, Соболь ворчал:

— Ах, дармоед, мерзавец! Ведь его Зиновьев содержит,— а у нас беспризорные дети мрут с голоду!

Я спрашивал: как же он может «сочувствовать» большевикам? Как мог он написать свое известное письмо в «Правде»? — И снова Соболь говорил невразумительное о любви к России, о новом быте, мерзком, но «интересном»... Так ни разу и не добился я от него разумного ответа. Начиналась лирика, приглашения «лучше выпить» и прочее. В конце концов, он однажды сказал:

— Знаете, ведь я политику бросил. И то письмо мне *пришлось* написать, иначе бы меня нигде не печатали. А у меня семья. Мне личная жизнь дороже. А вот тут-то и вся загвоздка.

Ему очень хотелось поехать в Париж, повидать одного приятеля, эмигрантского литератора, что-то «выяснить», в чем-то оправдаться. Но он не получил визы и с приятелем только переписывался на тему о

России и революции. Но для нас, читавших эту переписку и в то же время видавших живого Соболя, было ясно одно: он согласен решать все эти «вопросы» как угодно и хоть десять раз в день — по разному. Ему важна была его личная, домашняя драма, его собственная неудавшаяся жизнь, к которой всякая там политика привязалась ненужным, давно опостылевшим грузом. Как быть с этой личной жизнью, как поступить, он не знал. Говорил, что, должно быть, все же покончит с собой. Вернувшись в Москву, так и сделал. Но неудача преследовала его и тут: он умер лишь после третьего покушения, в сильных мучениях. Стреляя в сердце, попал в живот. Умирая, не мог забыть о всем вздоре московской литературной жизни: имел время попросить, чтобы его похоронили без музыки. Вероятно, ясно представлял себе надгробные речи разных Кирилловых и Воронских. Бедный Соболь! Он создан был хорошим, мягким, даже сентиментальным человеком. Судьба толкнула его в политику и в литературу, которые были ему вовсе не по плечу.

IV

27 июня

Две книжки стихов, вышедшие в Париже на этих днях: Николай Оцуп — «В дыму» и Юрий Терапиано — «Лучший звук»[11]. Как будто — все в них различно. Начать с того, что Терапиано впервые выступает на стихотворческом поприще, меж тем как Оцуп издал свою первую книгу еще пять лет тому назад, в Петербурге. «Начинающий» Терапиано как будто очень отчетливо избирает свой путь и шествует им уверенно.

«Лучший звук» — именно *книга стихов* с ясно выраженной темой и твердо очерченными границами. (Кажется, лишь одно стихотворение «Донос» в ней лишнее.) Книга не столь молодого Оцупа внутренне не однородна, даже противоречива. В ней — две темы, которые с известной приблизительностью можно назвать «любовной» и «исторической». Они не сведены ни к какому единству и даже отчасти стараются друг друга перекричать, вытеснить. Терапиано хорошо знает себя, Оцуп только пробует высказать и осознать то, что в нем бродит смутно, неосознанно. Терапиано всегда точен, Оцуп же — приблизителен. Терапиано хорошо взвесил свои возможности и не посягает за их пределы. Оцуп, напротив, все время пытается «выйти из себя», отчаянным усилием превзойти себя — и, надо признать, это ему иногда удается, и это — самое ценное в этой поэзии. В стихах Терапиано всегда чувствуется холодок расчета. Оцуп его теплее, живее, в нем больше «взлета»,— зато он порой и срывается так, как Терапиано, пожалуй, не позволит себе сорваться.

Они также несхожи и в тех литературных влияниях, которые на себе испытывают. Тут разница не только в именах тех, кто влияет. Любопытно, что начинающий Терапиано смотрит дальше в прошлое, нежели не столь молодой Оцуп. Терапиано прислушивается преимущественно к Вячеславу Иванову, к Брюсову. На Оцупа сильнее влияет Блок, отчасти Гумилев, а в стихах последних двух-трех лет,— кажется, пишущий эти строки. Самые темы младшего, Терапиано,— древние. Старшего, Оцупа, волнует и одушевляет современность. Терапиано изучает гностиков, Оцуп не покидает улиц Парижа, Берлина, нынешнего Неаполя, совсем недавнего Петербурга. Лишь однажды, в стихах о Дельвиге, заглянул Оцуп лишь на сто лет назад — и тотчас сделал маленькую историческую ошибку.

И Оцуп, и Терапиано еще очень молоды. Многое в них изменится. Будем надеяться, что Терапиано раскует, расшатает, несколько окрылит свой жестковатый, отчасти связанный стих. Я думаю, что Оцуп сумеет уточнить словарь, избавиться от случайных влияний, что он далеко отойдет от таких неудачливых стихов, как «Гадание» или «Я много проиграл» (помеченных, надо сказать, 1921 годом),— и станет писать лишь такие удачные, как «Не диво — радко», «А все же мы не все ожесточились» — и еще лучше, еще удачнее. У него есть к тому возможности. Но, как бы ни менялась в будущем их поэзия, и внешне, и внутренне, в ней уже есть сейчас нечто, по-видимому, прочное, неизменное, роднящее между собою этих двух авторов, столь несхожих. И это общее — пока самое ценное в них.

Ныне поэзия русская переживает тяжелое испытание. Я бы сказал — испытание глупостью. По причинам, о которых распространяться было бы слишком долго, да и которые всем очевидны, ибо лежат в области пережитых и переживаемых событий — интеллектуальный и моральный уровень поэзии русской резко и угрожающе понижен. Я говорю, разумеется, не о поэтах, еще живых и пишущих, но, в сущности, вполне высказавших себя. Словом — не о поэтах вчерашнего дня. Нет, о поэтах *сегодняшних*,— не о старых,— о *новых*. Пора же сказать откровенно и попросту, что поэзия русская, в ее виднейших нынешних представителях — отчетливо поглупела. Что — как не снижение умственного уровня — талантливая, но вполне базарная поэзия Маяковского[12], упавшая до провозглашения откровенного агитвздора, в который, разумеется, сам Маяковский не верит в первую очередь? Что, как не поглупение,— вся пролетарская поэзия, эта песнь торжествующего (или унывающего) сапога, наконец, убедившегося в том, что он — «выше Пушкина»? Что, как не поглупение,— это захлебывающееся словоизвергательство, бессильное лопотание, в которое проваливается Пастернак со своими подражателями? Что, как не признак умственного разложения,— вся эта орда биокосмистов, формлибристов, фуистов, конструктивистов и попросту ничевоков, ничего не знающих, ничего не читавших, кроме самих себя, ничего не видавших, кроме бунтарских задворков, ничего не нюхавших, кроме кокаина?

Да, русская поэзия нынешнего дня глупа. В этом качестве она и не поэзия — это

слово произносится в применении к ней только по привычке называть поэзией все, что писано короткими строчками. Но настанет день *завтрашний*, духовно связанный со вчерашним, а не с сегодняшним. Поэзия русская вновь осознает себя высоким проявлением человеческого духа и достойным, человеческим, не заумным и не недоумным, языком вновь заговорит о Боге, мире и человеке.

Вот залогом и обещанием этого грядущего завтрашнего дня и кажутся мне небольшие книжечки Оцупа и Терапиано. Они для меня — радостное свидетельство о том, что за сегодняшним дураком и нигилистом уже идет завтрашний Поэт.

V

4 июля

В однодневной газете «День русской культуры» А. А. Яблоновский[13] поделился грустными воспоминаниями о том, как двадцать семь лет тому назад посетил он село Михайловское и как выяснилось, что тамошние крестьяне никогда не слыхивали, кто такой был Пушкин, не знают о нем — и знать не желают. А. А. Яблоновский пишет:

«Тогда в первый раз в жизни я увидел и, что еще важнее, ясно почувствовал эту зияющую, эту бездонную пропасть, разделяющую русскую интеллигенцию от народа. На две половинки раскололась русская стихия: темный дремучий лес крестьянства и маленькая горсточка интеллигенции. Что может интеллигенция в этом лесу и какую ценность для этого дремучего мира представляет наша культура, наша слава и наш Пушкин? Мы говорим: «русская гордость», «слава и честь», а мужик, почесываясь, бормочет: — Бо-о-гатый генерал, говорят, был!»...»

Не могу возразить А. А. Яблоновскому о мужицкой темноте. К несчастью, его наблюдения правдивы и верны. Но поскольку дело идет о нас, об интеллигенции, о нашем знании Пушкина,— мне что-то приходят печальные мысли. Они основаны тоже на наблюдениях, на маленьких грустных фактах. Боюсь, что пропасть вовсе уж не такая зияющая и бездонная, и что перед мужиками, которых так ярко описал А. А. Яблоновский, нам очень-то уж «заноситься» не стоит. Конечно, мы все знаем, что такое Пушкин, и любим клясться в любви к нему. Конечно, мы кое-что даже знаем о нем, мы не думаем, что он был «бо-о-гатый генерал». Словом, мы не ровня этим мужикам. Но ведь нам куда больше дано, следственно — больше и спросится. Между тем — вот несколько фактов, наудачу выхваченных из памяти. Объединяет их то, что они возникли в самой высокой, самой бесспорно интеллигентской среде.

Начнем хотя бы с бесчисленных анекдотов о Пушкине — пошлых и непристойных. Разве в интеллигенции не повторяют их изо дня в день? Разве и по сей день не выдаются за пушкинские — пошлейшие «экспромты», анекдоты и каламбуры? Лет десять тому назад один известный адвокат, любитель литературы и искусства, показывая мне идиотскую, грязную до тошноты и безграмотную *до* подлости «поэму», уверял, что она — пушкинская, и очень обиделся, когда я, прочитав строк двести, вернул ему рукопись... Но, Бог с ним, с безымянным адвокатом. Общеизвестны воспоминания о Пушкине, написанные его племянником Львом Павлищевым. Они изданы в 1890 году. С тех пор установлено, что Павлищев не только перевирал, но и просто присочинял, не останавливаясь перед приведением никогда не существовавших документов.

Вслед за Павлищевым — три дамы, представительницы высшей интеллигенции и отчасти даже литературы — так «обработали» воспоминания о Пушкине А. О. Смирновой[14], что эти «записки» стали собранием небылиц о Пушкине. Делая это — и Павлищев, и дамы, не забывали благоговеть перед Пушкиным, «нашей гордостью».

Сюда же примыкают бесчисленные «вспоминатели», засорившие литературу не только неверными сообщениями из жизни Пушкина, но и стихами, никогда Пушкину не принадлежавшими. Что говорить, не мужик, а интеллигент создал целую колоссальную псевдопушкиниаду, над которой десятилетиями принуждены трудиться серьезные исследователи. Эта псевдопушкиниада — настоящий памятник варварского отношения к «народной гордости». Она взобралась и на памятник Пушкину, на тот, что стоит в Москве у Страстного монастыря. Слишком общеизвестно, что на этом монументе помещены стихи, которых Пушкин никогда не писал. Кто же сочинил эти слащавые и лживые строчки:

И долго буду тем народу я любезен,
Что прелестью живой стихов я был
полезен...

Увы, это не михайловский мужик, а прекрасный поэт, царедворец и друг Пушкина, В. А. Жуковский. И те, кто помещал эти стихи на памятник,— знали, что стихи — апокрифические. Но — разбираться в Пушкине было не очень принято. Сам А. А. Яблоновский сообщает, что сын Пушкина, Григорий Александрович, «очень мало разбирался в отцовских произведениях». А ведь Г. А. Пушкин был не мужик. (Кстати сказать, когда Пушкин умер, Г. А.-чу было не три года, как сообщает А. А. Яблоновский, а почти вдвое меньше: девять месяцев.)

Тем, что на пушкинском памятнике написаны стихи Жуковского, недавно в «Современных записках», справедливо возмущалась Марина Цветаева. Это не помешало ей вслед за тем сообщить, в журнале «Благонамеренный», что Пушкин умер «девяносто четыре года тому назад», то есть, очевидно, в 1832 году, за четыре года до написания «Памятника»...

Здесь, в эмиграции, уже третий год справляется годовщина рождения Пушкина — и каждый раз почему-то 8 июня. Между тем, считая по новому стилю, надо праздновать это событие не 8, а 6 июня, так как в XVIII столетии наш календарь отставал от западного не на тринадцать, а на одиннадцать дней, и в день, когда Пушкин родился, 26 мая 1799 года, на западе было не 8, а 6 июня. На это указывалось в печати, но — тщетно. В СССР годовщина празднуется 6-го.

В 1924 году, по случаю 125-летия со дня рождения Пушкина, в разных изданиях, три автора точно сговорились переврать знаменитейший стих Пушкина. А. П. Плетнев (сын П. А. Плетнева, которому посвящен «Евгений Онегин») и граф Н. Львов — в «Новом времени», а профессор А. С. Изгоев в «Последних известиях»,— все трое, один за другим, восклицают: «Увижу ль я, друзья, народ *освобожденный*»!!

Такого стиха ни в одном издании Пушкина нет, потому что, в связи с контекстом, был бы он весьма неуклюж,— а есть стих о народе *«неугнетенном»*. Это — если угодно, мелочь, но характерная: цитата понаслышке.

Но рекорд побивает почтеннейший В. Л. Бурцев[15], который предлагает в стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» внести несколько «изменений», как он выражается. Эти «изменения» В. Л. Бурцев отчасти заимствует из черновиков, явно отвергнутых Пушкиным, отчасти же... сам придумывает, ибо ему кажется, что для современного читателя «мы имеем право вносить требуемые жизнью изменения» в стихи Пушкина. В результате «изменений» Пушкин оказывается рифмующим «убежит» и «поэт». Но г. Бурцев этим не стесняется... Факт этот может показаться невероятным. Сомневающихся отсылаю к № 147 (1240) «Последних известий».

Я взял лишь несколько случаев. Перечень их можно весьма увеличить. Но я ограничусь лишь указанием на то, что за восемь лет в эмиграции даже не вышло сколько-нибудь порядочного издания Пушкина. Существующие издания («Слово» и Ладыжникова) не удовлетворяют самым элементарным требованиям... Так что, повторяю, перед михайловскими мужиками нам, «образованным», очень гордиться как будто нечем...

Мне очень горько, что Н. Оцуп обиделся на мои замечания об его книге, потому что считаю его даровитым поэтом. Оцупу показалось обидно мое замечание о «маленькой исторической ошибке» в его стихах. В «Последних новостях» он мне возражает,— хотя я этой ошибке придал так мало значения, что даже не указал, в чем именно она заключается. О ней я упомянул только для того, чтобы оттенить «современность» Оцупа в сравнении с «историчностью» Терапиано. И вот, не зная, о какой ошибке идет речь, Оцуп на всякий случай указывает, что Дельвиг мог ходить по невской набережной и что в его стихах упоминается имя Делии. Оцуп даже приводит стихи Дельвига, боясь, что я этих стихов не знаю. Напрасно, ибо мной было подготовлено к изданию собрание сочинений Дельвига и написана его биография. Да и трудно не знать этих стихов «К птичке, выпущенной на волю»: одной из трех знаменитых «Птичек» (две другие принадлежат Пушкину и Туманскому). Маленькая ошибка Оцупа не в том. Живя в Петербурге с 1811 по 1831 год, Дельвиг, несомненно, проходил по набережной. Делия в стихах его упоминается. Но Оцуп говорит, что «Дельвиг томно над Невой бродил» и «это имя называл и тоже смотрел в глаза»... В том-то и дело, что Дельвиг был очень толст, даже тучен, страдал одышкою, почти не мог ходить пешком...[16] Где уж было ему «томно бродить» над Невою! Это — раз. Во-вторых,— по Оцупу выходит, что Дельвиг «бродил» с возлюбленной, которой «смотрел в глаза», называя ее Делией. Вот уж это ни на что не похоже. Условные имена Делии, Хлои, Темиры, Лилеты и т. д. употреблялись только в стихах, *как псевдонимы,* заменяющие действительные имена возлюбленных. Эти псевдонимы обычно состояли из стольких же слогов, как и настоящие, скрытые имена, и несли ударение на том же слоге. Так, Темира могла заменять, например, Надежду, Хлоя — Анну и т. д. Но неужели Дельвигу могло прийти в голову, даже (допустим) гуляя с Пономаревой или с Салтыковой, называть ее псевдонимом, Делией,— наяву, не в стихах?.. Вот все это, взятое вместе, и неправдоподобно. Тучный, ленивый, никогда не снимавший очков, задыхающийся Дельвиг — бродит над Невой, смотрит в глаза и называет барышню или даму вымышленным именем — конечно же, это «маленькая историческая ошибка» для Оцупа, специально Дельвигом не занимавшегося, вполне простительная. Еще раз жалею, что Оцуп обиделся на мое замечание и вынес на газетные столбцы крошечное, пустячное недоразумение, которое мы могли бы разрешить «в кабинете ресторана, за бутылкой вина», не утруждая читателей нашим мелочным спором.

VI

11 июля

Если пристально вспоминать, то едва ли не с любым днем в году окажется связано какое-нибудь событие. Непременно сыщется что-нибудь, что хоть очень давно, хоть и в раннем детстве, а связалось в памяти с этим днем — навсегда. Так что мы чуть ли не каждый день можем праздновать какую-нибудь годовщину.

Вот и у меня на днях такая маленькая годовщина.

Лет шести пристрастился я писать стихи. Первые, помнится, были о сестре Жене — объяснение в чрезвычайной любви. Потом — о разбойнике, что в лесной чаще пробирался к мирному домику с ужасными целями, но — «глаз он выколол о сук»... Потом подарили мне пачку разноцветных карне де баль*, оставшихся от какого-то бала. К каждой книжечке был привязан тоненький карандашик, отточенный, как булавка. Все это было глянцевое, и от всего пахло пудрой. На этих карне де баль написал я пропасть необычайно сердцещипательных произведений. Подражал тогдашним романсам: «Очи черные», «Как прощались, расставались» и прочее. Это был целый поток любовной лирики. Она была обращена к воображаемой особе, с самыми золотыми волосами и самыми голубыми глазами на свете. Особа была окончательно несчастна и погибала от любви на каждом карне де баль. Я тоже.

Мы жили в Москве. Весной 1896 года выдержал я вступительные экзамены в гимназию, надел фуражку с кокардой, из-за ворот Толмачевского дома на Тверской видел торжественный въезд Николая II, налюбовался иллюминацией Кремля, надышался запахом плошек,— а в конце мая поехал на дачу в Озерки, под Петербургом. Пейзаж Озерков, с горой, проросшей сосновой рощей, с песчаным, белесоватым скатом к озеру, с гуляющей публикой, с разноцветными дачами,— смесь пошлого и сурового — запомнился навсегда. Как фантастично и как правдиво он передан через десять лет Блоком — в «Незнакомке» и в «Вольных мыслях»!

В июле отправили меня гостить к дяде, на Сиверскую. Сопоставляя с некоторыми семейными событиями, вижу, что это было между 15 и 25 по старому стилю, то есть — между 3 и 13 по новому. Значит — как раз тридцать лет тому назад.

Я у дяди скучал и томился. Дом был натянутый и сухой. Общества подходящего — никакого. Нужно чинно гулять по дорожкам и посиживать на скамеечках.

Мимо дач, по самому краю обрыва (под ним — река с холстяной купальней) бежала одна такая дорожка.

Однажды увидел я: из соседней дачи вышли какие-то люди; выкатили огромное кресло на колесах, а в кресле — важный, седой старик, в золотых очках, с длинной белою бородой. Ноги покрыты пледом.

— Знаешь, кто это?

— Ну?

— Это Майков.

Майков!.. Я был потрясен.

Кажется, что моим любимым поэтом в ту пору был Александр Круглов, автор, ныне забытый[17]. Проза его слабовата. Но стихи, стихи для детей, у него есть прекрасные: очень какие-то светлые, главное же — не слащавые, без пошлого подлаживания «под детское понимание» и без нравоучений. В стихах Круглова — какое-то ровное и чистое дыхание. Странно, что кроме Брюсова я не встречал людей, знающих поэзию Круглова. Брюсов ее, несомненно, оценил: в его стихотворениях «Терем» и «Эпизод» есть явственный отголосок двух пьес Круглова.

Вторым любимцем моим (или вровень с Кругловым) был Майков. Я знал много его стихов наизусть и — дело прошлое! — воровал из них без зазрения совести. В стихотворение «Верба», вслед за описанием шаров, морских жителей и гарцующих жандармов, была мною красиво вставлена и такая строфа:

Весна! Выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.

Должен еще покаяться, что, будучи уличен в плагиате, предерзко отрицал это обстоятельство и чуть не до слез божился, что стихи мои собственные, а если такие же есть у Майкова, значит — совпадение.

Но это было раньше. Теперь же, увидев Майкова, я был взволнован. Писатель, поэт... Я читал очень много, но живого поэта никогда не видал, и даже в реальном существовании подобных существ был в глубине души не уверен. И вдруг — вот он, живой, настоящий поэт! Да кто еще? Майков!

Я стал похаживать вокруг заветной дачи — и мне повезло. Однажды Майкова выкатили в кресле на дорожку к обрыву и здесь оставили одного. Будь с ним люди, я бы никак не решился. Но Майков был один, неподвижен — уйти ему от меня было невозможно... Я подошел и — отрекомендовался, шаркнул ногой,— все как следует, а сказать-то и нечего, все куда-то вон вылетело. Только пробормотал:

— Я вас знаю.

И закоченел от благоговения перед поэтом — и просто от страха перед чужим стариком.

Прекрасно было, что Майков не улыбнулся. В лице у него не мелькнуло ни тени желания меня ободрить, ни тени снисхождения. Очень серьезно и сухо он что-то спросил. Я ответил. Так минут с десять мы говорили. О чем — не помню, конечно. Остался лишь в памяти его тон — тон благосклонной строгости. Скажу и себе в похвалу, что, начав так развязно и глупо, я все же имел довольно такта, чтоб не признаться ему в любви. Сказал только, что знаю много его стихов.

— Что же, например?

— «Ласточки»...

Тут я снова не выдержал и тотчас угостил Майкова его же стихами. «Продекламировал», «с чувством», со слезой, как заправский любитель драматического искусства. Дома мои декламаторские способности — увы! — ценились высоко... Признаться, при последнем стихе: «О, если бы крылья и мне!» — я зачем-то каждый раз изо всех сил хлопал себя обеими руками по голове. На этот раз я невольно удержался от этого сильного жеста, но все же мне показалось, что после моего чтения Майков сделался менее разговорчив. Теперь-то я очень себе представляю, почему это случилось... Но тогда моя радость и гордость не омрачились ничем. Вскоре за Майковым пришли, его увезли. Он сказал мне «прощай» — и я больше его никогда не видел. Встреча эта меня глубоко взволновала, и я долго о ней никому не рассказывал. Это было торжественное и важное: первое знакомство с поэтом. Потом — скольких еще я знавал, и в том числе более замечательных, но, признаюсь, того чувства, как тридцать лет назад,— уже не было.

---

* бальная записная книжка

VII

25 июля

Начало 1920 года, герценовские торжества. Парадный спектакль в Большом театре. Лучше сказать — смесь спектакля с заседанием. Билеты, как водится, «распределены по организациям»: всучаются кому не надо,— и недоступны для тех, кто хотел бы попасть в театр.

Звонок по телефону. От имени Всероссийского Союза писателей[18] просят пойти. Сообщают номер ложи. Подхожу к театру. Толпа безбилетных ломится в двери: это — остатки интеллигенции, учащиеся. Входы охраняются часовыми с винтовками. Кое-как пробиваюсь в театр, но в ложу меня не пускают. «Давайте билет». А билет — у Эфроса, один на всех. Надо ждать, пока соберутся «наши». Ждать посылают в комнату коменданта.

У коменданта — неразбериха и толчея. У него требуют билетов, но сам он — душою не здесь. Он звонит по телефону.

— Пожалуйста, МЧК. Попросите товарища такого-то.— Товарищ такой-то? — Да, я.— Значит, в одиннадцать? Ладно, приеду. А Катя придет? — Так.— Сколько достали? — Две? На пятерых-то не маловато? Ну, ладно, я тоже принесу.— Да уж будьте покойны: хороший, эстонский.— Пришлите за мной машину к одиннадцати. Пока!

Речь явно идет о спирте. Эстонский, то есть доставленный «дипломатическими курьерами» из Эстонии, особенно славился в ту пору.

В комендантскую вваливается красноармеец:

— Товарищ комендант, пожалуйте тыщу рублей ломовому.

— Что привез?

— Нежданову.

Нежданова будет петь в отрывке из «Эрнани».

Наконец, мы в ложе бельэтажа: Гершензон, два Эфроса[19], Лидин, Жилкин, я. Оркестр под управлением Кусевицкого играет «Интернационал». На сцене — Каменев, Луначарский и другое начальство. Произносятся бесконечные речи, читаются декреты, указы. Соловьем растекается Луначарский. Потом, очень долго, расхаживая по сцене, говорит по-французски Садуль[20]. Его плохо слышно. Остается смотреть, как он то и дело останавливается, сгибается в три погибели и, не прерывая речи, закручивает размотавшиеся обмотки. Но это плохо ему удается, и предательские кальсоны все время выбиваются наружу. Среди гигантских декораций, на ярком свете, все это очень неимпозантно. В зале хихикают.

Впрочем, театр почти пуст. Толпу желающих не пустили. Билеты, распределенные на заводах и в канцеляриях,— не использованы. Лишь кое-где в партере мелькают ситцевые платки да красноармейские шапки. Все в шубах. Светло, холодно и нестерпимо скучно.

В тот вечер мне показали Дзержинского. Наша ложа была ближайшая к царской. Дзержинский сидел в царской, совсем близко от меня. Больше я его никогда не видел.

У Дзержинского было сухое, серое лицо. Острый нос, острая бородка, острая верхняя губа, выдающаяся вперед, как часто бывает у поляков. Выглядывая из потертого мехового воротника, Дзержинский мне показался не волком, а эдаким рваным волчком, вечно голодным и вечно злым. Такие бросаются на добычу первыми, но им мало перепадает. Вскоре они отбегают в сторону, искусанные товарищами и голодные пуще прежнего.

О личной жизни Дзержинского не ходило рассказов. Кажется, ее и не было. Он был «вечный труженик». Пока верхи — Каменевы, Луначарские — потягивали коньячок, а низы — мелкие чекисты, комиссары, коменданты — глушили эстонский спирт, Дзержинский не уставал «работать». Не будем отягощать памяти о нем несовершёнными преступлениями. Достаточно совершённых. По-видимому, Дзержинский не воровал, не пьянствовал, не нагревал рук на казенных поставках, на насиловал артисток подведомственных театров. Судя по всему, он лично был бескорыстен. В большевистском бунте он исполнял роль «неподкупного». Однажды затвердив Маркса и уверовав в Ленина, он, как машина, как человеческая мясорубка, действовал, уже не рассуждая. Он никогда не был «вождем» или «идеологом», а лишь последовательным учеником и добросовестным исполнителем. Его однажды пустили в ход — и он сделал все, что было в его силах. А силы были нечеловеческие: машинные. Сказать, что у него «золотое сердце» было хуже, чем подло: глупо. Потому что не только «золотого», но и самого лютого *сердца* у него не было. Была шестерня. И она работала, покуда не стерлась: 20 июля, в 4 часа 40 минут.

Разумеется, были перебои и в этой машине. Тут действовал атавизм: ведь шестерня все-таки происходила от человеческого сердца. Дзержинский был сделан Лениным из человека, как доктор Моро делал людей из зверей[21]... Покойного Виленкина[22] Дзержинский допрашивал сам. Уж не знаю, что было при этом, только впоследствии машина стала давать перебои. Рассказывая одному писателю о допросе Виленкина, Дзержинский, по-видимому, галлюцинировал, говорил двумя голосами, за себя и за Виленкина. Писатель передавал мне, что это было очень страшно и похоже на то, как в Художественном театре изображается разговор Ивана Карамазова с чертом.

В период болезни Ленина, а затем после его смерти многим большевикам пришлось действовать не машинально, не «по наряду», а по собственному разумению. В довершение беды, нэп потребовал действий не по разрушению и пресечению, а по созданию и налаживанию, да еще в направлении непредусмотренном. В число таких «строителей поневоле» попал и Дзержинский. Но ни в Наркомпути, ни, особенно, в Совнархозе он ничего не сделал. Поставить их на такую «высоту», как ЧК, было ему не по силам. Единственное, что он мог — это нагнать страху на подчиненных. Действовало его ужасное имя. В одной из своих «хозяйственных» речей он недавно сказал:

— Меня боятся, но...

Дальше шло много разных «но», которые все свидетельствовали о его бессилии. Убивать легко, творить трудно.

Это знают большевики и, конечно, раздается теперь очередной лозунг:

«Дзержинский умер, но дело его живет».

Основное дело, заплечное мастерство, в котором силен каждый коммунист и к которому каждый имеет касательство.

Уж на что мягкий был человек Воровский, порой почти обаятельный (я его знавал). Уж какая мирная, торговая и дипломатическая специальность у «европейца» Х.! А вот — рассказ того же писателя.

Однажды этот писатель застал где-то компанию: Воровский, Х. и неизвестный поляк-инженер. Инженер с пылом говорит о каких-то широких планах, вроде электрификации. Все в восторге, наперебой расхваливают инженера и чуть ли не обнимают. А когда он уходит, большевики говорят писателю, кивая на дверь:

— Последние часы бедняга догуливает. Сегодня его арестуют — и к стенке...

— Как? Почему?

— Польский шпион. Он еще не знает, что нам все известно.

— Почему же его просто не арестуют?..

— А потому, что надо еще от него добыть кое-какие сведения. Не уйдет.

Так — Воровский и Х. работали на Дзержинского, в должности обыкновенных провокаторов...

Дзержинский умер, но дело его живет.

КОММЕНТАРИИ

I

О Есенине, с которым был хорошо знаком по послереволюционной Москве, поэзию которого ценил, Ходасевич захотел рассказать еще при его жизни, с чего и начинает посвященный ему очерк, датированный февралем 1926 года и появившийся в двадцать седьмой книжке «Современных записок» (в «Некрополь» вошел с несущественными изменениями). Более того — он даже осуществил свое намерение. Но остался недоволен собой и сообщил Марку Вишняку (2.V.1925): «...я написал о Есенине так бездарно, что не решился печатать, особенно в журнале» (Новый журнал. 1944. Кн. 7. С. 293). В самом начале следующего года он делится с ленинградским поэтом Михаилом Фроманом: «Меня очень огорчила смерть Есенина <...> Жизнь его была цепью ужасных ошибок — религиозных, общественных, личных. Но одно, самое ценное, всегда было в нем верно: писание было для него не «литературой», а делом жизни и совести. Перечитывая его стихи, вижу, что он всегда был правдив перед собой — до конца, как и должен, как только и может быть правдив настоящий поэт» (Альманах «Часть речи». № 1. Н.-Й. 1980. С. 293).

Эта мысль и была стержневой в журнальном очерке. Кратко говоря, в нем исследована соотнесенность мировоззренческих установок, политики и поэзии. Он был встречен одобрительно. «Ваш Есенин очень хорош. C'est ça!» — писала ему Гиппиус первого апреля (Зинаида Гиппиус. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ан Арбор. 1978. С. 42). В «Парижском альбоме» тема продолжена. Теперь основное внимание уделяется смежной проблеме: политика и поэзия. Она для Ходасевича настолько важна, что через десять лет статья из «Дней» уточняется, дополняется и печатается им в «Возрождении» (О Есенине. 1936. 9 января). А в промежутке там появляется еще одна статья под тем же заголовком (1932. 17 марта). Формальный повод для нее — выход в СССР после четырехлетнего перерыва есенинского сборника «Стихи и поэмы». Однако главное здесь не анализ стихов, а рассуждение, почему этот поэт стал полузапретным в своей стране: «Самоубийство Есенина так очевидно связано было с его разочарованием в большевистской революции и нашло такой сильный отклик в кругах комсомола и рабочей интеллигенции, что начальство встревожилось и велело немедленно «прекратить есенинщину».

II

[2] Константин Константинович Вагинов (1899—1934) — поэт и прозаик, автор гротескных романов «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», «Бамбочада», переизданных у нас в 1989 году, и «Гарпагониада» (не завершен, вышел пока только в США, в «Ардисе», в 1983 году). Начинал учеником Гумилева. Как поэт был близок обэриутам, хотя формально в группу и не входил.

[3] На самом деле — второй. Первый, «Путешествие в хаос», увидел свет в 1921 году тиражом 450 экземпляров. Тот сборник, который купил Ходасевич, названия не имеет. Он издан в 1926 году тиражом чуть большим — 500 экземпляров. Последняя книга стихов Вагинова появилась в 1931 году: «Опыты соединения слов посредством ритма».

[4] В кружок этот, выпустивший в 1922 году под тем же названием сборник — «памяти нашего друга и учителя Н. С. Гумилева», где напечатаны и стихи Вагинова, как раз и входили, главным образом, участники «Понедельников». Устраивались они молодыми поэтессами, дочерьми знаменитого петербургского фотохудожника М. С. Наппельбаума Фредерикой и Идой. Ходасевич не только часто видел Вагинова, но даже и получил от него презент: он, Сергей Колбасьев и Николай Тихонов, выпустившие совместно сборник своих стихов «Островитяне», подарили его Ходасевичу (см. аннотированный каталог «Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана». М.: 1989. С. 167. № 1679). Об этом периоде он вспомнил еще раз, рецензируя роман бывшего члена «Звучащей раковины» Николая Чуковского «Слава» и говоря о его прототипах (Возрождение. 1935. 15 августа).

[5] Знакомство Ходасевича и Бориса Пастернака относится еще к первой половине десятых годов и произошло в Москве. Достаточно близким их общение было лишь с августа по ноябрь 1922 года в Берлине. Там же, однако, был дан и решающий повод к отчуждению — после того, как Пастернак подтвердил свои дружеские отношения с Сергеем Бобровым и Николаем Асеевым. Тем самым, в глазах Ходасевича, он связал себя с неприемлемым футуристическим направлением в поэзии. Правда, тут примешивались и другие мотивы. Асеев только что выступил с резкой рецензией на переиздание второй книги стихов Ходасевича «Счастливый домик». А Боброва, позволявшего себе антисемитские выходки, оскорбившего Блока на его московском вечере, он вообще не считал за порядочного человека (об этом — в некропольском очерке «Гершензон» и мемуарах Берберовой «Курсив мой»). Отзыв в «Парижском альбоме» о стихах Пастернака, пожалуй, самый категоричный из всего, что он о нем писал, но далеко не единственный в таком роде. Подробнее об их отношениях см. в статьях Дж. Е. Малмстада и Н. Богомолова (Лит. обозрение. 1990. № 2).

[6] А. Пушкин. «Отрывки из писем, мысли и замечания». <1827>.

[7] Строка из стихотворного послания П. Вяземского В. Жуковскому, процитированная Пушкиным в письме к Н. Гнедичу

от 27 сентября 1822 года: «Перевод Жуковского есть un tour de force. Злодей! в борениях с трудностью силач необычайный».

[8] «Что касается этой бедной Австрии, все тело которой представляет сплошную Ахиллесову пяту...» Из письма Ф. Тютчева ко второй жене от 29 июня 1855 года.

III

[9] Андрей Соболь (настоящее имя — Юлий Михайлович. 1888—1926). О встречах с ним в Сорренто Ходасевич вспоминает также много позже, во втором мемуарном очерке «Горький», напечатанном посмертно, в 1940 году (см.: В. Ходасевич. О Горьком. М.: 1989. С. 40—41). Несколько интересных штрихов к портрету Соболя добавляет в своих мемуарах Борис Зайцев. Рассказывая об одном из последних заседаний знаменитого литературного кружка «Среда», уже после революции, когда стало известно, что А. Серафимович «объявился коммунистом», он говорит, что именно Соболь предложил исключить Серафимовича, ибо «кто против свободной печати и литературы, тот не с нами». В другом месте повествуется, как он, Зайцев, ходатайствовал перед Каменевым за сидящего в одесской тюрьме уже семь месяцев Соболя (см. Борис Зайцев. Улица святого Николая. М.: 1989. С. 272, 368). К одесскому периоду относится и глава о Соболе «Случай в магазине Альшванга» в книге Константина Паустовского «Золотая роза».

[10] «Переписка из двух углов» — известная книга Михаила Гершензона и Вячеслава Иванова (Пг.: 1921). Этот обмен мыслями между выдающимися деятелями русской культуры происходил на глазах у Ходасевича: Гершензон и Иванов делили одну комнату в московском санатории для работников науки и литературы, где находился тогда и он. Эпизод описан им в очерке «Здравница» (Возрождение. 1929. 14 марта). Письма, составляющие книгу, перепечатаны журналом «Наше наследие» (1989. № 3).

IV

[11] Николай Авдеевич Оцуп (1894—1958) — прежде всего поэт, хотя работал в нескольких областях литературы и критики. Активный участник гумилевского «Цеха поэтов», который и издал его первую книгу «Град». Эмигрировал в 1922 году. Ему принадлежат роман «Беатриче в аду», пьеса «Три царя» — на библейский сюжет, исследования «Новейшая русская поэзия», о Гумилеве, статьи о поэтах — от Лермонтова до Маяковского. В начале тридцатых годов издавал в Париже журнал «Числа» (вышло 10 номеров). Итог его поэтической деятельности — двухтомник «Жизнь и смерть» (1961).

Юрий Константинович Терапиано (1892—1980) — поэт и критик. Ему принадлежат пять сборников стихов, последний из которых — «Паруса» — вышел в 1965 году. Составитель антологии «Муза диаспоры», автор повести «Путешествие в неизвестный край», книги воспоминаний «Встречи», в которой фигурирует и Ходасевич. Во время гражданской войны вступил в Добровольческую армию, эмигрировал. Первый председатель парижского Союза молодых поэтов и писателей. После второй мировой войны выдвинулся в число ведущих литературных критиков русского зарубежья, регулярно выступая в нью-йоркской газете «Новое русское слово», а затем — в парижской «Русской мысли».

Эта — четвертая — страничка «Парижского альбома» вызвала полемический отклик Оцупа, на что Ходасевич отозвался, в свою очередь, репликой в пятом выпуске. Чуть позже (11. VIII. 1926) Гиппиус в письме кое-что объяснила: «Да, мне раскрыл Адамович тайну обиды Оцупа и на Вас... и на меня. Мы с Вами сделали ту же ошибку: взяли его и Терапиано... вместе. Ну и вот. Комментарии излишни» (Зинаида Гиппиус. Письма... С. 52).

Об отношениях с Терапиано. В мемуарах «На берегах Сены» (М.: 1989. С. 314) Ирина Одоевцева рассказывает о ссоре Георгия Иванова и Ходасевича, в которой Терапиано принял сторону первого, и потому, по ее словам, «заслужил вечную ненависть Ходасевича, отрекшегося от него». И далее: «Терапиано он измены не простил до самой своей смерти и старался всюду и всегда мстить ему...» Суждение это представляется слишком пристрастным. Ходасевич еще не раз писал о нем — и никаких мелодраматических страстей не выказал. Просто к нему прикладывалась та же высокая мера, что и к остальным персонажам его статей и рецензий.

[12] Признавая несомненную одаренность Маяковского, Ходасевич относился к нему и ко всему творчеству поэта с резкой неприязнью. Он не раз писал об этом, наиболее подробно — в статьях «Декольтированная лошадь» и «О Маяковском» (Возрождение. 1927. 1 сентября; 1930. 24 апреля), вторая из которых написана на смерть Маяковского и во многом основана на первой. «Восемнадцать лет,— констатирует он,— с первого его появления, длилась моя литературная (отнюдь не личная) вражда с Маяковским». А заканчивает так: «Ни благородства, ни чистоты, ни поэзии нет во всем облике Маяковского. Есенин умер с ненавистью к обманщикам и мучителям России — Маяковский, расшаркавшись, пожелал им «счастливо оставаться».

V

[13] Александр Александрович Яблоновский (1870—1934) — журналист, критик, прозаик, мемуарист. Сотрудничал во многих крупных российских газетах, в том числе «Сыне отечества», «Речи», «Киевской мысли». Особенно был известен как фельетонист этой газеты, а затем сытинского «Русского слова». В эмиграции печатался в «Руле», «Сегодня», наиболее тесно был связан с «Возрождением». Статья, на которую ссылается Ходасевич, в 1928 году была включена в парижский альманах для юношества «Русская земля».

[14] Ходасевич имеет в виду издание в значительной степени сфабрикованных дочерью А. О. Смирновой-Россет О. Н. Смирновой «Записок» матери о Пушкине. Первоначально они печатались в 1893—1894 годах в журнале «Северный вестник» при активном участии редактировавшей его Л. Я. Гуревич. Третья дама, упоминаемая Ходасевичем, возможно, Н. Н. Сорен, вторая дочь А. О. Смирновой-Россет, в чье владение перешел архив после смерти сестры.

[15] С известным публицистом, издателем журнала «Былое», разоблачителем Азефа и ряда других крупных провокаторов В. Л. Бурцевым (1862—1942), грешившим весьма поверхностными и неточными размышлениями о Пушкине, Ходасевич и позже не раз вступал в полемику (см., например: Возрождение. 1933. 30 ноября и 7 декабря; 1934. 26 апреля).

[16] В данном случае Ходасевич пользуется аргументом, который он привел годом ранее в мемуарах о Гершензоне как его возражение себе: «Однажды, на какое-то мое толкование стихов Дельвига, он возразил: «Нет, у Дельвига эти слова означают другое: ведь он был толстый, одутловатый...»

VI

[17] Александр Васильевич Круглов (1853—1915) работал во всех литературных жанрах, даже составлял библиографические справочники. Был очень плодовит. Сейчас и детские его стихи, которые нравились Ходасевичу, никому не ведомы.

VII

[18] Первоначальная идея такого объединения литераторов, по свидетельству многих, в том числе и Ходасевича (очерки «Гершензон», вошедший в «Некрополь», и «Письмо» — Возрождение, 1927, 29 сентября), была предложена М. О. Гершензоном. Владимир Лидин в воспоминаниях о нем (Россия. 1925. № 5. С. 261—262) писал: «В семнадцатом году М. О. задумал большое дело — дело объединения писателей; из этого замысла вырос Союз писателей, и первые планы, первые разговоры об этом Союзе — были у него наверху, в его комнатке».

Вышедший в 1917 году сборник «Ветвь», в котором участвовали и Гершензон, и Лидин, и Ходасевич, уведомлял в редакционном вступлении, что «в мартовские дни текущего года возник «Клуб московских писателей». Гершензон писал брату 15 марта: «Теперь здешние писатели заняты составлением «резолюции» и выработкой плана Союза писателей, хожу на собрания и я, да только все идет вразброд, никак не столкуются» (М. Гершензон. Письма к брату. М.: 1927. С. 182). «Столковались», видимо, в конце этого или самом начале 1918 года: возник Московский Союз писателей. А 20 марта 1920 года Александра Чеботаревская писала сестре Анастасии: «Московский Союз перерегистрировался и переименовался во Всероссийский» (Лит. наследство. Т. 92. Кн. 3. М.: 1982. С. 495). В предисловии к сборнику «Памяти Акима Львовича Волынского» (Л.: 1928. С. 8), человека известного в русской культуре, которого Ходасевич хорошо знал и о котором написал в очерке «Диск» (перепечатан под заголовком «Дом искусств», взятом из западных изданий мемуаристики Ходасевича, в «Книжном обозрении», 1988, 22 июля), говорится, что он «избирается в 1920 году председателем Всероссийского Союза писателей». Союз этот существовал до 1932 года.

[19] Абрам Маркович Эфрос (1888—1954), искусствовед, литературовед, переводчик и Николай Ефимович Эфрос (1867—1923), театральный критик и историк театра.

[20] Жак Садуль (1881—1954) — французский коммунист, участник I-го Конгресса Коминтерна.

[21] Герой романа Г. Уэллса «Остров доктора Моро».

[22] Александр Абрамович Виленкин (1883—1918), один из руководителей «Союза защиты родины и свободы», раскрытого ЧК по доносу сестры милосердия. Офицер, юрист, председатель Московского союза евреев-воинов. Принадлежал к народным социалистам. Расстрелян. Подробнее обо всем этом см.: Красная книга ВЧК. Т. I. Изд. второе, уточненное. М.: 1989.

Там или здесь?

Где же, наконец, настоящая, живая русская литература? Там, в советской России, или здесь, в эмиграции? Главное: которая из них *жизнеспособна* — и которая обречена разложиться, зачахнуть, вымереть?

Такой вопрос ставится часто, и по исконному греху всех русских «вопросов» как бы уже заранее предполагает решение крайнее, рассекающее: либо там, либо здесь.

Так он и разрешается: одни предсказывают смерть всему здешнему, другие — тамошнему. И те, и другие очень довольны радикальностью своих мнений.

Понятно, почему некоторые эмигранты уверяют себя и других, что современная русская литература исчерпывается литературой эмиграции. При огульном осуждении всего, что делается внутри России, естественно и огульное отрицание всей тамошней литературы. Естественно — неверно. Тут повторяется ошибка, которую те же люди делают в области политической: как за РКП не видят они России, так за большевистской накипью не хотят видеть русской литературы. Они больше сердятся, нежели рассуждают, и сами очень похожи на большевиков, с таким же азартом и с тою же логикой отрицающих литературу эмиграции. И те, и другие исходят из довольно правильного положения, что на зараженной почве здоровому растению не быть. Беда в том, что каждая сторона заранее считает свою почву вполне здоровой, а вражескую — насквозь гнилой. В душе, пожалуй, и те, и другие ощущают свою неправоту, но стараются криками подбодрить себя, а главное — перекричать факты.

Внутрироссийских хулителей «эмигрантщины» можно основным образом разделить на две группы. Первая — это правоверные большевики, отрицающие всю «буржуазную» литературу «по Марксу», точнее — по дубовым интерпретациям Маркса. О них отчасти говорено выше, отчасти и говорить не стоит, ибо все уже сказано. Другую группу составляют некоторые «попутчики», то есть люди, которые притворяются, будто большевики их распропагандировали. Я говорю «некоторые», потому что в большинстве попутчики стараются по принципиальным вопросам не высказываться, да им и не позволяют. Однако иные из них непрочь выступить против эмиграции, опять же из различных побуждений. Одни потому, что за отсутствием эмигрантских писателей могут сами выдвинуться на видные места. Ставшие рыбами на безрыбье, они иногда и не без искренности уверены, что теперь-то и наступила в России пора «настоящей» литературы: человеку свойственно самообольщаться. Другие менее наивны. Они знают цену и советской власти, и специфически-советской литературе. Но они ориентируются не на коммунизм, а на кассу Государственного издательства. Поэтому, попадая за границу, они плачут в наши эмигрантские жилеты и осведомляются, нельзя ли здесь остаться. Однако, узнав, почем платят за лист эмигрантские журналы, едут назад писать книги о том, что «сейчас на Западе» все прогнило, или же «письма в редакцию» с заявлениями, что «живая, подлинная, творческая литература только в России, а не в парижских салончиках». К этой же группе ориентирующихся на кассу надо отнести писателей, печатающихся только в России, но откровенно предпочитающих жить за границей. Впрочем, обо всех этих ложных друзьях советской власти я упомянул только для полноты: считаться с их покупными мнениями не приходится.

Есть, однако, и в самой эмиграции течения, отрицающие жизненность эмигрантской литературы. Мне кажется, они вызваны неумеренным отрицанием всего внутрисоветского и столь же неумеренными восторгами перед всем эмигрантским. К сожалению, естественное и законное желание возражать против одной крайности — по распространенному обычаю толкает в другую, столь же ошибочную. На этой почве уже развивается даже своеобразный эмигрантский снобизм: проявить высшую независимость суждений, взять да и «хватить» по эмиграции, сидя в эмиграции,— это становится в некотором роде модно. Нужно только заметить, что большевики мастера разлагать всякие «фронты»; незаметно для самих снобов, они подсовывают в их общество «своих людишек». Такие случаи были.

Здесь мы имеем возможность спорить и даже приговаривать эмигрантскую литературу к смерти. В России рты заткнуты. Поэтому там царит как будто единогласие: все согласны с большевиками, что эмиграция и ее литература мертвы. Однако — есть и несогласные.

— А кто? — спрашивает ГПУ.

— А я не скажу.

В действительности ни здешние, ни тамошние не должны и не могут претендовать ни на какую гегемонию, основанную на признании за ними какой-то особой «жизненности».

Жизненность литературы должна обусловливаться наличностью трех условий: 1) наличностью сформированных дарований; 2) появлением новых и 3) возможностью работать, то есть проявлять и развивать эти дарования.

Обе стороны обычно и начинают спор с подсчета литературных сил там и здесь. При этом и те, и другие стараются главным образом умалить силы противника. Это приводит к наивной, но все же непристойной торговле. Но сама торговля ни к чему не ведет, ибо, действительно, нельзя высчитать, сколько Бабелей можно отдать за одного Бунина, или наоборот. А главное — и вопрос-то не в том, на чьей стороне сил «больше», а в том, имеются ли они.

Если припомним писателей старшего поколения, несомненных и определившихся, то увидим, что не все они здесь. Здешним, Бальмонту, Бунину, Гиппиус, Мережковскому, Ремизову — можно противопоставить Сологуба, Андрея Белого, Ахматову. И те, и другие находят возможным работать — одни в тяжелых условиях здешних, другие — в тамошних. Из живущих там Андрея Белого печатают, но мало. Сологуба и Ахматову не печатают вовсе. Но наступит пора — их писания увидят свет. Что же? Разве можно будет все это, написанное *несмотря* на присутствие большевиков, записать в актив *большевистской* России? Но ведь и эмиграция не сможет все это «реквизировать».

Верно, что в эмиграции находятся преимущественно писатели, от которых уже трудно и иногда и невозможно ждать решительных новшеств. Обычно это и служит главным козырем в руках людей, желающих эмигрантскую литературу отпеть и похоронить. Но они забывают (или не знают), что прогресса в искусстве нет, что критерий новизны применим в искусстве только для исторической, а не для качественной классификации.

И все-таки неверно было бы думать, что даже писатели не начинающие здесь застыли. К примеру, именно здесь, и с замечательным успехом, Муратов пробует силы на новом для него поприще драматурга. Пьесы его написаны как раз в новом и очень своеобразном разе. Здесь пишет лучшие свои вещи Цветаева. Здесь Алданов начал свои исторические романы.

Если посмотрим на писателей, которых в России печатают и которые в значительной степени составляют тамошнюю литературу, то увидим, что большинство из них рождены не советской эпохой. Таковы — Пришвин, Сергеев-Ценский, Клюев, Есенин, Пастернак, Мандельштам, Замятин, Алексей Толстой. Каждый из них, как художник, продолжает свою линию, не при большевиках начатую и определившуюся. И для них все главное решается способностями, возрастом и так далее, а не территорией. Только оттого, что они стоят на земле СССР, никто из них, тривиально выражаясь, выше своей головы не прыгнул и не прыгнет. И падений особенных незаметно (я говорю о чистом художестве, не о политике). Впрочем, пожалуй, лучшие вещи Толстого написаны либо до революции, либо в эмиграции («Детство Никиты»).

Нельзя говорить, будто на советской почве не явилось ни одного дарования; можно не разделять или осуждать политические склонности, скажем, Леонова, Федина — но все же их дарований (тоже не равных) нельзя не признавать вовсе. Однако, и этих «молодых надежд» вовсе не так уж много. Возможно, что *относительно* их даже меньше, чем в эмиграции, ибо резервуар, из которого они черпаются, Россия, в несколько десятков раз больше эмиграции,— а новых талантов там вовсе не в несколько десятков раз больше.

Даровитая молодежь в эмиграции имеется. Таковы хотя бы поэты: Н. Оцуп, В. Злобин, Божнев. Но эмиграция ждет, чтобы надежды были оправданы, а в СССР вокруг этих же имен давно били бы в рекламистские барабаны, их развращали бы неумеренными похвалами, чтобы затем развенчать, неблагодарно и грубо, как было с Н. Тихоновым.

Чего, действительно, много явилось в советской России — это посредственностей (хотя и из них некоторые только выдвинулись в последние годы, благодаря их «сочувствию» советской власти). Таковы бесчисленные Пильняки, Никитины, Всев. Ивановы, Бабели, Асеевы, Сейфуллины и т. д.

Замечательно что, притворяясь (для невежд) очень своеобразными, в действительности они глубоко подражательны и подражают литературе досоветской: чаще всего — Лескову, Белому, Ремизову, потом —Горькому, Бунину, иногда — нескольким зараз.

Так, Пяльяк распадается на Ремизова и непонятого им Андрея Белого, а знаменитый Бабель—это третий сорт Горького, приправленый, смотря по сюжету, то Горь-

буновым, то Юшкевичем. Все эти посредственности никакой новизны не несут, если не считать новизной опошление и огрубление старого.

Ясно, что обилие подражателей и ничтожеств не дает оснований считать советскую литературу стоящей качественно выше, нежели здешняя. Однако, их исключительное обилие и вообще тамошняя литературная урожайность (безотносительно к качеству) — сами по себе суть признаки, для советской литературы благоприятные. Они означают, что литературная жизнь в России очень интенсивна. В эмиграции такой интенсивности нет,— а для выращивания молодежи она необходима.

Эмиграция подавлена тысячами специфически эмигрантских забот. К тому же ее культурная и идейная часть бедна. Не покупая книг, она вызывает недостаток издательств и журналов. Материальное положение даже писателей с «именами» тяжко, для начинающих оно безнадежно. Я уж не говорю о гибельной оторванности от родного языка и русской жизни. Над эмигрантской литературой тяготеет усталость, не смертельная, но болезненная. Причины болезни лежат не внутри, не в «гнилости буржуазной идеологии», не в отсутствии людей,— а в ужасных условиях эмигрантской жизни. И если здешнее творчество еще живет, то в значительной степени не *благодаря* тому, что оно эмигрантское, а *несмотря* на то, что оно эмигрантское.

Но и литературная кипучесть в России — не здоровая. Стоит ли в тысячный раз напоминать, что там происходит?

Подчинение литературы большевистским надобностям, цензурные неистовства, изъятие старой литературы, намеренное понижение культурного уровня, шпионство, доносы, прислужничество — вот очень сокращенный перечень того, что отравляет жизнь советской литературы, одних развращая морально и художнически, других выводя из строя. И если не все еще там задушено, то это свидетельствует лишь о чудесной выносливости, присущей русской литературе всегда и везде. И она еще там жива, опять-таки, не *благодаря* тому, что находится в СССР, а *несмотря* на то.

Она тяжко болеет и там, и здесь, хотя проявления болезни различны, часто даже противоположны. Здесь — оторванность от России, там — насильственная в ней замкнутость; здесь — оскудевание языка, там — словесное фиглярство на областнической основе; здесь — отсутствие резонанса в обществе, там — полицейские приказы и «суд глупца», поминутно доносящийся до писателя; здесь — преувеличенный консерватизм, там — погоня за новшествами, неразборчивая и грубая, вызванная то невежеством, то борьбой за кусок хлеба; здесь — усталость и вялость, там — судорожная кипучесть, литературная лихорадка, схваченная на нэповском болоте...

Литература русская рассечена надвое. Обеим половинам больно, и обе страдают, только здешняя иногда не хочет стонать — из гордости (может быть, ложной). А тамошней и стонать не велено. И бахвалиться им друг перед другом нечем. И высчитывать, которая задохнется скорее,— не надо, нехорошо, Бог даст — обе выживут.

Глуповатость поэзии

В защиту немудрых стихов любят говорить:

— Еще Пушкин сказал, что поэзия должна быть глуповата.

Обычно на этом спор обрывается. И нападающий, и защитник не знают, что сказать дальше. Первый — потому что не решается возражать Пушкину, второй — потому что и сам в душе с Пушкиным не согласен. Оба чувствуют, что здесь что-то «так, да не так».

Это странное слово Пушкина не выяснено, не вскрыто. Лет двадцать тому назад, в «Весах», анонсировалась статья Брюсова: «Должна ли поэзия быть глуповатой?» — да так и не появилась.

В чем же дело, однако? Неужели поэзия,— «религии сестра земная» — не только может, но и должна быть глуповата? Неужели сам Пушкин думал, что

...лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется —

и поэт станет говорить *глуповатости?* И как мог сам он отдать всю жизнь делу, для него заведомо глуповатому? Или он лгал, притворялся? И если лгал, то когда: тогда ли, когда писал о глуповатости поэзии, или когда писал «Пророка»? Как примирить все это? Или же попросту Пушкин в своем афоризме сболтнул, не подумав: сам, ради красного словца, сказал глуповатое, если не вовсе глупое — и при том как раз о предмете, в котором он почитается великим авторитетом?

На самом деле было, конечно, иначе. Не в статье, предназначенной для читателей, а в письме к приятелю, Пушкин намекнул на сложную и глубокую мысль, но намекнул, минуя всякую мотивировку, слишком кратко, загадочно и в такой шутливо-заостренной форме, что для потомства мысль его стала соблазном. Чтобы избавиться от соблазна, пушкинский афоризм надо либо вовсе забыть, либо попытаться вскрыть его истинный смысл. В сыром виде, как ясно выраженный и законченный «завет Пушкина», он неверен и вреден. Но в том-то и дело, что он не закончен. В нем высказана не вся мысль Пушкина, а лишь половина ее. Вторая половина, необходимое добавление к первой, находится тут же, рядом, но до нее не дочитывают.

В середине мая 1826 года Пушкин писал в письме к Вяземскому:

«Твои стихи... слишком умны.— А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата».

На этом и останавливаются. Меж тем, двумя строчками ниже, Пушкин роняет важное замечание, стоящее в прямой связи с предыдущим:

«Я без твоих писем глупею: это нездорово, хоть я и поэт».

И тотчас, по ассоциации, продолжает:

«Правда ли, что Баратынский женится? Боюсь за его ум».

Это меняет все дело. Выходит, что поэзия должна быть глуповата (и то — «прости Господи») — но самому поэту глупеть «нездорово». Правда, Пушкин пока еще прибавляет: «хоть я и поэт», то есть как будто хочет сказать, что глупость ему была бы вредна не как поэту. Но это — явная шутка. В следующей строке, говоря о друге, он уже серьезен. В те времена Пушкин относился к браку вполне отрицательно и очень искренно выразил опасение, как бы Баратынский от брака не поглупел. Меж тем, Баратынскому, именно как поэту, в известной статье своей Пушкин ставит в заслугу прежде всего — «верность ума» и далее заявляет: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо». Таким образом, в письме к Вяземскому мы имеем право отмести шутливость интонаций и тогда получим, что по Пушкину, *поэзия должна быть глуповата, но поэту надлежит ум.*

Разумеется, мы еще и теперь далеко не имеем законченной и ясной формулы. Непосредственно дополнить и пояснить ее словами самого Пушкина нельзя, ибо к мысли о законной глуповатости поэзии он больше не возвращался. Но некоторый материал для суждения у нас уже есть. Мы можем говорить о поэзии, не приписывая наших мыслей Пушкину, но все же исходя из Пушкина — и не думая, будто Пушкин безоговорочно завещал ей быть глуповатой.

* * *

Зачем же все-таки поэту прикрывать ум глуповатостью? Почему не быть ему явно, неприкровенно умным? Ведь не ради того, чтобы умное приглупить для какого-то приниженного понимания? Очевидно — нет, потому что поэзия не есть нечто, предназначенное для слабых умов или для ребят. Тот же Пушкин не раз повторяет в стихах и прозе: «Я пишу *для себя,* а печатаю для денег». Зачем ему глуповато высказывать свое умное знание — перед самим собою? И однако, он это делает и считает *«должным».*

До тех пор, пока слово «глуповатая» мы будем понимать в обычном, прямом значении, то есть в значении «умственно пониженная», мы не только верного, но и ни просто разумного, ни достойного ответа на эти недоумения не найдем. Нам волей-неволей придется либо допустить, что и в расширенном виде пушкинская формула остается ошибочной (если не вовсе нелепой),— либо попытаться угадать, в каком *ином, условном* смысле можно принять в данном случае слово «глуповата». Первое отпадает само собой, явно опровергаемое всей поэзией Пушкина и всей его личностью,— и следственно нам остается только второе.

От простой передачи случайных впечатлений, чувств, мыслей поэзия разнится тем, что она стремится нащупать и выявить то, что лежит за ними: их суть, смысл и связь. Не изложить чувства и мысли, но «шепнуть о том, пред чем язык немеет» — это и есть вечная, идеальная, а потому в полноте и совершенстве недостижимая цель поэзии. Поэтому-то каждый поэт и ощущает роковое несовершенство своих творений, потому-то и воспринимает им самим изреченную мысль, как относительную ложь, что и сама мысль его («острый меч», по слову Баратынского) всегда не довольно проницающа, а слово не довольно послушно.

Стремясь постигнуть и запечатлеть сокровенный образ мира, поэт становится тайновидцем и экспериментатором: чтобы увидеть и воспроизвести «более реальное, нежели простое реальное», он смотрит с условной, чаще всего неожиданной точки зрения и соответственно располагает явления в необычайном порядке. Все изменяется, предстает в новом облике. В поэтическом видении уже обнаруживается начало демиургическое; в воспроизведении оно закрепляется: пользуясь явлениями действительности, как символами, как сырыми материалами для своих построений, поэт, не искажая, но преображая, создает новый, собственный мир, новую реальность, в которой незримое стало зримым, неслышное слышным. Есть каждый раз нечто чудесное в возникновении нового бытия и в том, как, возникнув, оно обретает самостоятельную цельность и закономерность. (Именно степенью законченности и гармоничности объективно определяется его подлинность.) Чтобы новое бытие не осталось мертво, поэт придает ему движение, то есть предписывает его элементам законы, столь же непреложные, как законы обычной действительности.

«Попадая в поэзию», вещи приобретают четвертое, символическое измерение, становятся не только тем, чем были в действительности. То же надо сказать о самом поэте. Преобразуется и он. В написанном от первого лица стихотворении, как бы даже ни было оно «автобиографично» — субъект стихотворения не равняется автору, ибо события пьесы протекают не в том мире, где вращается автор*.

В мире поэзии автор, а вслед за ним и читатель вынуждены отчасти отказаться от некоторых мыслительных навыков, отчасти изменить их: в условиях поэтического бытия они оказываются неприменимы. Так критерий достоверности отпадает вовсе и заменяется критерием правдоподобности (и то с известными оговорками). Затем постепенно и в разной мере начинают терять цену многие житейские представления, в сумме известные под именем здравого смысла. Оказывается, что мудрость поэзии возникает из каких-то иных, часто противоречащих «здравому смыслу» понятий, суждений и допущений. Вот это-то лежащее в основе поэзии отвлечение от житейского здравого смысла, это расхождение со здравым смыслом (на языке обывателя входящее, как часть, в так называемое «воображение поэта») — и есть та *глуповатость,* о которой говорит Пушкин. В действительности, это, конечно, не глуповатость, не понижение умственного уровня, но перенесение его в иную плоскость и соответственная перемена «точки зрения»: ведь и обратно, при взгляде «из поэзии», со стороны более реального, чем реальное, и более здравого, чем простое здравое,— глуповатым, а то и совсем бессмысленным оказывается здравый смысл и на нем построенная действительность*. Необходимо отметить, что эти расхождения касаются только «здравого смысла», не распространяясь на формальную логику, которая остается между поэтическим и реальным миром, как некое координирующее начало. Именно на том, что поэзия преображает, но не отменяет и не искажает действительности, а также на том, что можно назвать «законом сохранения логики», основана «поверка воображения рассудком», которой требует от поэта Пушкин.

* * *

Мудрость поэта скрыта за тем, что «отсюда» кажется глуповатой маской. Бессознательно мы к этому давно привыкли, и от постоянного упражнения у нас выработался известный автоматизм в восприятии поэзии, как маскированной мудрости. Пародист искусно подделывает поэтическую маску, с ее условно-глуповатым выражением; мы по привычке принимаем ее за оболочку мудрости — но тут-то и высовывается из-под нее вздор, глупость. На этом построены у нас лучшие вещи Козьмы Пруткова. Поэзия есть мудрость, которая «глуповата». Пародия есть глупость, которая «мудровата». По Пушкину, она основана именно из «сочетании смешного с важным».

Случается и другое. В последние годы особенно участились печально-смешные казусы. Искусство имитации стало достоянием многих. Выяснилось, что, усвоив ряд приемов подлинной поэзии, маску можно подделывать отлично. Мы довольно легко вдаемся в обман и на слово верим, что за поэтической маской есть и умное лицо поэта. На поверку же выходит, что и лицо не умно. Пишущий эти строки должен признаться, что несколько раз дал себя обмануть. Некоторым оправданием может ему служить лишь то, что поддельщики не всегда злостны: часто и сами они принимают себя за поэтов, мудроватая маска прирастает к ним так прочно, что ее весьма трудно отделить. Тут мы имеем дело с невольными пародистами, принимающими свои пародии за настоящую поэзию. Здесь я, ради наглядности, ограничусь одним примером, в котором маска отделяется чрезвычайно легко, почти отпадает сама собой, потому что имеется к нашим услугам не только пародия, но и то, что нечаянно пародировано. Общеизвестно стихотворение Баратынского:

Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел.
Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенья
Это имя победит;
Но в том мире за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милой,
Здешних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу
Им к тебе воскликну я
Да душе моей навстречу
Полетит душа твоя.

Это «своенравное прозванье», данное милой, для Баратынского — тайный знак последней, нерушимой связи: стоит лишь произнести его за могилой — и связь, порванная смертью, восстановится. Абсолютно важно и мудро, что знаком избрано условное имя, созданное для этого только случая, *слово,* залог связи в Духе и Разуме, взятое, как залог вечной жизни и воскресения там, где нет «здешних чувственных примет». Но вот, идя не от Баратынского, а от Гейне, и видимо не подозревая о стихотворении Баратынского, один современный автор набрел на такое восьмистишие:

Мы расстались... Но помни слово —
Я разлуку с тобой не приемлю,
Все равно мы встретимся снова,
Когда покинем землю.

Но там, на пороге чистом,
Ты задрожишь от испуга,
Я свистну условным свистом —
И мы узнаем друг друга.

В заключительных строках ситуация Баратынского повторена, но с той только разницей, что *имя* заменено *свистом,* каким подзывают собачек,— и все стихотворение мгновенно стало нечаянной пародией на Баратынского*.

* * *

Если «глуповатость» есть расхождение со «здравым смыслом», то, очевидно, не

---

* Отчасти в этом и заключаются «воспарения» поэта, отсюда же и то, что подлинный поэт не любит и не хочет являться «поэтическим лицом» в жизни. Внутренно он живет и видит поэтически всегда, но «поэтическая повадка» прельщает только посредственность. Поэтому сам Пушкин был так «прозаичен» в обиходе и потому (главным образом) терпеть не мог, чтобы на него смотрели, как на поэта.

* В обнаженном виде эта тема звучит особенно часто у символистов, поэтов наиболее последовательных (я не сказал — великих).

* Еще раньше этот мотив заимствован у Баратынского Брюсовым. Но Брюсов понимал, что делает. У него:

Я это имя кину к безднам,
И мне на зов ответишь ты.

глуповата окажется та поэзия, в которой такое расхождение отсутствует. Но мы указывали, что само это расхождение есть не что иное, как результат перемещения поэта и читателя в иной, поэтом созидаемый мир. Ясно: если поэт отказывается от своих «миротворческих» прав, или не знает о них — то он продолжает оставаться в пределах действительности, где здравый смысл остается его единственным и законным вожатым, а вещи и явления, названные в стихах, остаются равны самим себе. Это — поэзия, прикрепленная к «только реальности», только с ней оперирующая и только ее задачи решающая. Можно назвать для примера несколько родов такой поэзии. Это, во-первых, поэзия дидактическая, от Лукреция до Ломоносовского рассуждения о пользе стекла; далее — поэзия сатирическая, скажем — от Горациевых сатир до Кантемировых; в-третьих басня: в ней расхождение со здравым смыслом лишь поверхностно, она часто антропоморфизирует зверей и неодушевленные предметы, но по существу не выходит за пределы сатиры, оперируя аллегориями и не возвышаясь до символов; в-четвертых: так называемая «гражданская поэзия», и, наконец, всякая вообще поэзия, чисто описательная или резонирующая в пределах реальности, морализирующая в узком смысле, поэзия психологизирующая, а не онтологизирующая. Примеров ее слишком много. Они найдутся едва ли не у всех поэтов. Из них назову ближайший: то самое стихотворение Вяземского «К мнимой счастливице», по поводу которого Пушкин и сказал автору:

«Твои стихи слишком умны.— А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата».

Публикация, вступительная статья и комментарий
М. З. Долинского, И. О. Шайтанова

По страницам книг и журналов

Суслики

•

Григорий Бакланов. Свой человек. Повесть. «Знамя», 1990, № 11.

•

> «Честность — понятие диалектическое»
>
> Из статьи одного критика.

Без гнева о подлом... На это требуется особое умение. Умение так писать о такой жизни. Когда, где, с кем проходили мы эти университеты? Пытаюсь вспомнить.

...Большой зал, писательское собрание. Очередное выкручивание рук — президиуму надо, чтобы мы поддержали, проголосовали «за», но дело темное, несправедливое, безнравственное. И зал это понимает, хотя доказать не может. А президиуму очень надо... Поднялся мой сосед Борис Балтер и уже совсем не командирской, давно не строевой походкой двинулся к трибуне.

— Почему? — кажется, это было первое слово, которое он бросил с трибуны.— Почему... я, ты, он... почему мы действительно не кланялись пулям, когда в любую минуту могло убить?.. А здесь? Ну, исключат из партии, ну, не дадут напечататься. Но ведь не убьют! Почему же молчат те, у кого по заслугам медали за отвагу, за мужество? Неужели мужество на собрании труднее смертельной атаки на войне?

Председательствующий не комментировал эту выходку седого майора в отставке, командовавшего на фронте полком, но чуть строже прежнего потребовал поднять руки: кто «за»? И большинство подняли. А Борис, глядя на эти опущенные головы и неуверенно вздернутые руки, просвистел сквозь зубы: «Суслики».

Сталин был палачом и тираном, это доказано уже в сотнях книг. Его главный идеолог Жданов тоже достаточно знаменит и описан (особенно после найденной Юрием Карякиным «ждановской жидкости»). В тени оставался и до сих пор остается сменивший Жданова на тридцать с лишним лет Михаил Андреевич Суслов. А ведь на каких поворотах удержался «вторым человеком партии»: и после смерти Сталина, и на двадцатом съезде, и при падении Хрущева... Прошел все — от культа до полного застоя. И не просто прошел — все объяснил, утвердил, превратил в «науку побеждать». И сделал это тихо, скромно, не создавая себе культа, но и не выпуская из рук ни одной идеологической вожжи, регулярно выращивая и расставляя по постам своих сусликов. Это его философы и теоретики научили КГБ арестовывать не людей, а идеи — книги, рукописи, самиздат; охотиться уже не столько за прошлым, сколько за будущим — свежей мыслью, молодым талантом. Это его ближайший подручный Ильичев сумел остановить хрущевскую «оттепель» в головах и подвести теоретическую базу под наступающий застой: «Наша теория — наша практика».

Вот тут-то и расцвела эпоха «своих людей» — эпоха сусликов. Таких, как Евгений Степанович Усватов — главный герой новой повести Григория Бакланова «Свой человек».

Сойтись, познакомиться поближе с Евгением Степановичем совсем не так просто: хлопоты по обустройству дачи, служебное закулисье, банкетные пловы и шашлыки, наконец, его начальственное «сотворчество» с молодыми талантами... Господи, быт давно стал бытием — как сказал бы Юрий Трифонов. И в самом деле: они — «никание» из трифоновских московских повестей, потом они же в рассказах Владимира Маканина, наконец, всем запомнившийся «Имитатор» Сергея Есина — стоит ли продолжать? Бакланову, как мне кажется, удалось то, что труднее всего давалось «бытописательству» последних лет — сохранить ауру своего героя. «Имитатор» или «Человек свиты» — разоблачение начинается уже с названия, ирония накипает, подымается до гнева... Ему со всенародной трибуны кричат о сталинско-брежневском происхождении, а он, суслик, стоит у микрофона и посвистывает: зачем же так грубо, у нас плюрализм, а то ведь передам в комиссию по депутатской этике.

Этика. Где она, с чем ее едят? Стерев границу между государством и обществом, мы только притронувшись к гласности, стали осознавать: нет, у нас десятилетиями не было общественного мнения. Отдав всю власть партии, мы впервые занялись арифметикой: если от двухсот миллионов отнять восемнадцать, то остальные — просто граждане. Гражданственность — где она прописана, чем живет-питается? Неужели народ — это только те, кто всерьез поверил национал-патриотам? Теперь вспомнили об этике. Да и то в основном потому, что юная демократия позволила кошку назвать кошкой: национал-патриотов из «Памяти» обвинила в зарождении хорошо знакомого по истории XX века фашиствующего национал-социализма. Зачем же так резко, поищем консенсуса, придем к консолидации — к консолидации (на языке «патриотов» — соборности) на почве тишины. Чтобы только суслики свистели на нашей зеленеющей ниве!

И они посвистывают. Партийность, народность, гражданственность — так свистели вчера. А ныне другое: плюрализм, консенсус, консолидация... Пока выговоришь, язык сломаешь, но ничего не поделаешь — парламентская этика. Для жены можно и откровеннее: «Устойчивости нет,— пожаловался Евгений Степанович.— Твердости. Придет какая-нибудь сволочь: «Нет, ребята, вы поели, теперь надо нам поесть». Нынешний — неплохой человек, добрый. Так разве наш народ понимает? Народ наш к палке привык. Я тоже когда-то Сталина осуждал, эйфория Двадцатого съезда. Но при нем был порядок. А сейчас что?»

Нет, Евгений Степанович, первый зам в комитете искусств,— уже не сталинист. Сталинистом был отец, но отец их бросил, Усватов-младший может ныне припомнить к случаю свое несчастное детство. И то, как жесток был всемогущий вельможа к родному сыну при первом серьезном испытании — призыве на фронт. И просил-то Женя совсем немного: «Сейчас набирают в военно-медицинскую академию, еще не поздно, если отец позвонит...

Отец нагнулся, захлопнул один ящик, другой, прикрыл дверцы стола, а когда распрямился, это был другой человек, официальный, четкий, чуждый каких бы то ни было посторонних чувств:

— Товарищ Сталин послал на фронт своих сыновей! — сказал он громко не только ему одному, но и всему, что в этих стенах могло слышать... И сын понял, если он погибнет, отец переживет это: он выполнил свой долг перед родиной, отдал родине сына. И в тот момент он возненавидел своего отца и весь его порядок, при котором жертвуют сыновьями. Мог ли он думать, что, прожив жизнь, еще позавидует отцу, тосковать будет по этому незыблемому «порядку».

...Суслов всплыл, не мог не всплыть — после Сталина. Тиран ломал хребты, Суслов нужен для бесхребетных. Сталинщина сеяла страх (наверно, в этом ее главное и долговременное наследие), сусловщина — ложь. Она вывела и распространила свою монокультуру — полуправду. И эта повсеместная серая плесень оказалась куда устойчивей, куда вредней хрущевской кукурузы. Сколько их, сытых и безликих, воцарилось слева и справа от парадного портрета Генерального праведника. Подгорный, Козлов, Романов, Гришин, Рашидов, Кириченко, Кириленко, Черненко.. Они грызли исподтишка, душили прежде всего свежую мысль, пробившийся талант, идею. «Лет на двести — триста» арестовывал Суслов романы Гроссмана, Пастернака, Солженицына, гнал в засекреченную ссылку гений Сахарова, лишал гражданства талант Ростроповича, Синявского, Бродского, Аксенова. Нараставшая год за годом утечка мозгов и совести России — это результат многолетней, многотрудной, подземной работы сусликов отечественного социализма.

Прочтите составленную Юрием Буртиным летопись травли «Нового мира», последнего в те годы очага независимой совести и таланта российской интеллигенции,— сколько во всем этом изощренного, чисто сусловского умения дожать, согнуть, добить. Нет, это не Ждановы конца сороковых, готовый в поучение Шостаковичу и Прокофьеву сам сесть за рояль или искать знакомства и признания у Ахматовой,— суслики не переоценивают своих способностей, они не тянутся к высокому колосу и уже не сочиняют трудов по языкознанию. Они всю ниву лишают соков земли и при этом с откровенным цинизмом поучают: «Наша теория — это наша практика». А какова ваша практика? В поучительной летописи Буртина недостает одного, характерного штриха в заключение: добив Твардовского в «Новом мире» (а я это помню по «Литгазете», по издательству «Искусство», «Мосфильму» и телевидению), привозят своего суслика из ЦК и заявляют во всеуслышанье: «Постарайтесь, чтобы ваш журнал был не хуже прежнего». Ведь знают, стало быть, что хорошо и что плохо, но исповедуют и пропагандируют полуправду («Честность — понятие диалектическое»). Уверены, что в смутные времена падения прежнего культа полуправда надежней откровенной лжи,— она позволяет бесхребетным оставаться неуловимыми: прищемили хвост, а он, как ящерица, удирает без хвоста и дальше благоденствует. Стоит ли удивляться, что за тридцать лет сусловщины эта мораль спустилась со своих идеологических высот (без прямого влияния зарубежной мафии) в нижние этажи нашей ежедневной прозы — в торговлю, в служебные и неслужебные взаимоотношения, в большое и мелкое мошенничество, в торжествующий ныне на каждом шагу прямой натурообмен: «Ты мне, я тебе»...

С переломанным хребтом жить можно, но неприятно, иногда побаливает — лучше лелеять в себе эту эластичность с младенчества. Как и старался Евгений Степанович Усватов, старался всю жизнь от школы до седых волос. Растущий организм всегда, слава Богу, эластичен. Но только растущая душа еще способна обратить эту гибкость к накоплению совести, а не подлости. Остановись, задумайся, пора делать нравственный выбор... Взрослый выбор поторопила война. Еще не так страшно, когда растерявшийся юнец бежит к руководящему отцу, чтобы увильнуть от фронта, но беда, что, все-таки увильнув и ловя осуждающие взгляды уже покалеченных сверстников-фронтовиков, Женя находит себе успокоение и оправдание: «Они были примитивно устроены, не способны осмыслить происходящее». Это уже подлость, возведенная на пьедестал,— она остается правилом на всю жизнь: дескать, они членистоногие, примитивные и несмышленые, а мы бесхребетные, классом повыше — «свои люди», и эти нам не указ.

Я невольно упрощаю повесть Бакланова, раскладывая неуловимо скользкое существование ее героя «по полочкам». В сюжете нет стройной биографии Усватова — он просто показан обитающим в своей среде. От семейных неприятностей до министерских радостей (или наоборот). Когда погибает сын, то он, принимая соболезнования, аккуратно записывает, кто звонил. Зачем? Скорее всего по привычке: ведь в своем кругу они привыкли угадывать перемещения в руководстве по порядку подписавших очередной некролог в газете... История взаимоотношений с сыном проливает свет на «извивы» в характере главного героя. И в его времени.

Суслов многое останавливал в литературе, в кино, на телевидении. После не принесшего ни ему, ни Хрущеву славы шумного разгона художников в Манеже, первый идеолог страны предпочитал собирать «своих людей» на Старой площади, и тут уж, за закрытыми дверями, командовать прямо: «Убрать голизм!» Помню, как мой главный редактор еще полдня недоумевал: «Чем провинился де Голль?» — пока ему авторитетно не разъяснили, что виноват не французский президент, а «голая натура». Тогда — не теперь: выяснять в дискуссиях, где грань между эротикой как элементом искусства и порнографией, не приходилось. Убрать — и концы в воду. Или курение, выпивку на экране... Помню, как три часа всем руководством ЦТ резали по живому, чтобы поспеть к Новому году «Иронию судьбы» Рязанова, и несдававшийся режиссер просипел уже в полуобморочном состоянии: «Первый раз вижу, как из благонамеренного автора делают диссидента...»

На проблему «отцов и детей» также был наложен строжайший запрет. По Суслову, не было у нас ни наркомании, ни проституции, ни молодежной преступности, ни тем более нигилизма. В повести Банланова погибает взрослый сын Усватова Дмитрий — сын, поссорившийся с отцом. Погибает нелепо, под случайной электричкой (кстати, не слишком ли часто — не в искусстве, а в жизни — подстерегают нас эти случайные трагедии? Похоже, что пожары, взрывы, катастрофы на транспорте, наконец просто необъяснимые убийства грозятся заменить нам ночные аресты при Сталине и высылки за кордон при Брежневе...) Никакой вины за эту смерть Евгений Степанович вроде бы не несет, тем более что в глазах сына он — как отец, да просто как человек, близкий в делах и помыслах,— давно умер. Поводом для окончательного разрыва сына с отцом стала — кто бы мог подумать? — полусумасшедшая теща Евгения Степановича, Димина бабушка. Неприспособленная, близорукая старуха... Почему именно к ней бросается двенадцатилетний Дима после первого своего несчастья? «И эта дура старая раскрылась как курица, собою заслоняя его». Дура старая осталась с внуком и потом, когда его скандал с родителями дошел до предела: Дима женился на девушке «не из их круга», а достойная была уже присмотрена, подобрана, «словом, перспективы на будущее открывались прекрасные...» И после гибели Димы к его юной вдове с маленьким сыном ездит тайком она, дура старая, оставленная преуспевающим зятем сторожить зимой дачу. И там же на нетопленой веранде нелепо замерзает, опухшая от голода и отдавшая последние крохи Диминой семье... Еще одна нелепая смерть, дурное самоубийство, несчастный случай (смерть тещи — пожалуй, самый сильный эпизод в повести). Именно после этой дурацкой смерти и не менее дурацких похорон на сельском кладбище, под шепот и пересуды ненавидящих его местных старушенций Евгений Степанович услышал от невестки то, что не позволял себе даже родной сын:

— Я пришла сказать вам, что вы — мерзавец. И никогда — запомните это! — никогда вы не увидите своего внука.

А ведь у него был прямой разговор с сыном, где он пытался в последний раз навести мосты. Он простил сыну завихрения молодости: «Кто до двадцати пяти лет не был либералом — подлец, кто и после тридцати все еще либерал — идиот»

Объяснил открытым текстом: «Жизнь такова. А тебе жить. И ты знать должен: правят не цари, а времена. Каковы веки, таковы и человеки» (Вот она, ильичевская «наша практика», готовая заменить любую теорию.)

Не скрыл от сына своих претензий к его женитьбе: «Мы слишком далеко зашли в нашем вселенском человеколюбии, в нашем интернационализме без берегов. Нас бы так любили, как мы всех любим, кормим и помогаем».

Ну, а сын? Он прервал эту исповедь, он услышал и увидел наконец то, что оставалось второй, темной половиной отцовской «правды»,— то, к чему сводилась (и сводится!) вся философия, вся мораль сусликов, рожденных в страхе и выросших во лжи.

Не Суслов травил аксеновский «Метрополь» — альманах затравили, загрызли литературные суслики, обнаружив в нем «конфликт отцов и детей». Казалось бы, что горевать, ведь все лучшее из задушенного альманаха сегодня уже напечатано, исключенные за «Метрополь» из Союза писателей — восстановлены, непринятые — приняты, уехавшим вернули гражданство... Ну, а те, кто грыз и душил,— испугались, ушли в небытие? Да нет, скорее окопались. Ждут, жуют, начинают посвистывать... Зеленей, молодая нива! Да что-то не очень зеленеет: средний возраст членов Союза писателей давно перевалил за шестьдесят... И дотошное искусствоведение открыло новое понятие — «невостребованный талант».

Анализирую повесть — и все время сбиваюсь на публицистику. А ведь повесть Бакланова — готов повторить то, с чего начал,— написана без гнева о подлом. Но допустимо ли, хорошо ли для искусства о подлом и без гнева? Пять лет назад под свежим впечатлением от «Пожара» Валентина Распутина и «Печального детектива» Виктора Астафьева я впервые задумался над наметившейся тенденцией в литературном процессе.

Написал статью «Начинается с публицистики?», развернулась дискуссия по этому поводу. Убежденные «психоаналитики» внушили читателям, что для серьезной прозы открытая публицистичность — это движение не вперед, а в сторону. Но за пять лет дальше публицистики мы не пошли. Набрал силу документальный жанр, полно исторических, экономических, политических эссе. И по-прежнему почти нет добротной беллетристики.

Новая повесть Бакланова пытается повернуть нас к этой, доброй и старой, традиции. К существованию текста и подтекста, к стремлению уловить неуловимое в самой обыденной жизни, умению не отразить, а выразить суть в мимолетности слов, интонаций, внутреннего и обычного, зримого монолога.

Однако перечитал в последний раз повесть и с удивлением ощутил: все-таки есть в ней и откровенная публицистичность! И даже сам Михаил Андреевич Суслов присутствует лично. В двух абзацах, в самом конце. Оказывается, об одном и том же явлении думали мы, читатель и писатель, одновременно, не сговариваясь, и смотрим на него почти одинаково.

А вот «суслики» — это собственное мое толкование. И, может, надо бы теперь отказаться, но не могу. Живу, хожу, смотрю телевизор — каждый день с ними встречаюсь.

На всем нашем степном раздолье, от Калининграда до Владивостока, у больших и малых дорог, то тут, то там — посвистывают, поглядывают на наши хлопоты с перестройкой и новым мышлением, с расцветающей демократией и вянущей гласностью... У них свои заботы, свои люди, своя грызня. Почти не изменились со времен Евгения Степановича.

Номенклатура.

Вадим СОКОЛОВ

Антигиляй,
или «Страшнее Врангеля...»

•

Анатолий Рубинов. Откровенный разговор в середине недели. М., «Советский писатель», 1990.

•

Считаю, мне повезло: я из тех, покуда избранных, счастливцев,— впрочем, если использовать старосоветский штамп, вот оно, уж поистине «трудное счастье»,— кто читал книгу Анатолия Рубинова... Нет, я еще не о той, которую взялся отрецензировать, а об «Интимной жизни Москвы», что до сих пор обретается в рукописи, опубликована лишь в ничтожных отрывках и является скрупулезным исследованием Москвы и москвичей, истории той и других уже после легендарного «дяди Гиляя», то бишь Владимира Гиляровского. Исследованием недавнего прошлого и сурового настоящего московской торговли, вокзалов, кладбищ, бань, извините, сортиров — и т. д. и т. д. Знаю, что рукопись погостила в редакциях, где ее читали нарасхват и навзрыд, но неизменно возвращали автору: «Не наш, понимаете ли, профиль».

Отчасти так оно и есть. Не профиль. Фас — и такой, что немудрено отвернуться от безжалостного зеркала.

Старик Гиляровский с его «Москвой и москвичами», с его ошеломляющими меню от Тестова, с брусничной водой, подававшейся в банях, с московскими клубами и трактирами, с Елисеевыми и Филипповыми, словом, с бытом, ко времени написания книги уже повитым ностальгической дымкой, но еще, казалось, не безнадежно утраченным,— он, Гиляровский, конечно, припомнился не столько по праву предшественника-классика, сколько по впечатляющему контрасту. Рубинов — и в неопубликованной книге, и в этой, трудно пробивавшейся в свет,— изобразитель не нашего быта, а нашей безбытности. Так сказать, не Гиляй, а Антигиляй, поскольку и быт наш — это антибыт.

Рубинов, на протяжении многих лет защищавший по традиционным литгазетовским средам (откуда и «середина недели», угодившая в заглавие книги) наши покупательские и абонентские интересы, издавна кажется мне... Только не торопитесь истолковать сравнение в патетическом духе, во избежание чего и обращаюсь к скромному строчному написанию... Итак, он кажется донкихотом, драматически сражающимся если не с мельницами, то с торговыми трестами и мясокомбинатами, с почтовыми и транспортными ведомствами. Правда, донкихотом, усвоившим практицизм Санчо Пансы, но так и оставшимся в бедственном положении человека, бьющегося упрямо и беспрестанно, однако — впустую...

Стоп! Это Рубинов-то, сполна заслуживший право быть объектом объединенной ненависти многих и многих заправил сервиса,— и впустую? Разве нельзя с легкостью опровергнуть мою скептическую категоричность? Что ж, давайте и опровергнем, назвав лишь несколько укоренившихся нововведений, которыми мы обязаны лично ему. Взять, к примеру, хоть шестизначный почтовый код, который мы вырисовываем на конвертах, дабы письма мог сортировать автомат. (А почта, подсказывает ехидный внутренний голос, все равно работает хуже и хуже.) Или «Бюро добрых услуг», преобразовавшееся в фирму «Заря», худо-бедно, а облегчившую жизнь многих. «Телефон доверия» в Москве, Ленинграде, Риге и иных городах. Брачные объявления и клубы знакомств. Магазины списанных вещей — тех, что раньше под предлогом списания сжигали или разворовывали... Ну, и так далее, вплоть до того, что мы пока еще платим в метро пятак, а не гривенник, и покупаем, ежели повезет, трехкопеечные булочки (люди, которые их пекут, поначалу и называли их между собой «рубиновками»).

Мало? Много. А с другой стороны — ведь не затем Рубинов все пишет да пишет, не затем тормошит министров и начальников главков, чтоб добиваться полезных, однако частных побед. Он, как и мы, хочет перемен коренных, добиваясь того, что в обозримом будущем недостижимо: чтоб мы жили, как положено жить людям. И вот в этом, сугубо практическом отношении я готов рассматривать Анатолия Рубинова как одного из выдающихся неудачников. Как безнадежного утописта, чей здравый — потому-то и утопический — смысл ежеминутно опровергается действительностью...

Быть может — и даже наверняка,— невелико утешение, но зато все это дает парадоксальную возможность взглянуть на рецензируемую книгу взглядом, на миг освободившимся от злободневности.

Заявляю, что Рубинов — из моих любимых писателей, подчеркнуто имея в виду газетные очерки, составившие книгу, и жаль, если кто-то нуждается в объяснении, что своим заявлением я вовсе не повышаю его, журналиста, в литературном чине. Дело даже не в том, что звание «писатель», пуще того, «член Союза писателей», в большинстве состоящего из графоманов и неумех, изрядно понизилось в народном сознании; дело в другом. Говоря: «писатель», «литература», я просто избираю особый угол зрения на то, о чем пишу.

Кажется, Жюль Ренар пошутил, что всякий, прочитавший «De profundis» Оскара Уайльда, книгу о его тюремных страданиях, непременно захочет посидеть в тюрьме, и уайльдовское эстетство здесь лишь крайнее выражение общего закона. Всякий большой художник, переходящий с кончиной в ранг классика, как правило, преображает всеобщую «первую реальность» если не до неузнаваемости, то до сходства со своей, самоличной, «второй реальностью», и возьмемся ли мы познавать жизнь и быт XIX столетия по Толстому? Достоевскому? Щедрину (Господи упаси!)? Не то что у них, даже у Чехова — своя, резко индивидуальная модель мира; а о том, «как было на самом деле», нам куда точнее расскажут Энгельгардт, Помяловский, Берви-Флеровский, Благовещенский, а ежели и Лесков, то никак не творец «Очарованного странника», но хроникер «Мелочей архиерейской жизни». «Бытописатели». «Документалисты». Тот культурный слой, по какому любопытствующий потомок воссоздаст реалии канувшей цивилизации.

Вполне самозванно перевоплощаясь в будущего историка нынешней литературы, думаю, что и наши бесстрашные бытописатели, честно фиксирующие злобу дня, в гораздо большей, чем нам это кажется, степени трудятся, выражаясь пышно, «на вечность» — и уж во всяком-то случае окажутся познавательней, чем вошедший в моду прозаический «сюр», изощряющийся в глобальной язвительности, но столь часто ускользающий в лукавый, вертлявый намек, в хлесткое, но двусмысленное издевательство, в то, что рождено рабской эпохой и что, как ни крути, есть плоть от ее дрожащей плоти.

Без особенного риска ошибиться (риск разве лишь в том, что нынешнее наше состояние так и останется бесконечным и безысходным) предположу: потомок, кому в руки вдруг попадет хоть та же рубиновская книга, восстановит изрядную часть нашей реальности по таким ее странностям, как, например, необычная форма преступления — «кража автомобиля с целью раздевания». На запчасти то есть. Или по тому, что в складских холодильниках может обнаружиться несметное количество черной икры, успевшей от долгой лежки протухнуть,— не потому, что мы ею пресытились, а ... Но нам-то что объяснять, мы-то не поражаемся, а чумеем от счастья, встретивши на прилавке ее, голубушку, тухлую, но «подработанную» — освобожденную от особо вонючего верхнего слоя. Словом, гипотетический правнук вкупе со странностью нашего антибыта постигнет и некую нашу душевную странность. Узнает, чему сегодня посвящены «шепот, робкое дыханье»: «Послушали бы вы девичьи тайные разговоры! Они все больше о колготках, о том, колготки чьего производства дольше не начинают ползти». Или приостановится перед такой картинкой нравов — выпишу, не поленюсь: «Целый час я краем глаза мог видеть входящих в приподнятом настроении гостей. Едва войдя, словно продолжали прерванный разговор с человеком в халате и шапке, коротко спрашивали о здоровье, советовали не хандрить и, оглянувшись на незнакомого человека, выписывающего что-то из книги, показывали лицом на меня и так же молча кивком головы получали разрешение на анекдот. Не все припасенные анекдоты были очень смешны. Хозяин кабинета, говоря ровным и слабым голосом (замечательно точно! — **Ст. Р.**), каким говорят только люди, которых слушают, тоже отвечал анекдотом. И тоже не всегда смешным, но гость, явно льстя, смеялся несоразмерно заразительно, хлопая себя по ногам, слишком широко открывая рот»...

Ежишься, читая: стыдно, черт побери, даже если ты отродясь не бывал в кабинетах вроде описанного и не унижался ни перед кем значительнее продавца и кассира. Самоунижение мерзко всегда, но само по себе оно еще не характеризует никакую эпоху. Самоунижение, да еще «элиты», отборной, допущенной, пред ликом директора гастронома — вот это уж только наше завоевание, ничье больще, клеймо нашего неповторимого холопства.

Но Бог с ними, с потомками, которых, может, потянет покопаться в нашем «окаменевшем говие»; не к ним же в конце концов взывает не метящий столь далеко автор.

«Страшнее Врангеля обывательский быт»,— сказал Маяковский и оказался более прав, чем думал. Да, черного барона было достаточно разбить один раз, а обывателю надо предоставлять человеческие условия ежедневно.

Победить, раздавить в нас обывателя, «частника», «собственника», «сменить просторным словом «наше» словечко узкое «мое» (еще один певец социалистической нови, Лебедев-Кумач) — вот цель, неуклонно преследуемая семь десятилетий; цель, увы, почти достигнутая. «Почти» — только на это надежда, которую поддерживает и книга Рубинова; поддерживает, понятно, не тем, что утешает, а тем, что пробуждает в нас обывательское, попросту говоря, исконно-нормальное, как бы организуя и вдохновляя его естественный телесный протест против безбытности, которую насаждают несдающиеся хозяева жизни. Не по глупости насаждают, не от одной лишь бездарности, но с безошибочным, даже если и неосознанным расчетом, снабжая безбытность идеологической базой, давая ей словесное оформление.

«Народная артистка РСФСР Мария Владимировна Миронова,— пишет Рубинов, зная-таки, на что именно жарко откликнется наше оскорбленное чувство,— еще раз всплакнула по своему безвременно умершему сыну Андрею Миронову, узнав, что тот покоится вовсе не на Ваганьковском кладбище, а на Ваганьковском комбинате ритуального обслуживания...» Короче: КРО. Или — из более жизнерадостной области, где, впрочем, властвует тот же бюрократический волапюк, действует тот же бессознательно-безошибочный расчет: «Стесняясь слова «баня», где люди ходят нагишом, новому образованию Моссовет дал уклончивое название... «Объединение разнобытовых услуг». ОРУ, в наковом «Генеральный Директор принимает по вторникам с девяти до двух, заместитель Генерального Директора по производству — по понедельникам с пяти вечера до восьми...» — и так далее по нисходящей.

Ясно, что при таком раскладе ни у кого не добьешься (даже Рубинову не удалось), сколько именно бань и по какой причине простаивают без дела, но и само переименование дорогого стоит.

Маршак, помню, рассуждал о весе слова. В газете написано: «Волки съели зубного техника». Смешно! А если: «Волки съели человека»? Смешно?.. Так вот, для них, понимая «их» отнюдь не только как владык нашего горе-сервиса, мы с вами не люди, а «зубные техники», обобщенные покупатели, округленные абоненты, абстрагированные клиенты (в том числе вышеупомянутого ритуального комбината). По классическим правилам бюрократизма — и по лагерному закону — мы нивелированы (легко ль ощущать себя полноправной индивидуальностью, направляясь за получением удовольствия в ОРУ и готовясь к упокоению в КРО), и тут происходит вожделенное для них угасание наших неуемных потребностей: «А, все равно!» — это в быту, «А, да пошли вы все!» — в сфере гражданских амбиций.

Смысл упорной работы Анатолия Рубинова в том, что он отстаивает наши покупательские, абонентские, обывательские, человеческие права, неотступно подразумевая в «зубном технике» человека: сражаясь, допустим, с разорительной для нас установкой счетчиков повременной оплаты разговоров по телефону, он за этой практической, трудно выговариваемой прозой запримет потерю не одних лишь лишних рублей, но поразмыслит, как возрастет при этом одиночество одиноких, отъединенность отъединенных. Да, впрочем, само по себе осознание наших ежедневных, будничных прав — в магазине, на почте, в поликлинике — есть необходимейший шаг к завоеванию прав человека; вот понятие, так долго пребывавшее под подозрением в диссидентстве, что стало казаться уделом избранных. «Личностей». Интеллигентов, не «обывателей». А оно лишь тогда и обретет истинный смысл, когда станет общедоступным, за что уже и бороться нет нужды, когда свое право ты обретешь на любом уровне — не только перед законом, но и перед приемщиком стеклотары, не только перед КГБ, но и перед КРО...

Ст. РАССАДИН

ВНИМАНИЕ:

приложение к «ОКТЯБРЮ»

Дорогие читатели!

Как и обещали подписчикам нашего журнала, начинаем издавать книжное приложение.

Для подписчиков нынешнего года будут выпущены две книги.

Какие — определите вы сами.

Ознакомьтесь с предложенным ниже списком книг.

Выберите из него две, на ваш взгляд, наиболее интересные.

О своем выборе сообщите в редакцию открыткой не позднее 1 июля.

Те две книги, которым отдаст предпочтение большинство читателей, и будут выпущены в качестве приложения.

В 12-м номере журнала будут помещены подписные бланки. Те, кто захочет получить приложение, должны вырезать эти бланки и оформить подписку на почте, предъявив квитанцию годовой или полугодовой подписки на «Октябрь».

Книги поступят подписчикам в первой половине 1992 года.

Надеемся в дальнейшем сделать такое книжное приложение к «Октябрю» постоянным.

Итак, выберите две книги:

1. **А. АВТОРХАНОВ. Происхождение партократии. (См. «Октябрь», 1991, №№ 2—3).**
2. **А. АВТОРХАНОВ. От Андропова к Горбачеву. (См. «Октябрь», 1990, № 8).**
3. **М. АЛДАНОВ. Самоубийство. Роман. (См. «Октябрь», 1991, №№ 3—6).**
4. **С. АЛЛИЛУЕВА. Книга для внучек (один год в СССР).**
5. **Даниил АНДРЕЕВ. Роза мира.**
6. **Н. БЕРБЕРОВА. Курсив мой. Книги 1 и 2. (См. «Октябрь», 1988, №№ 10—12).**
7. **В. ВОЙНОВИЧ. Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина.**
8. **И. ВОЛГИН. Родиться в России. Книга о Достоевском. (См. «Октябрь», 1989, №№ 3—5).**
9. **Д. ВОЛКОГОНОВ. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Журнальный вариант. (См. «Октябрь», 1988, №№ 10—12; 1989, №№ 7—10).**
10. **Д. ВОЛКОГОНОВ. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. (Полное издание).**
11. **М. ВОСЛЕНСКИЙ. Номенклатура. (См. «Октябрь», 1990, № 12).**

12. В. ГРОССМАН. Все течет. Повесть. Рассказы. (См. «Октябрь», 1989, № 6).

13. А. ДЕНИКИН. Очерки русской смуты. Тт. 1—2. Журнальный вариант. (См. «Октябрь», 1990, №№ 10—12).

14. С. ДОВЛАТОВ. Иностранка. Повесть. Зона. Повесть. Рассказы. (См. «Октябрь», 1990, № 4).

15. В. КОРМЕР. Наследство. Роман. (См. «Октябрь», 1990, №№ 5—8).

16. В. МАКСИМОВ. Семь дней творения. (См. «Октябрь», 1990, №№ 6—9).

17. Протоиерей о. Александр МЕНЬ. Избранные работы.

18. В. НАБОКОВ. Камера обскура.

19. В. НЕКРАСОВ. Саперлипопет. (См. «Октябрь», 1991, № 4).

20. М. ПОПОВСКИЙ. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. (См. «Октябрь», 1990, №№ 2—4).

21. Публицистика «Октября». Сборник включает работы А. САХАРОВА, Л. БАТКИНА, Ю. БУРТИНА, А. СТРЕЛЯНОГО, Л. ТИМОФЕЕВА, Л. ПИЯШЕВОЙ и др.

22. Рассказ-91. Сборник лучших рассказов, опубликованных в «Октябре».

23. Саша СОКОЛОВ. Школа для дураков. (См. «Октябрь», 1989, № 3).

24. В. ТЕНДРЯКОВ. Революция! Революция! Революция! Повесть. Рассказы. (См. «Октябрь», 1990, № 9).

25. М. ФРИШ. «Монток». Повесть. (См. «Октябрь», № 12, 1981).

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи редакция не возвращает.

Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
БАНК
С С С Р

ПРИОБРЕТАЙТЕ
СЕРТИФИКАТЫ
Сберегательного
банка СССР

СЕРТИФИКАТЫ — предназначены для хранения денежных средств в течение 10 лет с выплатой дохода дифференцированно в зависимости от срока хранения. При соблюдении 10-летнего срока хранения доход выплачивается из расчета 10% годовых.

СЕРТИФИКАТЫ — выпускаются достоинством 250, 500 и 1000 рублей.

СЕРТИФИКАТЫ — свободно продаются, принимаются на хранение и по предъявлении паспорта оплачиваются в любом филиале Сберегательного банка СССР.

СЕРТИФИКАТЫ — удобная форма долговременного хранения денежных средств, приносящая заметный доход его владельцу.

Кол-во полных лет, прошедших со дня выдачи сертификата	Суммы, подлежащие выплате (в руб.) на сертификаты достоинством		
	250 руб.	500 руб.	1000 руб.
Менее 1 года	250	500	1000
1 год	263	525	1050
2 года	277	555	1110
3 года	297	595	1190
4 года	321	642	1285
5 лет	354	708	1415
6 лет	392	785	1570
7 лет	440	880	1760
8 лет	496	992	1985
9 лет	566	1132	2265
10 лет	649	1298	2595